

ДЕЛО
ВСЕЙ
РОССИИ





НОВИКИ • СОВРЕМЕНИКА •

Михаил Кочнев

Дело
всей России

Роман

Современник
Москва
1982

Кочнев М. Х.

K75 Дело всей России: Роман. — М.: Современник, 1982. — 416 с.

Михаил Кочнев задумал трилогию о декабристах. Роман «Отпор» был издан «Советской Россией» в 1971 году. «Современник» предлагает читателю второе произведение: «Дело всей России» — многоплановое эпическое повествование о начале декабристского движения. Писатель показывает, каких исполинских трудов и жертв потребовало от героев-декабристов — П. И. Пестеля, С. И. Муравьева-Апостола, К. Ф. Рыльева, А. А. Бестужева, И. Д. Якушкина и других — их дело.

Завершить работу над третьей частью — о восстании декабристов 14 декабря 1825 года — писателю помешала смерть.

К 4702010200—125 104—82
М106(03)—82

**ББК 84Р7
Р2**

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВРЕМЕННОК», 1982 г.

Михаил Харлампиевич Кочнев

ДЕЛО ВСЕЙ РОССИИ

Роман

Рецензенты О. Михайлов, А. Семснова

Редакторы А. Сморгкова, Н. Суворова

Художник Л. Чернышев

Художественный редактор Е. Прохоров

Технический редактор Л. Дунаева

Корректоры Т. Воротникова, Г. Панова

ИБ № 1573

Сдано в набор 08.12.81. Подписано к печати 20.04.82.
А06865. Формат 84×108/32. Гарнитура литерат. Печать
высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 21,84. Усл. кр.-
отт. 21,84. Уч.-изд. л. 23,12. Доп. тираж 50 000 экз.
Заказ № 1702. Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли и Союза писателей РСФСР. 121351, Москва,
Г-351, Ярцевская, 4.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени поли-
графкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР
Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР, Калинин,
проспект 50-летия Октября, 46.

Часть первая

Триумфальные ворота

1

Черно-пурпуровые и буровато-зеленые цветки коренастой чемерицы густо покрыли покатый спуск сырого оврага. Над ядовитыми растениями сонно жужжало множество мух.

Из ближней липовой рощи, наполненной звоном пчел-тружениц, вышел к оврагу кряжистый загорелый до черноты однорукий старик в белой домотканой рубахе с подолом до колен, в смазанных яловичных сапогах. Через плечо у него был перекинут полосатый двухрядный мешок. За ним с холщовой сумкой на боку плелся разомлевший от зноя мальчуган лет семи-восьми, босой, в широких штанишках из холста-хряща, крашенного в ивовом корье.

— Вот так, братец ты мой Маккавейка, нынче нам с тобой посчастливилось — третья, никем не початая, куртинка чемерицы! — Старик по-детски обрадованно указал на травяные заросли и, натужно крикнув, сбросил с плеча мешок. — Помалкивай да в селе никому не сказывай, где мы с тобой были, какую траву рвали, какой корень дергали

— Ладно, дед Антон, — послушно отвечал парнишка. — А зачем нам столько такой травы?

— Мы ее не про себя, а про добрых людей. Эта трава как бы святая. Ну да после об этом. Дергай знай...

— А коровам и овцам ее можно?

— И не вздумай... Корешки клади сюда, а вершки — туда.

Старик врезался в заросли чемерицы, хлестнувшей ветвистыми соцветиями по плечам, — туча мух взлетела над его головой. Маккавейка сломил высокий стебель и начал им махать на все стороны, чтобы отогнать мух, но сколько он ни махал — мухи не улетали.

— Ишь, неотвязные, — сердито проговорил мальчуган и принялся срывать черно-пурпуровые и буроватые метелки. Прямые, округлые стебли, с избытком напоенные влагой, — дождей в эту весну выпало много — хрустко

ломались, сочились на сломе. Голые дугожилые листья делали это растение непривлекательным с виду.

Однорукий старик ловко выдергивал из пахучей земли бледно-белые короткие и толстые корневища, унизанные шнуровидными мочками, отряхивал и клал рядом на траву.

— Деданя, а лизнуть можно? — спросил Маккавейка.

— Корень? Или дудку? Лизни, но после выплюнь!

Мальчишка осторожно лизнул, поморщился, сплюнул и начал тереть губы кулаком.

— Горько? Жжет?

— Щиплет... Дурно во рту.

— А помнишь, нога у тебя шибко гноилась? Чем я тебя исцелил? Отваром чемериичным! Вишь ты, она какая...

Маккавейка уже по-другому поглядел на непривлекательные цветки и корни и с большим старанием принялся помогать деду. Нижние крупные листья мягко стлались, слегка взрыхленная почва прохладно рассыпалась под босыми ногами..

— Этой траве господь бог долгий век означил,— рассказывал дед Антон, хорошо знавший все, что растет и созревает на родной земле.— Вначале этот корень ежегодно лишь по одному листку выгоняет, как год — так листок. И не боле. Но зато одинокому листку отдает соки и силы многих листьев. Лет двадцать, а то и доле стоит чемеря в зеленом кафтане, и, глядишь, уже листьев на ней много, но пора цветения для нее все еще не пришла. А потом как ударит цвет по всем лугам и распадкам! Эти корни, что мы с тобой надергали,— ровесники мои, а может, и постаре. С этого долголетнего корня людям пример надо брать.

— В нем один яд...

— Яд бывает нужнее меда.

Маккавейка доверчиво глядел на Антона, но так и не понял его мудреного иносказания.

— Есть яд, крови сына господня равный... Да освятится место сие! — И Антон на все четыре стороны перекрестил полянку, опять подняв в воздух сонмище мух.

А Маккавейка вскоре почувствовал возбуждение, зная оттого, что полизал бледно-белый корень и надышался чемериичным дурманом. Во рту обильно накапливалась слюна, и он поминутно сплевывал ее.

— Посиди отдохни,— велел Антон внуку.

— Ну и чемерица,— продолжал плевать Маккавейка.

Выгоревшие волосы на его голове были белей вологодского льна и мягче шелка. Он дивился ловкости деда, который и при одной руке на удивление споро орудовал высветленной о землю лопатой.

— Дедушка, а что это Минька соседский сказывал, будто руку тебе хрянцуз оттяпал? Пошто она ему запонадобилась?

Антон воткнул лопату в землю, рукавом рубахи вытер морщинистый выпуклый лоб.

— Хрянцуз-то хрянцузом... А руку-то, андел мой, я потерял, можно сказать, как бы по своей доброй воле...

— Как так? — удивился Маккавейка.

— Не захотелось ружье в руки брать,— присев на пригорке среди медуниц и колокольчиков, начал рассказывать Антон.— Вот как в те поры дело-то случилось... Ты еще совсем махонек был — не помнишь. Неприятель, вор, хрянцуз, пол-России разорил и к самой матушке-Москве подступил. Залетел чужеземный басурманин, сыч, в кремлевское гнездо, под золотые купола. Залететь он залетел, да жрать-то ему, собаке, вскоре стало нечего. Ни сухарика на полке, ни пыли в ларе. Вокруг каменного гнезда день и ночь красные петухи машут крыльями — пылает белокаменная со всех сторон, со всех концов. Куда ни сунется сыч из Москвы, а ему или пуля в лоб, или вила в бок. В лесах простой народ ходит отрядами — кто с ружьем, кто с топором, этот с дубьем, а тот с вилами. Чую погибель, взлютился сыч, посылает он своих шаромыг по селам и деревням за жратвой, за какой-нибудь — дохлятине и то рад. Последнее отнимают.

Я как раз вез сено с пожни. Схватили меня шаромыжники и насильно в Москву пригнали. Сено, конечно, отняли дохлым хрянцузским клячам. А меня представили какому-то ихнему, пожалуй, самому большому генералу, а может, и Наполеошке... Он поглядел на меня, этак улыбнулся, изволил руку пожать, что-то по-своему посюсюкал, знать, приказание отдавал. Тут выносят младшие чины несмываемое клеймо — и шлеп к моей руке.

«Это зачем,— спрашиваю,— руку вы мне выпачкали несмываемой метой?» — «Затем, что теперь ты стал как бы не русский, а хрянцузский и принят на службу к нашему императору — покорителю двенадцати языков, стал быть, Наполеону...»

От такого поворота в глазах у меня зарябило и вся кровь в жилах будто обледенела. Постоял я, помолчал. А хрянцузам и невдомек было, что на телеге у меня спрятан топор. Сорвал я шапку с головы, поклонился на колокольню Ивана Великого да как крикну впоследние: «Еще не было вовек и не бывать тому, чтоб русская удалая голова да басурману на службу пошла! Вот тебе, пучеглазый сыч, весь и ответ наш... Получай сполна!»

Положил я свою руку на коновязь — да хватить топором по самый локоть... Отлетела моя белая рука шаромыгам под ноги... Их прямо оторопь взяла — не знают, что им теперь со мной и делать: сразу живота лишить или под суд отдать? Решили все ж таки за бунт расстрелять на месте. Повернули они меня лицом к стене Кремлевской, а я возьми да повернись к ним. Перекрестился, говорю: «Пали, вор-разоритель, но помни, мы еще с тобой на том свете встретимся, уж то-то сквитаемся!»

Тут вестовой бежит с приказанием — повременить с казнью. Все большие генералы и маршалы захотели поглядеть на русского безрассудного мужика, удостовериться: правда ли, что сам я себе руку по локоть отсек.

Погнали меня напоказ в какой-то дворец. Рану дорежь того дегтем из дегтярки помазали, глиной залепили, тряпицей обвязали. Я хоть и обрубленный, но и перед их генералами, перед самым сычом в короне соломинкой клониться не собираюсь. Ежели уж так, думаю, на роду писано, то стоя умру. За родную землю честная смерть всегда красна.

• Поглядели здесь на меня, спросили: ради чего, мол, это я сам себя не пощадил? Покачали головами: до чего, мол, странны бывают эти русские, когда их невтерпех рассердишь, и сразу же постановили: «Казнь — отменить. Отпустить мужика к семье, как негодного и бесполезного инвалида».

И пропуск, значит, за печатью дали. Вот в таком виде, пеши, и появился я сутки на пятые домой.

— А сено?

— Сена и лошадки лишился. Пожрал басурманин лошадку. Да не в прок она ему пошла — удрал он из Москвы ни жив ни мертв, костями своих солдат через болота и реки мосты мостил...

Из всех рассказов односельцев о недавней великой всенародной войне рассказ однорукого деда больше всего поразил воображение Маккавейки.

— Деда, а ежели бы сыч попался тебе, то что бы с ним сделал? — спросил Маккавейка. — Уж, чаю я, задал бы ему...

Дед поглядел на голубое небо и ответил вопросом:

— А ты что сделал бы?

— И не знаю... Как он с нашими, так и я с ним...

— Ну, так послушай вот, что дальше было. Пробираюсь я после того, как меня отпустили, иду леском, вижу около мосточка, по обеим сторонам дороги, будто снопов на полосе в урожайный год, навалено битых неприятелей — вражеский обоз с жратвой, должно быть, на том месте недавно разгромили наши. Уж снежок порхает. Слышу, стонет кто-то в канаве. Знать, из оживших. Я к нему. Бледен, ровно отбеленный холст. В рваном ветхом мундиришке. Бочина штыком разворочена. Языка его не понимаю... Но догадываюсь по знакам: просит меня прекратить его мучения, смерти, значит, предать — все одно в нем и крови-то осталось не боле чем в воробье.

— И ты, деда, предал?

Антон, нахмурившись, начал перебирать корни чемерицы, по его сумрачному виду Маккавейка решил — дальше не хочет рассказывать.

Поворошив корни, Антон поднялся с бугорка, потянулся единственной рукой к отполированному, желтому, словно кость, черенищу лопаты.

— Хотел было грех на душу взять... Да ведь какой тут грех, когда сам человек просит. Вижу, валяется камень с пуд весом поблизости. Да приговорку ребячью вспомнил...

— Какую?

— Сам, поди, знаешь. С Минькой небось не раз на кулачках мерился. Когда в драке с ног свалят, что кричат?

— Знаю, деда! Лежачего не бьют!

— Ну вот, то-то... Смастерил я волокушу и поволок его, сердягу. Так верст тридцать и волок на себе до села. В селе-то поначалу чуть на клочки не разорвали его.

— Кто?

— Да все наши: и бабы, и ребятки... Потом смирились. Отходчив народ. И стали изуродованного хрянцуза врачевать всем селом. Больше потчевали настоями разных трав. Соком чемерицы все боли в нем приглушили, все раны притушили. И по-нашенски говорить вскоре выучили. Понятливый оказался. И сделался он у нас человеком как бы всем родным. Больше года жил у нас.

— Где же он теперь? В своей земле?

— В Москве старшим мастером на шелковой фабрике у купца Евреинова. Оказался знаменитым умельцем по дорогим шелкам. Родом, баял, из города Ливона. Да ты же, поди, знаешь...

— Я? И не видел ни разу,— отвечал с удивлением Маккавейка.

— А на рождество кто привозил подарки?

— Московский дядя Андрей.

— Теперь-то он московский, а был ливонский. Не захотел возвращаться в свою землю, остался у нас. По-нашему — Андрей, а по-ихнему — Андре...

Выкопав всю чемерицу, Антон с Маккавейкой вышли на прямую столбовую дорогу, с обеих сторон обрытую глубокими канавами и обсаженную березами.

— Пора бы нам с тобой к дому подаваться,— сказал Антон.

Послышался пугающий звон поддужных колокольчиков. Они приближались с быстротой летящей птичьей стаи.

— Эх, паря, не царский ли поезд едет, уступить дорогу надо,— сказал Антон и проворно вскарабкался на придорожный бугорок. То же сделал и Маккавейка.

Не прошло и пяти минут, как мимо по дороге проскакали верховые с обнаженными палашами. Один из них натруженным голосом прокричал:

— Наши в Париже! Победа! Победа! Война кончилась!

— Слава тебе, господи, слава! — размахисто перекрестился Антон и опустился на колени.

Его примеру последовал и мальчишка.

— Молись, Маккавейка, за упокой всех убиенных на войне и за возвращение домой всех уцелевших воинов... Богу одному весть, жив ли мой сын, а твой дядя — Иван Дурницын. Уж второй год никаких вестей от него не получали.

По дороге в сопровождении многочисленного вооруженного эскорта мчались крытые походные дрожки. Кто в них сидел, трудно было догадаться. Антон принял эту кавалькаду за царский поезд, на такую мысль навели его многочисленная охрана и неимоверная быстрота езды.

— Пожалуй, сам государь с войны возвращается,— сказал Антон, все еще стоя на коленях.

— Царь? И такой молодой? Ни бороды, ни усов,— удивленно сказал Маккавейка, успевший разглядеть молодое промелькнувшее лицо какой-то, должно быть, очень важной персоны.

— А может, и не царь, а может, царский гонец с вестью мчится в столицу,— умиротворенно рассудил Антон.

Неизвестный поезд скоро скрылся из виду. Это скакал в Петербург по поручению царя его младший брат великий князь Михаил Павлович с радостной новостью: Наполеон побежден окончательно, капитуляция подписана, всем европейским народам возвращены мир и свобода, победоносная русская армия вступила в Париж.

Антон и Маккавейка поспешили к себе в село, чтобы порадовать односельчан светлой новостью.

— Ну, Макушка,— так Антон часто называл внука,— в честь такого празднества, чаю, в столице будет задано простолюдью от государя великое угощение. Мне ль не знать! В день его бракосочетания с царицей Елизаветой мне подвалило быть с рыбным обозом в Питере. Угощение царь народу тогда выставил любодорого.

— А какое угощение, дедушка?

— Настоящее, царское,— облизнул губы Антон, улыбнулся.— Ей-богу, не вру. В тот раз перед дворцом трех жареных быков выставили, копыта золотые, а рога серебряные. Фонтан на площади зарядили сладким красным вином: хлещет на все четыре стороны прямо в бочки, подходи и угощайся.

— Дарма?

— Ни за копеечку...

— Эх ты, вот бы мне хоть глазами поглядеть на такое угощение,— засверкал синими глазами смышленный малец.— А хоть один короб с пряниками-конфетками выставили?

— Не помню... Однако, надо полагать, не обошлось и без пряников для девок и ребятни,— отвечал дед.

— А тебе чего досталось?

— Мне? Хлебнул винца, урвал кусок жареного мяса да у одного простофили отбил серебряный бычий рог,— признался Антон.

— Это тот рог, который у нас в избе под божницей на стене?

— Он самый...

— Эх ты! Какой богатый царь! Никого нет богаче царя, правда, деда?

— Есть один человек, который богаче царя.

— А кто же он?

— А мы сейчас у него в гостях были,— усмехнулся в бороду Антон.

— Что ты, деда, мы в гостях ни у кого не были.

— Как не были? Были! В гостях у леса были, а лес исстари богаче царя. Понял?

Маккавейка задумался, потом, помолчав, сказал:

— Дедушка, пойдем в Питер, может, царь-батюшка велит опять быков жареных выставить — попробуем...

— Я сам, Макушка, о том кумекаю... Кстати, пожием там, дождемся, когда воинство вернется. Глядишь, посчастливит, и нашего Ивана встретим,— по-серьезному ответил Антон.— Думаю, не обойдется без большого пиршества для воинства и всего народа российского! Давай стрельнем и мы в град-столицу. Дорога туда мне известна, а домой ноги сами доведут.

2

В петербургском доме Екатерины Федоровны Муравьевой все были радостно возбуждены. Столица вместе со всей Россией готовилась к долгожданным торжествам — в ближайшие дни из тяжелого похода возвращалась победоносная русская армия. Мирные ветры уже ласково развевали разноцветные ленты над поспешно возводимыми декоративными Триумфальными воротами, через которые вот-вот вступит упоенный славой царь-победитель во главе доблестных полков.

У радушной, обходительной аристократки Екатерины Муравьевой хватало доброты не только для своих уже взрослых сыновей, но и для троюродных племянников, братьев Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов. В них она души не чаяла и беспокоилась, как о родных детях.

Она гордилась наследственной муравьевской независимостью духа. Эти драгоценные качества характера она постаралась привить и своим детям, и племянникам.

В огромной гостиной раздавались задорные голоса молодых офицеров, недавно возвратившихся из Парижа. Спорили о том, кому на этот раз будет поручено составление с нетерпением всеми ожидаемого манифеста и о дне его обнародования.

Любимец хозяйки лейб-гвардии Семеновского полка штабс-капитан Сергей Муравьев-Апостол, недавно получивший золотую шпагу за храбрость, гордился своей тетушкой и считал ее самой блистательной женщиной в аристократическом Петербурге. Она не льстила и не заискивала перед двором и придворными шаркунами. Двери муравьевского дома широко распахивались перед писателями, учеными, живописцами, артистами. Здесь перебивали едва ли не все светила земли Русской конца восемнадцатого и начала девятнадцатого века. Эти палаты помнили раскатистый, могучий баритон Гаврилы Державина и диковинный голос Каратыгина. Это, пожалуй, единственный дом во всем Петербурге, где давно и настрого запрещено было старостам, приезжающим из деревень с отчетами по барскому имению, падать в ноги и подносить отчет на голове. Здесь наизусть читали целые страницы из Вольтера и Дидро, из великого Ломоносова и дерзновенного Радищева — печатный экземпляр его знаменитого «Путешествия» хранился в домашнем тайнике. С этого заповедного, сберегаемого как священная реликвия экземпляра списана была не одна копия и пущена на долгую жизнь в море читательское.

Стремясь попасть на неповторимые торжества, с Украины, из своего имения Хомуты, приехал отец братьев Муравьевых-Апостолов, известный писатель и дипломат Иван Матвеевич Муравьев-Апостол. Его «Письмами из Новгорода», написанными во время изгнания полчищ Наполеона из России, зачитывалась вся армия и гвардия, вся Россия.

Анфилада полных света комнат, пространственно размноженных и увеличенных многочисленными зеркалами, была наполнена стройными звуками фортепиано, что доносились откуда-то из глубины покоев. Звуки эти напоминали далекий благовест, умиротворенный просторами полей.

Гостиная блистала великолепной мебелью, которая могла поспорить с дворцовой. Нынче здесь было многолюдно и весело. Но о чем бы родные, гости и хозяева ни начинали разговор, он обязательно сводился к Александру, к близкому торжественному входу войск в столицу, к завтрашнему дню России, избавленной от смертельной опасности.

— Во все годы, минувшие со дня воцарения нашего государя, обстоятельства играли ему на руку и позволяли

легко уходить от исполнения обещаний перед соотечественниками,— говорила по-французски Екатерина Федоровна.

— Заря загорается над Россией,— по-юношески приподнято и немножко витиевато подхватил Сергей Муравьев-Апостол — скуластый, почти круглолицый молодой человек.— Песенками и сказками теперь уже нельзя отделаться! Нельзя!

— Почему же нельзя? — вмешался его брат Матвей.— Причину для обмана народа всегда можно изобрести, особенно если этим делом вздумает заняться опытный обманщик. Я, конечно, нашего государя обманщиком не могу назвать.

Его слова встретили дружным смехом и тем самым как бы сообща договорили то, о чем Матвей умолчал.

В разговор вмешался отец молодых людей — Иван Матвеевич. Виски его уже тронуло сединой, но выглядел он молодо, был осанист, ступал твердо, говорил ровно и ясно.

Иван Матвеевич Муравьев являл собой типичного аристократа во всем: и в манерах, и в изысканности слога, но не было в нем салонной столичной приторности. Он нарочно заговорил по-русски, с тем чтобы и сыновья перешли на родной язык.

— Будем справедливы к императору,— сказал он,— на его долю выпал нелегкий период в нашей отечественной истории. Если Наполеон вошел в анналы и летописи современности как гений войны, то наш монарх может с успехом войти в историю народа как гений мира! Он создан для мира! Он вовсе не такой, каким многие его считают.

— Какой же он? — с долей иронии спросила Екатерина Федоровна.— Или под пудрой и монарха нелегко разглядеть?

Но старый Муравьев-Апостол не сдавался:

— Я вас всех сразу поймаю на слове. Хотите?

— Хотим! — ответила военная молодежь хором.

— Признаете ли вы Наполеона военным гением?

— Признаем! — был общий ответ молодых офицеров.

— А чтобы победить гения, нужно победителю самому быть гением! Вот я вас и поймал. И сейчас в Европе среди всех монархов он, безусловно, первый перед воспрянувшей Европой!

— Ты, отец, прав, гения войны сокрушил русский

гений, гений мира, но я отдал бы эту славу не тому, кому отдаешь ее ты,— сказал Сергей.

— Серж прав! — горячо поддержала Екатерина Федоровна. — Гений в короне прискакал на выхоленном Аракчеевым скакуне на готовенькое, а истинный гений остался в стороне...

— Истинный гений — народ русский! — поддержал мать свою Никита.

— Молодежь, я с вами не спорю! Но дайте мне досказать,— просил Иван Матвеевич. — Мы обнимали друг друга от радости в тот солнечный мартовский день, когда вдруг узнали, что безумный тиран Павел пал, что на престол вошел Александр. Он сразу же дал указ о вольных хлебопашцах. Вы помните другие его благие начинания... Но жестокий, смертельно опасный враг не давал ему и недели одной, чтобы вплотную заняться делами внутридержавными. И вот теперь настал долгожданный срок для того, чтобы все высочайшие помыслы его возвышенной души отдать делу обновления отечества! Оно заслужило заботы государя! Я верю, господа, пройдет немного времени, и все мы будем радостно удивлены деяниями нашего монарха!

— Какими же?

— Дни крепостного права сочтены! Рабство скоро падет! Судьба русского дворянства, измельчавшего и деградировавшего, мановением свыше будет коренным образом изменена,— предсказывал Иван Матвеевич. — Благодарная Европа, обратившая признательные взоры на своего спасителя, обязывает его быть и дома достойным имени освободителя!

— Доводы твои, отец, логичны, но они представляются мне чистейшей романтикой,— заговорил Матвей. — Не Наполеон своими войнами помешал нашему царю избавить народ от позора рабства. Наш царь и наше правительство многими своими неуклюжими шагами и азиатической реакционностью поощрили этого сокрушителя тронов и народов на новые разбойничьи предприятия! Ты-то, отец, с твоим умом и наблюдательностью не хуже нашего знаешь, как народ наш, сокрушая могущество Наполеона, вместе с тем думал, что он сокрушает и свое рабство! Два года минуло со дня изгнания Наполеона из России, а мы не слышим даже обещаний о реформах, даже тех, туманных, какими ознаменовалось начало царствования...

— Да ему долго и не царствовать, ежели он, сменив походный мундир на мундирный сюртук, снова попытается опираться на Аракчеевых и Балашовых... Хватит для России этого позора! — воскликнул Сергей. — Общественное мнение требует, чтобы государь вернулся к советам Сперанского и Мордвинова и не якшался с дворцовыми мракобесами. Если он сам этого не сделает, то гвардия принудит его сделать это! Все мы за годы войны прошли такую академию, что уж больше никому не позволим бесчестить родину и наш русский народ!

Тетушка ласковым взглядом обогрела племянника. И отец не пришел в смятение от дерзких слов сына. Иван Матвеевич воспитывал своих детей в духе свободомыслия и бескомпромиссности. Он никогда не помышлял приуготовить их к скольжению по дворцовому паркету. Он желал для них счастья, но не того, что легко достигается молчанием и угодливостью. Отец хотел видеть своих сыновей людьми образованными, независимыми, готовыми все принести во благо отечества — таким был и сам Иван Матвеевич. Ему хотелось, чтобы сыновья гордились не столько своим дворянским родословием, сколько сознанием долга гражданина. И теперь, глядя на сыновей, опаленных войной, жесточайшей из всех известных, он с удовлетворением мог сам себе сказать: «Да, они выросли и стали такими, какими и хотелось мне видеть их».

К удивлению всех, Иван Матвеевич обнял сына, сказал:

— Ждешь моих возражений вместе с тетушкой? Я возражать не собираюсь! Относительно академии, дорогой мой Сергуша, целиком согласен. Но, господа, я верю, что война просветила государя и научила провозглашать первую здравицу в честь войска своего и всех сословий русского народа, вознесшего его на высочайшую степень славы.

— Если такое случится, то государь станет любимцем нашим всеобщим! — воскликнул подвижный Никита, потрянув мягкими, вьющимися волосами. — Вот мы спорим, гадаем, предсказываем, мечтаем, верим, надеемся, но не исключено, что и царь наш озабочен тем же, чем и все мы...

— Несомненно озабочен! — не терял оптимизма Иван Матвеевич. — Мы на пороге великой полосы в истории отечества. Господа, вы знаете, как я ласкаем государем, после того как призван ко двору, вы знаете, как за эту

ляску я плачу преданной службой моему отечеству и высокому покровителю, и при всем при том я еще раз повторяю вам, что уже много раз повторял: нет на свете ничего отвратительнее прислужников тирании и нет более презренного на свете, чем то, что называется словом «раб». Доколе человек не убьет в себе раба, он недостоин называться человеком!

Говоря это, Иван Матвеевич думал с волнением о том, как-то примет его государь на этот раз: обласкает ли, как ласкал раньше, найдет ли для него достойное его способностей и ума государственное дело? Для волнений у Ивана Матвеевича были все основания: ему стало достоверно известно через близкого к двору поэта Гаврила Романовича Державина о том, что нашумевшие «Письма», три года подряд анонимно печатавшиеся в «Сыне отечества», вызвали раздражение у старой царицы Марии Федоровны и у великого князя Николая. Государь встретил «Письма», вернее, выдержки из них, прочитанные ему на марше в Париж, холодно. А когда ему стало известно, кто скрывается за анонимом, то он презрительно буркнул сквозь зубы: «Еще одним Гречем прибыло... Иван Муравьев-Апостол службу престолу решил променять на журнальные пустяки. Престол, слава богу, и мое правительство как-нибудь проживут и без его поучений и ссылок на Горация и Ариоста...»

Отцу не хотелось приподнятое, праздничное настроение сыновей и всех петербургских родных омрачать недобрыми вестями. И он решил умолчать о них, тем более что придворные слухи нередко расходятся с действительностью.

После того как Иван Матвеевич закончил свою речь словами: «Доколе человек не убьет в себе раба, он недостоин называться человеком!», Никита вскочил, вскрикнул «Браво!» и, выбежав из гостиной, тотчас вернулся с книжкой журнала «Сын отечества».

— Хочу, дядюшка, из ваших «Писем» прочитать строки, которые развивают вашу прекрасную мысль о пагубности рабства как бы в приложении к России.— Никита раскрыл журнал и начал читать: — «Какой народ! Какие в нем силы телесные и душевные! Москва, по моему мнению, в виде опустошения, в котором она является теперь, должна быть еще драгоценнее русскому сердцу, нежели как она была во время самого цветущего ее положения. В ней мы должны видеть величественную жертву спасе-

ния нашего и, смею сказать, — жертву очистительную. Закланная на алтаре отечества, она истлела вся: остались одни кости, и кости сии громко гласят: «Народ российский, народ доблестный, не унывай!.. Познай сам себя и свергни с своей могучей выи свой ярем, поработивший тебя, тирана, подражание пигмеям, коих все душевные силы истощились веками разврата. Познай себя! а я, подобно фениксу, воспарю из пепла своего и, веселясь о тебе, облекусь в блеск и красоту, сродные матери городов российских, и снова вознесу главу мою до облаков! — Не глядя в журнал, Никита с пафосом произнес: — Познай себя, Россия! Пришел и твой срок!»

— А мы не только не познали себя, но забыли свой язык и говорим на чуждом нам варварском наречии! — вновь с молодой горячностью заговорил Иван Матвеевич. — Враги наши вторглись в священные пределы нашего отечества, ограбили, осквернили святыни, алтари, убили наших единокровных братьев, смешали кровь их с пеплом сожженных наших жилищ и храмов, а мы — мы на этом самом пепле, еще не остывшем, платим им дань уважения — говорим их языком! Скажете: привычка? Пусть это будет так, юные друзья мои! А где наше самозлюбие? А где наша национальная гордость? Ведь усваивая иностранный язык как заменитель природного, перенимая иностранные моды, мы мало-помалу привыкаем прилагать ко всему иностранный масштаб, чужими глазами смотреть свысока на родину свою, на свой народ!..

Ивану Матвеевичу пришлось прервать свою речь, потому что за дверями гостиной слышались многочисленные шаги и веселый говор.

В салон вошли Егерского полка штабс-капитан Иван Якушкин, Преображенского полка штабс-капитан князь Сергей Трубецкой, поручик Павел Пестель. Последний привлек особенное внимание присутствовавших в гостиной. Хороши были его черные с блеском глаза, горящие умом и энергией. К тому же его нездоровая бледность и хромота — след недавнего ранения — окружали его особенным романтическим ореолом. Последним вошел приятель и однокашник Якушкина граф Николай Толстой. Все они были во фраках, что импонировало вкусам хозяйки дома, никогда не преклонявшейся перед блеском парадных мундиров и нагрудным многозвездием.

— А мы все считали, что вы, Иван Дмитриевич, пребываете в Ораниенбауме, ведь там высадилась 1-я

гвардейская дивизия? — обратился Никита к Якушкину, чубатому и остроносому молодому человеку, с глазами по-мальчишечьи озорными и дерзкими.

— Уже несколько дней, как блаженствую у графа, — ответил Якушкин, кивком указав на Толстого. — Мне дано позволение уехать в Петербург и ожидать здесь полк; этим-то я теперь и занимаюсь.

— И нравится вам это занятие? — смеясь, спросил Сергей Муравьев-Апостол.

— Готов продлить его до бесконечности, если учесть все мытарства, какие довелось мне претерпеть во время морского перехода из Гавра.

— Посейдон был немилостив?

— Ровно настолько, чтобы дать мне понять: мореплавателя из меня не получится.

Этот легкий, сопровождаемый смехом, разговор, касавшийся возвращения 1-й гвардейской дивизии морским путем из Франции, был прерван вмешательством Ивана Матвеевича. Он обратился к Якушкину:

— И как после всех мытарств находите вы жизнь нынешней столичной молодежи?

— Нахожу ее утомительной, скучной, однообразной и бесцельной, — отозвался Якушкин. Этот его ответ совершенно не вязался ни с выражением его серых глаз, светящихся веселой дерзостью, ни с его вовсе не меланхолическим обликом.

— И вы, Павел Иванович, такого же мнения? — обратилась к Пестелю Екатерина Федоровна, довольная появлением желанных гостей.

— Наша молодежь еще не успела опомниться от ошеломляющих маршей взад-вперед через всю Европу, не успела счистить со своих сапог всю грязь походную. Не говорю уж о голоде и других безобразиях, что были уготованы для войска сидящими в тылу поставщиками.

— А для того чтобы опомниться нашей молодежи, господа, времени потребуется не так уж много, ибо заграничные прогулки, подобные последней, поучительны, — заметил баском Трубецкой, человек, хотя и молодой, но благодаря высокому росту и породистому лицу выглядевший сановито и важно.

— Молодежи должно помочь, чтобы она огляделась вокруг себя, а уж потом и принималась за дела, — пояснил Пестель и сел на диван рядом с Никитой. — Не так ли, Никита?

— Какое же дело вы считаете первостепенным для своего поколения? — спросил Иван Матвеевич, не сводя глаз с Пестеля.

Тот в раздумье потер крутой подбородок, сказал:

— По-моему, разграничивать дела поколений неверно. Поколения неразрывны, ибо они, приходя одно за другим, и составляют поток истории. А поток сей ежедневно и ежечасно вбирает в себя исторический опыт всего народа, людей всех возрастов и даже всех слоев населения.

— Опровергайте Пестеля, Иван Дмитриевич, — шутливо обратилась к Якушкину Екатерина Федоровна.

— Не берусь!.. Опровергнуть Пестеля не легче, чем взять штурмом батарею Раевского, — ответил Якушкин. — Стоит насмерть, как стоял вместе с нами перед редутами Бородина.

Вошли еще три брата Муравьевых: Александр, Михаил и Николай. Все трое офицеры, сейчас они были во фраках, как и остальные, находившиеся в гостиной.

— Муравьевых-то, Муравьевых-то сколько! — радовалась Екатерина Федоровна. — Пол-России! Ну и коренастый же наш куст!

— Есть не менее коренастые: род Пушкиных, Бестужевых, Трубецких, Толстых, — добавил Иван Матвеевич. — Чтобы летописцы и фискалы не запутались в многоветвистом древе нашего родословия, мой дед не зря к своей фамилии Муравьев добавление — Апостол, фамилию своей матери, присовокупил. Хорошо, господа, когда живешь и чувствуешь, что у тебя есть глубокие корни на родной земле. Что не имеет корней, то и цвести не может, а что не цветет, то и плода не дает.

— Однако ныне взята ставка на тех, кто никогда не имел и не имеет корней, — пылко возразил Сергей. — Взгляните на петербургский двор, на состав правительства, на Государственный совет, на все важнейшие правительственные учреждения и отрасли — много ли вы там найдете людей с корнями?

— Александр в том неповинен, такое наследие ему досталось от пронемеченных и профранцузенных предшественников, — заступился за государя Иван Матвеевич. — Но если он и дальше не откажется от неметчины, то и я присоединю свой голос к вашему негодованию!

— Он, возможно бы, и отказался, но не знает, как это сделать, — рассуждал Никита, играя табакеркой с нюха-

тельным табаком.— Его со всех сторон облепили, как мухи блюдо с медом, Ливены, Дибичи, Бенкендорфы, Ёнстры, Молеры... Через их жужжанье он стал глух ко всему, что исходит от русских...

Лакей доложил Екатерине Федоровне о том, что на подворье пришел ее крестьянин Антон Дурницын и привел с собой мальчика, просит приюта и желает поклониться в ножки госпоже своей. Говорит, что прибыл царя-батюшку своими глазоньками посмотреть.

— Вон как!..— И она пошла из гостиной следом за лакеем. За ней устремился младший сын ее Саша — тонкий, тихий и застенчивый. Он вдруг почему-то решил, что его величавая мать может отказать мужику в приюте.

— Маман, пускай они ночуют у нас. Ныне такое восторженное состояние у всех, что каждому хочется увидеть своего прекрасного государя. Что бы там ни говорили, он показал себя правителем, достойным России!

— Сашенька, ты в своих возвышенных чувствах не одинок! — сказала мать.— В сии викториальные дни отказывать мужику в ночлеге недостойно Муравьевых! Я не собираюсь изменять человеколюбию...

Едва ливрейный лакей отворил дверь в переднюю, как Антон, перешагнув через порог, упал барыне в ноги. То же сделал и его внучонок, следуя наставлениям деда.

Оба они были с обнаженными головами. Оба одеты в чисто стиранные белые холщовые рубахи с подолом до колен. За плечом у старика висел такой же белизны мешочек.

Это стояние покорного мужика на коленях Саше показалось не только излишним, но даже оскорбительным для хозяев. Юный Муравьев болезненно поморщился.

— Встань, встань! — строго сказала Екатерина Федоровна.— Зачем это об пол лбом колотиться? Ты тоже человек...

— От самого спасителя, барыня, мужику навечно заповедано земно кланяться своим господам,— все еще стоя на коленях, отвечал Антон.— Так и у других заведено. У нас бурмистр и то люто дерется, ежели на колени не брякнешься перед ним в конторе.

— Дерется? Это смиренник Григорий-то?

— Смирные-то, они, барыня, выходят злее буйных. Только бог с ним, я ведь не с челобитьем на него.— Антон поднялся с колен. То же сделал и мальчонка, синеглазый, курносый, с выгоревшими золотистыми волосами, закуд-

рявленными у висков. Он напоминал молоденький веснушчатый рыжик под зеленой елкой на опушке.

Муравьева спросила старика, как идут дела в вотчине: все ли запахали и засеяли, какие виды на покосы и хлеба в этом году, у всех ли хватило хлеба до нового, сберегли ли мужики скотинку, все ли исправно платят установленный вместо барщины сносный оброк.

— Слава богу, с работами в поле управились,— деловито докладывал Антон.— А виды, барыня, на хлеба, как и в прошлых летах, невеликие, все опять страшатся голодухи, как и в позапрошлом году.

Екатерина Федоровна осведомилась также, раздал ли староста, как ему предписано было, рожь в скирдах и обмолоченный овес самым бедным. Перекрестившись, Антон стал припоминать, как, кому и сколько раздатель назначил из барского воспомоществования.

Сын стоял позади матери, с интересом слушая рассказ о суровом житье-бытье деревенском.

— Где руку-то потерял?

— А вот где, государыня... Сам себе кормилицу отрубил, чтобы не достаться хрянцузу в службу,— и он в подробностях поведал историю о том, как попал в плен к французским фуражирам.

— Пойдем в гостиную,— взволнованно сказала Муравьева.

— Увольте, барыня, мы к такому непривычные...

— Идем, идем,— и Екатерина Федоровна взяла его под локоть.— Но только чтобы в ноги не падать! Слышишь? И ты, мальчик, пойдем! — И она ввела смущенного Антона в парадную гостиную. Восхищенно представила необычного гостя: — Сей истинный потомок Муция Сцеволы заслуживает Георгия Первой степени. Сколько же потрясающей доблести обнаружила в народе нашем страшная война! Рассказывай, Антон...

Перед столь многочисленным блистательным собранием мужицкий язык сначала слегка запинаясь, порой сбиваясь, но потом слово по слову выправился, обрел плавность, образность. И гвардейская молодежь, и статские пожилые приняли рассказ с восхищением — ведь героическое не меркнет, если даже о нем поведано не очень складно.

— Твой патриотический подвиг, Антон, стоит того, чтобы о нем узнала вся Россия,— заговорила восторженная Екатерина Федоровна.— Ты же герой! Я непременно

свожу тебя к нашему знаменитому историографу Карамзину. Представлю тебя и старейшему нашему поэту Гаврилу Державину. Трубный глас его я нахожу божественным, особенно в лучших произведениях!

— Однако не во всех,— заметил Пестель.— Например, его «Карета» удивительно живописна по словесным краскам, по умению распорядиться словом, но по мыслям, по общему духу она являет собою своего рода успокоительное лекарство для напуганных революционными громами Франции деспотов и их чад! Не потому ли идет молва, что старая царица каждый вечер заставляет своего чтеца читать для нее «Карету» на сон грядущий как спасительную молитву.

— Не спору, Павел Иванович! Повезу Антона к поэту Федору Глинке. Он адъютант Милорадовича и сумеет взяться за дела,— шутливо отвечала Муравьева.— И непременно нужно сделать так, чтобы кто-то обратил внимание государя на подвиг одного из его подданных с тем, чтобы увенчать этот подвиг заслуженной и достойной наградой!..

— Я завтра же буду об Антоне говорить с моим полковым командиром генерал-адъютантом Потемкиным,— предложил свои услуги Сергей Муравьев-Апостол.— С тех пор как наш полк заслужил Георгиевские знамена, мы все стали любимцами государя.

— А есть еще более верный ход,— подал голос Якушкин, сидевший в мягком розовом кресле.— Заинтересовать этим делом нашего друга Сергея Волконского! Он еще ближе к государю, нежели Яков Потемкин.

С Якушкиным согласились.

— А теперь, Антон, ступай на кухню, скажи там повару, чтобы накормил,— сказала Екатерина Федоровна.— Да пускай чарочку поднесет... Или не употребишь?

— Дыть, как и все протчие... С превеликим удовольствием,— разулыбался широколицый Антон.— Винцо, оно, ежели в меру, свято, как и хлебушко. Одно — тело Христово, другое — кровь его, пускай хоть и мутная... Только редко приходится — дерут три шкуры.

— Поужинав, скажешь там человеку, чтобы место указал в людской,— заботливо наказывала Муравьева, провожая Антона с мальчиком до передней.— Да чтобы не на голом полу, а на подстилке соломенной с тюфяком.

— Дай тебе бог здоровья и долгих лет! — порывисто

поклонился в пояс чуть не до слезы растроганный хлебопашец.— Встрела нас как мать родная. Не стоим мы того. Мужiku и конура — фатера, и дроги — палаты. На что нам тюфяки? Лучше на полу. Мы к голым доскам привыкли.

— Ступай, ступай ужинать. Вишь, распелся, голосистый соловей.

— Нашенские постоять любят. Как же, барыня, иначе-то, ежели бог послал добродетельного человека? Народ-то по доброму слову извелся, по ласковости. Уж больно дурно, когда и просвета никакого душа не видит и не ждет его,— предался своим размышлениям многодумный Антон.

— А богу молишься? — выслушав, спросила она.

— Да, барыня. Всем селом молимся. А как же?.. Только бог-то у нас свой... Истинный. А не тот, перед которым митрополит здешний кадит.

— Да ты, знать, старообрядец?

— Нет. Но книги святые читать люблю,— отвечал мужик.— Без них давно бы поглотила нас пучина мрака и всесветной лжи. Кабы господь сподобил меня лицезреть государя нашего, то сказал бы я ему спасибо за его указ от 1801 года насчет неотеснения тех, кои уклоняются от православия.— Он вздохнул. Помолчал. И добавил с приглушенной яростью: — Мы вот не уклоняемся, но вопреки воле царской терчим притеснения, какие могут исходить лишь от самого дьявола! Везде творит нечистый закрепощение тела и ослепление духа — такого ярма и татарское иго для нас придумать не смогло.

Он говорил спокойно, но убежденно. Муравьева с интересом слушала остановившегося у порога мужика и дивилась цельности характера этого человека с отважным сердцем и душой, мятущейся, ищущей ответы почти на те же вопросы, на которые ищут их во дворцах и палатах. Рубище, оказывается, не помеха уму беспокойному.

— Сказал бы я государю — спасителю отечества и веры, что один анчихрист прогнан с нашей земли, повержен во прах, но другой сатана притаился поблизости престола,— рассудительно вел речь Антон.— Сказал бы я ему, как писано в одной старопечатной книге: и продал ты нас, государь, в руки врагов незаконных, ненавистнейших отступников и царю неправосудному и злейшему на всей земле. И ныне мы не можем открыть уст наших, мы

сделались стыдом и поношением для рабов твоих и чтущих тебя,— Антон перевел дыхание и возвысил голос до силы проповедника: — Государь, не суд страшен, а судьи! Если ты воистину разумен, послушай сначала, что народ о делах твоих говорит, что он думает о тебе и слугах низких твоих и лицемерных...

Вдруг Муравьева почувствовала себя неловко перед этим одетым в грубый самотканый холст соотечественником. Неловко потому, что вежливо отсылает его ужинать в людскую, а не пригласила к господскому столу вместе с теми, кто сейчас беззаботно витийствует в блестящей гостиной, к столу, который скоро накроют. Ей сделалось стыдно, что, не помышляя о каком-либо пренебрежении безруким храбрецом, уже тем унизила его, что встретила со снисходительностью чисто барской, а он заслуживает совсем иного обхождения. При всей внешней забитости, при традиционном безотчетном раболепии, он человек гордый и умный, умеющий окинуть любой предмет своей мыслью и независимо высказать свое открытое суждение.

— Если ты, Антон, не очень проголодался и можешь немного потерпеть, то я хотела бы пригласить тебя к нашему столу,— решила Екатерина Федоровна.— Господам офицерам будет интересно тебя послушать.

Антон вместо ответа лишь шевельнул могутным плечом.

— Значит, потерпишь? — улыбнулась Екатерина Федоровна.

— Пресветлая госпожа наша, мужик-молчун тысячу лет терпит. Хоть и кость трещит, а все равно терпит, стоит, не ломится,— ухмыльнувшись, напевно заговорил он.— Ежели б из мужицкого терпения веревку скрутить, то такой веревке износу не будет. Ежели из нашего терпенья мостовую проложить, то хоть Царь-пушку по ней кати. А ежели мужицкое терпение, как синь-горюч порох, крепко сжать да запал подвести, то никакие горы не устоят. Сколько желательно, столько и потерпим.

— Вернемся в гостиную. А мешочек сними здесь.

Антон послушно, как малое дитя, снял мешочек, положил на стол.

— А что в нем у тебя?

— Корешок чемерицы. Сам накопал. Раны баско затягивает.

— Вот как хорошо,— уже проще говорила Екатерина

Федоровна. — Подари горстку офицеру Павлу Ивановичу Пестелю. Он там, в гостиной. На ноге у него рана застарелая. На поле Бородинском разбило ему колено. Так с костылем дошел до самого Парижа, и за то золотой шпаги удостоен с надписью: «За храбрость».

Выслушал Антон, вздохнул и сказал:

— А я, милостивица ты наша, на месте царя взамен множества золотых сабель и шпаг сковал бы одну лишь, красоты небывалой, и наградил ею всю Россию, потому как она в себе соединила геройство всех. Душе нужна награда, а не телу. Ее ни золотой шпагой, ни лентой через плечо не удовлетворишь. Душа извечно ищет истинной воли и света, не презри ее страдания, не помешай ее исканиям, тем и сотворишь людям награду нерукотворную, себе же — памятник вечный в молве потомства.

Мысли Антона, как ячейки кружева, низались одна к другой. Екатерина Федоровна и не подозревала о существовании подобных златоустов среди своих крепостных мужиков. Прислуга проводила Антона в покои, где можно умыться и сменить дорожную рубашку.

Муравьева сама подала мужику мыло и ласково кинула на плечо сообразительному мальчишке махровое полотенце с яркой ручной вышивкой по концам. Ушла.

— Ишь, как господа-то наши пригоже живут, — впервые в жизни встретившись с благами умывальни, тихонько сказал внуку Антон. — Прямо те райский уголок. Ни соринки, ни пылинки. Мыльцо душистое, как сирень в духов день.

Умылись оба. Причесались перед зеркалом деревянным гребешком. У порога их встретила барыня, улыбаясь, повела за собой в гостиную, где уже накрывали столы.

Екатерина Федоровна подвела Антона к бледнолицему поручику Пестелю и сказала участливо:

— Вы, Павел Иванович, не пренебрегаете народным врачеванием?

— Жаждающий исцеления готов поверить во все, — ответил поручик.

— Вот Антон принес с собой какой-то целительной травки в дар столичным лекарям...

— Для всех страждущих, особенно для раненых, — заговорил Антон, по-знахарски буравя умным, пронзительным взглядом исхудалого поручика. — И по лицу вижу, что измучен или ранами, или болезнями. Попробуй, барин, простецкого нашего средства... Вот тебе я отсыпал

сухого корня чемерицы... Помогает ранам, которые никакое лекарство не берет.— Он подал поручику завернутые в белую тряпочку корни, рассказал об их свойстве, дал наставление, как готовить из сухих корней настой чемерицы, как пользоваться настоем.— Не сомневайся.

Антон рассказал поручику, как настоем этих корней он сам лечил обрубленную руку, вспомнил много разных случаев полного исцеления от застарелых ран и гнойных язв. Поручик слушал его с интересом, но без особой веры в силу этого растения, название которого для него было внове.

— Словом, барин, трава могучая. Богом послана людям на здоровье. Но злая к тому, кто обращаться с нею не умеет.

— Чем же она зла?

— Тем, что может человека не только с ног свалить, но и с ума свести,— отвечал Антон.

— Яд, что ли, в ней?

— Яд, барин. Да только яд бывает добрее меда, ежели знать его характер и обращаться с ним разумно.

— С этим я вполне согласен,— сказал поручик.

— Что мед, что яд — любят свою меру,— продолжал Антон.— Где не знают меры, там и от добра не ведают проку. Чемерица все может с человеком сделать: утолить боль, прогнать с души тоску-кручину, избавить душу от всех страхов земных и небесных. И тому примеров было немало в наших местностях.

С каждым словом мужика Пестель проникался к нему все большим уважением.

— А какие примеры? — с интересом спросил он.

— А вот какие: ежели выпить побольше отстою чемеричного, то можно с песней положить собственную голову под топор и не убояться. Или, скажем, человеку отпиливают гнилую ногу по самой середине, а он и не поморщится...

Поручик с удивлением смотрел на Антона.

— Вижу, барин, напугался ты моей травы... Не бойся, она тебе поможет,— улыбнулся Антон.— Только не сочти меня за пустобреха или колдуна: ни тем ни другим не занимаемся. А всю правду знать тебе об этой траве следует. Были и такие случаи, когда отец, приняв соку чемерицы, собственных детей и лишал живота...

— Ради чего же это? — с еще большей заинтересованностью спросил поручик Пестель.

— Это когда у человека не остается никакого выхода. Так однажды случилось в нашей местности, когда было сильное притеснение старой вере.

— Люди травили сами себя соком чемерицы — правильно я понял? — спросил поручик.

— Нет, не совсем правильно... Насилие над духом человеческим и мед может обратить в яд... — замысловато вел рассказ Антон. — Не то чтобы люди сами себя травили, но обороняли свою душу и души своих близких от лжемудрости поповской. Особенно при Павле Петровиче началось это. Вот тогда-то и вспомнили о чемерице сильные духом люди. Верный своей вере человек, видя полную безвыходность, наварит чемерицы, напоит ею отца, мать, жену, всех детей, ночью возьмет топор и поведет всех в овин. Приведет — и кладет голову на чурак. Покончит со всеми, а последним сам себя порешит...

— Какая безрассудная жестокость, — качая головой, заметил поручик.

— А гонение на веру разве не жестокость? — оспорил Антон. — Притеснение во всем виновато... Ведь у нас так все поставлено и законами подперто, что любой может нож вытереть о душу другого человека и не понести за это никакой кары. Вот люди и плевали в чашу с православным медом и спасались соком чемерицы...

Пестель подозрительно посмотрел на подаренные ему корешки... Но недоверие еще больше возбуждало решимость рискнуть, испытать исцеляющую силу удивительного растения.

Вся гостиная нынче слушала Антона

3

День и ночь не прекращались работы у петергофского въезда. Стучали топоры, сверкали выветленные лопаты, пылали костры, в подвешенных чугунах кипела смола; огромным муравейником шевелилась толпа мастеровых. Тут вместе с плотниками и каменщиками трудились ваятели и зодчие — на скорую руку возводились ворота, — нечто вроде триумфальной арки, — над которыми должны были вознестись шесть вздыбленных лошадей, символизирующих собою шесть гвардейских полков 1-й дивизии, что недавно вернулась на родину морем и высадилась в Ораниенбауме. Художники и архитекторы сбились с ног в этой спешке и горячке. Известный Воронихин, по чьему

проекту несколько лет назад был воздвигнут величественный Казанский собор, простудился и теперь лежал в лихорадке.

Многим гвардейским офицерам 1-й дивизии было разрешено выехать в Петербург и там ждать прибытия своего полка на постоянные квартиры.

Привыкшие ко всему, дворцовые белошвейки, портные, парикмахеры все эти суетные дни крутились как грешники в аду. Старая царица Мария Федоровна и великая княжна Анна Павловна, известная своей привлекательностью, готовясь к торжественной встрече государя, никак не могли остановиться окончательно при выборе необыкновенного, ни на чье не похожего викториального платья и пышной прически. Не в пример им, молодая и скромная царица Елизавета Алексеевна смотрела на всю эту суету приготовлений с затаенной иронией. Она не гоняла горничных, фрейлин, камердинеров, а по заведенному ею обычаю читала с утра и до вечера, уединившись во дворце на Каменном острове.

И вот над дворцом взвился флаг, возвестивший о возвращении императора. Настал долгожданный день вступления победоносных полков в столицу.

С утра бесчисленные богатые экипажи потянулись к петергофскому въезду. Туда же со всех концов города хлынули толпы. Кареты с лакеями на запятках, барские дрожки колесо к колесу ехали длинными вереницами.

От Ораниенбаума к столице катился величественный гром военного оркестра. Начищенная медь сверкала в лучах солнца. Порой блеск молнией пробежал по ровным рядам примкнутых штыков.

Впереди этого грома и блеска на огненной масти жеребце отличной дрессуры ехал высокий, хорошо сложенный, умеренно тучный Александр Первый в мундире офицера Семеновского полка. Он сидел прямо, держа корпус немного вперед, а носки — в прямой линии с коленом.

А вдали, в сизовой дымке, неясно прорезывались очертания петербургских дворцов и башен.

Еще сравнительно далеко гремели трубы и звучали фанфары, а уже все прилегающее к въезду пространство было запружено народом. Полицейские кордоны едва сдерживали нарастающий напор толпы, с обеих сторон грозившей прорвать оцепление и выплеснуться на проезжую часть.

Екатерина Федоровна с сыновьями сидела в своем роскошном экипаже. Все трое Муравьевых-Апостолов вместе с Якушкиным и Толстым успели занять место всего в двух десятках шагов от разукрашенной лентами и гирляндами Триумфальной арки. К этому сооружению сквозь непробиваемую толпу протискивался и Антон с холщовым мешочком за плечами.

За ним, крепко вцепившись в подол дедовской рубахи, влекся юркий Маккавейка. Полиция уже не церемонилась не только с обывателями, но и с господами — чины площадно ругались, толкали, пинали, оттирали вылезавших там и сям за отмелованную черту. Антон с внуком в конце концов просочились туда, куда им было желательно. Теперь они теснились около кареты Екатерины Муравьевой. Им даже было слышно, что говорят господа.

Вокруг Муравьевых-Апостолов сбилась целая офицерская группа: Илья Долгоруков, Павел Пестель, Сергей Трубецкой со своим другом Шиповым. Сюда же протиснулись и три брата Муравьевых (особая линия этого рода — Александр, Михаил, Николай).

Шесть алебастровых лошадей, наскоро вознесенных над аркой, именно потому, что они были алебастровые, невольно придавали грандиозному торжеству привкус нарочитости, какой-то условности. Пожалуй, совсем бы другие мысли и чувства навевала Триумфальная арка, если бы над нею неколебимо стояла бронзовая или чугунная шестерка. Об этом думал Сергей Муравьев-Апостол, глядя на хрупкий алебастр.

— Итак, господа, встречаем великодушного Александра! — сказал Долгоруков.

— Да, встречаем царя русского! — отозвался Матвей Муравьев-Апостол.

— Нет, господа, уже в 1813 году Александр Павлович перестал быть царем русским и обратился в императора Европы! — горделиво добавил Иван Якушкин. — Как прекрасен был он в Германии в те дни, когда решительно призывал ее ко всеобщему восстанию и вооружению! Но еще прекраснее был он, когда мы вместе с ним входили в Париж! Ведь тогда он не дал никому из союзников вытоптать те хрупкие ростки, что взошли из семян, упавших на французскую почву в 89 году!

— Пожалуй, ты прав, Иван! — поддержал Долгоруков. — Республиканец Лагарп, наставник юного Алек

сандра, ныне может быть доволен действиями своего штомца...

В сопровождении конного наряда подкатила золоченая карета и остановилась недалеко от «муравьевской дружины». В карете чопорно восседала императрица Мария Федоровна рядом с великой княжной Анной Павловной. Их изысканные, радужно переливающиеся одежды приковали к себе завистливые взоры находившихся поблизости модниц-аристократок.

Анна Павловна была молода и привлекательна собой: ее мать, старая царица, чьи морщины и дряблость уже не могли сгладить ни лекари, ни парикмахеры, ни портные, тоже старалась молодиться: ей хотелось выглядеть лучше, чем она есть.

Сокровенная зависть к властителю-сыну и поныне не угасла в ней. В мартовскую кровавую ночь 1801 года ускользнувшая из ее рук корона, братьями Зубовыми и соучастниками их была поспешно возложена на голову Александра. Мария Федоровна до сих пор не забыла этого поражения. Ведь она когда-то не в шутку готовилась к повторению роли Екатерины Второй на российском неразборчивом престоле...

Сидящая в карете императрица была видна Антону и его внуку. У Маккавейки сильно затокало сердце: до этого царей, цариц, королей и королевичей он представлял себе только по сказкам, сказывать которые был мастер его дед, а тут вдруг подвалило увидеть живую царицу и настоящую золотую карету.

— Дедуня, а где же царь-то?

— Скоро узрим. Не отставай. Держись крепче.

— Осади, олухи! Ослы! Бараны! — раздавались окрики полиции.

Но вот во все трубы, фанфары и барабаны оглушительно рванул приблизившийся оркестр. Гром его торжественно вкатывался в столицу со стороны Ораниенбаума и расчищал запруженную зрителями дорогу для царя, для его блистательной свиты и всей 1-й гвардейской дивизии, колоннами побатальонно следовавшей за венценосцем. Офицеры и рядовые были в парадной форме. Над пробитыми в боях медными шапками развевались знамена.

— Государь! Государь! — повторяли тысячи и тысячи уст.

Маккавейка еще крепче прижался к деду. Все для

него было как сновидение. На приплясывающем огненно-рыжем жеребце красовался царственный всадник в семеновской треуголке, упоенный почестями всей Европы, взволнованный криками ликования на протяжении всего длительного пути. На него было приятно смотреть: на полном, округлом лице играла обворожительная улыбка, и голубые глаза лучились добротой. Он держал в руке обнаженную шпагу, готовясь склонить ее перед старой императрицей.

Было среди встречающих много искренних, горячих сердец, много было слез непритворных. Прослезился и Антон, теснимый и сжимаемый со всех сторон и не знавший, куда ж ему деваться, чтобы не попасть под кулаки озверевшей полиции. Блеснула влага на глазах Ивана Якушкина, на глазах братьев Муравьевых-Апостолов. В эти минуты для народа император олицетворял ратную доблесть всей России.

В двух-трех шагах сзади государя несколькими рядами следовали свитские генералы. И среди них, много совсем молодых!

Вдруг в самый трогательный момент, когда Александр готов был склонить обнаженную шпагу перед своей матерью — вдовствующей царицей, из толпы, под бешеным напором задних, выперли на проезжую часть однорукого Антона с Маккавейкой. Рассвирепевший полицейский ударил старика кулаком по лицу и хотел силой втолкнуть обратно в стадно ревущую и напиравшую стену, но это оказалось невозможным.

Антон, чтобы избавиться от тумачков, кинулся через свободную от зрителей проезжую часть на другую сторону. За ним, держась за подол его рубахи, трусил мальчонка. Но и с той стороны на них угрожающе рявкнул полицейский, пригрозив кулаком. А царь приближался...

Старик и внук как ошалелые заметались между двумя плотными, локоть к локтю, рядами орущих полицейских. Они оба совсем потеряли голову, окончательно закружились, не зная, куда деваться, где искать спасения.

«Что они гоняют несчастного мужика?» — возмутился Иван Якушкин и сжал кулаки.

Антон метнулся к арке. На спине его трясся холщовый мешочек с чемерицей. Но внезапно, чего-то устранившись, поворотил и припустился прямо посередине дороги впереди царя. За ним, дав огненно-рыжему иноходцу

шпоры, с поднятой обнаженной шпагой погнался государь и скакал за смятнным мужиком до тех пор, пока тот не споткнулся. Подлетевшие полицейские выхватили обеспамятевшего Антона из-под копыт и тут же, прямо на глазах у императора и свиты, стали жестоко избивать его. Маккавейка, прыгая на одной ноге (плюсна другой была разможжена шипами подковы), успел затеряться в толпе.

И сразу весь парадно-викториальный блеск, вся торжественность погасли, померкли, исчезли для Ивана Якушкина и его друзей. Уже не хотелось смотреть, как самодержец, только что едва не растоптавший опростоволосившегося мужика, театрально склонил обнаженную шпагу перед царицей.

Якушкин готов был зарыдать от испепеляющей, нестерпимой досады, от ошеломительного, ураганом налетевшего, непоправимого разочарования в кумире. Не хотелось верить во все то, что разыгралось перед его глазами; на виду у многочисленной толпы, в присутствии дипломатического корпуса. Не хотелось верить, но и не верить было нельзя. «Это не он... Это не Александр... Такого монарха я не знаю», — в иступлении размышлял оскорбленный Якушкин. Теперь он желал лишь одного — поскорей выбраться живым и невредимым из этого скопища господ и рабов, не видеть больше ни золоченых карет, ни самого царя, ни его блистательной свиты.

— Какой позор... Какой стыд... — проговорил Матвей Муравьев-Апостол, крепко сжимая горячую как огонь руку Пестеля.

— Такое не забывается, — сказал его брат Сергей.

— Что это с царем?! — воскликнул Трубецкой.

Но больше никто не хотел говорить о царе. А батальоны, вытягивая носок, уже церемониальным маршем печатали гвардейский шаг по эту сторону ворот.

Николай Муравьев шепнул Матвею Муравьеву-Апостолу:

— Завтра ввечеру приезжай к нам с братьями.

— Чем угостишь?

— Самым лучшим, что я мог найти в современном просвещенном мире, — «Общественным договором» Руссо. Будет обсуждение.

— Кто еще ожидается?

— Я, мои братья, Артамон, юнкер конной гвардии Сенявин, Петр и Павел Калошины и несколько лицеистов.

— Непременно буду.

Военный оркестр гремел и гремел. Алебастровые кони над воротами содрогались от четкого могучего шага вливающих в празднично украшенный город гвардейских полков.

4

Волоча раздробленную ногу, Маккавейка затемно приковылял на подворье к Муравьевым, которые уже знали о несчастье, случившемся со стариком и его внуком. Муравьева послала на поиски пропавшего мальчика нескольких слуг и просила узнать, не содержатся ли где в полиции старый да малый.

Приходу Маккавейки все в доме обрадовались, огорчало только отсутствие старика, неведомо где запропавшего.

Послали за лекарем в соседний дом. Лекарь осмотрел ногу, перевязал ее в лубки и сказал, что пострадавшему придется полежать недель шесть.

Маккавейку уложили во флигеле, где жила домашняя прислуга. Его накормили, обласкали, успокоили обещанием скоро вылечить. Но мальчика сейчас больше всего пугало исчезновение деда. Он видел, как полицейские били его палками, и потому боялся, что деда уже нет в живых.

— Найдется твой дед,— успокаивала Екатерина Федоровна.— Такого не бывает, чтобы полицейские забили до смерти. Поди, заблудился в городе, народу много было.

— А вдруг не найдется?..— тосковал Маккавейка, и на глаза его набегали слезы.

Вечером в гостиной Муравьевой не слышалось похвал царю. В память каждому он врезался бешено преследующим двух растерявшихся людей. Эта выходка вызвала бесконечные толки по всей столице, не только в салонах, но и в мастерских. Никто не понимал, для чего нужно было упоенному славой и величием самодержцу скакать галопом за каким-то обезумевшим от страха, незадачливым мужиком.

— Это можно объяснить лишь тем, что царь не сумел удержать жеребца,— проговорил Якушкин, может быть острее других принявший к сердцу столь неприличное для императора происшествие.

— Жеребец был взнуздан, и не будем с головы царя

пилить на здоровую голову жеребца,— сказал Сергей Муравьев-Апостол.

После вечернего чая молодежь дружно принялась упрекать Ивана Матвеевича за то, что своими пылко написанными «Письмами» он может посеять вредную сумятицу в умах многих, кто не любит трудиться и не желает ничему учиться всерьез. Такие лентяи и нелюбознательные недоросли из дворян найдут оправдание своей лени в его призывах повернуться спиной ко всему европейскому, в особенности же к французскому. Иван Матвеевич выслушал своих критиков и рассмеялся.

— Где же вы это вычитали в моих «Письмах» хвалы невежеству и оправдание новоявленных Скотининых и Митрофанушек? Нельзя развить ни воображение, ни эстетические вкусы без изучения всемирной литературы. Я призываю лишь к одному: пора нам снять с носа французские очки и научиться на все в мире смотреть через свои стекла, так как они у нас несколько не хуже чьих-либо. Я неоднократно говорил и не перестану говорить о прелести и важности углубленного изучения Лессинга, Шиллера, Данте, Тассо, Альфьери, Сервантеса, Шеридана, я не перестану восторгаться Шекспиром. Я всегда воздавал и воздам должное народу, давшему миру Лафонтена, но я глубоко буду презирать того русского, который, почитая Лафонтена, унизит заслуженное величие нашего гениального Ивана Крылова! — с каждым словом Иван Матвеевич по-молодому возгорался полемическим жаром. — Отличное знание всех европейских языков необходимо для каждого, кто хочет получить право быть ценителем искусства — с Клопштоком, Альфьери, Кастии и многими другими. Я далек от мысли унизить кого-либо, но и свое, русское, родное, никому не дам обидеть и унижить. Без знания европейских языков нечего и браться за изучение западной литературы, как без знания русского языка всякое суждение об истории России, характере ее народа, об ее искусстве будет приблизительным, поверхностным, неточным. Спросите нашего Воронихина, постиг бы он величие храма святого Петра в Риме по одним рисункам и моделям? Спросите нашего Егорова, познал ли бы он Рафаэля из Джиордановых списков?

Примеры, приводимые им, были неоспоримы.

— Так точно и в общей литературе, молодые люди. Если хотите иметь основательное понятие о свойствах,

преимуществах и недостатках народов, наиболее в письменах отличившихся, так сперва поучитесь их языкам; прочитайте Данте на итальянском, Сервантеса на испанском, Шекспира на английском, Шиллера на немецком! И не пускайтесь в критику иностранных литератур, смотря на них только через французские стекла. Поэзия — язык богов! Учитесь извлекать величайшее наслаждение из божественного звучания!

Лицо Ивана Матвеевича озарилось вдохновением, и он начал наизусть читать картины из Данте.

Итальянская благозвучная речь, лаская ухо, плавно лилась из его уст, по-итальянски он говорил так же легко и свободно, как и по-русски. С итальянского чтец артистически перешел на испанский; отрывки из бессмертного творения Сервантеса помнил он так же превосходно, как и поэму Данте. Молодежь в благоговении смолкла перед человеком, поразившим всех своими познаниями. Потом он прочитал большие куски из Шекспира на английском и из Шиллера на немецком.

— Ничто так не открывает перед нами душу другого народа, как знание языка! — прервав чтение, проговорил Иван Матвеевич. — Великие языки породили и великих мастеров, таких, как Эсхил — царь всех первоклассных трагиков! Но он упоителен лишь тогда, когда его слышишь на божественном языке Гомера! — И тотчас Иван Матвеевич прочитал на греческом монолог Прометея, прикованного к скале разгневанным Зевсом, а затем прочитал свой перевод монолога на русский. — Вот у кого всем нам надо учиться любить людей и служить им бескорыстно до последнего дыхания — у бессмертного Прометея, что дерзнул принести с неба страдающим людям божественный огонь! Я не знаю более совершенного художественного образа, чем Прометей! Он пережил тысячелетия и остался первозданно молод! И никогда не забудет о нем человечество! — кончив чтение, заключил Иван Матвеевич.

Монолог Прометея произвел на всех ошеломляющее впечатление, в душу каждому повеяло героической Элладой, полной земных и небесных чудес.

— За ваш превосходный перевод Эсхила русские читатели премного благодарны вам, Иван Матвеевич, — сказал Якушкин. — Но хотел бы я знать, что больше всего привлекло вас, как переводчика, в этом трагике?

— Привлекла его главная идея, — не задумываясь,

отвечал Иван Матвеевич.— Сила и глубина идеи определяют и мощь таланта! Я нахожу, что главной идеей Эсхила было показать согражданам борьбу сильной души, возвышенной и просветленной рассудком здравым, умом независимым и спокойным, против мрачного деспотизма. Чтобы выразить свою идею, Эсхил прибегает к картинам, рисуя ряд противоположностей между действующими лицами и величайшим героем-мучеником.

— В чем же заключены эти противоположности? — спросил Александр Муравьев.

— Первую яркую противоположность мы видим в сцене объяснения Прометея с подлыми и отвратительными прислужниками тирании. Верно, прислужники эти подлы не в одинакой мере. Менее подлый из них Вулкан не одобряет того, что ему повелено исполнить. Он даже сокрушенно вздыхает, однако натура рабская и в нем берет свое, и он, подобно остальным прислужникам тирании, повинуетя, потому что он низок, труслив, раболепен, одним словом — раб... А всякий раб соединяет в себе все низкое и подлое...

Сергей не сводил глаз с увлекшегося отца и нынче, как никогда до этого, был доволен им. Отцовские слова были убедительными, потому что в них звучала истинно гражданская озабоченность.

— Что самое величественное считаете вы в Прометее? — спросил Никита.

— Самым величественным в трагедии является тот выход Прометея, где наш непреклонный герой не хочет удостоить ни словом и ни полусловом жалких слуг Тирана — ни тех, кто его, Прометея, жалеет, ни тех, кто злорадствует над его несчастьем, которое несравненно выше ничтожного счастья рабов. Несгибаемый Прометей не произносит ни слова, и лишь тогда размыкаются его уста, когда он остается один. Упоительная сцена.

Никита распорядился наполнить бокалы шампанским и, потрянув копною волос, провозгласил:

— За великого гуманиста всех времен и всех народов, чей могучий поэтический образ с высокой скалы обзревает все века и народы, и за тех, кто великие заветы Прометея делает достоянием каждого ныне сущего языка!

Бокалы с искристой, играющей в хрустале влагой сдвинулись, зазвенели.

— Флигель-адъютант от его величества! — доложил лакей.

Муравьева вышла в переднюю. Вскоре она вернулась с двумя конвертами, доставленными из дворцовой канцелярии. Один был адресован ей, а другой — Ивану Матвеевичу Муравьеву-Апостолу. Вскрыли конверты. В них были пригласительные билеты на дворцовый бал, каждый билет на две персоны.

— Вспомнили все ж таки своего бывшего дядьку и великие князья, и сам благословенный, — засмеялась Екатерина Муравьева. — Ну что ж, придется запастись масками...

Иван Матвеевич, держа в руке пригласительный билет, стал рассказывать обступившей его молодежи о том, как он был с детства записан, по обычаям того времени, в Измайловский полк, как учился в немецком пансионе, как начинал свое служебное поприще в Петербурге под началом генерала Брюса, затем — в Коллегии иностранных дел, как одно время заведовал каналом в Шлиссельбурге...

— Жизнь текла размеренно-ровно, скучная и малоинтересная служба не сулила ничего волнующего, — говорил Иван Матвеевич. — И вдруг все изменилось. В 1792 году призывают меня ко двору и определяют «кавалером» при великих князьях. Императрица проявила необыкновенное внимание к моим литературным опытам, как переводческим, так и собственным. За перевод комедии Шеридана «Школа злословия» — я был удостоен перстня с бриллиантом. Ни с того ни с сего пригодились двору и мое образование, дополненное самообразованием, и мое знание иностранных языков и древних и новых литератур, и мои светские манеры.

— Возможно, государь снова задумывает возвратить на государственную службу достойных и хорошо показавших себя людей, — вновь обретая радужное настроение, сказал Якушкин.

— И Державин в своем письме высказывает такие же надежды, — согласился Иван Матвеевич. — Ну что ж, поживем — увидим. Не будем самообольщаться, но и горевать подождем. Надо слугу за новыми лаковыми башмаками посылать к сапожнику. Или лучше в сапогах? Что во дворце в моде? — обратился он к молодежи.

— Государь предпочитает узкие белые панталоны и высокие черные сапоги с кисточкой и тупыми фигурными носками, — отвечал Трубецкой.

Приглашение на бал как будто опровергало встревожившие Ивана Матвеевича слухи об охлаждении к нему государя.

5

Матвей Иванович приехал на бал во дворец вместе с двумя старшими сыновьями. Пригласительные билеты для них раздобыла энергичная Екатерина Муравьева через свою давнишнюю подругу княгиню Мадатову. Приглашенные съезжались дружно, площадь перед дворцом была запружена каретами и дрожками. Дворцовые лакеи и камердинеры носились по коридорам и лестницам, зажигали свечи в настенных светильниках и люстрах. Хрусталь гранением своим множил огни, создавая праздничный блеск.

На парадной, белого мрамора, лестнице, покрытой ковровой дорожкой, догнал Муравьевых-Апостолов генерал-адъютант Потемкин. Он поздравил Ивана Матвеевича с приездом в столицу и счел своим долгом поблагодарить отца за сыновей, снискавших не только уважение, но и любовь к себе всего Семеновского полка. Иван Матвеевич до того был растроган этой приятной отцовскому сердцу похвалой, что не нашел и слов для ответа. Крепко пожимая руку молодцеватого генерал-адъютанта, проговорил:

— Рад... Весьма польщен... Нет выше награды для отца — дети, готовые все отдать... на благо любезного отечества... Лстить не умею... Но скажу: каков начальник, таковы и его подчиненные!

Потемкин взял по-дружески под руку Ивана Матвеевича, и так они вошли в блещущий огнями зал. Вдоль стен толпились приглашенные. Многие из придворной знати приехали целыми семьями. Здесь все перемешалось: мундиры и фраки, башмаки и сапоги со шпорами и подшпорниками, молодые и старые, герои Бородина и придворные шаркуны, французский язык с русским, благородство с подлостью, красота и совершенство с уродством и безвкусицей.

Муравьевы-Апостолы там и сям видели знакомых. Многие из знатных персон спешили поздороваться с Иваном Матвеевичем, давно известным своими трудами всей образованной столице. Его хорошо знали как члена Российской академии, члена Вольного общества любителей

словесности, наук и художеств. Первым к нему подошел сенатор и президент Академии художеств Оленин и сразу пустился рассказывать веселые анекдоты о своем помощнике Лабзине. Затем пожали руку Ивану Матвеевичу вместе подошедшие историограф и поэт Карамзин и граф Строганов. В салонах у этих людей Иван Матвеевич всегда бывал желанным гостем.

Зал был наполнен щеголями и модницами всех возрастов. Однако музыка еще не гремела, ожидали появления царской семьи. Все часто обращали взоры к высоким дверям, ведущим во внутренние покои.

Иван Матвеевич начал было рассказывать о необыкновенном мужике, что сам себе отрубил руку, не желая попасть в услужение неприятелю, но тут высокие двери открылись, и в залу вошел великий князь Николай Павлович. Солдатски-четкий шаг, гвардейский рост и подчеркнутая стройность делали его картинно красивым, и дамы не сводили с него глаз. Продолговатое чистое лицо великого князя выглядело на редкость свежим — чувствовалось, что он отличается завидным здоровьем. Его широкая грудь дышала ровно и спокойно; быстрый, пронзительный взгляд холодных, строгих глаз таил в себе неизъяснимую привлекательность — глаза как бы сами говорили, что строгость является от рождения неотъемлемым, постоянным свойством его натуры. Высокий, открытый, слегка покатый лоб и характерный римский нос, небольшой рот, плотная складка не слишком пухлых губ, энергичный подбородок выдавали породистость. В жестах и движениях — легких, свободных, ловких — не замечалось и тени надменности, чопорности, стремления показаться важным, выше всех стоящим; он был прост и естествен — ни нарочитой медлительности, ни наигранной торопливости; он повсюду и при разных обстоятельствах оставался самим собой, и это качество заставляло многих, отнюдь не шаркунов и льстецов, почитательно относиться к его державной строгости.

Великосветские львицы благоговели и таяли перед ним. На всех балах, маскарадах, гуляниях, раутах, фейерверках, скачках, смотрах, парадах, учениях, на богослужениях в придворной церкви, в театре, — словом, всюду, где бы он ни появлялся, — внимание и взоры дам были отданы ему. И не как великому князю, а как красивому, сильному мужчине, который, по общему признанию аристократок — ценителей мужской красоты, своими фи-

лическими совершенствами превосходил всех прочих офицеров гвардии и армии.

Он обладал звонким, сильным и приятным, близким к тенору, голосом, натренированным на смотрах и маршировках, когда приходится часто и много кричать на нерадивых и тупых командиров. А уж прикрикнуть он любил и умел и знал, как одним словом сразить любого, кто ему не приглянулся или провинился перед ним. В спокойном состоянии речь его лилась размеренно, ровно, но при малейшем раздражении или обиде он начинал частить, переходил на скороговорку.

Он взял под руку только что вошедшего в залу грузного генерала Васильчикова и пошел с ним вдоль зала, что-то рассказывая и рубя ладонью воздух перед собой. Васильчиков лишь кивал головой в знак согласия. Минут через пять он покинул Васильчикова и в ответ на поклон Потемкина и Муравьева-Апостола подошел к ним. Поздоровался со всеми за руку, обменялся несколькими ничего не значащими словами и вдруг, по излюбленной привычке, взял Ивана Матвеевича за пуговицу фрака и, крутя ее, словно хотел оторвать вместе с сукном, стал ему выговаривать, на что едва ли имел право:

— Вы были посланы его величеством как наш посланник следить за всяким шагом Наполеона, но вы плохо оправдали возложенные на вас государем надежды... Ваша беспечность и ошибки обошлись России слишком дорого...

Это было сказано без всяких доказательств и к тому же в присутствии сыновей; всей семье было нанесено жесточайшее оскорбление. Иван Матвеевич, редко терявшийся в самых хитроумных дипломатических схватках, сейчас не знал, чем и как защитить свою и сыновей своих честь. Со лба его градом покатился холодный пот, будто с ним случился удар. Матвей стиснул кулаки и окостенел. Сергей на холодный, взыскательный взгляд великого князя отвечал взглядом еще более холодным и взыскательным. А Николай Павлович, продолжая выкручивать пуговицу на чужом фраке, довершил удар:

— Проиграв Наполеону дипломатическую битву, вы решили обстрелять его из-за спины армии из разнокалиберных пушек «Сына отечества». Читал. Не умеете ни наводить, ни стрелять...

Сергей сжал в комок белую перчатку, чтобы бросить ее к ногам Николая Павловича и тем самым поднять

неслыханный скандал, каким явился бы вызов на дуэль великого князя на глазах у всего общества.

Отец, не помня себя от обиды и возмущения, все же успел схватить пылкого сына за руку. И тут вмешался генерал-адъютант Потемкин:

— Ваше высочество, ваши замечания лучше всего изложить на очередном заседании Добровольного общества любителей словесности, а не в этом зале, где хозяевами должен соблюдаться долг гостеприимства. Все мы — ваши гости. К тому же этот разговор ведется в тонах неприличных и в присутствии лучших офицеров моего полка, ратные подвиги которого отмечены Георгиевскими знаменами. Под этими знаменами отлично служат два сына Ивана Матвеевича. Они перед вами...

Николай Павлович перевел ледяной взгляд на Потемкина, ничего ему не ответил, но пуговицы из руки не выпустил и продолжал:

— Обстреливая Наполеона пыжами, вы, однако, ударили картежами по своим соотечественникам... Вы — Муравьев-Апостол, русский дипломат, сочинитель, именующий себя патриотом...

— Ваше высочество, я вынужден потребовать от вас доказательств, — с трудом сдерживая себя от слов и выражений более резких, почти в исступлении заговорил Иван Матвеевич. — Вы повторяете измышления гнусной клеветы моих завистников...

— Вы всех наших соотечественников назвали рабами... Кому в угоду вы это делаете? — повысил голос до державного звучания Николай Павлович.

— Я в моих «Письмах», ваше высочество, говорил о нашем русском народе совершенно противоположное! Совершенно! Я говорил и говорить не устану: народ, наделенный драгоценнейшими дарами природы, наиспособнейший ко всем успехам ума, с сильною душою, с пылким воображением... И мне кажется диковинным, чудовищным такое небрежение нами ко всему русскому. Меня возмущает до глубин души рабское пристрастие русских ко всему иноземному. И в этом смысле среди русских действительно много рабов! А рабство и истинное просвещение несовместимы. Раб забывает всякое самолюбие. Раб забывает национальную гордость. Раб не может усмотреть теснейшие связи между национальной гордостью и языком, на котором мы говорим. Мы предпочли плохой французский язык родному. Заимствование языка

неизбежно приводит к заимствованию чужих мыслей, а нам нужны собственные мысли, а не занятые. При употреблении родного языка составил бы язык размышления и умствования, то есть язык книжный, которого у нас до сих пор еще нет, да и быть не может...

— Почему же?

— Потому что сколько бы академии ни потели над словарями и грамматиками, проза чистая, логическая не составит, доколе она сперва не обживется в обществах, образованных вежливостью и просвещением. Язык разговорный к языку книжному относится так же, как рисование к живописи,— повторял Иван Матвеевич свои мысли из «Писем».— Не будет первого, не будет никогда и последнего. Вес и значение словам дает употребление, а не определение академиков... Все эти толстые словари я называю арсеналами, хранилищами древних и новых оружий, развешанных по стенам и систематизированных. С первого взгляда сие хранилище кажется сокровищем необъятным. Но попробуй вооружиться этими сокровищами! Не знаешь, за что и как приняться, потому что оружие знакомо тебе только по одной надписи, а по ручному употреблению оно не опробовано никем...

Иван Матвеевич резко отшатнулся так, что пуговица чуть не осталась в руках у великого князя.

Николай Павлович слегка кивнул головой и пошел прочь.

Матвей было рванулся следом, но его придержал за руку генерал-адъютант Потемкин:

— Матвей, опомнись! Я вижу, что ты намереваешься сделать... Не здесь... И не сегодня... И ты, Сергей, тоже... Для меня суждения сего недоучки решительно не имеют никакой цены. И государь никогда не пользуется его оценками и суждениями. И в том для всех нас большое счастье. Я уверен, что государь не разделяет сумасбродных мыслей своего неотесанного братца...

Оленин, набравший в рот воды, во время схватки великого князя с автором «Писем» сгорал от стыда за царского брата.

У Ивана Матвеевича шла кругом голова, ему хотелось скорее покинуть бал, но Потемкин с Олениным уговорили сго не делать этого — демонстративный отъезд из дворца до появления государя истолкуют превратно, и одно несчастье потянет за собою другое. Муравьевы-Апостолы остались.

Грянула духовая музыка. Двери медленно растворились на обе стороны, появились царь в вечернем фраке и царица Елизавета в бальном платье из шелковой кисеи. На плечах у нее был газовый шарф. Царь, высокого роста и пропорционально тучный, поддерживал царицу под локоток. За ними, шагах в трех сзади, шла чопорная старая царица Мария Федоровна. На ней было длинное вечернее платье янтарного цвета со светло-синей отделкой и с коротким рукавом буфами. Поверх него на ней было еще распашное платье без рукавов, оно стлалось длинным шлейфом. Края лифа окаймлены широким белым рюшем, образующим воротник «Мария Стюарт». Голову увенчивала голубая шляпка с узкими полями, руки до локтей обтягивали белые перчатки, также обшитые рюшем. По одну руку от царицы шла княгиня Анна Павловна, по другую — великий князь Константин Павлович. О нем говорили, что он строгостью хочет перещеголять брата Николая, но, как и Николай, часто не отличает строгость от грубости.

Старая царица улыбалась, но лицо ее от этого не становилось добрей и привлекательней. Сзади нее шел личный секретарь Хилков со своей невзрачной и ничем не приметной женой.

Царь станцевал контрданс и к концу танца почувствовал одышку, чего за собой раньше не замечал. Потирая покрасневшую плешь и вспотевшее лицо надутым платком, он думал о том, как бы поскорее и поприличнее удалиться отсюда, где сотни глаз наблюдали за каждым его вольным или невольным движением. Это чрезмерное внимание когда-то его радовало, приносило неизъяснимое наслаждение, а теперь оно тяготило, раздражало, лишало возможности настоящего отдыха. Оно заставляло постоянно помнить, кто ты есть и какие тяготы возложены на тебя твоим исключительным положением. Начинало сказываться перенасыщение почестями и восхвалениями.

Царь поднес к близоруким глазам лорнет в золотой оправе, обвел рассеянным взглядом танцующих, разговаривающих, наблюдающих за молодыми парами, мчавшимися в бурной мазурке. Сергею Муравьеву-Апостолу показалось, что царь сквозь лорнет посмотрел именно на его отца и задержал свое внимание на нем дольше, чем на ком-либо другом.

— Отец, я сейчас дерзну подойти к государю и скажу

ему о всей бестактности великого князя, с тем чтобы государь понудил его извиниться перед тобой,— пылко сказал Сергей.— Я не могу считать исчерпанным твое объяснение с грубияном...

— Иди, Сергей! И я вместе с тобой! — вызвался Матвей.

— Прошу не делать этого... — воспротивился отец.

— Все, что касается чести нашего отца, не может быть для нас безразлично! — настаивал Сергей.— Оскорбив тебя, он оскорбил и нас...

— Сергей, образумься...

Но Сергей, держась ближе к толпящимся вдоль стены, чтобы не затеряться среди крутящихся в танце, уже пробивался в тот конец длинной залы, где среди свитских генерал-адъютантов и их жен стояли царь и царица. За Сергеем последовал его брат Матвей. Иван Матвеевич вынужден был ринуться за сыновьями, чтобы помешать им исполнить опасный замысел.

В эту минуту царь, сдав царицу на попечение князя Петра Волконского и генерал-майора Сергея Волконского, поклонившись, удалился через те же высокие двери, через которые и входил.

Иван Матвеевич с облегчением вздохнул.

6

Царица Елизавета считала Каменный остров, где она проводила большую часть времени, своим надежным убежищем от шума и повседневной придворной суеты. Здесь она предавалась воспоминаниям о своей баденской семье, о живописной долине Неккара — месте ее рождения, вспоминала свои неутешные отроческие слезы, когда ее, тринадцатилетнюю девочку, невесту русского императора, сажала с собой в карету графиня Шувалова с тем, чтобы навсегда увезти из-под неба родной Германии в холодный, неприветливый Петербург.

В тишине каменноостровского уединения Елизавета прочитала книг и журналов больше, чем все обитатели Зимнего дворца вместе взятые. Она высоко ценила сочинения Державина, Дмитриева, Жуковского, Карамзина. На нее произвели сильное впечатление и «Письма» Муравьева-Апостола.

Автор «Писем» через камергера князя Голицына уведомил царицу о своем желании лично отблагодарить

ее за высочайшее благосклонное внимание к его литературным трудам. Елизавета с удовольствием приняла Ивана Матвеевича в своем небольшом, но уютном кабинете на Каменном острове. Ее беседа с писателем проходила в присутствии Голицына.

Потрясенный выходкой великого князя Николая Павловича, Иван Матвеевич не искал здесь утешения, он добивался одного — понимания его труда и устремлений духа. Для него было уже отрадно и то, что через этот порог в покои Елизаветы не заползает змея ненависти и черного недоброжелательства. Он не собирался жаловаться на Николая Павловича и даже при этой встрече не хотел упоминать его имени.

Елизавета с первого же слова ободрила своего собеседника.

— Я с истинным удовольствием читала и перечитывала все ваши «Письма», Иван Матвеевич. Они украсили «Сына отечества». Только так и мог откликнуться истинно русский писатель-патриот на поползновения завоевателя. Вы с присущей вам страстностью и красноречием развенчали врага всего человечества — Наполеона...

— Я знал все коварство этого врага еще тогда, ваше величество, когда он заносил ногу свою на трон Генриха Четвертого. Я возненавидел его с первого же дня дипломатического знакомства с ним и мыслей своих насчет него не переменял, не лебезил и не заискивал перед ним, как совсем недавно лебезили и заискивали, даже недостойно пресмыкались особы вроде нашего Выборгского генерал-губернатора или короля Вюртембергского. — Это дерзкое напоминание Ивана Матвеевича было прямым ударом по старой царице Марии Федоровне. Выражение ума, понимания и обходительности на лице Елизаветы делало его речь свободной, не стесненной опасениями быть неверно понятым. — Я никогда не считал Наполеона великим человеком! Помните, как шипели на меня прислужники? Сколько голосов раздавалось против меня! И эти хулители мои смешивали два понятия, разные между собою: чрезвычайного и великого... Они не хотели заставить себя поразмыслить над тем, что человек может сделаться чрезвычайным единственно от обстоятельств. Но, чтобы истинно быть великим, надобно родиться таковым. Например, как Петр Великий.

— Вашу мысль я полностью разделяю, Иван Матвеевич! Полностью! — проговорила царица. — Вы очень

верно говорите в «Письмах», что никогда обстоятельства столько не благоприятствовали человеку и никогда не бывало безумца, который бы так мало умел ими воспользоваться, как Бонапарте. Он с 1801 года мог сделаться истинным героем, великим человеком, а он предпочел стать бичом рода человеческого. И вам очень к месту поставлен вопрос: умел ли Наполеон быть великим, да не хотел или хотел, да не умел?

— Не умел! И я заключаю, что неумение его происходило от двух причин. Во-первых, от недостатка природных дарований, во-вторых, от воскружения головы его от благоприятных обстоятельств, в которых он так и не сумел найти себя... И пускай скрежещут зубами на меня его близорукие обожатели, но я еще раз повторяю: он совершенно с ума сошел, он помешался на бредовой идее всеобщей монархии, как когда-то помешался Дон-Кихот на восстановлении странствующего рыцарства. Но и в этом случае между этими двумя лицами невозможно поставить полного знака равенства. Рыцарь Печального Образа, герой Ламанчский, был привлекательнейший добрый человек, а корсиканец, мечтающий о мировой монархии,— злодей. Цель Дон-Кихота была мечтательная, но полезная; цель злодея — и мечтательная, и пагубная. Но и это еще не все, что разнит их. Кастильянец был храбр, великодушен, чистосердечен, как младенец, а корсиканец — дерзок, лукав, подл; кастильянец в милой наивности и душевной слепоте своей принимал кукол за людей, а корсиканец — людей за кукол... Дон-Кихота нельзя не полюбить, а вспоминая Наполеона, нельзя не содрогнуться и не возненавидеть его.

— Неужели вы не находите в Бонапарте ни одной черты истинного величия? — спросил Голицын.

— Ищу и не нахожу! Все, что в последние годы служило к поражению умов, принадлежит не ему, а обстоятельствам, и только обстоятельствам,— решительно заявил Иван Матвеевич.— Вернее, той политической горячке, что трясла, подобно лихорадке, народы. То, что выдается за его собственное,— доблесть, ум, предвидение — имеет на себе печать или безумной дерзости, или зверского свирепства, или же самой низкой подлости, коварства, изуверства, обмана, лжи... Он в моих глазах, как и в глазах всей разоренной им России, был и останется навсегда тираном, злодеем, разбойником, который в безумном ослеплении вывел из Франции на Россию

полмиллиона жалких рабов, развращенных им. Он — зажигатель. Он — фабрикант мертвых тел. Он обесчестил Францию и французов тем, что сделал каждого нынешнего француза синонимом чудовища, варвара, изверга...

— Всякая пылкость легко может столкнуть спорящего за грань, за черту доказуемого, — с улыбкой сказал Голицын, — но многое в ваших словах мне по душе.

— В целом, Иван Матвеевич, в «Письмах» вы ловко высекли и дерзкого корсиканца, и его приверженцев, то, что было и есть в сердце у России, высказано вами с предельной искренностью! — сказала Елизавета. — И еще развенчали бы вы с таким же искусством и страстностью австрийцев, за которых порой излишне усердно вступается наш государь. Я могла бы вам привести десятки и сотни примеров подлости австрийцев по отношению к русской армии, к самому императору нашему. — На нежном лице Елизаветы обозначились розовые пятна, она слишком была взволнована нахлынувшими и, должно быть, очень неприятными воспоминаниями. — Вот вам несколько образчиков... Помню, наступило перемирие, государь в три часа ночи, донельзя измученный, голодный, так как с утра не слезал с лошади, верхом приезжает в маленькое местечко. Здесь расположился австрийский двор со своею поклажею, кухней, кроватями. Все эти скоты в это время спали на пуховиках. Александр Павлович по свойственной ему деликатности и бережности к людям не пожелал никого беспокоить. В сопровождении графа Ливена и князя Адама вошел он в ветхую крестьянскую избу, чтобы переночевать здесь. При нем находился и его хирург Вилье. Государь более суток был голоден. Усталость, крайнее переутомление, горе, раздраженность не прошли бесследно. У него сделалась страшная схватка в желудке. Вилье был серьезно обеспокоен состоянием здоровья государя и боялся, что государь не вынесет ночи. Он накрыл государя соломой, а сам поехал в квартиру императора Франца, чтобы попросить у заведующего австрийским двором, некоего мерзавца Ламберти, немного красного вина. Ламберти и слушать не захотел.

— Государь в опасном состоянии, — повторял умоляюще Вилье.

— Поздно... Слишком поздно... Не хочу будить людей... — повторял тупо, как попугай, хранитель королевских сокровищ и покоя.

А время идет. Возмущенный Вилье потерял голову. Он готов был пристрелить этого негодяя или заколоть шпагой. Но жизнь государя дороже всего. Вилье в слезах встал на колени перед этим австрийским скотом... Буквально умаливал... Упрашивал... Все напрасно...

— Только за деньги можно достать вина,— не постыдился ответить мерзавец.

Вилье отдал все деньги, что имелись при нем. Деньги помогли ему разбудить одного лакея. Тот повел его на поиски полбутылки красного вина... Вот как австрийцы отплатили государю, своему союзнику, который жертвовал тысячами жизней своих подданных, который привел свою армию, чтобы спасти их. Вот они какие бывают, союзники!

Иван Матвеевич видел, что Елизавета с прежней остротой переживала то неприятное и оскорбительное для чести русского императора и его армии событие.

— Жалкие торгаши, ничтожные крохоборы, помышляющие только о наживе и выгоде! — продолжала Елизавета. — Они готовы были кровь русских солдат, если бы это только возможно, перегнать в золото. А что сказать о наших солдатах? Они — настоящие ангелы... Я своими глазами нагладелась на них. Мученики и в то же время герои! Ни злключения, ни измена, ни коварство не умалили их славы и доблести! Изнемогая от голода, я это сама видела, — на глазах Елизаветы появились слезы, — во время изнурительного перехода падали и тут же на месте умирали... Погибали от истощения... Закрывали глаза без ропота, без проклятий. У всех у них было единственное желание — сразиться с врагом... Наши умирали, а в то же время по трупам умерших от голода австрийцы направляли своим войскам обозы хлеба, сухарей, всякого провианта. И вот, насытившись русским хлебом, однажды австрийский батальон обратил оружие против нас. Мне рассказывал об этом генерал-майор князь Сергей Волконский... Наши возмущенные гвардейцы, кажись из лейб-гвардии Семеновского полка, не оставили в живых ни одного человека от этого предательного батальона! Молодцы гвардейцы! Я в восторге от них! И везде-то наши молодцы гвардейцы проявили чудеса храбрости! Мне рассказывали, как Преображенский полк опрокинул четыре неприятельские линии, а батальон семеновцев штыками уничтожил эскадрон французской гвардии. Сердце кровью обливается, когда при-

ходится вспоминать эти подробности, но надо вспоминать. Жестокость можно сокрушить только жестокостью, а коварство и измена не могут помышлять о пощаде и прощении.— Она подняла руки к затылку и пригладила мягкие незавитые волосы.— Потому-то, Иван Матвеевич, так понятен мне пламень вашего доведенного до ярости сердца. Ваши залпы по Наполеону и его приверженцам попали в самую цель... С чем и поздравляю вас!

— Спасибо, государыня! Ваше просвещенное мнение дорого для меня, особенно в эти тревожные и огорчительные для меня дни,— поклонился Иван Матвеевич.

— Что же вас огорчило? Сыновья ваши, я слышала, показали себя достойными своего отца. И думаю, что старшие оба скоро будут флигель-адъютантами, ибо государь нуждается в просвещенных и благородных людях. Он исполнен намерения дать простор молодым дарованиям как на поприще военном, так и на гражданском. Так что же вас огорчило?

Иван Матвеевич почувствовал себя вынужденным рассказать о том, о чем он не собирался говорить.

— Мои «Письма» вы назвали меткими залпами по врагу. Но нашлось одно высокое лицо, которое я не хотел бы называть по имени, увидевшее в них стрельбу пыжами. Пыжами по врагу, а картечью по своим... Конечно, ваше величество, прискорбно было мне услышать такие слова. Но моя печаль во многом уже рассеяна вашей похвалой.

— Кто же ваши «Письма» приравнял к стрельбе пыжами?

Князь Голицын поднялся, поклонившись царице и ее собеседнику, покинул комнату. Будучи человеком деликатным, он не захотел своим присутствием ставить в затруднительное положение Ивана Матвеевича.

— Если вы, ваше величество, желаете знать имя этого человека, то я считаю своим долгом назвать это имя,— не без смущения проговорил Иван Матвеевич.— Но не расцените это как жалобу и не доводите до сведения государя, чтобы я не явился источником возможного охлаждения между братьями.

— Я вам сама назову этого человека,— запросто и с улыбкой пошла ему навстречу Елизавета.— Это великий князь Николай Павлович. Ну что ж, пускай он остается при таком мнении, от его мнения ваши «Письма» не станут хуже.— Она задумалась, в глазах появилась

грусть. После непродолжительного молчания сказала доверительно: — Я верю в ваше благородство, верю, что вы никогда не подведете меня, учитывая мое особое положение в царской семье и во дворце. О маршах, контр-маршах и разводах великий князь Николай может судить лучше моего. Но только об этих вещах... Что у старой царицы на уме, то у Николая Павловича на языке. Вы теперь поняли, откуда начинается сравнение со стрельбой пыжами... Не огорчайтесь и не выдавайте меня на съедение тем, кто никогда не бывает сыт. А о ваших сыновьях Сергее и Матвее я обещаю поговорить с императором.

Иван Матвеевич был взволнован.

— Ваше величество, я не знаю, какими словами признательности благодарить вас за беседу, за доверие, за лестный отзыв о моем скромном труде, — откланиваясь, отвечал он. — О сыновьях же моих, Сергее и Матвее, я хотел бы сказать следующее: я ими доволен, они верные слуги отечеству, но я не хотел бы спешить с их назначением во флигель-адъютанты. Я хочу, чтобы мои сыновья подольше находились в полку, поближе к солдату, ибо такая близость открывает характер, душу народа, дает истинное познание человека. Ведь познать хорошо другого — значит по-настоящему познать себя. А флигель-адъютантство от умной головы никогда не уйдет.

— Назначил государь день и час свидания с вами? — спросила Елизавета.

— К сожалению, ни дня, ни часа не назначено...

— Не огорчайтесь. Не вы один пребываете в неизвестности, — с неподдельным добродушием успокоила Елизавета. — Государь устал от бесконечных торжеств, раутов, приемов... Министры, адмиралы, генералы, члены Государственного совета неделями ждут приема. Такое уж перенасыщенное разными делами и событиями время. Надеюсь, что все будет хорошо. При встрече с государем не заводите разговора о стрельбе пыжами. Не заводите... Желаю вам добра.

Прямо из дворца Иван Матвеевич поехал к сенатору Оленину, чтобы немного разгрузить ум и душу обсуждением салонных и академических сплетен, на которые урожаен был президент Академии художеств.

Поутру, когда Иван Матвеевич очень долго нежился в постели на пуховиках, к нему заехал генерал-адъютант Потемкин. На нем был новый парадный мундир Семеновского полка, на груди среди орденов сверкал орден святого Георгия 3-й степени.

— Приглашаю на два часа пополудни в Михайловский манеж. Нынче собираем по желанию государя со всего гвардейского корпуса лучших фехтовщиков! — приподнято сказал Потемкин. — Надеюсь, мои семеновские орлы и в этом виде воинского искусства покажут себя в лучшем виде. Оценивать будет сам государь.

— Но ведь я не фехтовщик, Яков Алексеевич, и будет ли для высочайшей особы желательно мое присутствие? — хмурясь, ответил Иван Матвеевич. — Государь, как оказалось, слишком занят. По крайней мере, для встречи со мной...

— Я тебя могу порадовать, Иван Матвеевич: ежели государь собирает фехтовщиков со всего корпуса, то значит, что он в хорошем духе и добром расположении, — успокоил Потемкин. — Это нам на руку. Кроме того, вчера на разводе государь, встретив меня и оповестив о предстоящем состязании, изволил всемиловитейше сказать: можете по вашему желанию пригласить в манеж лучших ваших друзей. Лучше друга, чем ты, у меня не было и нет! Я прошу тебя быть в манеже к указанному часу. Коли хочешь, я из штаба корпуса заеду за тобой. Кстати, обе роты, которыми командуют твои сыновья, будут представлены в манеже отборными фехтовщиками. Особенно отличается третья рота, ею командует Сергей. Что за умница твой Серж!

Иван Матвеевич покачал головой, словно хотел этим движением сказать другу: твоему-то приглашению я рад, но не испортить бы тебе и сыновьям своим весь высочайший смотр.

— И еще одно обстоятельство, Иван Матвеевич, — улыбнулся Потемкин, сев на край постели. — Я ведь хитрый, все хочу, как бы побольше славы и чести досталось моему Семеновскому полку. Посмотришь на достижение моих фехтовщиков, глядишь, хоть анонимно, напишешь в «Сын отечества». Увидишь, как государь собственноручно будет награждать имперIALами отличившихся! Случается, и нередко, мой полк львиную долю империа-

лов забирает себе в награду. И фехтовального учителя француза Вальвиля посмотришь, полюбишься.

Иван Матвеевич понял: нарочно подперчил Потемкин свое приглашение этой подробностью — хочет расшевелить друга, отношение которого ко всему французскому было предельно ясно. Сказал с иронической усмешкой:

— Ну, уж коль на затеваемом ристалище будет подвизаться сам Вальвиль, то я обязан присутствовать, чтобы излить все мои восторги сему учителю фехтования.

Они твердо условились, и Потемкин поехал в штаб корпуса, где у него были неотложные дела.

Приглашение оставило в душе Ивана Матвеевича двойственное чувство. Было приятно потому, что он мог встретиться с государем, по неясным причинам охладевшим к нему, но неприятно тем, что государь присутствие сего в манеже может истолковать как желание Муравьева-Апостола любой ценой обратить на себя высочайшее внимание. И все же обещание, данное Потемкину, нельзя было не выполнить.

Для проведения высочайших смотров фехтовщикам в Михайловском манеже был сделан из досок пол, выставлены номера, где кому становиться попарно. Француз капитан Вальвиль не жалел сил на тренировку фехтовщиков, но больше всего внимания уделял тем умельцам рапиры и шпаги, которые представляли на смотрах государеву роту — головную роту Семеновского полка. Шефом этой роты являлся сам царь.

У семеновцев были сильные соперники из Уланского эскадрона, особенно среди улан на каждом смотре отличался Иван Минаев-меньшой, поступивший в эскадрон из Тульского рекрутского присутствия. Успехи у него были немалые, он не раз получал награды из рук государя, но обойти в состязаниях семеновцев Жикина, Хрулева, Грачева, Амосова ему все же не удавалось. Семеновский полк до того был горд своими фехтовщиками, что за всякого, кто отличился в соревновании в присутствии государя, товарищи, с позволения своих командиров, ходили в наряд вне очереди, дневалили, стояли на часах в непогодь и стужу. Но зато отличившиеся не зазнавались, считая свои победы победами всего славного Семеновского полка. Наградные же золотые импералы клали в общий котел.

К назначенному сроку в Михайловский манеж сходи-

лись из разных полков гвардейцы-фехтовщики в сопровождении командиров. Их встречал «король фехтования» — поджарый, узколицый капитан Вальвиль, придирчиво осматривал на каждом мундир, гетры, башмаки, застежки, пуговики, пряжки, проверял, хорошо ли отбелены мелом панталоны, нафабрены ли усы, а потом расставлял на дощатом полу по номерам.

И нынче, как и на предыдущем состязании, первыми на номера становились семеновцы, которых привел в манеж Сергей Муравьев-Апостол.

Иван Матвеевич вместе с генерал-адъютантом Потемкиным приехали в дрожках за несколько минут до появления в манеже государя.

Все номера уже были расставлены, когда вошел в манеж Александр. На нем был черный мундирный сюртук с широкими светлыми эполетами, черные узкие панталоны, черные чулки и черные башмаки с прямоугольными носками.

Долговязый Вальвиль, в белых панталонах и белых чулках, вскинул над головой рапиру и замер на минуту в приветственной позе. Его примеру последовали и все фехтовщики, что стояли по номерам. Царь и прибывшие с ним великие князья Константин, Николай и Михаил, а также свитские офицеры заняли место на дощатом возвышении, недалеко от кафельной печи.

— Все-таки темновато, — сказал царь и распорядился зажечь свечи в настенных канделябрах и подвесные жирники.

В манеже стало светло, и это придало состязанию оттенок праздничности.

Иван Матвеевич стоял напротив возвышения в группе военных и штатских, среди которых были сенатор и поэт граф Хвостов, издатель и педагог Николай Греч, поэт Николай Гнедич, сенатор Оленин, генерал Милорадович. Император подозревал Потемкина, о чем-то перемолвился с ним несколькими словами и знаком попросил встать рядом.

— Начинай! — по-французски приказал Александр фехтовальному учителю.

— Ан-гард! — скомандовал пронзительно звонким голосом Вальвиль и опустил рапиру.

И начались захватывающие поединки. Выучка, ловкость, находчивость, напор, не переходящий в остервенение, какое-то особенное удалство отличали бой каж-

дой пары. Здесь чувствовалось не только умение техническое, но и вдохновенность.

— Семеновцы? — спросил, довольный увлекательным зрелищем, государь.

— Отборные роты вашего величества! — звонко прокричал Вальвиль, знавший, что царь тугоух и бывает очень недоволен, когда отвечают на его вопросы тихо.

— И здесь узнаю моих семеновцев-молодцов! — не скупился на похвалы Александр.

Вальвиль, польщенный похвалами, буквально бесновался, размахивал руками, чтобы придать еще больше жару и прыти и без того разгоряченным борцам.

Государь поманил его пальцем к себе.

— Лучших, на кого я укажу, ставь особо! Из них я образую показательную команду.

И Александр, наблюдая в лорнет за боем, стал время от времени давать указания Вальвилю:

— Обоих в первой паре...

Этой парой были Грачев и Жикин.

— Крайнего слева во второй паре!

Этим отличным фехтовщиком оказался Хрулев, рядовой роты его величества.

— Крайнего справа в четвертой паре!

Этим крайним был унтер-офицер Мягков той же роты.

Состязание продолжалось, группа особо отмеченных вниманием государя увеличивалась. Из всех рот государственной повезло больше всех — сверх дюжины ее фехтовщиков получили отличие. Семеновцев сменили уланы, уланы — преображенцы, преображенцев — измайловцы. Среди уланов, как и ожидали, опять отличился Минаев-меньшой. В заключение состязания Вальвиль поставил на номера отборных мастеров и снова скомандовал:

— Ан-гард!

И вот тут-то начался настоящий спектакль. Блистали в нем ловкость, мужество, мастерство. У Ивана Матвеевича, забывшего о всех своих тревогах, порой морозец подирал кожу. «Ежели на полу манежа столь великолепны они, то какими же они были на поле Бородина? — с восхищением думал он, наблюдая за поединком. — Кто велик и восхитителен здесь, в этой игре, тот еще более велик и восхитителен в бою. Как я благодарен Потемкину за приглашение...»

Пока продолжалось состязание, Иван Матвеевич почти ни разу не поглядел на возвышение, где стоял царь.

Да и царь не обращал внимания ни на кого в манеже — он весь был поглощен рапирной схваткой. Великий князь Николай Павлович, сверкая холодно большими выпуклыми глазами, все время шевелил золотистыми усиками, будто у него под губой застряло что-то, мешающее ему. Он стоял ступенью ниже Александра. Из-за его плеча было видно округлое красное лицо Константина Павловича с привздернутым, похожим на круглую пуговицу, носом. Он был уже лыс и не старался прикрывать свою плешь кивером.

Сергей Муравьев-Апостол стоял как раз напротив великого князя Николая Павловича, взглядывая на него исподлобья. Ему не свойственно было чувство мстительности, но счет свой с великим князем Николаем он не считал законченным. Он не знал, когда и как этот счет будет оплачен, но что он должен быть оплачен — в этом у него не было никаких сомнений. Николай Павлович, отличавшийся превосходным зрением, видел каждую морщинку на лбу гордого, как и отец, младшего Муравьева-Апостола, видел то возгорающийся, то угасающий взгляд офицера. Взгляд этот запомнился ему с дворцового бала.

Вальвиль скомандовал отбой. Александр сошел на дощатый пол, разрисованный номерами, и стал оделять фехтовщиков золотыми империялами десятирублевого достоинства, которыми были набиты карманы его сюртука. Потом громко поблагодарил командира Семеновского полка генерал-адъютанта Потемкина и через него всех офицеров, нижних чинов и рядовых.

Иван Матвеевич был уже на выходе из манежа, когда его нагнал Потемкин и сказал:

— Государь был приятно удивлен твоим присутствием. Сказал: только сейчас по вине близорукости увидел, что здесь находится Иван Матвеевич Муравьев-Апостол... Желает, чтобы ты подошел к нему. Пойдем, пойдем туда, пока он весел и слушает анекдоты свитских.

У Ивана Матвеевича будто ноги приросли к полу. Мысленно он укорил себя за то, что приехал в манеж. Какой же может быть деловой разговор в манеже в присутствии свитских шутов? Государь скажет несколько малозначащих слов, милостиво улыбнется и таким образом ловко отделается от него.

— Что с тобой, Иван Матвеевич? — тормозил за рукав Потемкин. — Медлить нельзя... Его величество может обратить внимание на эту твою вялость.

— Что ж, пойдём.

Вместе с Потемкиным Иван Матвеевич пошел туда, где Александр, окруженный свитой, что-то рассказывал о Меттернихе. Его рассказ, очевидно, был остроумен, все смеялись, а генерал Милорадович просто покатывался со смеху, не переставая повторять:

— Душа моя... Душа моя...

Иван Матвеевич поклонился. Царь, закончив рассказывать, взял его под локоть и повел в глубь манежа. Серые навывкате глаза великого князя Николая Павловича будто заledenели.

Едва они отделились от свиты, царь заговорил и не замолкал ни на секунду — так он всегда поступал с собеседником, которого не хотел слушать. Он говорил подряд, без перерыва, говорил так, чтобы занять все время, отведенное для встречи, и не дать собеседнику ничего сказать основательно.

Муравьев-Апостол разгадал этот маневр, но ничего не мог ему противопоставить: было бы невежливо и недостойно с его стороны прерывать монарха, не дослушав или не дав ему высказаться до конца. Монолог Александра длился весь путь вдоль манежа до самой стены и продолжал литься неиссякаемым потоком после того, как они повернули обратно.

— Я еще не имел возможности принять некоторых посланников. Министры Козодавлев и Траверсе так и спят на портфелях у меня в секретарской. Некогда... Ну, вот мы и хорошо с вами поговорили. Мне представляет удовольствие выразить вам признательность за усердие и прилежание, что оказали вы отечеству на посту моего посланника.

Иван Матвеевич принимал эту похвалу лишь как долг вежливости, и не больше. За ней скрывалось полнейшее равнодушие к нему и его дарованию.

— Мне нужны способные люди на поприще мирного преобразования отечества, — продолжал Александр. — Все требует пересмотра... Но почему-то у многих умных людей появилась странная привычка имена свои скрывать за псевдонимами. Недавно меня познакомили с выдержками из «Писем» неизвестного автора, помещенных в «Сыне отечества». Анонимы крайне неудобны: прочитав, не знаешь, кого поблагодарить...

— Ваше величество, автор «Писем» имеет честь беседовать с вами.

Александр не придавал никакого значения этому признанию и продолжал говорить свое:

— Мне нужны слуги умные, но не умничающие. Ныне же у всех появилась страсть, равная болезни, — умничать, учить других. Все будут умничать, а кто же будет исполнять проекты умников? Плохо тому государству, где много думающих. Многодумие приводит к плодословию, а плодословие — к бесплодности. Я ж помышляю лишь о благоденствии моих подданных, и тот, кто разделяет мои помышления, всегда мною будет замечен и отличен.

— Ваше величество, главный источник общественного благоденствия — воспитание! — с особым ударением на последнем слове сказал Иван Матвеевич. — Разумным воспитанием можно создать породу нравственно и духовно новых людей. У нас же до сих пор нет никакого воспитания.

— Как нет? — остановился государь и повернулся лицом к Ивану Матвеевичу. — Вы что-то слишком мрачно смотрите на наших людей.

— Нет, государь, у нас надлежащего воспитания и никогда его не было, — еще тверже повторил Иван Матвеевич и продолжил свою мысль, к которой он неоднократно обращался и в «Письмах» своих. — Воспитание большей части дворян и дворянок у нас сводится единственно к научению болтать по-французски... Сорванцов-французов у нас всегда была пропасть — кому не удастся расторговаться табаком или помадою, тот идет в учителя; не повезет француженке в делании шляпок — ее наши дворяне с преохотой берут к себе в дом гувернанткой. На любских судах вместе с устрицами и лимбургским сыром к нам приплывают целые толпы французов: парикмахеров, поваров, модных торговков и уж, конечно, учителей. Эти тучи приплывших разлетаются по столицам, по всей России. Ныне мы все говорим по-французски... Но как говорим? Из ста говорящих, может быть, один говорит изрядно, а остальные девяносто девять — по-гасконски или же лепечут на несносном варварском диалекте. Государь, позвольте мне быть с вами откровенным до конца...

Александр благосклонно кивнул и посмотрел на толпящуюся в отдалении свиту. Фехтовальщики, довольные царской наградой, покидали манеж.

— Чем озабочены знатные родители, которые дают своим детям знатное воспитание? — продолжал Иван

Матвеевич.— Они озабочены тем, чтобы их мальчик поскорее нахватался всего понемножку от дюжины разных учителей. Его учат алгебре, геометрии, тригонометрии, артиллерии, фортификации, тактике; учат языкам: английскому, итальянскому, немецкому, только не русскому; учат танцевать, фехтовать, рисовать, ездить верхом; играть на клавикордах, на скрипке и петь... Но не учат, государь, главнейшему, что должно явиться краеугольным камнем всякого образования и воспитания.— Иван Матвеевич был так сосредоточен на том, что хотелось ему сказать, что забыл о всех условностях.— Не учат быть гражданином своей земли, слугой своему отечеству. Решительным исправлением пороков знатного воспитания и воспитания общего мы поставим на службу отечеству сонмы талантов, спасем от бесплодного увядания дарования удивительные! Будем глядеть в глаза правде и говорить только правду, государь... Сколько гениев у нас увядает в самом расцвете разума, не принеся никакого плода отечеству! Страшно подумать! И все это происходит потому, что наружный блеск мы предпочитаем истинному просвещению. Пора сказать потешным огням в нашей жизни, что их время миновало безвозвратно...

Александр становился сумрачен. Это было видно по его лицу, хотя он пока что и не возражал. В словах Ивана Матвеевича заключалось что-то привлекательное и вместе с тем гнетущее для царской души. Может быть, сумрачность самодержца отчасти объяснялась и тем, что он увидел себя вновь брошенным в море нескончаемых проектов, предложений, советов, которые порой бывают так утомительны, а то и просто опасны.

— Безотлагательно нужна новая система воспитания, государь!

— А вы готовы предложить такую систему?

— Да, ваше величество, я много об этом размышлял... И эти размышления мои начались не вчера и не позавчера, они начались с тех дней, когда родительский долг заставил меня всерьез подумать о воспитании собственных сыновей, подверженных тем же порокам века своего, как и все дворянские дети...

— Что же вы взяли в основу воспитания ваших сыновей, о которых я слышал самые восторженные отзывы от их начальника генерал-адъютанта Потемкина? — спросил, просветлев на минуту, Александр.

— Добрый отзыв, государь, о примерной службе отечеству моих сыновей считаю для себя высочайшей наградой! — Иван Матвеевич признательно поклонился Александру. — Итак, о принципах моей системы... Разрешите сделать краткое предварение. Из былин русских мы знаем, что отечество наше спасали богатыри — тот же Илья Муромец. Да, отечеству нужны богатыри! Но какие? Есть богатыри с телом крепким, как закаленное железо. Такие богатыри, возможно, и незаменимы были во времена Владимира Мономаха. Я же спрашиваю моих соотечественников: что нужнее ныне отечеству — богатырь ли телом или богатырь душою?

Александр встретил затяжным вздохом этот взволнованный вопрос Ивана Матвеевича, и тому пришлось самому отвечать на свой вопрос:

— Многие, оставшие от требований современного века, кричат мне: «Нужны богатыри телом». Они уверяют, будто богатыри телом сокрушили Наполеона, дойдя от Москвы до Парижа. А я им отвечаю: «Заблуждаетесь, господа! Наполеона победили богатыри духом! Если богатырь телом, и только телом, нужнее, то уж нет нам никакой надобности не только в современных университетах, но даже и в набеглых французах... — Иван Матвеевич засмеялся. — В самом деле, давайте все закаляться, как железо... Пускай купают всех нас в крещенские морозы в прорубях, как Ахиллеса окунула матушка в воды Стикса, и кто выдержит, кто выживет, тот и примерный слуга отечеству. А по-моему, плох тот богатырь, у которого тело берет преимущество над духом. Только истинные богатыри душою в состоянии исполнить все обязанности, что возложены на нас богом, природой и отечеством. Вот альфа и омега моей образовательной и воспитательной системы, государь!

Александр не пропустил мимо ушей ни одного слова.

— Похвально, что вы в таком духе, согласно вашей программе, воспитали своих сыновей! Для просвещенных людей не будет препятствий по службе и продвижению! Я ищу таких людей. Министерство просвещения требует обновления. Граф Разумовский собирается уходить на покой... Я вас позову, Иван Матвеевич... Всему свой срок.

— Ваше величество, всегда рад служить вам на основе мною высказанных правил, но, да простите мне мою откровенность, вы меня уже больше никогда не позовете.

— Почему?

— Я и сам себе не могу объяснить, ваше величество. Но не позовете...

Иван Матвеевич покинул манеж в числе последних. Царь сел в карету один, сердито дернул шнурок, и карета понеслась ко дворцу.

Свитские офицеры тревожно-любопытствующими взглядами провожали проходившего мимо них Ивана Матвеевича. Они догадывались, что беседа с ним явилась причиной внезапной угрюмости царя.

Не унывал только генерал-адъютант Потемкин.

Довольный мастерством фехтовальщиков-семеновцев, он велел Сергею Муравьеву-Апостолу выдать каждому участнику по империялу за свой счет, а Матвея Ивановича, подмигнув ему, пригласил вечером в гости к артистам Брянским, где ожидаются песни и танцы и представится возможность сразиться с непобедимым бильярдистом Милорадовичем.

Нынче к ужину собралась вся царская семья. Елизавета все время молчала. Больше говорила старая царица Мария Федоровна. Потом Николай Павлович начал высказывать недовольство генерал-адъютантом Потемкиным — тот якобы мало бывает в полку и все отдал в руки своих подчиненных, Муравьевых-Апостолов и их приятелей. Царь не прислушивался к семейным разговорам, он с аппетитом хлебал любимую уху из ершей, закусывал тонкими ломтиками черного хлеба, натертыми чесноком. Когда он ел, все мускулы лица и даже шеи двигались, а на плешине выступала испарина. Упоминание о братьях Муравьевых-Апостолах заставило его вмешаться в разговор.

— Муравьевы во все суют свой нос и обо всем берутся судить. Даже о том, чего они совершенно не знают. Двоих-троих сыновей своих не могут воспитать, а лезут в законодатели просвещения и воспитания. Патриоты! Патриоты бывают разные... Вот станет полегче, и я сам займусь Семеновским полком. Чем скорее Иван Муравьев-Апостол покинет Петербург, тем лучше. Потемкину надо поставить на вид за то, что он по своему произволу привез этого честолобца в манеж и тем самым принудил меня к неприятному разговору с ним. Я его в свое время посылал следить за каждым шагом Наполеона, а он и там, я теперь в этом не сомневаюсь, занимался составлением разных журнальных химер...

Царь опять принялся за уху из ершей, предоставив матери верховодить за столом. Для Елизаветы такие семейные ужины в присутствии свекрови были нравственной пыткой. Она думала лишь о том, чтобы скорее закончился ужин, чтобы она могла встать и покинуть покой, не слышать неприятный голос старой царицы. Николай Павлович был доволен результатом встречи царя с Иваном Муравьевым-Апостолом. Он знал впечатлительность брата, знал, что каждое раздражение или недовольство у него откладывается в памяти и в душе не стираемой временем зарубкой.

— Муравьевы крутят общественным мнением во всей столице,— заговорила, холодно сверкая выпуклыми глазами, старая царица.— Мой секретарь князь Хилков говорил, что полковник Александр Николаевич Муравьев собирает у себя какие-то вечеринки для чтений, прений, обсуждений... И желторотые юнцы в мундирах юнкеров и кадетов слушают его с раскрытыми ртами. А Катерина Муравьева, чтобы перещеголять своих родственничков, завела в своем доме подобие вольнодумческого клуба. Дело дошло до того, что уж лицеисты-мальчики в четырнадцать-пятнадцать лет начали бегать на эти сходки.

— Мы бываем слишком поспешны и расточительны на высочайшие благоволения по поводу разных журнальных легкодумств,— упрекнул кого-то Николай Павлович. Все поняли, что он имеет в виду царицу Елизавету.

Та смолчала. Не дождавшись мармелада, она встала и покинула стол.

8

Аракчеев жил на углу Литейной и Кирочной, в большом деревянном доме 2-й артиллерийской бригады, шефом которой он состоял. В Петербурге ходил слух о том, что царь как-то раз будто бы сказал Аракчееву:

— Возьми этот дом себе в полную собственность и повесь на углу достойную твоего имени и высокого положения доску с надписью золотом по мрамору: «Дом графа Аракчеева».

— Нижайше благодарю вас, батюшка мой, ангел-благодетель,— растроганно, чуть ли не со слезой, отвечал Аракчеев.— Однако, благодетель мой, на что он мне? Я не гонюсь за домами, дворцами. Пускай останется вашим; мне и казенной квартиры хватит.

— Друг и брат мой! Ты еще раз показал свое до-

стойное похвалы и памяти потомства бескорыстие, какое было свойственно лишь древним,— с чувством будто бы проговорил царь и облобызал скромного шефа артиллеристов.

Но в столице каждый дворник знал, что показное бескорыстие это было основано на расчете, и отнюдь не в ущерб Аракчееву. Содержание в порядке столь большого дома влетало в копеечку, и копеечка эта изымалась не из аракчеевского кармана, а из казны.

В жарко топленной гостиной, стены которой были отделаны малиновыми лионскими гобеленами, громоздкая мебель, предназначенная будто бы не для людей, а для медведей, была расставлена по-старомодному — строго симметрично. Как и в дворцовом служебном кабинете графа, как и в гостиной в Грузине, на самом видном месте, прямо против черных массивных дверей, возвышался на золоченом постаменте исполненный в античной манере бюст Александра в натуральную величину. Его закудрявленная, сильно приукрашенная ваятелем голова была, подобно голове Юлия Цезаря, увенчана венком из остролистного лавра. Над бюстом парил ангелок с оливковой ветвью в руке.

Перед этим мраморным изваянием красовался диковинный столик на фигурных, украшенных искусной резьбой ножках, изготовленный лучшим дворцовым краснодеревцем Егоровым. Аракчеев не признавал иных мастеров, кроме дворцовых,— те умелые руки, что из года в год украшали царские чертоги, непременно должны были украшать и жилище Аракчеева. На столике покоился роскошный ящик, сделанный тем же непревзойденным Егоровым. На ящике висел круглый золотой замок с вставленным в него медальоном, на котором был изображен кротко улыбающийся монарх. Ключ от ящика всегда хранился при Аракчееве и ни на одну минуту не вверялся ни в чьи руки.

У ящика, попеременно сменяясь, днем и ночью несли по всем военным правилам караул три дородных усача улана, специально отобранных из солдат имени Аракчеева уланского полка командиром полковником Шварцем, клевретом и любимцем графа. Уланы были богатырского вида, ладные, ухватистые и все трое пламенно рыжие, как ржавое железо. Таких пожелал граф иметь у себя в доме.

Почему этому ящику выпала особенная честь, будто полковому знамени, караульные не ведали. Впрочем, им

думалось, что они несут почетный караул не около ящика, а около бюста императора.

Загадочный ящик с золотым замком путешествовал вместе с Аракчеевым, в году по несколько раз, из Петербурга в имение Грузино, из Грузина обратно. И во все дальние отъезды граф непременно брал его с собой, обычно ставил его в карету под казенное сиденье рядом с обшарпанным от длительной службы вместительным кожаным чемоданом, где содержались дорожная посуда и столовые приборы. В Грузине около этого ящика, как и во всяком ином месте, куда он приезжал, граф обязательно выставлял рыжих солдат с ружьями.

Изредка, когда в доме у Аракчеева бывали очень знатные особы или женщины, к которым он был неравнодушен, хозяин собственными руками бережно, с благоговейным выражением на крупном угрюмом лице, снимал ящик со стола и уносил в гостиную или к себе в кабинет, а через некоторое время собственными руками водворял на прежнее место.

Только одна Настасья Минкина, полновластная управительница имением в селе Грузине и любовница Аракчеева, имела право дотрагиваться до ящика и даже переставлять его с места на место. В петербургском же доме лишь сам граф прикасался к нему. Среди ежемесячно составляемой хранителем столичного дома пространной ведомости о наличии и сохранности графского движимого имущества, среди многочисленных драгоценностей ящик всегда числился под номером первым.

Несведущий человек мог бы, верно, предположить, что в ящике хранятся важные государственные документы. Но дело обстояло иначе. Аракчеев весьма заботился о том, чтобы потомство не забыло его дружественной близости к царю, к вершению государственных дел, каковое, по глубокому убеждению графа, возвеличило Россию и принесло ей неисчислимые блага. Опасаясь, как бы будущие историки не напутали чего-нибудь, им в назидаение и поучение Аракчеев сохранял в ящике вещи и драгоценности, полученные от царя в подарок, а также письма и записки с дружескими излияниями Александра, с выражением высочайшей благодарности за безмерные труды на государственном поприще.

Впрочем, не всегда ясна и лучезарна была дружба царя с временщиком. Набегали и тучи. Не далее как этой

весною в Париже Аракчеев получил от царя записочку, которая легла на душу графа грузом, что показался тяжелее каменной горы. Царь писал своему любимцу:

«Граф Алексей Андреевич! Удовлетворяя просьбе вашей, я увольняю вас в отпуск на все то время, какое нужно вам для поправления здоровья вашего. Пребываю к вам благосклонный Александр.

Париж, мая 13 дня 1814 года».

Неопределенность отпуска не сулила графу ничего доброго. Царь любил с помощью неопределенно длительных отпусков удалять от себя неугодных ему людей или своих советников, к которым он вдруг охладевал.

Днем позже получил Аракчеев и еще одну записочку от царя. А в ней, между прочим, были такие строки: «С крайним сокрушением я расстался с тобою. Прими еще раз всю мою благодарность за столь многие услуги, тобою мне оказанные, о которых воспоминание навек останется в душе моей. Я скучен и огорчен до крайности. Я себя вижу после 14-летнего тяжкого управления, после двухлетней разорительной и опаснейшей войны лишенным того человека, к которому моя доверенность была неограниченна всегда. Я могу сказать, что ни к кому я не имел подобной и ничье удаление мне столь не тягостно, как твое. Навек тебе верный друг».

Никто другой из царедворцев не знал так хорошо всех извилин души и характера царя, как знал их Аракчеев, и потому он легко отсеивал в письмах своего благодетеля лукавую вежливость от искренне сказанного. Его страшил прощальный тон царских записочек. Об услугах, оказанных Аракчеевым, говорилось в прошлом, они относились царем уже в область приятных воспоминаний. И только... А этого для ненасытного властолюбца, приносившегося править из-за царской спины, было мало. В крайнее сокрушение души царя плохо верилось. Если бы он сокрушался о своем друге, то не расстался бы с ним так легко.

Чтобы хоть чем-нибудь развлечься, Аракчеев приказал крепостному скульптору Афиногену, грузинскому самородку, изваять два памятника на могилы двух околевших любимых графом собачек.

Афиноген исполнил повеление.

На шестое августа Аракчеев наметил торжественное открытие памятника на собачьих могилах. Всем жителям волости повелевалось явиться в графский сад, чтобы

своим присутствием почтить память околевших собачек.

Утром народ толпился на солнечной поляне перед белым домом, окруженным садом. Музыка играла скорбные мелодии, а на конюшне пороли кнутами некоего дерзкого мужика, который по злему ли умыслу, по простоте ли своей нарушил строжайшее графское указание и вместо черной рубашки надел красную и в ней явился в графский сад.

Беломраморные памятники над собачьими могилами, покрытыми цветами, были установлены, и староста, одетый в траур, начал речь, восхваляющую достоинства рано почивших графских собачек. В это время от Новгородской дороги донесся звон колокольчиков. Через несколько минут с походных дрожек соскочил царский курьер и вручил графу пакет от государя.

Аракчеев с нетерпением вскрыл пакет, прочитал и сказал старосте:

— Без меня dokonчите! Государь зовет! Эй, конюха!! Венскую коляску!! Восьмериком!! К парадному!! Молнией!! Верховых по всем станциям и полустанциям, чтобы смотрители-каналы знали, кто едет! Через пять часов я должен быть в Таврическом дворце! И ежели опоздаю хоть на десять минут, то не поздоровится виновным.

Он опрометью кинулся в дом и всех поднял на ноги. Домашняя челядь бросилась собирать его в дорогу. Очумело летали по лестницам лакеи и мажордом — всяк знал, чем может кончиться малейшее промедление.

Граф сидел в кресле, а вокруг него суетились слуги. Двое натягивали на его длинные ноги новые армейские сапоги с кисточками, двое помогали сменить домашнее одеяние на генеральский мундир. Аракчеев порой бранил их, отталкивал локтем за то, что мешали ему перечитывать царское экстренное послание. Он и верил и не верил своим глазам. Происшествие было похоже на приятный сон. «Я надеюсь,— писал Александр,— что ты будешь доволен мною, ибо, кажется, довольно долго я тебя оставил наслаждаться любезным твоим Грузином. Пора, кажется, нам за дело приниматься, и я жду тебя с нетерпением.

Пребываю навек тебе искренним и преданным другом
Александр».

Мутной слезой затмило большие, словно из белой жести выдавленные, глаза графа.

Когда его обули и одели, он вскочил и закричал на лакеев:

— На колени! Все на колени! Молитесь за здоровье благословенного государя императора, человеколюбца и ангела нашего! И в саду пускай все молятся! Все! На коленях! До моего возвращения! За здоровье государя!

Вся домашняя и дворовая челядь пала на колени. Вся волость, собравшаяся в саду возле собачьих могил, тоже коленопреклоненно принялась молиться за здоровье императора.

Вполне готовый в дорогу, граф, словно шальной, вбежал в портретную, все стены которой были завешаны портретами российских государей, опустился на колени перед портретом Александра.

— Доволен, батюшка мой, доволен... Наконец-то свершается желанное... Премного доволен... Было мне наслаждение любезным моим Грузином горше каторги... Пора, пора нам с тобой за дело приниматься... А кому же, кроме нас с тобой? Некому. Мы не примемся за дело — Россия осиротеет без нас... Ты ждешь меня с нетерпением, а я лечу к тебе с еще большим нетерпением... Ты мне навек предан, а уж я-то тебе и на том свете обещаю быть верным слугой, верным другом и образцовым рабом в рабех... Встанет ныне на пути моем к тебе гора каменная — грудью прошибу, разольется море — вплавь переплыву, возгорится огонь до небеси — сквозь огонь пройду, чтобы нынче припасть к сапожкам твоим и оросить их слезой верного раба твоего!

Громяхая по паркету новенькими необношенными генеральскими сапогами, он поспешил к парадному, где уже стояла карета, заложенная восьмериком, с кучером на облучке и двумя вершниками с плетками в руках. Аракчеев вез с собой в столицу приемного сына своего Мишеньку Шумского.

— Пшел! — крикнул Аракчеев, захлопнув дверцу кареты.

По его зверскому виду опытный кучер понял, что нужно графу. Вершники замахали плетками, кони рванулись — и карета понеслась по Новгородской дороге. А впереди, удаляясь с каждой минутой, скакали двое верховых, чтобы заблаговременно оповестить всех станционных смотрителей о приближении аракчеевского поезда.

Накануне прошел дождь, и на дороге было много луж,

в колеях остекленело блестела мутная вода. Из-под колес с шумом на обе стороны летели брызги и ошметки грязи.

Лошади неслись во весь опор, такой гоньбы не помнила эта выдавшая виды дорога. Но Аракчееву временами казалось, что кучер и вершники недостаточно усердны, он яростно дергал шнурок, протянутый из кареты к кучеру, и бранился грубо, площадно, не стесняясь присутствием сына.

Временами граф смежал веки, со стороны могло показаться, что он дремлет. Но он не дремал. С закрытыми глазами, думалось ему, быстрее летит время, скорее укорачивается расстояние, отделяющее его от Таврического дворца.

Он вспоминал все свои многочисленные поездки из столицы в Грузино и обратно, чтобы сравнить самую быструю езду с нынешней. Когда же он мчался с такой же ошеломительной быстротой? Вспомнил... Вернее, он никогда и не забывал об этом.

Аракчеев заговорил с сидевшим рядом Мишенькой:

— Вот так же однажды я спешил из Гатчины в Петербург. В те времена дороги были еще хуже...

— Почему спешил? — спросил Мишенька.

— О ту пору я служил начальником артиллерии Гатчинского гарнизона, имел уже чин подполковника. Императрица Екатерина Вторая, бабка нынешнего императора, дышала на ладан. И уж никакой надежды не осталось на ее выздоровление. Император Павел Петрович перед своим вступлением на престол прислал за мной нарочного в Гатчину с повелением, чтобы я скорее ехал к нему в Петербург. Я вскочил в коляску и поскакал, что было силы. Весь в пыли предстал перед императором. Он с минуту смотрел строго мне в глаза, потом обласкал меня и сказал сердечно, как отец сыну: «Тебе верю. Ты не изменишь и впредь мне. Служи верно мне и престолу нашему». С этими словами он взял меня за руку, подвел к своему сыну Александру Павловичу, что ныне властвует со славою нами, вложил мою руку в его руку и сказал: «Будьте друзьями. Навсегда. На всю жизнь. До гроба. И даже там, за гробом!» Мы обнялись с великим князем и по-братски поцеловались. Александр, видя, что я весь в пыли, в грязи дорожной, с кротостью ангельской спросил: «Верно, ты за скоростью белья чистого не взял с собою? Пойдем ко мне, я тебе дам». Мы пошли с ним в его покой, и тогда дал он мне свою рубашку...

— И ты ее износил? — простодушно спросил Мишенька.

— Не-е-е-т, братец мой, разве можно мне, недостойному, износить такую драгоценность! — отвечал граф. — После я у него ту рубашку выпросил навсегда... Она хранится у меня как зеница ока. При бессменном карауле..

— В шкатулке?

— Да, в богатом ящичке. Завещаю тебе, мой друг, когда я умру, надеть ее на меня и в ней похоронить. Тот, кто нарушит это мое завещание, будет трижды проклят. А ящик, когда вынете из него царскую рубаху, поставьте на вечное хранение в ризницу в нашем гру́зинском соборе. Да не нарушайте же моего желания! — Голос графа сделался властно-угрожающим. — Помнят пусть все, кто после моей смерти в живых останется: мне и на том свете господом богом будет дано власти больше, нежели другим, я и там сумею взыскать с любого, кто провинится передо мною на этом свете.

Мишенька с удивлением смотрел на графа, испытывая смутный страх перед ним, хотя ни в чем и не был виноват.

— Моя бескорыстная долголетняя служба трем государям не пропала. В 1797 году благодетель мой император Павел Петрович произвел меня в генерал-майоры. Получил я Анну Первой степени, Александра Невского, поместье Гру́зино и достоинство барона... — Аракчеев нахмурился и надолго смолк, должно быть вспомнив что-то очень неприятное. После паузы снова заговорил: — А через два примерно года после кратковременной отставки назначен командором ордена святого Иоанна Иерусалимского, командующим гвардии артиллерийским батальоном, инспектором всей артиллерии и был возведен в графское достоинство. Прилипни язык мой к гортани моей, если не помяну моих благодетелей на всяк день живота моего!

Дорога то петляла среди болот, то выпрямлялась, как отшнурованная, лежала на высокой дамбе, с обеих сторон обсаженная деревьями.

На пути показалось большое село, двумя посадами раскинувшееся на пологой горе. Под горой, где дорога круто поворачивала в сторону, в луже возилась куча босоногих деревенских ребятишек — они возводили из грязи запруду. Среди них было двое слепых: мальчик и девочка с личиками, обезображенными оспой. Они хоть и не принимали участия в возведении запруды, но бли-

зость к сверстникам и сверстницам грела слепцов теплее солнца.

С горы ураганом мчался аракчеевский поезд — его издавна давно научились узнавать старый и малый.

— Поезд! Задавит! — закричали мальчишки и кинулись с дороги в разные стороны.

Слепые растерялись и побежали в ту сторону, откуда летел аракчеевский экипаж. Еще минута — и они оказались под копытами лошадей...

Аракчеев сидел с закрытыми глазами. Он и не заметил, что на дороге остались лежать раздавленный насмерть слепой мальчик и с переломленным позвоночником слепая девочка.

Но Мишенька заметил, что кого-то задавили, и сказал об этом отцу. Аракчеев лениво открыл глаза, но не захотел оглянуться.

— Нам надо спешить, государь ждет меня с нетерпением. — И опять задергал шнурок, протянутый из кареты к кучеру. — Спишь, каналья!.. Гог-магог, сучий зять, собачья масленица!.. Ужо тебе задам...

В Таврическом дворце приезда Аракчеева ждал царь. Никто из приближенных не знал, в каких тонах написано пригласительное письмо, и царь не хотел, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь проведал об этом. Он не сомневался, что появлению Аракчеева в Таврическом дворце и в Царском Селе будут не рады не только генералы, министры и сенаторы, но и все три великих князя, особенно Николай Павлович, к которому Аракчеев относился с высокомерием.

На столе перед скучающим царем лежало письмо, давно уж полученное им от адмирала Мордвинова. Оно нашло царя за границей во время похода и было им отложено в долгий ящик, и не только отложено, но основательно забыто. Никто бы об этом письме, вероятно, никогда и не вспомнил, если бы адмирал не прислал царю повторное. Царю поневоле пришлось заняться письмом. Но это скоро утомило его, и он утратил всякий интерес к мордвиновскому посланию, требующему умственных усилий и некоторых, хотя бы начальных, экономических знаний от читающего. Царь показал письмо Гурьеву, но Гурьев, прохладно относившийся к адмиралу Мордвинову и его экономическим идеям, не нашел в письме ничего серьезного. Рядом с адмиральским письмом ждал высо-

чайшей подписи манифест по случаю полной победы над Наполеоном, сочиненный другим адмиралом — это уже по выбору самого царя — адмиралом Шишковым.

Карета Аракчеева подъехала прямо к Таврическому дворцу. В это время скучающий царь стоял у окна и смотрел рассеянno на все, что происходит на улице. Он навел лорнет и увидел неуклюже вылезавшего из кареты своего друга. Щеки царя почему-то залило румянцем. Он проворно отшатнулся от окна, словно побоялся, что граф с улицы увидит его. Он сел за письменный стол и занялся перелистыванием бумаг.

Карету с Мишенькой Шумским граф отослал не к себе на петербургское подворье, а прямо в дворцовый каретный сарай и велел поставить не где попало, а непременно рядом с одной из золотых царских карет.

Через несколько минут Аракчеев входил в кабинет своего благодетеля. Они облобызались, рассыпались друг перед другом в любезностях, но при всем этом граф и на минуту не забывал, что он лишь слуга государев. Было жарко и душно: август в своем усердии солнечными днями хотел перещеголять июль. Царь долго тер глаза батистовым платком, то же делал и граф Аракчеев.

— Ну вот, Алексей Андреевич, пора нам с тобой за дело приниматься, — ласково проговорил царь, не сводя с графа приветливого взгляда.

— Пора, пора, ваше величество. Пора, батюшка мой...

— Люди нужны, люди... А нужных людей нет.

— Да, батюшка, нужные люди — редкость. Болтунов много, а знающих и понимающих весь ход государственной машины — раз, два — и обчелся.

— Опять нам с тобой на плечи досталась вся тяжесть правления. Остальные только лезут с проектами да советами, а из них и кулька под пряники свернуть невозможно...

Это царское сравнение показалось Аракчееву забавным и очень пришлось по душе. Он долго смеялся, смеялся до того, что из глаз потекли слезы. Его забил кашель, чуть не приведший его к аварии, никак не допустимой в таком месте.

Царь вынул из стола бумагу и, держа ее близко к глазам, заговорил:

— Вот я заготовил для тебя, Алексей Андреевич, рескрипт, в коем мне хочется выразить тебе нашу высочайшую благосклонность. Доказанная многократными

опытами в продолжение всего времени царствования нашего совершенная преданность и усердие ваше к нам, трудолюбивое и попечительное исполнение всех возлагаемых на вас государственных должностей, особливо же многополезные действия ваши во всех подвигах и делах, в нынешнюю знаменитую войну происходивших, обращают на них в полной мере внимание и признательность нашу. Во изъявление и засвидетельствование сих заслуг решили мы отличить вас наградой единственною в своем роде...

У Аракчеева задрожали веки и со лба покатился пот. Царь вслепую пошарил в столе и достал портрет в овальной оправе, украшенной бриллиантами.

— Вручаем вам для возложения на себя портрет наш.

— Ваше величество, никто из смертных не был так счастлив, как счастлив я сегодня! Я не достоин принимать такую награду стоя, я хочу пасть на колени перед вами.

— Что ты, что ты, Алексей Андреевич! Не делай этого...— Александру стоило больших трудов удержать графа.— Носи на здоровье. Но письма и записочки мои к тебе, как и прежде, держи в строгой тайне ото всех. Можешь немного и поворчать на меня там, где это выгодно для тебя и меня, я же тебе верю...

Затем они сразу перешли к накопившимся многочисленным делам. Александр попросил Аракчеева подготовить распоряжения о расписании войск, о размещении по казармам гренадерских полков, о требованиях из комиссариата для них, об ораниенбаумских инвалидах, о зубовском заведении, о дорогах и образе их поправления и приведения в надлежащий порядок, о перестройке Петергофа, Ораниенбаума, об откупных неустройствах и затруднениях, о министерствах и выделении сумм для них.

— Ничего у меня без тебя, друг мой, не получается,— признался Александр, перечислив все эти, не терпящие отлагательства, дела.— Вот смотри: велел адмиралу Шишкову составить манифест, с тем чтобы всенародно огласить его, зачитать в церквах...

— Написал?

— Написал, да плохо, почитай. Придется переделывать.

Аракчеев въедливо прочитал высочайший манифест, составленный старомодно, в пышных, тяжеловесных выражениях.

— Да, батюшка, адмирал наворочал — восьмериком не проехать. Уж больно тяжел склад.

— Беда не в том, друг мой, что тяжел склад, а манифест не тот, каким я хотел бы видеть его. Все победы, заметь, отданы народу, и ничего не оставлено помыслу божью — сие может породить вредные и нелепые мысли у моих подданных. Народ, услышав такой манифест, может впасть в ложное заблуждение, проникнуться неприличной христианину гордыней и возмечтать, что он может повергнуть любого неприятеля собственными силами, без помощи всевышнего творца. Было бы крайне прискорбно, если бы такое заблуждение укоренилось в умах жителей России...

— Верно, верно, батюшка, народ глуп, подл и падок на всякое с ним заигрывание, — горячо подхватил Аракчеев. — С народом и на единокороткий миг нельзя ослаблять подпругу. Чуть ослабишь — он и за топор схватится, душегуба Емельку Пугача вспомнит... Судя по манифесту, Шишков хоть и мнит себя ученым, из ума выжил...

— Манифест от начала и до конца должен быть пропитан духом восхваления творца, даровавшего мне полную победу над могущественным и, если угодно, великим неприятелем, — заговорил Александр, шелестя бумажкой, на которой его рукой было что-то написано.

— Я кладу собственной рукой начало манифесту: «Богу токмо единому свойственное право единовластного над всеми владычества и сие божье право пытался похитить ничтожный простолюдин, чужеземный хищник, в конце концов ставший преступником, превративший Францию в вертеп разврата, Париж в гнездо мятежа, разбоя, насилия и всеобщей пагубы народной... Сей похититель корон возмечтал на бедствиях всего света основать славу свою, стать в виде божества на гробе вселенной... — В обычно ласковых, теплящихся улыбкой глазах Александра граф заметил возгорающуюся властность. Впрочем, она была мимолетной и опять уступила место мягкой улыбке: — Суд человеческий не мог толикому преступнику наречь достойное осуждение. Не наказанный рукою смертного, да предстанет он на Страшном суде, всемирною кровью облианный, перед лице бессмертного бога, где каждый по делам своим получит воздаяние...»

— Верно, верно, батюшка, все и все в руке вседержавшего, — подхватил Аракчеев.

— И вот поэтому-то, Алексей Андреевич, в заключе-

ние манифеста, к сказанному его составителем я добавляю: «Самая великость дел сих показывает, что не мы то сделали. Бог для совершения сего нашими руками дал слабости нашей свою силу, простоте нашей свою мудрость, слепоте нашей свое всевидящее око...»

— Ваше величество, и сам Иоанн Златоуст не мог бы сказать краше сказанного вами! — одобрил Аракчеев. — И не позволяйте путанику Шишкову прикасаться к этим отныне священным для каждого россиянина словам.

— Наступила пора, сиятельнейший граф, претворить в дело мою давнишнюю мечту, — продолжал Александр. — В сем манифесте я хочу выразить твердую надежду, что продолжение мира и блаженной тишины подаст нам способ не токмо содержание воинов привести в лучшее и обильнейшее прежнего, но даже дать оседлость и присоединить к ним семейства.

— Ваше величество, такое благодеяние имя ваше прославит в веках! Я не пожалею сил своих и живота своего, чтобы помочь воплотиться в дело вашему человеколюбивому намерению...

— Когда я с тобою вдвоем, Алексей Андреевич, то все у меня делается легко и гладко.

Всесторонне обсудив проект манифеста, они принялись за другие неотложные бумаги.

— Как ты полагаешь, друг мой, пугает меня или разумное предлагает отставной адмирал Мордвинов, по выходе в отставку удалившийся в свое имение в Пензу?

— Известный англоман. Сидит под каблуком у своей жены англичанки Генриетты. Что она ему нашепчет, то он и навязывает другим, особенно нашему казачеству, — с сокрушенным вздохом сказал Аракчеев.

— Мордвинов в своих письмах и проектах уверяет меня, что Россия обширна землями, но деньгами скудна, государственные доходы не столь избыточны, что введение новых бумаг, под каким бы то наименованием ни было, впредь оказаться может пагубнейшим, нежели меч и огонь неприятеля. Адмирал советует мне, как спасти терпящих голод и наготу...

— Заранее предвижу, на чью кубышку указывает этот заступник за терпящих голод и наготу, — как неживой проговорил Аракчеев и задвигал большими, как у лошади, челюстями.

— Вот он мне пишет: «Совершая сие начертание для блага отечества моего и во остережение всемилостивей-

шего государя, отца отечества, не должен я умолчать здесь, что из всех бумаг известных пагубнейшие суть те, кои предложены были в марте месяце прошлого году и для введения коих манифест читан был в совете, под наименованием облигаций поземельных: они не иное что суть, как список с мандатов поземельных, существовавших во Франции несколько месяцев, в самое лютейшее время ее революции, и давших последний смертельный удар финансам во Франции. С оными исчезли и цена монеты, и способы исправления оной. Правительство принуждено было объявить себя банкротом; обогатились только хитрые выдумщики мандатов поземельных, коими, по упавшей их цене от 100 до 3, присвоили себе за малые деньги великие казенные имущества...»

Помрачнел Аракчеев. Не из алчности и корысти, а по экономической малограмотности он когда-то ратовал в совете за введение облигаций поземельных, не имея ни малейшего представления о том, к чему это может привести экономику России, особенно торговлю и промышленность.

— Адмирал решил поугатать ваше величество,— сказал Аракчеев.— Пугать и чучело может, а что советует?

— Советует по существующей ныне дружественной связи с Англией призвать ее народ к участию в поднятии благосостояния России — он-де не откажет пособия своего,— излагал царь основные мордвиновские мысли.— Приобретение Россией займа у английского правительства в сумме двадцати миллионов фунтов стерлингов из шести процентов и на срочное время не может быть сомнительно. Адмирал предлагает два листа всевозможных расчетов роста прибылям от полученных в Англии займов. По мне, план Мордвинова похож на какую-то сказку. Он тщится уверить меня, что в предлагаемом им начертании с непостижимым множеством цифр, рыться в коих у меня нет желания, не потребуются никаких жертвований ни от государственного казначейства, ни от частных людей. И при этом открывается щедрое пособие разоренным и избыточная ссуда нуждающимся; государственные и частные доходы возвышаются в достоинстве своем; олицетворяются промышленность и торговля; уготовляется благотворный капитал для будущих времен; крепость и безопасность России со стороны финансов утверждаются на прочных основаниях... Без сильных же

способов и щедрых пособий Россия долго будет томиться от нанесенных ей глубоких ран...— После паузы царь устало спросил графа: — Уж не посадить ли нам адмирала Мордвинова министром финансов? Разве попробовать?

— Такого-то красnobая, ваше величество? Краснобай, да и только... Пустой орех, а вернее сказать — салонный гог-магог с претензиями,— высказал граф свое решительное несогласие с предложением царя, сделанным, впрочем, едва ли всерьез.— Много объявилось разных врачевателей глубоких ран, а как за дело возьмутся — один пшик получается.

— Ну, ну, ты посмотри, а там — как скажешь,— устало вздохнул Александр.

Аракчеев сразу оживился, сунул письма Мордвинова в портфель и в мыслях уже перебирал имена тех, кого следует удалить от правительственного корыта и кого следует приблизить. Такая перетасовка доставляла ему истинное наслаждение. Как раз этим они и занялись теперь вдвоем с Александром.

— Я решил государственного канцлера Румянцева уволить от всех дел,— начал царь перечень.

— Пора и отдохнуть ему,— испытывая радость от такого решения, но сдержанно поддержал Аракчеев.— Пускай с Гаврилой Державиным читает разные сказочки на званных обедах. Да еще Лопухин впристяжку к ним.

— Графу Нессельроду повелеваю продолжать докладывать по всем делам иностранного департамента...

— А графа Ростопчина тоже пора на отдых,— напомнил Аракчеев.

— Не возражаю. Ростопчина заменяю графом Торосовым, министра юстиции Дмитриева — Трощинским, Шишкова назначаю членом Государственного совета.

— Все очень своевременно, ваше величество, я давно был такого мнения, что Ивану Ивановичу Дмитриеву трудно угнаться за двумя зайцами: блюсти юстицию и заниматься сочинением басенок. Кто сочиняет басенки, у того мозги набекрень.

— Вместо графа Разумовского, может быть, поставить министром просвещения Ивана Муравьева-Апостола? — Царь почти вплотную смежил веки, не сводя глаз с графа.

— Батюшка, не советую... Не тот груздь, чтобы лез в такой короб и не пищал,— смело возразил Аракчеев.— Ошибаетесь в выборе.

— Подвержен гордыне?

— Хуже, батюшка... Во сто раз хуже. Спесь Муравьевых да Волконских издревле известна, но никто их спеси не страшится,— совершенно ожесточился граф.— Иван Муравьев-Апостол, будучи в посланниках за границей, весь до корней волос пропах французским духом. Хотя и поругивает Наполеона и французов, но вся его ругня, крикня — дым, туман, для отвода глаз... По весне, когда я вернулся в дарованный вами мне длительный отпуск для полного поправления здоровья, то сей Иван Муравьев-Апостол, находясь в то время в Петербурге, устроил в доме своей родственницы в домашней моленной панихиду за упокой и сам пел вместе с певчими: «Прими, господи, душу усопшего раба твоего...»

— Панихиду по ком?

— Как передавали, по мне...

У царя расширились зрачки от удивления.

— Это возмутительно... В чьем же доме?

— В собственном доме известной вам вдовы Катерины Федоровны Муравьевой. У Аничкова моста...

Граф сделался скорбным, что с ним случилось крайне редко в присутствии императора.

— Я не понимаю, чем было вызвано такое шутовство в доме известнейшей дворянки, близкой не только ко двору, но и всему нашему семейству,— выразил недоумение царь.— Я впервые по возвращении слышу о такой непристойности. Я не оставляю эту вольность без последствий.

— Вызвано, ваше величество, преждевременным ликованием.

— В связи с чем?

— В связи с моим отъездом на полное излечение. Муравьевы и Волконские по всему городу разнесли слух о моем окончательном удалении от вашей священной особы и повсюду стали называть меня смердящим политическим трупом... И хуже — бранили.

— Не принимай близко к сердцу, друг мой, эти муравьевские пошлые выдумки. Твое здоровье, твоя жизнь для меня дороже всего,— Александр встал, подошел к сидящему в кресле Аракчееву, врачующе положил белую нежную руку на его костлявое плечо.— Утешься. Твои недруги — мои недруги, и плохо они, себе на пагубу, знают нас с тобой. Им ли разрушить узы нашей дружбы? Улыбнись, друг мой, и плюнь на них на всех. Обо мне

тоже много плетут. Ведь, право, Алексей Андреевич, было время, когда у нас, возвеличивая Наполеона, меня считали за простачка. Хорошо то, что ты не скрыл от меня своего огорчения, вместе нам с тобой всегда легче исцелять наши души от скорбей и печалей. Я вполне согласен с тобой: Иван Муравьев-Апостол непригоден в министры просвещения. И вообще непригоден. Право, люди сами себе не желают добра...

Александр и сам расстроился оттого, что видел омраченным своего друга. Впалые подглазья графа сделались темно-фиолетовыми, нижняя губа отвисла, и весь он казался грузным, рыхлым. Ласковые уговоры, на которые нынче не скупился царь, рассеяли печаль наперсника. Он поделился с царем, как на исповеди, смятенными чувствами и размышлениями, что испытывал этой весной и летом, находясь в своем Грузине. Мимоходом сделал несколько нелестных замечаний о графе Ожаровском, зяте Ивана Муравьева-Апостола, хорошо зная, что Ожаровский — друг царя с юношеских лет и запросто вхож к нему. Намекнул, что Данилевский, который сопровождал государя во всех поездках, не умеет держать язык за зубами, а через это его свойство многое просачивается за стены царских кабинетов и покоев. Все это делалось графом в расчете насторожить Александра против всех, кому он доверяет пока что, кто окружает его во дворце, сопровождает в путешествиях.

Они беседовали до полуночи и, расставаясь, расцеловались.

9

Во дворце один бал сменялся другим. Гремели оркестры и в ярко освещенных богатых домах. Аристократическая столица продолжала упиваться радостями победы: танцевала, пела, пила, веселилась. Одни только иллюминации поглощали уйму денег. Расточалась казна, раздавались награды и чины. Множились слухи о близких ошеломительных реформах и самых обширных нововведениях решительно во всех правительственных отраслях. Больше всего говорилось об отмене крепостного права и отстранении от власти приверженцев Аракчеева — многочисленных карликовых временщиков и замене их новыми людьми. Предсказывалось близкое возвращение к исполнению прежних обязанностей ныне опального

бывшего государственного секретаря Сперанского. А некоторые с оглядкой уверяли, что Сперанский уже на пути в столицу и застрял где-то между Рязанью и Москвой. Рассказывали также, как самое достоверное, что яро- стный и непримиримый враг Сперанского князь Андрей Борисович Голицын якобы на балу во дворце сказал одному из великих князей — то ли Николаю, то ли Константину, — что ежели Сперанский хоть на один день будет приближен к государю, то он, князь Голицын, в знак протеста взберется на шпиль Петропавловской крепости, встанет на крыло медного ангела и с голово- кружительной высоты бросится вниз. Добавляли к этому: Александр, когда до него дошли угрозы князя, будто бы сказал за обедом в компании Милорадовича и Кочубея:

Пускай князь Андрей Борисович знает, что пости- лать соломки для него у ворот Петропавловской крепости я не собираюсь — нет лишней соломы, вся израсходована на походные биваки... А восковую свечу за упокой его души непременно поставлю.

А по словам Федора Глинки, генерал Милорадович к этим словам царя добавил:

— Надо еще сначала спросить у медного ангела над Петропавловской крепостью, приятно ли ему будет такое, хотя и кратковременное, соседство.

Знатоки придворных альковных тайн предсказывали благодатное сближение Александра с царицей Елизаве- той, пребывавшей все время в тени по причине равно- душия к ней супруга. Уверяли, что легкомысленным по- ступкам остепенившегося царя наступил конец, что он уже принес или собирается принести покаяние Елизавете, что полька Мария Антоновна Нарышкина, вскружившая ему голову, собирается постригаться в монахини и вместе с миллионершей графиней Анной Орловой-Чесменской уйти от суеты мирской в отдаленный монастырь.

Все ждали больших перетасовок в недавно учрежден- ном и уж очень быстро заплесневевшем Государственном совете — скопище выживших из ума вельмож. Сообщали, что царь особенно недоволен состоянием дел в министе- рстве народного просвещения и что не нынче-завтра невежественный граф Разумовский, прославившийся же- стокостями, будет смнен и на его место уже прочили друга царской юности — мечтательного и склонного к мистицизму князя Александра Николаевича Голицына.

Говорили и то, что дни иезуитов в России сочтены

и что все они вскоре будут окончательно изгнаны, ибо терпению государя пришел предел.

Хотя офицерам и не возбранялось появляться в собраниях и в обществе во фраках, но уже снова начинались и обретали прежнюю силу марши, контрмарши, дефилады, разводы, смотры, манежные дрессировки до упаду, до обморока.

Жизнь огромного города являла собой подобие волнующегося моря, которое образовалось из отдельных капелек; каждая капелька — чья-то почти незаметная жизнь. Вот такой каплей была и жизнь однорукого Антона, все еще томившегося в столичных застенках. Со дня въезда царя в Петербург Антона не переставали таскать по допросам, по канцеляриям, по судебным приставам. В злосчастный день его, избитого палками, с расквашенным носом и окровавленной головой, приволокли в будку и бросили на пол. Обшарили карманы, выгребли из них все, что припасено было на дорогу и прожитие в городе. Когда он отлежался, пришел в себя, попросил воды, чтобы умыться и утолить жажду, его лишь обругали последними словами. Вида при нем никакого не было, и потому ему не верили, что бы он ни говорил в свое оправдание.

После долгих мытарств он попал в руки к судебному приставу Мылову, который, видя, что с задержанного нечего взять, кроме горсти волос, и без того прореженных будочниками, вынес такое определение:

«Безродный и бездомный, закоренелый бродяга, и все, что он выдумывает о себе, — вранье. Надлежит отсылке на фабричные работы или на каторжные галеры, но так как он при одной руке, то отправить на усмотрение вышестоящей власти».

Антон не говорил правды о себе. Он назвался экономическим крестьянином, скрыл и то, на чьем дворе и в чьем доме имел пристанище. А не сказывал он правды из опасения, как бы не причинить беды барыне Муравьевой и ее сыновьям.

От судебного пристава Мылова он попал в руки сразу двоим: управляющему департаментом внутренних дел фон Фоку и заведующему канцелярией петербургского генерал-губернатора Геттуну. Эти опытные полицейские и на самого Антона, и на его холщовый мешочек с сушеными корнями чемерицы взглянули по-другому и решили придать иной ход всему делу, да такой, что дело

уже никак не могло пройти, чтобы не обратить на себя внимание государя.

Антон с гауптвахты Нового адмиралтейства под усиленной охраной двух солдат и унтер-офицера доставили вечером к допросу прямо в канцелярию министерства внутренних дел. Рана на голове Антона не зажила и сильно гноилась. Он прикладывал к ней лоскуток бумаги, какая только попадала под руку, но бумага быстро присыхала. Он совсем ослабел и еле волочил ноги. Его сокрушали и мысли о Маккавейке: что-то случилось с ним и где он теперь обретается?

Фон Фок, с головы до ног оглядев Антона, что понуро стоял перед столом, сказал:

— Отойди дальше от стола, свинья! От тебя пахнет хлевом.

И здесь оправданиям Антона не придали никакого значения. Геттун оборвал его на полуслове:

— Все ясно: бродяга, не помнящий родины своих отцов. Беглый... И скорее всего, ты вор-конокрад, ибо в русских деревнях принято всякому пойманному вору отрубать одну руку и отпускать с миром. Скажи, в каком селе и за какую кражу отрубили у тебя руку?

Антон готов был заплакать от обиды. Он рассказал, как и при каких обстоятельствах лишился руки, но ему не поверили, его рассказ встретили насмешками.

— Теперь все бродяги, нищие, воры, беглые каторжники выдают себя за спасителей отечества,— с улыбкою сказал Геттун.— Но мы таких патриотов понимаем с одного взгляда. И провожаем обратно туда, откуда они к нам пожаловали. С галер бежал? И, чтобы не быть обратно отправленным на галеры, лишил себя руки? Хитер крестьянин — на печи себе баньку поставил. Но мы и безруких ссылаем...

И Антон едва ли не в первый раз в жизни почувствовал, что по заросшим волосами щекам его покатились слезы. Он плакал не от того, что страшился галер, а от несправедливых обвинений, что были страшнее самой каторги и даже лютой смерти.

— Скорее всего, беглый убийца,— заключил фон Фок.

Спросили, что за корни, с какой целью Антон носил их в холщовом мешке и почему с этими корнями лез под копыта государеву жеребцу? Рассказ о целебных свойствах корня подействовал на допрашивающих совсем не так, как рассчитывал Антон.

— Уж не на жизнь ли государя помышлял ты, бродяга? — грозно прогремел Геттун. — Надо разведать... У нас есть кому.

Антон под стражей проводили опять на гауптвахту в Новое адмиралтейство. Мешочек с корнями на другой день передали на исследование главному дворцовому аптекарю.

Часть вторая

Дар Белогорья

1

В начале 1815 года русские войска снова месили грязь по дорогам сопредельных государств, чтобы не дать разгореться большой войне.

Конноартиллерийская рота, в которой служил прапорщик Кондратий Рылеев, передвигалась в направлении Силезских гор. Мундир и шинель прапорщика совсем изветшали, а денег на покупку смены у него не было — мать не присылала «подкрепления». В своих письмах к ней Рылеев повторял, что ни в чем не нуждается, — знал: мать с сестрой и без того едва сводят концы с концами.

Дороги Рылеева никогда не утомляли, он рвался к перемене мест и впечатлений. Всякая дорога, если вдуматься, это большая живая книга, и каждая пройденная или на колесах преодоленная верста — перевернутая и прочитанная страница, и эта книга уже тем хороша, что ее никто не подсахарит, не подкрасит, не извратит, к ней нельзя приставить недреманную полицейскую или церковную цензуру, из нее нельзя ничего вымарать, что светится правдой и неподкупностью, — ведь не напрасно же великая русская дорога от Петербурга до Москвы рассказала столько всего богатырю русского духа — первому истинному гражданину России Александру Радищеву. Дорога для всякого умного человека — целая академия.

Уже позади остался Бреславль. Слева от дороги раскинулись покрытые буйно рванувшейся в рост зеленью равнины, за которыми в вешней дымке синели горы Силезские. На лугах уже отцветали дикие тюльпаны и болотные фиалки, на смену первоцветам спешили дикий мак и резеда.

Рылеев с другом своим и однокашником прапорщиком Федором Миллером ехали в дрожках и не уставали любоваться величественными картинами, что одну за другой развертывала перед ними щедрая на природные ди-

ковинки дорога. Гигантские вершины гор, подернутые сизой дымкой, толпились вдалеке, как былинные богатыри возвышаясь одна перед другой. Висящие на скалистых уступах темно-зеленые леса были похожи на кольчуги; а снег, что лежал на гордых вершинах выше лесов, заставлял вспомнить серебряные варяжско-новгородские шлемы. Туманные облака своими крыльями задевали за островерхие их вершины. Трудно было оторвать взгляд от несравненного зрелища, нерукотворное величие которого не принижает человека, а наоборот, пробуждает в нем возвышенные чувства, порывы страстные, желания, достойные призвания человеческого, приводит сердце в восторг и благоговение. Не напрасно же орлы и равные им по силе и храбрости птицы гнездятся по таким вот вершинам и скалам, а не по болотам и комариным гнилым местам.

— Это Ризенгебирге! — с волнением сказал Рылеев. — Есть что вспомнить. Будто и сейчас среди мрачных ущелий по лесистым уступам гор вьются средневековые тропы, а по ним, рисует мне воображение, карабкаются страшные небылицы о чародеях, ведьмах, колдунах, оборотнях. Будто и сейчас еще в ущельях на самом дне, как мертвый туман, лежит мрак средневековья. Мрак в те времена пропитал все, не пощадил и народные сказки. Я вслушивался в здешние сказки, они полностью подтверждают мою мысль. Народные сказки ближних к Ризенгебирге мест полны необычайного суеверия и самых странных предрассудков, перед которыми наше суеверие и наши странные предрассудки кажутся детскими потешками. Суеверие и предрассудки сковали творческий дух и иссушили ум многих поколений. Монастыри с их отшельническим кастовым просвещением не могли разогнать губительного мрака, что всюду расстилался за их стенами. Загнанное в глухие монастырские стены просвещение оказалось фактически бесплодным. Более того, монашество находило немалые выгоды в удручающем невежестве и, в собственных выгодах, само насаждало невежество, сеяло мрак. Монашеские проповеди того времени были наполнены ужасными сказками о духах, теперь эти сказки кажутся смешными. Но они сделали свое пагубное дело для народа: толпы суеверных стекались в монастыри, чтобы послушать небылицы о духах, от отцов и матерей суеверие и невежество доставалось детям, этот порок укоренялся в их душах, извращал их

нравственность, искажал миропонимание, убивал всякую иную мысль, противоречащую суеверию и невежеству в зародыше... И так из поколения в поколение... Как мскрицы боятся лучей солнца и гибнут от них, так и монахи боятся истинного ума. Ум — вот что всегда было ненавистно монашеству всех времен и всех народов. Сколько проклятий монашеских прогремело с кафедр против восставшего ума!.. И нет на свете людей беспощаднее и мстительнее монахов. Да, да, они не переставали проклинать несогласный с ними ум до тех пор, доколе оный не умолкал под пытками или на костре... Сколько черных, не зарастающих травой пятен осталось на здешней земле от мстительных монашеских костров!.. Ум, пожираемый пламенем, что может быть отвратительнее подобного зрелища? Сколько несчастных мучеников за правду и свет разума погибло смертью мучительной, смертью ужасной!.. И порой мне приходит все чаще такая мысль: не по трагической ли ошибке когда-то человек был назван человеком, в формы телесные, предуготованные провидением для него, не подбросил ли дух зла и злобы что-то совсем постороннее? Ежели человек сотворен по образу и подобию божью, то откуда же и чьей волей и властью поселился в него зверь?

Миллер упрекнул Рылеева в унынии, что не к лицу русскому офицеру за границей.

— Я вовсе, Федя, не унываю! Я верю в ум! А как жить без такой веры? Во имя чего жить? Я верю, что на смену всякому мраку рано или поздно придет благоразумный Лютер, как он пришел в Германии. Всякое ярмо несчастных рано или поздно должно пасть перед такими светлыми личностями, как Лютер. Великий, чудесный дух, удивляюсь ему и благоговею!.. Об этом я должен записать.

Рылеев вынул походную тетрадку и, сидя в дрожках, благо дорога ровная, нетряская, стал карандашом делать дневниковую помету.

Синеющие в сизой дали гигантские вершины Силезских гор постепенно меркли, облака сползали с снежных вершин и скрадывали зеленую лесную ленту.

Завершив кампанию 1813—1814 годов, войска возвратились в Россию. Конноартиллерийская рота, в которой служил Рылеев, вступила в Виленскую губернию.

Остановились в деревне Вижайцы Росиянского уезда.

В октябре 1816 года по делам службы Рылеев посетил ратушу города Росияны и имел встречу с бургомистром, слывшим человеком надменным, заносчивым и вместе с тем не особенно храбрым.

В забрызганной грязью шинели, с прицепленной саблей, Рылеев вошел в кабинет бургомистра, чтобы передать ему билет. Бургомистр лишь беззвучно пошевелил голстыми губами в ответ на четкое приветствие прапорщика, не шевельнулся в кресле, не повел пальцем и не проявил не только никакого интереса, но и холодной вежливости к вошедшему. Он вел себя так, будто не видел перед собой посетителя. Эту грубость, смешанную с высокомерием, сразу почувствовал Рылеев, но заставил себя подчиниться голосу рассудка. Передавая билет бургомистру, с достоинством, но почтительно сказал:

— Господин бургомистр, разрешите вручить вам билет, полученный мною от нижнеземского суда заседателя господина Станкевича.

Тучный бургомистр не вдруг ожил, не вдруг обратил внимание на предложенный билет. Но и ожив, он почему-то не дотронулся до лежащего перед ним билета.

— Опять билет? Какой билет? — вяло проворчал он. — Опять билет... Опять Станкевич. Для чего, прапорщик, вы мне его суετε?

— Дабы вы велели кому следует как можно скорей выдать мне означенное в оном число подвод, необходимых для отправки во внутренние города империи тяжелораненых, чье здоровье ныне улучшилось и позволяет дальнейшее путешествие, — отвечал Рылеев.

— Ну и везите своих раненых, а я тут при чем? — оставался каменно-равнодушным бургомистр.

Рылеев вынужден был взять со стола бумагу, чтобы отдать ее прямо в руки сумасбродному бургомистру. Бургомистр с грубостью вырвал подаваемую бумагу и высокомерно закричал на прапорщика:

— Твоя бумага для меня ничего не значит. Суд не имеет права предписывать мне. Понимаешь? Мое место — за столом, а место суда — там, под столом. — И при этих словах бургомистр бросил бумагу под стол. — Еще есть ко мне билеты из суда?

Прапорщик показался бургомистру юношей беспомощным, а из таких людей бургомистр привык вить веревки.

— Ежели вы, господин бургомистр, имеете с судом какие распри или неудовольствия, то я оным вовсе не причиной,— не теряя самообладания, мирно проговорил Рылеев.— Я выполняю служебный долг, а посему и прошу вас быть немного повежливее и подаваемых вам мною бумаг столь нагло не вырывать и не бросать под стол.

Бургомистр от этих слов будто вмиг переродился, разгоряченно вскочил, вспылил:

— Как вы смаете делать мне такие грубости? И кричать на меня в присутственном месте? Я втрое старше вас...

— Я не грублю и сам осуждаю грубиянов и грубиянство. Если я и сказал громче обыкновенного, то вы сами тому причиной,— твердо ответил Рылеев.— Еще раз прошу вас дать мне подводы или письменно отзыв в отказе. Без того или иного я отсюда не уйду.

— Как не уйдете?

— Так и не уйду.

Бургомистр решил сокрушить поручика длительным высокомерным молчанием. Рылеев подождал с минуту, но терпение его иссякало, он, горячась, повторил:

— Дайте мне подводы!

Бургомистр на это ответил презрительным взглядом, что еще больше возмутило Рылеева.

— И сейчас же подымите билет, брошенный под стол! — закричал он, оскорбленный и возмущенный.— Слышите? Имейте в виду: я — при черкесской сабле и достоинство бумаги, составленной к пользе отечества, как и личное достоинство, готов защитить не только перед бургомистром, но и перед самим царем небесным!

Он схватился за позолоченный эфес сабли, украшенной темляком с кистью.

— Бургомистр, поднимите немедленно бумагу! Слышите? Иначе сейчас и вам лежать под столом, рядом с бумагой.

Сверкнула выхваченная из ножен кривая сабля. Побледневший от испуга бургомистр поспешно поднял из-под стола бумагу.

— А теперь потрудитесь прочесть предъявленный вам билет и отдать нужное распоряжение! — не убирая обнаженной сабли, приказал Рылеев.

Бургомистр трясущейся рукой безропотно написал распоряжение и отдал его Рылееву.

— Исполнив возложенный на меня служебный долг, я не премину через своего командира, господин бургомистр, просить покорнейше сделать мне надлежащее удовлетворение! — сказал Рылеев, ловко проводил саблю в ножны и покинул кабинет.

Бургомистр испуганно глядел на дверь, опасаясь возвращения гордого прапорщика.

Через несколько дней вслед за обозом с тяжелоранеными выступила в глубь России под Мценск и конно-артиллерийская рота.

Подскакав к другу Миллеру, который шагом ехал обочь своего орудия, Рылеев, сияя счастливой улыбкой, сказал:

— Здравствуй, Федя, лечу вперед квартирьером. Поздравляю с возвращением в пределы родной России.

— Не понимаю тебя, Кондратий,— пожал плечами Миллер.— Слышавши от тебя столько нелестных мнений о любезном отечестве нашем...

— Не об отечестве, а о рабстве, которое позорит наше отечество,— горячо перебил Рылеев; улыбка потухла на его лице.— Это не одно и то же. Рабство не отвратит меня от отечества, как любящего сына не отвратит от отца обида, нанесенная отцу сильным мира сего. Как полагаешь, что в сем случае надлежит делать верному любящему сыну?

В обычно спокойных темно-карих глазах Рылеева вспыхнула буйная искра; не дождавшись ответа, он дал шпоры коню и помчался в голову колонны.

3

Сверстник и однокашник Александра Первого граф Ожаровский, женатый на Анне Ивановне Муравьевой-Апостол, получил пригласительный билет, украшенный двуглавым орлом и золотыми виньетами, на дворцовый бал по случаю возвращения государя из-за границы. Всякому мало-мальски понимающему международную обстановку было ясно, что не ради увеселительных прогулок царь так часто катается в чуждые пределы.

Между графом Ожаровским и царем издавна укрепилась дружба, и никакие придворные сплетни и дразги в течение многих лет не могли охладить ее. Граф не выходил из доверия у царя.

Аннет Ожаровская, пользовавшаяся неизменным успехом в обществе и вниманием при дворе, собиралась на бал без всякой охоты.

— Говорят, во дворце царит смертная скука,— обратилась она к стоявшему рядом мужу, пока служанка старательно укладывала ее волосы, возводя многоэтажную замысловатую прическу. Служанка почти ни слова не понимала по-французски, и поэтому при ней можно было говорить о чем угодно.— Старая царица, я слышала от Бибиковой, поедом ест Елизавету, которая месяцами не видит в глаза своего царственного супруга. Как келейница, она коротает дни в обществе Язвицкого — он совершенствует ее в русском языке. Уверяют, что она решила постричься в монахини...

Ожаровский курил длинную трубку, с улыбкой слушал Аннет и не делал никаких пояснений к ее речам.

— 14 декабря, теперь все так говорят, число несчастливое для Петербурга,— продолжала она.

— Почему?

— В этот день государь возвратился в Петербург скучен, гневен, сумрачен, и все сразу стали подражать ему: заскучали, насупились, помрачнели, сделались чопорными,— резво сыпала словами Аннет.— Ведь в России издавна в моде такое подражательство, особенно усердствуют придворные ханжи и лицемеры во главе со старой царицей... Фу, какая несимпатичная женщина! А «серый мужичок» Александр Николаевич Голицын на каждом шагу охает да вздыхает, будто опасается того, чтобы не показаться перед кем-нибудь веселым.

— Видишь ли, милая моя Аннет, будем справедливы в нашей критике,— заметил Ожаровский.— У царя всегда бывает больше чем достаточно веских причин для того, чтобы стать скучным, мрачным и даже гневным. Давайте-ка, милая супруга, оглянемся на прожитый нами год и вспомним все огромной важности дела, которые непосредственно самому государю приходилось решать. Наполеон бежит с острова Эльбы и без единого выстрела вступает в Тюильрийский дворец; бездарное жалкое существо Людовик Восемнадцатый, спасенный нами от гильотины, перепуганный до беспамятства, бежит из дворца, бежит так поспешно, что забывает на столе секретный договор, который он успел заключить с тайными врагами нашими против того, кто спас ему жизнь

и возвратил престол... Александр великодушно бросает в камин этот позорный секретный договор на глазах у тех, кто пошел на такое вероломство; сжигает и предает забвению... Так могла поступить лишь душа истинно возвышенная и благородная! В мае он подписывает трактаты между Россией, Австрией и Пруссией и принимает титул короля Польского; в том же месяце он подписывает в Вене манифест о поднятии оружия против похитителя французского престола, а в июне мы видим его в Париже вместе с союзными государями. Только в конце ноября ему удастся устроить парижские дела к выгоде России и покинуть Париж. А на обратном пути в Россию его ждали не менее важные дела в Берлине...

Аннет громко засмеялась сказанному, заметив:

— Адам, из бесстрашного командира партизанского отряда вы превращаетесь в апологиста, вроде графа Аракчеева... Не обижайся, милый! Берлинские дела государя, которые ты так высоко вознес, с большим успехом могла бы выполнить любая баба. Ей-богу, Адам, ты порой бываешь смешон. Ну, что делал царь в Берлине? Сосватал великого князя Николая Павловича с принцессой Шарлоттой. Еще одной белобрысой сварливой немкой станет больше в царском дворце...

— Мятежный дух Муравьевых-Апостолов неистребим,— с доброй улыбкой сказал граф и поцеловал Аннет в черные бубли.— Теперь мне понятно, почему тебя боготворит твой братец Сергей... Сдаюсь, Аннет, перед твоим натиском, прямо-таки партизанским. Но не забывай, милая моя, что женитьба у царей дело прежде всего политическое, а уж потом и семейное. А через неделю после берлинского сватовства Александр подписал конституционную хартию вновь созданного Польского королевства и генерала Зайончика назначил наместником. Разве такие акты не обременительны?..

Служанка отлучилась в другую комнату, чтобы разогреть завивальник. Аннет стрельнула на мужа веселыми глазами и сказала по-русски:

— Акт и впрямь обременительный. Ведь генерал Зайончик, ты это лучше моего знаешь, дурак набитый, пьяница, трус и подхалим.— Заглянув в зеркало, Аннет поправила волосы, капризно скривила губки: — Право, стыдно слышать о таких назначениях. Почему в России столь высока цена на дураков с претензиями? Или они у нас большая редкость, на манер индийских мартышек?

Или дурак издалека видит дурака? Неужели не нашлось достойного человека?

— Твой язычок, милая супруга, разит почище гусарской сабли,— засмеялся граф,— потому — сдаюсь...

— Нет уж, сударь, к барьеру,— разгорячилась Аннет.— Не пора ли, кстати, спросить у освободителя европейских народов, когда он собирается подписать конституционную хартию для России? И кого он собирается назначить в наместники к нам? Уж не дружка ли своего Аракчеева? — Аннет говорила о том, что в тысячах и тысячах вариантов вот уже не первый год обсуждалось во всех петербургских гостиных и офицерских казармах. Она увлеклась предметом беседы и оттого стала еще грациознее.— Наш государь лукав, и он же по-ребячески наивен: ему часто кажется, что никто его лукавства не замечает. Все замечают! Самый последний извозчик на бирже ныне смотрит на царя как на лукавца, проще сказать — на обманщика. А послушайте, что говорят офицеры лучших гвардейских полков! Конституционная хартия для Польского королевства не пройдет царю даром!

— Почему?

— Вчера у нас, в твоё отсутствие, весь вечер на этот предмет жарко спорили мои братцы Сергей и Матвей, Никита и Александр Муравьевы, Пестель, Якушкин, Лунин, Глинка и Федор Толстой. Они считают, что дарование конституционной хартии Польскому королевству в обход России есть унижение для нас... Гвардия больше не верит в посулы государя.

Аннет Ожаровская, урожденная Муравьева-Апостол, унаследовала от своих родителей острый ум и своеобразный характер. Граф Адам горячо любил ее за это, сам будучи человеком благородным и независимым.

— Ну, Аннет, ты у нас истинная якобинка,— весело отозвался он.— Тебе следовало родиться француженкой и заседать в Конвенте...

Разгоряченная Аннет не приняла шутки.

— Я люблю Францию, люблю остроумных французов, но, будучи русской, еще больше люблю Россию и русских. Люблю до слез, до умиления каждый кустик, каждый взгорок на родной земле. У французов, особенно у парижан, есть чему поучиться восприимчивым ко всему доброму русским... Парижанина, например, далеко пустыми посулами не уманишь, а русских можно куда угодно увести за пустою торбой. И нынешний государь

неплохо освоился с показом пустой торбы, на которой вышито: «Конституционная хартия для России»...

Вошла служанка и быстро закончила хлопоты с завивкой, Аннет удалилась на свою половину, чтобы одеться в вечернее бальное платье.

Вскоре в кабинет к Ожаровскому ввалилась целая толпа гостей, большей частью офицеры Семеновского полка. Все были во фраках: каждый из них считал своим неотъемлемым правом, добытым на войне, в свободное от службы время мундир сменять на фрак. И никто пока что на это право не посягал.

— Ну, много ли семеновцев получили приглашение на сегодняшний бал? — спросил Ожаровский сразу у всех.

— Ни одного билета, — ответил Сергей Муравьев-Апостол.

— Потемкин получил, — добавил его брат Матвей.

— Адам Петрович, вы близкий царю человек, часто бываете во дворце, можете ли нам объяснить, чем вызвана столь резкая перемена в настроении царя, во всем его поведении? — спросил Якушкин.

— Весь Петербург говорит, что он стал скучен, гневен, сумрачен. И это на самом деле так. Но чем вызвано? — спросил Лунин. — Неужели наш государь, с его феноменальной осторожностью и умением прощупывать тайные мысли противника, попал в новые дипломатические тенета к Меттерниху, Кестльри и Талейрану?

— Ничего подобного ни от кого не слышал, — ответил Ожаровский.

— Есть заслуживающие доверия сведения о том, что еще в начале этого года подписана какая-то тайная конвенция между русским императором, Меттернихом, Кестльри и Талейраном, — уверял Лунин. — Все говорят, что в день рождества Христова будет обнародован какой-то весьма важного государственного значения акт... Толки на сей счет самые разные: одни говорят, что будет в этот день обещана конституция России и отмена крепостного права постепенно по губерниям...

— Не слышал, не слышал, господа, — отвечал Ожаровский. — Я слышал нечто совершенно противоположное.

— А именно? Еще большее закрепощение? Дальше уже закрепощать некуда! — гневно заговорил Пестель, сядя в кресло и поудобнее устраивая свою больную ногу.

— Известно мне другое, — продолжал Ожаровский. — Императором совместно с Аракчеевым заготовлен указ

о введении в России каких-то военных поселений. Но пока что все это держится в строжайшей тайне даже от военного министра Коновницына. Да и какой он военный министр, коли теперь образован Главный штаб императорского величества. Услышав о создании сего штаба, наш военный министр с горя пил неделю беспробудно.

— Да, не завидую Коновницыну, его права теперь так урезаны, что ему остается распоряжаться лишь солдатскими портянками да клопами в казармах,— съязвил Сергей Муравьев-Апостол.

Когда отзвучал смех, он обратился к своему зятю:

— Поручаем и просим всеусиленно, Адам Петрович, будете во дворце, спроведайте понадежнее, сдвинулись ли дальше слов конституционные поползновения государя или же пребывают в прежнем эфемерном состоянии? Если сдвинулись, то кто привлечен государем к участию в столь важном для всей России деле? И если представится возможным, как сверстник сверстнику скажите государю, что мы еще продолжаем верить в его благие начинания и что тысячи людей, преданных ему и отечеству, готовы без остатка отдать все свои силы и знания для блага отечества... Печально будет, если наша готовность не найдет правильного понимания...

Вошла Аннет, нарядная, благоухающая духами, стройная, как девушка. На ней было длинное, розовое, из легкого шелка платье, отделанное по подолу и рукавам вышивкой в цвет платья. В ушах сверкали, переливались жемчужные серьги. Тем же переливным огнем горели браслеты на руке. Газовый шарф легким дымком обвивал ее белые плечи. Розовые туфельки на тонком высоком каблуке мелодично простучали по паркету. Братья и их друзья почтительно поцеловали ручку хозяйке дома.

— Куда с большим удовольствием и несомненной пользой для себя провела бы я этот вечер в вашем обществе, чем ехать скучать во дворец,— без тени кокетства призналась она братьям.— Но от дворцовых приглашений уклоняться опасно. И потому мы с Адамом Петровичем едем на бал!

— Сестра, прошу тебя об одном: не танцуй с медведем дворцовым,— напомнил Сергей.

— С каким? Во дворце медведь не один? — уже от порога отвечала сестра.

— С бурым, деревянный дворец которого на Литейной,— пояснил Сергей.

— Можете не беспокоиться, братцы, медведь с Литейной стар и неуклюж. Я за всю свою петербургскую жизнь ни разу не видела его танцующим... А с другим медведем, если только он избавился от меланхолии и уныния,— все поняли, что она намекает на царя,— и если поблизости не будет прелестной польки Марии Антоновны, с удовольствием станцюю. Он танцует превосходно и с дамами обходителен, галантен, как никто из кавалеров...

— Поставьте условием вашему высочайшему партнеру,— вмешался Никита Муравьев,— от пустых обещаний перейти к делу — имею в виду конституцию для России...

— И полное безотлагательное освобождение всех крепостных крестьян! — громогласно сказал Николай Тургенев.

— Горжусь, горжусь, господа, вашим столь лестным для меня поручением! Постараюсь! И если с бала меня отвезут прямо в Петропавловскую крепость, то уж и вы меня не оставьте в беде!

Смеясь, Аннет от порога послала всем воздушный поцелуй, и каблучки ее застучали по деревянной лестнице.

У подъезда ждала карета.

4

Предсказание Аннет Ожаровской сбылось. На дворцовый бал съехалось много чопорной сановной и несановной знати, глаза уставали от мельтешения, пестроты женских нарядов, генеральских мундиров, от лент и орденов, но бал с самого начала был утомителен и скучен. Все светилось внешним блеском, и на всем лежала печать душевного уныния глубоко и непоправимо разобщенных людей.

Аннет рано научилась понимать фальшь и лицемерие высшего света и почти безошибочно отличать начисто опустошенные души от тех, что сохранили и ум, и честь, и характер. Но таких устойчивых людей она здесь не видела вокруг себя.

Станцевав контрданс с английским посланником, она разговаривалась с графиней Лаваль о разных разностях столичной жизни. Все дамы нынче прежде всего обратили внимание на то, что на балу отсутствует не только тот, в честь кого съехалась вся столичная знать, но и неотразимая Мария Антоновна, без которой не обходится ни

один такой бал. Не видно было ни старой, ни молодой цариц; знатоки всех дворцовых дрызг говорили, что в царской семье опять все перессорились. Ссору якобы затеяла старая царица, недовольная помолвкой ее сына великого князя Николая Павловича и принцессой Шарлоттой. Она же была и против назначения князя Петра Михайловича Волконского на должность начальника Главного штаба его императорского величества — на это место она прочила другого человека — родственника своей приятельницы княгини Ливен.

Отягощенные летами, подагрой, питьем, яствами, чинами и орденами, дряхлые и дряхлеющие столпы отечества, чопорно выпячивая грудь и вздирая голову, обособились кучками в разных концах большого, с беломраморными колоннами зала. Здесь говорили о чем угодно, только не о том, что по-настоящему волновало каждого; здесь шутили и смеялись, но ни шуток настоящих, ни смеха настоящего не было и подобия; здесь присматривали невест для сыновей и женихов для дочерей, никогда не теряя из виду количества душ, числящихся за женихом или невестой; здесь подобострастно ловили заискивающими взглядами надменные взгляды могущественных вельмож и сановников и раболепно таяли от счастья при первом же ответном и сочувственном взгляде; здесь упражнялись в излиянии любви к добру, к истине, то есть к тому, чего никогда не любили, но признаться в этом страшились как смерти; здесь лгали, лгали, лгали, делая вид, что изрекают истину, и только истину; здесь практиковались в чисто словесном, отвлеченном, умозрительном человеколюбии, почерпнутом из посредственных сочинений; здесь говорили о делах и нуждах государственных, мало понимая в этих делах и нуждах; здесь со злостью и завистью, иногда откровенной, иногда скрытной, считали и пересчитывали чужие ревизские души, чужие владения, чужие дворцы, мануфактуры, соляные копи, баснословные состояния; здесь с апломбом и прямо-таки республиканским гневом осуждали нетерпимое рабство, в каком пребывают американские негры, предавали проклятию жестоких белокожих плантаторов, но стыдливо умалчивали о не менее отвратительном рабстве на своей земле; здесь рассыпались в излияниях дружбы и товарищества лишь для того, чтобы такими излияниями прикрыть свои корыстные замыслы и предприятия; здесь собрались люди, для которых

с младенчества пребывание в среде нравственного и морального лицемерия, лжи, злословия, звериного стяжательства, прикрываемого механически усвоенными внешними приличиями, представлялось столь же естественным, как процесс дыхания, принятия пищи, как сама жизнь...

Из высоких дверей, ведущих во внутренние покои дворца, вышел царь. Он казался мрачным.

Аннета шепнула графине Лаваль:

— Что с нашим государем? Нынче и следа не осталось от его прежнего очарования. Или я не права?

— Ты права, государь со дня своего возвращения не в духе. Старая царица кого хочешь доведет своими бесконечными поучениями. Она решительно стоит против каждого проекта, приготовленного государем и его советниками...

Царь шел серединой смолкшего при его появлении зала и не обращал ни на кого внимания. Брови его с изломом посредине подергивались — верный признак сильного душевного волнения или еще более сильного недовольства. Он нынче даже изменил своей привычке появляться на балу в окружении особ прекрасного пола, так благотворно и целительно действовавших на его крайне мнительную и подозрительную душу.

Вскоре из тех же дверей, из которых вышел царь, появились князь Петр Михайлович Волконский, генерал-адъютант Коновницын, граф Нессельроде и холодно сверкающий серыми свинцовыми навывкате глазами великий князь Николай. Такой подбор нынешней немногочисленной свиты должен был ясно сказать всем присутствующим, и прежде всего послам и посланникам, что все внимание государя по-прежнему отдано делам международной политики и войску.

Первая женщина, которую заметил царь, была Аннет Ожаровская. Через минуту он подошел к ней и сказал несколько ласковых слов. Затем взял под руку австрийского посла Лебцельтерна, стал веселее, прошелся с ним, другой рукой, так же учтиво и вежливо, подхватил под локоть французского посла и сделал с ними, беседуя, несколько проходов по залу. Затем, вместе с послами, он подошел к графу Ожаровскому и заговорил с ним. Спросил о самочувствии, о здоровье, о том, сколько раз сегодня танцевал, кивнул начальнику Главного штаба князю Петру Волконскому, тот с военным министром

послушно подошел к царю. И хотя разговор был непри-
нужденным и малозначащим, несмотря на то что много
шутили и смеялись, брови царя не переставали подерги-
ваться — сильное неудовольствие или раздражение в ду-
ше царя не исчезло.

По ходу разговора австрийский посол нашел уме-
стным сделать замечание как бы от имени своего
императора:

— В Петербурге, к сожалению, ваше величество, до
сих пор некоторые ваши подчиненные распространяют
самые невыгодные и обидные для чести австрийской ар-
мии и нашего императора слухи о поведении австрийских
войск и особенно австрийских офицеров во время по-
следней войны. Такие слухи, несомненно, наносят чув-
ствительный ущерб узам нашей братской дружбы.—
Австрийский посол явно намекал на царицу Елизавету,
которая никогда и ни от кого не скрывала своего пре-
зрения и к Францу Иосифу, и к его генералам.

Но Александр, или не поняв этого намека, или только
приняв вид непонявшего, сказал:

— Прискорбно мне слышать такое, господин посол.
Еще раз заверьте вашего государя и моего друга в самых
лучших моих чувствах. Я знаю, есть такие болтуны...
Я вам не раз говорил и могу это повторить: русские
свиньи в армейских мундирах ничем не лучше немундир-
ных свиней. Мне много раз приходилось краснеть за них
перед просвещенными европейцами... — Он сглуха гово-
рил так громко, что его слова слушал чуть ли не весь
зал.— Свинство в крови у русского,— продолжал он.—
Дворянское происхождение, просвещение русской свинье
не в пользу и не впрок. Вот и мой друг детства граф
Ожаровский подтвердит справедливость моих слов.

Он обратил взгляд на графа Ожаровского. Тот при-
шел в крайнее замешательство. В лице, в глазах импе-
ратора он заметил нечто неискреннее, наигранной была
и улыбка.

— Так что же, правду я сказал, граф? — уже не искал
поддержки, а понуждал царь.

Ожаровский будто одеревенел. Он понимал, каких
слов ждет от него царь, но понимал и другое — слов этих
не мог сказать он даже под угрозой плахи.

Будто кровь вдруг остановилась в сердце Аннет —
царь поставил ее мужа в безвыходное положение.

— Государь, я никогда так плохо не думал о русских.

и потому не могу подтвердить ваших слов,— сказал Ожаровский, чувствуя, как взмокли его лицо и спина.— Но вам, ваше величество, виднее, нежели мне, и потому я не могу быть призван в свидетели справедливости всего только что сказанного вами.

Аннет с гордостью смотрела на мужа, не унизившего себя и супругу раболепием.

Александр, должно быть, никак не ожидавший такого ответа от графа Ожаровского, которого он считал не только своим другом, но и единомышленником, был обескуражен и даже почувствовал себя оскорбленным перед дипломатами и подданными. Он никогда не испытывал затруднений в спорах с любыми златоустами, но на этот раз у него получилась заминка. Ее он преодолел не сразу. Коновницын и князь Петр Волконский не рады были тому, что попали в свидетели такого неприятного для царя разговора. Оба боялись: не обратился бы царь с тем же вопросом и к ним. Их мнение о русских не расходилось с мнением Ожаровского, но хватит ли у каждого из них человеческого достоинства и благородства, чтобы ответить царю так же, как ответил Ожаровский? Царь оказался достаточно мудр, чтобы сразу оценить всю опрометчивость своего поступка. Он не захотел подвергать свой престиж еще большему риску и свел все к шутке:

— Я не удивлен ответом графа Адама Ожаровского — ведь он зять Муравьевых-Апостолов. Кто в семействе Муравьевых-Апостолов хоть один раз побывал, из того долго не выветрится дух муравьевского противоречия. Упрямству и несговорчивости Муравьевых позавидовал бы сам князь Андрей Курбский. Муравьевы, особенно Муравьевы-Апостолы, кого хочешь обратят в свою веру.

Сказав эти слова с улыбкой, впрочем, довольно натянутой, царь хотел покинуть зал, но Аннет заговорила с ним по-французски:

— Ваше величество, ваше великодушие и умение ласково выслушать каждого своего подданного подвигнуло меня сказать вам несколько слов в вашу честь и в честь моего старинного дворянского рода Муравьевых-Апостолов, поскольку я родилась и выросла в семье Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола... Государь, как я знаю из семейных преданий, из опыта моего отца и моих братьев, для Муравьевых-Апостолов самое высшее сча-

стве — бескорыстная служба своему возлюбленному отечеству и государю. И никто, государь, не посмеет упрекнуть Муравьевых-Апостолов в том, что они нарушили свой семисотлетней давности патриотический завет. Простите, государь... И, очевидно, вы правы: и на самом деле муравьевский дух противоречий заговорил во мне... Но это не умышленно, государь... Поверьте, ваше величество...

Александр повеселевшими глазами окинул окружающих:

— Ну, по совести — не прав ли я, господа? — Он благоволительно коснулся рукой плеча Аннет: — Вы, Анна Ивановна, лишний раз подтвердили только что сказанное мною. Благодарю вас за солидарность. И не советую вам менять духа и характера Муравьевых-Апостолов на какой-нибудь другой.

Сказав это, Александр поклонился сразу всем и ушел в свой кабинет, который находился в бельэтаже Зимнего дворца.

Через несколько минут покинула дворец и чета Ожаровских.

5

В Семеновском полку офицеры образовали свою маленькую артель, чтобы каждый день обедать вместе. Это были веселые обеды, проникнутые духом молодого вольнодумства. Вскоре об артельных обедах в семеновских офицерских казармах разнеслась молва по всем гвардейским полкам, по всей столице.

Каждый день к артельному обеду сходилось и съезжалось человек двадцать, а то и больше. Приглашались не только те, кто участвовал в артельной складчине. Здесь был желанным гостем всякий, кто ненавидел бессмысленную муштру, шагистику, кто видел в солдате прежде всего равного себе человека, считал унижительным для чести офицера все свободное от службы время бессмысленно убивать за игрой в карты, в кутежах и нечистоплотном волокитстве.

За артельным обедом говорили все и обо всем, при этом ощущалась всегда внутренняя самодисциплина и самовзыскательность. Здесь всегда воздавалось должное уму, таланту, доблести, человеколюбию, благородству души.

Здесь читались ежедневно произведения на многих европейских языках. Ничто не принималось слепо на веру, все подвергалось свободному, ничем не стесненному обсуждению. Здесь с радостью, как первую ласточку — предвестницу великой поэтической весны, встретили лицейские стихи еще мало кому известного юноши Пушкина. Здесь, как ни в каком самом изысканном аристократическом салоне, боготворили женщину и стояли на страже ее высокого достоинства. Здесь давно перестали поэтизировать салонных повес и дерзких дуэлянтов, умеющих показывать свою крайне сомнительную храбрость на поединках. Здесь, может быть, впервые во всей России офицерская молодежь нашла выход из томительного положения, в котором она очутилась после войны.

После сегодняшнего обеда, на котором много говорилось о смысле конституционной хартии, дарованной Польскому королевству, офицеры разошлись кучками. За столиками читали свежие иностранные газеты и тут же обсуждали новости европейской политики. Любители шахмат, заняв исходные позиции, нацеливали на ожесточенную схватку с противником пешек, ферзей, королей.

Победитель едва ли не всех шахматных состязаний Сергей Муравьев-Апостол повел хитродумное наступление на брата Матвея, слывшего среди семеновцев отличным шахматистом. Натиск Сергея был так стремителен, что Матвей едва успевал сдавать одну позицию за другой. Три битвы подряд проиграл он на шахматной доске и поднял руки перед братом:

— Сдаюсь! Ты нынче как Зевс-громовержец!

Матвея сменил князь Сергей Трубецкой. Но и ему повезло не больше, чем Матвею. Изобретательный ум Сергея Муравьева-Апостола поражал всех способностью строить точные комбинации при наступлении и при защите. Такого талантливое и оригинальное наступления, какое развернул он нынче, давно не видели сослуживцы. Сражающихся обступили болельщики, некоторые пожертвовали заграничными газетами, чтоб посмотреть за исходом шахматного поединка.

И Сергей Трубецкой на этот раз был разбит наголову. Его сменил Павел Пестель. Сражение с первых же шагов приняло еще более упорный характер. Сергей Муравьев-Апостол сразу почувствовал искусство и упорство противника, любившего и умевшего мыслить математически точными категориями. Сильный удар отражался не менее

сильным ответным ударом. Пестель не любил оборону и сразу предпринял дерзкую атаку. Он был изобретателен и ловок не менее своего противника. С первых же минут он создал несколько опаснейших ловушек. У него была своя манера игры, отличавшая его от всех других шахматистов.

Сергей почувствовал мощь стратегического мышления Пестеля и напрягал все усилия, чтобы удержаться на выгодных позициях. Но Пестель умело теснил его, предвосхищал замышляемые партнером хитроумные ходы.

Три партии подряд они закончили вничью, и оба заметно устали.

— Богатыри! С победой! — пожал им обоим руки Якушкин.

Решили всей артелью поехать к Муравьевым, у которых по вечерам никогда не бывало скучно.

Несколько санок весело понеслось по Невскому.

В доме Муравьевых светились окна на всех этажах.

У Никиты в его просторном кабинете уже сидели Николай Тургенев и трое братьев Муравьевых — Александр, Михаил и Николай. Читали и обсуждали Жан-Жака Руссо. В их беседу с ходу включилась приехавшая компания.

— Лишь люди, подобные Руссо, имеют право рассчитывать на память и уважение в потомстве, — сказал Пестель, любивший краткость, точность и ясность и в устной и в письменной речи. — Оказывается, настоящему мудрецу и истинному философу не так уж много нужно приложить усилий, чтобы сотрясти целые царства, ниспровергнуть престолы, поднять ураганы революции на всех материках... Для того понадобилась всего-навсего одна предельно простая и предельно ясная строка: «Все люди от природы рождаются равными». Апостольской силы изречение! Перед ним уже, несмотря на все усилия союзных государей, не могут устоять никакие крепости абсолютизма. Все люди рождаются равными... В этих словах — мудрость многих веков! Вот какую строку следовало союзным государям положить в основу их трактатов! Тогда можно было бы надеяться на долговечность бумажных плотин и запруд перед революционным разливом, что готов залить всю Европу...

Вошла Екатерина Федоровна и обрадовала гостей приятной новостью:

— Князь Петр Андреевич Вяземский с княгиней Верой Федоровной. Они у меня в гостиной.

— Ну кто ж не обрадуется столь желанному гостю! — легко поднялся из кресла Никита Михайлович. В гостиную отправились всей артелью.

За помутневшими в тепле выпуклыми крупными стеклами очков трудно было разглядеть добрые и умные глаза молодого князя Вяземского. Рыжеватые густые бакенбарды от висков и почти до самого подбородка делали его лицо мужицким, хлебопашеским. Да и вся его широкоплечая, коренастая фигура меньше всего свидетельствовала о его принадлежности к старинному дворянскому роду.

Оказалось, что Вяземские приехали прямо с дворцового бала, на котором, об этом уже разнеслось по всему Петербургу, произошло столкновение между царем и зятем Муравьевых-Апостолов графом Адамом Ожаровским. Эта весть, разумеется, приковала внимание всех. Теперь все с нетерпением ожидали возвращения графа.

Негодованию офицеров не было предела. Невольно припомнились все забытые и незабытые оскорбления без всякой к тому причины, нанесенные царем национальному достоинству русских.

— Служба в гвардии становится несносной! — кипел негодованием Иван Якушкин. — Наши грезы исчезают бесследно. Больше уже нет того прекрасного царя, каким он казался нам каких-нибудь полтора-два года назад. Ныне он обращается с гвардейцами как с ливрейными лакеями. Артиллерийские офицеры проклинали царя за то, что он нанес оскорбление их чести перед всей гвардией...

— Как это случилось? — спросила княгиня Вера Федоровна Вяземская.

— Мы весь год ожидали возвращения государя с нетерпением, — отвечал Якушкин. — Наконец взвился флаг над Зимним дворцом, и в тот же день велено было всем гвардейским офицерам быть на выходе. Приехали и артиллерийские офицеры, но их, по приказанию благословенного, не пустили во дворец. Это артиллеристов-то! Богов войны... — И голос Якушкина дрогнул.

— Такие оскорбления офицерской чести — чести всей гвардии — и дальше оставлять безнаказанными, неотомщенными нельзя! Никак нельзя! — сурово произнес Лунин.

— Как? Не пустили во дворец? — удивленно спросила княгиня Вера Федоровна.

— Княгиня, не удивляйтесь. Герои отечественной войны выходят из моды при дворе, — сдержанно объяснял Якушкин. — Мерзавцы и подлецы с удивительной поспешностью занимают все позиции в государственных учреждениях. Есть такой негодяй полковник Таубе, которого готов убить любой офицер и солдат. Этого пакостника Таубе решительно все ненавидят, но он обласкан царем, он стал личным шпионом царя. Царь верит его клеветническим доносам... По доносам Таубе изгоняются из гвардии отличные военачальники и офицеры. Более пяти гвардейских офицеров уже переведены в армию... Все через того же доносчика, подлеца, пострадали оба князя Горчаковы. Изгнание лучших только началось, и конца ему не предвидится...

— А конец должен быть положен, господа! И с этим мешкать нельзя! — повторял Лунин. — Есть способы воспрепятствовать изгнанию лучших!

Приехал князь Сергей Волконский, за ним — чета Ожаровских. Возбужденный вид гостей был понятен графу Адаму и его супруге — здесь уже обо всем знают.

— Это правда, Адам Петрович? — спросил Сергей Муравьев-Апостол. — Нам кое-что рассказали о твоей приятной и поучительной беседе с другом юности на балу.

— Все правда, господа, — с тоской и болью сказал Ожаровский. — Вот взгляд императора на русских: каждый из них плут, или дурак, или свинья. Это было сказано во дворце в присутствии многих.

Будто камень тяжелый на сердце каждому положил граф своим рассказом.

Каждый сейчас вспомнил пройденные дороги войны, бесчисленные лишения, страдания, потери, вереницу триумфальных арок во всех городах и городках, через которые пришлось пройти победоносному русскому воинству. И за все это получить такую благодарность!..

Сергею Муравьеву-Апостолу в эту минуту показалось, что щеки Лунина почернели, будто обуглились. Не сказав ни слова, Лунин куда-то удалился из гостиной и не возвращался. Всем было одинаково больно и тяжело. Возмущение не укладывалось в слова, и потому в гостиной водворилось молчание. Вскоре покинул гостиную и князь Сергей Трубецкой.

— Для меня, господа, столь пренебрежительный, и оскорбительный тон царя в разговоре о русских не новость,— заговорил генерал-майор князь Сергей Волконский.— Мне памятен смотр наших войск на обширной равнине под Вертю. При падении с лошади я зашиб ногу, и это обстоятельство позволило мне уклониться от участия в смотре в роли деятеля; я, прихрамывая более по расчету, нежели от боли, был просто зрителем. Все союзные владыки с их свитами теснились на кургане под Вертю, и я стоял на том же кургане неподалеку от них. Наш царь особенно внимателен был к английскому главнокомандующему Веллингтону. Смотр всей русской армии составлял зрелище на всю жизнь незабываемое. Вся огромная равнина кипела войском, сошедшимся сюда с разных направлений. Стройность движений и отменный наружный вид всех родов войск был выше всякой похвалы... Хотя мы-то, русские офицеры, непосредственные устроители этого зрелища, лучше всех знали, что кроется под сим наружным лоском и блеском. Снаружи кажется все глянцевито, гладко, чисто, а копнись внутрь — все шероховато, подмазано, а часто и гадко, бессовестливо... Но ведь на гадком и бессовестливом у нас все держалось и ныне на том же держится. И вдруг вот что произошло...

Вся русская кавалерия на том смотре была в полковом составе в шесть эскадронов. Не знаю, что тому виною: война ли с неизбежными тягчайшими потерями, нерадение ли командира Владимирского уланского полка, только этот полк оказался почему-то в четырехэскадронном составе... Несмотря на скорость движения, четкость церемониального марша и густоту оногo, недочет двух эскадронов в этом полку не ускользнул от глаз Веллингтона, и он спросил императора:

— Почему полк не в полном составе?

И вот тут-то, будто из рога изобилия, из уст нашего императора посыпалась самая оскорбительная брань в адрес русских. Государь не затруднялся на этот раз в выборе слов и выражений. Однако Веллингтон, не придавая значения отдельному частному замечанию, в целом с великой похвалой отозвался о выучке и устройстве русских войск.

— Этой выучкой и устройством моя гвардия и армия обязаны иностранцам, а не русским,— был ответ нашего государя.

Я стоял на том же холме, и мне показалось, что холм вдруг заходил у меня под ногами.

— Государь при всяком удобном и неудобном случае из всех сил старается показать перед иностранцами свое презрение к русским и на этом поприще уже одержал немало побед,— с язвительностью проговорил Иван Якушкин.— Все его словесные непотребства гвардия и армия помнят. Помнят и никогда не забудут... Он, наш «благословенный», с упорством маньяка не только продолжает оскорблять русских, но и дразнит их при всяком случае. Он не сумел даже распорядиться победой, что добыта русской кровью для всей Европы. Тяжесть трехлетней, самой жестокой и опустошительной войны Россия вынесла на своих плечах, по существу в полном одиночестве. Ее союзники — плохие вояки, ненадежные друзья, зато верные, вечные и самые надежные нахлебники... И как же наш «благословенный» распорядился русской солдатской кровью?

— Распорядился скверно, в ущерб престижу России,— вступил в разговор всегда сдержанный и уравновешенный Никита Муравьев.— Россия, принявшая на себя все бремя войны, в результате равнодушия царя к судьбам своего отечества увеличила свои владения на две тысячи сто квадратных миль с населением в три миллиона человек, Австрия же отхватила две тысячи триста квадратных миль с десятью миллионами человек. Не осталась в обиде и Пруссия: ей досталось пространство в две тысячи двести семнадцать миль с населением более чем в пять миллионов человек... Получилось так, что ловкий дипломатический «наездник» Меттерних оседлал акт Священного союза, написанный рукой Александра, и превратил этот акт в послушную его шпорам кобылицу. Меттерних не преминет из упоенного победами российского монарха, из всех наших дипломатических неуклюжих поползновений сделать дубину для сокрушения европейской свободы и защиты реакции... Так оно и будет. При всех дурных качествах нашего царя, при всем его отвращении к труду, при поразительном лицемерии и двуличии, при всех его душевных аномалиях мы все-таки не можем назвать его личностью совершенно ничемной, и потому он не может не понимать того, что все нынешние его сомнительные победы в делах международных идут вразрез с тем, что он недавно провозглашал и обещал России и Европе. Не отсюда ли проистекает

внезапная перемена к худшему в его настроении? Есть от чего помрачнеть и разгневаться на своих советников и на самого себя.

Рассуждения Никиты Муравьева всегда отличала способность проникать в сущность явлений, глубина и конкретность. Его оценки и выводы всегда покоились на обилии фактов, которыми была так богата его удивительная память. Он умел отстоять свое мнение в спорах, его железная логика сражала наповал. Но сегодня, против обыкновения, в муравьевской гостиной не было споров и непримиримых суждений. Всеми владело чувство возмущения выходкой царя, каждому хотелось на это высочайшее презрение ответить презрением гражданским. Слова царя о русских никто не считал случайной оговоркой в минуту резкого раздражения. Она выражала самое сокровенное в характере и настроении погрязающего в меланхолии и мистике самодержца. Это давало повод многим думающим людям заключить: с царем во время последнего года войны случилась какая-то страшная психическая катастрофа, подобная той, что когда-то случилась с его венценосным отцом, которого многие причислили к умалишенным. И так ли редко единовластие кончается психическим крушением, которое неизбежно приводит к страданиям целые народности, целые государства. Об этом думали все собравшиеся сегодня в гостиной Муравьевых. У всех было горячее желание видеть Россию страной свободной и просвещенной. Желание это оформится позднее в ясные идеи, породит великую цель, для достижения которой объединятся они и образуют ядро первого русского политического тайного общества — Союза спасения, впоследствии переименованного в Союз благоденствия.

Все это было впереди. А сейчас за окнами густела непроглядная мгла. Мороз гигантским молотом осаживал лед на Неве, глухие удары его были слышны у Ладожского озера.

6

У Измайловского моста между домами одного из братьев Зубовых и Грановского стоял дом великого русского поэта Гаврилы Романовича Державина. При одном упоминании имени этого человека улыбкой расцветали лица истинных друзей русской поэзии. Звучали над всей Россией его звонкоголосые оды, будто отлитые

из колокольной меди. Да, это был неповторимый мастер на поприще словесном. Ни дарственные табакерки с бриллиантами, ни чины и награды, ни министерское кресло не притупили державинского пера и не убили в нем человека с душой, умом и блистательным талантом!

За письменным столом, стоявшим посредине кабинета, сидел в кресле престарелый, убеленный сединами Державин, бледный и угрюмый. На плечи его накинут был беличий тулуп, покрытый синим шелком, на голове — белый с кисточкой колпак. Перед ним лежала раскрытая книга, его клонило ко сну, но он не поддавался дремоте. Из-за пазухи у него торчала голова обласканной и пригревшейся в человеческом тепле белой собачки. Она сладко жмурилась и не открыла глаз при появлении в кабинете пятнадцатилетней племянницы поэта, любившей безмолвно на полминутки заглянуть к дяде.

Державин зевнул, поправил на голове колпак, отложил недочитанную книгу, сказал сам себе:

— Все-таки не осилил... И знать, уж не осилю никогда. Да и осиливать-то нечего, слов много — и все пустые, как выбитые ветром колосья.

И тут он вспомнил о тетрадке, оставленной у него вчера вечером лицейским профессором Куницыным, другом семьи Державиных. Куницын, прощаясь, уже будучи на пороге, вручил эту тетрадку патриарху русской поэзии, не сказав, кому она принадлежит, лишь попросил почитать на досуге. Державин протянул руку к тетради, лежавшей на краю стола.

Он не торопился открывать ее, сначала вгляделся в почерк на обложке и не заметил в нем ничего особенного. Подумал: «Ох, сколько я за свою жизнь перечитал разных вот таких тетрадей и как мало нашел в них интересного, обещающего... А вот каждый раз, впервые открывая новую тетрадь, все-таки не перестаешь верить в чудо...»

Начал читать. И с первых же строк как-то сразу весь встряхнулся, приободрился, лицо посвежело, взгляд прояснел, от недавней угрюмости не осталось и следа. Жар незнакомой ему юной души как бы ворвался и в его хладеющую грудь. Он прочитал всю тетрадь не переводя дыхания. Прочитал — и сам себе не поверил. Еще раз прочитал... Второе чтение открыло перед ним еще больше несомненных достоинств в незнакомом авторе. Державин

уже не мог оторваться от тетрадки, снова и снова перечитывая стихи...

Наконец встал из кресел, счастливый, сияющий, одной рукой поддерживая белую собачку, в другой держа тетрадку, направился в диванную к супруге. Дарья Алексеевна осторожно протирала цветы, что стояли в горшках перед бюстом поэта, изваянного Рашетом.

— Чудо... Чудо, Дашенька! Прямо диво дивное!..— повторял он.

— Что, Ганюшка, что ты там вычитал? — задумчиво спросила Дарья Алексеевна.

— Диво-то какое! Чудо-то какое! Послушай, милая! — И Державин с вдохновением стал читать стихи из чужой тетради.

Жена, забыв о цветах, с белой тряпицей в руке слушала чтеца и радовалась не столько стихам, в которых ничего почти не понимала, сколько его приятному преображению. Слушала и временами переводила взгляд с лица поэта на настенный его портрет, писанный Тончи. Именно в минуту подобного радостного озарения изобразил художник Державина.

— Ты слушай, слушай, Дашенька, какой приятный голосок у этого музыкального лицейского соловья! Да какой тут голосок... Настоящий богатырский голосище! А ведь соловью этому, говорит профессор Куницын, всего шестнадцать лет или что-то около того...

Не просыпаюсь с петухами,
И напыщенными стихами,
Набором громозвучных слов,
Я петь пустого не умею
Высоко, тонко и хитро,
И в лиру превращать не смею
Мое — гусиное перо!
Нет, нет, любезный князь, не оду
Тебе намерен посвятить;
Что прибыли соваться в воду,
Сначала не спросившись броду,
И вслед Державину парить?
Пишу своим я складом и ныне
Кой-как стихи на именины.

— Ай какая прелесть! Какая свежесть! И как это все по-нашенски, истинно по-русски сказано! — не уставал Державин расточать похвалы неизвестному поэту.— Вот находка-то! Вот счастье! Ну и праздничек у меня ныне... Где слуга?

— На что он тебе, Ганюшка?

— Пускай генеральский мундир почистит и принесет...

— Уж не собрался ли ты куда?

— В Царское Село поеду.

— Зачем, Ганюшка?

— Поздравить! Надо поздравить!

— Кого, Ганюшка?

— Лицеиста, кой написал сии стихи. Ох, какой задорный, какой веселый, какой кипучий! И меня не забыл упомянуть... И ты, слышь-ка, Дашенька, заговорил-то как...

— Ганюшка, а я не разобралась сразу: что он, бранит тебя или же хвалит?

— Дело не в том, Дашенька, бранит он меня или хвалит. Дело в том, что он не видит для себя прибыли вслед Державину парить и желает писать своим складом! А ведь для поэта свой склад — самый великий клад! Вот что дороже всего... И в самом-то деле, какой ему прок вслед мне парить? Что я, бог, что ли? И Державин не без греха... Своим складом, своим складом — верно разумеет...

И опять он обратился к стихам, забыв и о парике, и о генеральском мундире.

Выйдя из диванной, он встретил на втором этаже свою племянницу Веру Николаевну, позвал к себе в кабинет и, переполненный радостью, стал читать для нее стихи из тетради лицеиста. Его племянница любила поэзию, понимала ее и всегда оставалась благодарна своему дядюшке, когда он делал ее соучастницей домашних литературных чтений. Слушая увлекшегося Державина, Вера подумала: «Давно он с таким жаром и волнением не читал не только чужих, но и своих сочинений. Вот что значит поэт милостию божией...»

К дому подъехала карета Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола. Из кареты вышли его сыновья Сергей и Матвей, а за ними и он сам.

— Вот в этом доме, что для России дороже всех дворцов, и благоденствует несравненный певец «Фелицы», — с благоговением указывая на дом поэта, сказал Иван Матвеевич. — Здесь живет человек, который однажды сам о себе сказал, что он «в правде черт!»

Сергей и Матвей впервые входили в жилище первого

поэта России. Они оба испытывали душевный трепет. Чеканно звучные державинские творения, всегда полные пафоса и вместе с тем очень человеческие, волнующие душу, вошли не только в их память, но и стали для них нравственным путеводителем на все случаи жизни.

Гости вошли в сени и увидели дремлющего на стуле пожилых лет лакея. Появление посетителей его не взбудило, он даже поленился подняться со стула.

— Дома ли его превосходительство и принимает ли сегодня? — спросил Иван Матвеевич.

— Пожалуйте-с, — ответил лакей и указал рукой на деревянную лестницу, что вела в верхние покои.

— Хотя я и друг Гаврилы Романовича, но, братец, не лучше ли доложиться прежде, сказать, мол, приехал Иван Муравьев-Апостол с сыновьями, а то, может статья, его превосходительство занят.

Но лакей не изменил своему правилу.

— Раз друг, так зачем же докладывать? — зевая, проговорил он. — Пожалуйте наверх, генерал в своем кабинете один, поди, чего-нибудь пишет или читает.

— Так проводи же, братец, до двери генеральского кабинета.

— Ничего-с, и одни не заплутаетесь, чай, здесь не в лесу, — пустился в рассуждения лакей. — Извольте-с идти прямо по лестнице, а как лестницу минуете — там и дверь в кабинет, первая налево.

Демократические повадки лакея показались забавными Муравьевым-Апостолам: они свидетельствовали об особом распорядке в этом доме.

Сергей Иванович окинул взглядом сени, всю обстановку и не увидел ничего величественного, достойного имени Державина. Ему даже стало грустно от этого. В сенях было довольно сумрачно.

Отец шел первым по деревянной, покрытой желтым лаком лестнице. За ним — Матвей и Сергей.

Они вошли наверх, остановились перед стеклянной дверью, завешенной зеленой тафтой. До их слуха донесся сильный, вовсе не старческий голос Державина, читавшего стихи.

Матвей Иванович постучался в дверь, она отворилась. На пороге стояла юная племянница поэта:

— Вы, верно, к дядюшке? Войдите, вот он, дядюшка...

Муравьевы-Апостолы гуськом вошли в просторный кабинет. Гаврила Романович обрадовался другу и его

сыновьям. Сергей едва сдержал улыбку, видя, как Державин целуется с его отцом, а из-за пазухи у него торчит белая головка разбуженной собачки.

— Что ж стоите? Садитесь! — пригласил Державин отца и сыновей. — Прежде чем угостить вас хлебом насущным, я угощу вас отменными стихами.

И он начал восторженно рассказывать о своей удивительной находке, потом передал тетрадь в руки Ивану Матвеевичу и попросил, чтобы тот почитал вслух. Иван Матвеевич читал хорошо, выразительно, с чувством и без дешевой театральности. Белая собачка высовывалась из-за пазухи у Державина, жмурила глаза и порой глотала хлебные катышки с руки хозяина.

После чтения разговор обрел литературную направленность, чему весьма рады были братья Муравьевы-Апостолы — им хотелось услышать и узнать побольше от самого поэта о рождении его литературных замыслов. Сергея особенно пленила державинская ода «Бог». Сразу же после ее появления на русском она была переведена на многие другие языки. Он на память читал эту оду по-русски, по-французски, по-латыни, и, кроме того, у него имелся свой латинский перевод. Речь зашла о державинских одах, и, когда Иван Матвеевич отдал должное их вдохновенному творцу, Державин сказал:

— Что бы там друзья и недруги о моих екатерининских времен одах ни говорили, но я считаю своей лучшей вещью оду «Милорду моему пуделю». — Он прочитал из нее несколько строк, потом с грустью добавил: — Видно, время пришло — вот недавно я написал несколько строк о самом себе — отчет перед моими предками: «На гробы рода Державиных в Казанской губернии и уезде, в селе Егорьеве».

О, праотцов моих и родших прах священный!
Я не принес на гроб вам злата и серебра
И не размножил ваш собою род почтенный;
Винюсь: я жил, сколь мог, для общего добра.

Державин вздохнул и погладил собачку.

— Если бы вы, Гаврила Романович, создали только одну оду «Бог», то и этого было бы вполне достаточно, чтобы имя ваше золотом начертала Россия! — взволнованно проговорил Сергей. — В нашей поэзии нет ничего равного этому поэтическому чуду! Скажите же, что за благодатный гений помог вам воздвигнуть сей памятник стихотворный? Памятник не только себе, но всей

нашей словесности! Могу ли я сейчас прочитать эту оду?

Державин кивнул в знак согласия, Сергей прочитал оду «Бог» сначала по-русски, потом по-латыни в собственном переводе.

Звучная латынь взволновала душу старого поэта. Выслушав, отечески обнял молодого офицера, спросил:

— Вы, я вижу, в совершенстве знаете латынь?

— Да, неплохо...

— Кто вас учил? Конечно же Иван Матвеевич, наш непревзойденный знаток новых и древних языков...

— Я научился латыни в Париже, в пансионе Них. Там начал и писать стихи на латинском,— ответил Сергей.

— Узнаю Муравьевых...— похвалил Державин.

— Радостно это слышать от вас,— даже растерялся Сергей,— тем более в доме, где впервые прозвучали строки:

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества.

— Не совсем так,— ответил Державин.— Нет, не здесь, не в этом доме написана была ода «Бог». Первую мысль на сочинение сей оды ваш покорный слуга получил будучи во дворце в светлое воскресенье у всенощной. Это случилось в 1770 году. Вон когда... Долго обдумывал я свой замысел и принимался писать несколько раз, но не мог...

— Почему же, Гаврила Романович?

— Не мог, будучи рассеян в городе, положить чувствований своих на бумагу, никак не мог. В городе можно писать что угодно, только не истинные произведения словесности. Особенно удачно в городе пишутся доносы, просьбы о чинах и наградах, а застенчивым музам здесь искони живется плохо. Несколько лет мне не удавалось ухватить быка за рога... И не то что я выдохся или почувствовал себя бессильным. Все истинно возвышенное и достойное внимания народа и просвещенных ценителей должно рождаться в тяжких душевных муках. Легко дается неким борзописцам лишь литературный мусор, которым захламлены все наши журналы и книжные лавки. И вот в 1784 году, наконец-то собравшись с духом, сказал я ныне покойной жене своей Катюше, что собираюсь поехать в наши польские деревни. Она благословила меня в дорогу. Поехал... Но далеко не уехал, оста-

появился в Нарве. Нанял небольшой покойчик, уединился в оный на несколько дней и, будучи ни в чем другом не занят, написал сию оду. Вот и все.

— В Нарве? И как вы себя почувствовали, когда успешно исполнили свой необыкновенный труд? — спросил Сергей.

— Примечания достойно то, что во время сочинения изображение мое столь было разгорячено, что в одну ночь увидел я чрезвычайный свет, который и по открытии глаз блистал, казалось, по комнате... Слезы лились ручьями. Тогда, встав, я написал последний куплет:

Неизъяснимый, непостижимый!
Я знаю, что души моей
Воображения бессильны
И тени начертать твоей...

Я думаю, что такие сочинения писать можно не в шуме мирском, пресекающем восторг, но в подобном нарвскому уединении.

— Неужели город так губителен для высокого искусства? — усомнился Сергей.

— Судите сами, — отвечал Державин. — После того нарвского нисхождения на меня небесной благодати, бывши всегда в людстве, не удалось уже мне произвести такого сочинения, сколько-нибудь приближающегося к оному. Барду жить в городе не только душно, но и бесцельно, в городе и недюжинный талант может засохнуть. Уединение — источник вдохновения. В заброшенном провинциальном покойчике легче дышится и пишется, чем в роскошном дворце, и это касается как важных, так и шуточных сочинений... — Вошел слуга, но Державин махнул на него рукою, и слуга удалился. Поглубже нахлобучив свой белый колпак, Державин сказал: — Хватит о моих одах. Хочу я поблагодарить вас, Иван Матвеевич, за многие мысли из «Писем». Я с удовольствием прочитал ваши «Письма». Не могу утерпеть, не сказав моего суждения о последнем письме вашем касательно великих происшествий, к славе нашего государя и отечества случившихся. Оно меня, с одной стороны, восхитило: несколько раз его перечитывал с новым удовольствием; с другой — крайне огорчило.

— Чем же я мог вас огорчить? — тревожно спросил Иван Матвеевич. — Я не удивляюсь, когда слышу, что моими письмами огорчились некоторые особы во дворце, но мне больно слышать такой упрек от самого Державина.

— Восхитили меня «Письма» потому, что много нашел я в них благородных чувств, учености, вкусу и, коротко сказать, совершенства — мастерства изливать пером душу, дабы трогать сердца. Огорчили потому, что они укоризной будут сильной в потомстве веку нашему, ибо таковые люди, как вы, не заняты делами общественными. А между тем говорят, что людей ищут.

— Ищут, да не в ту сторону свищут,— с насмешкой заметил Матвей.

— Я не понимаю, какого государю еще надобно одобрения при исключительном благонравии вашем в общечитии и при безупречности службы? — развел руками Державин.— Я, право, не знаю... Иван Муравьев-Апостол может украсить любую самую высокую государственную должность, и за него царю не придется краснеть перед иностранцами и соотечественниками. Пора бы уж императору отказаться от услуг грузинского буки.

— Гаврила Романович, вы говорите, что людей ищут... Возможно, это и так,— заговорил с горечью Иван Матвеевич.— Меня искать не будут, я это знаю...

— Почему же не будут?

— Рука, которую я и несправедливую противу меня лобызаю, отвела меня навсегда от пути служения. Повинуюсь и не ропщу. Ибо научен в великом училище злополучия,— просветлел вдруг Иван Матвеевич.— И плод сего нелегкого испытания виден ныне уже в том, что могу устоять даже противу похвал Державина. Теперь мне никакая похвала не вскружит голову. Бурная политическая жизнь моя, несправедливости, самые чувствительные для сердца, излечили меня от замашек излишнего честолюбия. Я хочу, чтобы и сыновья воспользовались уроком своего отца.

Речь Ивана Матвеевича прервало появление давешнего лакея-привратника. Он вбежал в кабинет, чуть не запнувшись о порог.

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство...— запыхавшись, доложил он.— В сенях сам царь-государь с двумя генералами... Велено спросить: принимает ли сегодня ваше превосходительство...

— Принимаю... Разве ты сам, голубчик, не видишь, что принимаю,— нестрого ответил Державин.— Или не мимо тебя прошли гости, с которыми я сейчас разговариваю? Поди, опять спал, сидючи на стуле? Не спи, братец, а то упадешь со стула, не дай бог ушибешься.

Привратник в растерянности стоял около двери, словно боялся возвращаться на нижний этаж. Он на самом деле боялся, считая, что после сделанного им уведомления о прибытии высочайшего гостя генерал поспешно наденет генеральский мундир и спустится проворно навстречу царю. А Державин этого не делал.

Торопливо вошла взволнованная супруга поэта, пышная Дарья Алексеевна.

— Ганюшка, Ганюшка, царь к нам пожаловал! Уже в сенях...

Слуга внес генеральский мундир.

— Ступай, братец, на свой пост,— дружелюбно сказал Державин привратнику.— Да смотри не перепутай, как в тот раз, скажи, что его превосходительство принимает. Иди же, голубчик, не бойся... Пошто я стану рядиться? Чай, на дворе не святки. Мундир уберите, так-то мне теплее.

Домашние были обескуражены и тем, что Державин не захотел сойти на нижний этаж, и тем, что решил остаться одетым по-домашнему перед царем.

— Ганюшка, Ганюшка, не прогневался бы государь,— трепетно говорила супруга.

— За какую вину? Чай, он едет повидаться не с мундиром,— невозмутимо сказал Державин.— Мундиров-то и без моего вокруг царя много.

— Ганюшка, Ганюшка, ты хоть бы на лестницу сошел государя встретить,— чуть ли не в слезах упрашивала жена.

Державин лениво, медлительно поднялся из кресел. Поднялся, чтобы размяться, положил ладони на вертлюги, стал раскачиваться.

— Мы, с вашего позволения, удалимся куда-нибудь, хоть в диванную,— сказал Иван Матвеевич.

— Зачем вам удаляться? — удивился Державин.— Вы пришли ко мне первыми, значит, вы первее государя обо мне вспомнили. Я хочу, чтобы вы оставались здесь. А не послушаетесь — осержусь.

— Останемся,— решил Иван Матвеевич.

Державин вышел к стеклянной двери, занавешенной зеленой тафтой. По лестнице поднимался тучнеющий царь в мундире Семеновского полка. На его лице сияла обворожительная улыбка, и взгляд светился душевной добротой. За ним шли два генерал-адъютанта.

— Рад приветствовать, ваше величество, в моем доме! — такими словами поэт встретил царя. — В гостях у меня находится мой друг Иван Матвеевич Муравьев-Апостол с сыновьями...

— Твои друзья, Гаврила Романович, надеюсь, и мои друзья, — с тою же обворожительной улыбкой сказал Александр, хотя брови его с надломом посредине начали подергиваться, на что хозяин дома не обратил внимания.

Царь вошел в державинский кабинет, поздоровался со всеми мужчинами за руку, а у супруги поэта и племянницы поцеловал ручки. Он был необыкновенно вежлив и обходителен со всеми с первого же слова. Говорил много и почти непрерывно, так с ним случалось всегда, когда он не желал, чтобы его о чем-либо спрашивали.

Иван Матвеевич осторожно дал почувствовать свое стесненное самочувствие.

— Нет, нет, Иван Матвеевич, вы совсем здесь не лишний, — поспешил заверить император. — Я рад вашему присутствию, равно как и присутствию ваших сыновей! Ваши заслуги на посту моего посланника в самое трудное время навсегда снискали вам мое благоволение.

Иван Матвеевич признательно поклонился, коротким кивком поклонились государю и его сыновья. Царь принялся хвалить стихотворение Державина «Колесница». В этом произведении он находил достоинства, которым ни за что бы не стали рукоплескать отец и сыновья Муравьевы-Апостолы.

«Колесница» по живописным достоинствам своим поднималась до самых блистательных вершин державинской поэзии; от первой и до последней державинской строки она пламенела и сверкала искусно отполированными гранями истинного мастера слова. Замысел этого творения возник в воображении поэта с первыми раскатами революционных громов во Франции. В 1793 году вдохновенное перо уже создало в первых редакциях образ златой колесницы, текущей по расцветающим полям. Правящий ею возница, натянув вожжи, с завидным умением одних коней своевременно осаживает, других побуждает к бегу. Хитрая узда лишила коней свободы, сопрягла между собой, благодаря чему они

...ставя славой общий труд,
Дугой нагнув волнисты гривы,
Бодрятся, резвятся, бегут,

Великолепный и красивый
Вид колеснице придают.

Более десяти лет вызревал окончательный вариант этого публицистического произведения, и только в 1804 году поэтом была поставлена точка под заключительной и окончательно выверенной поэмой. Писал Державин свою «Колесницу» едва ли не с тем же огненным душепарением, с каким он творил оду «Бог», но «Колесница» не принесла ему той радости и удовлетворения, как ода. Он скоро охладел к «Колеснице», хотя и знал, что во дворце ее превозносят и ставят выше «Фелицы».

Действительно, какая живопись в каждой строке! Вот искусный возница ослабил вожжи, вздремнул; и тут врасплох над ним появилась черная тень «вранов своевольных», они, кружась над колесницей, пугают чутких коней; кони дрожат, храпят, ушами прядут, рвут вожжи из рук возницы...

Бросаются, и прах ногами
Как вихорь под собою вьют...
.....
Уже колеса позлащенны
Как огонь, сквозь пыль кружась, гремят...

Возница хватает вожжи, но уж поздно, кони речей его не слушают, не понимают и «зверски взоры» на него бросают «страшными огнями». Уж дым валит с жарких морд коней, «со ребер льется пот реками, со спин пар облаком летит...». И вот уж бешеные кони «рвут сбрую в злобном своеволье...». Возница падает под колеса... Колесница, оставшись без возницы, слепо несется над мрачными безднами... Гибель ждет ее на каждом шагу... Рассбруенные буцефалы уже не могут остановиться...

Кто же остановит коней? И что за колесница разбита ими?

Так, ты! О Франция несчастна,
Пример безверья, безначальств,
Вертеп убийства преужасна,
Гнездо безиравья и нахальств.

Кто же и что же погубило несчастную Францию — эту золотую европейскую колесницу?

От философов просвещения,
От лишней царской доброты,

Ты пала в хаос развращения
И в бездну вечной срамоты.

Создатель образа разбитой золотой кареты обращается ко всем венчанным возницам мира, и прежде всего к русскому венчанному вознице, с предупреждением и призывом блюсти законы, нравы, веру, призывает их учиться мудрости: «стезей ходить...»

Учитесь, знайте: бунт народный
Как искра чуть сперва горит,
Потом лиет пожара волны,
Которых берег небом скрыт.

Александр с трепетом читал и перечитывал «Колесницу», находя в ней не только грозящие ужасы, но и что-то исцеляющее. Царь ежечасно думал об искрах и способах их тушения.

Взгляд Сергея Ивановича привлекла старинная кривая сабля, висевшая рядом с пистолетами на стене. Этой вот саблей когда-то молодой офицер Гаврила Державин отбивался от дерзких пугачевцев, гнавшихся за ним и чуть не пленивших его. Она не притупилась... До стены всего каких-нибудь четыре-пять шагов — и пугачевских времен сабля может сверкнуть в руке штабс-капитана... Сергей встал ближе к той стене, где висела сабля.

А царь, воздав творцу «Колесницы» должное, продолжал:

— Богатыри не знают усталости ни в бою, ни в труде. Для поэтов в России наступает истинно золотой век! Еще раз, Гаврила Романович, усердием вашим и верностью престолу покажите пример всем, кто достоин вашего внимания. С божьей помощью я победой закончил войну с Наполеоном. Мне господь помог устроить внешние дела России, теперь примусь за внутренние. Да вот тебе — людей нет.

— Как нет людей, ваше величество? Это в такой стране, как наша Россия, будто нет людей! Люди есть, ваше величество; — отвечал с задором Державин, пользуясь паузой в речи царя. — Нужные люди есть, людей много, но они в глуши, в тени, на отшибе, их искать надо. Без добрых и умных людей и свет бы не стоял... Бог-то бог, государь, но с одним богом, без людей и Парижа бы не удалось взять. Пустых и бесполезных для дела, государь, надо увольнять, а способных и полезных приближать. Вот вам Иван Матвеевич и два его отличных

сына,— указал Державин на Муравьевых-Апостолов,— разве не достойны того, чтобы поручить им любое большое дело общественное? Укоризной будет сильной в потомстве, государь, веку нашему, если таковые люди останутся незанятыми делами отечества.

— Несомненно, Иван Матвеевич достоин служить отечеству,— живо отозвался царь.— Достойн. И он будет служить. Я хочу только, чтобы он отдохнул и запасся силами. А сыновья его уже мне служат, их службой я вполне доволен. Таким русским офицерам, как Муравьевы-Апостолы, как Волконские, Потемкин, я обязан блестящим устройством моей армии и гвардии, что и было показано всей Европе на смотре в Вертю...

Муравьевы-Апостолы вспомнили все, что недавно говорил князь Сергей Волконский о поведении царя на смотре в Вертю — это плохо вязалось со словами Александра.

А пугачевских времен сабля все сильнее притягивала взгляд Сергея.

— Вы, как известный наш писатель,— обратился царь к Ивану Матвеевичу,— согласны с тем, что сказано в «Колеснице» о Франции?

— Ваше величество, язык поэзии всегда условен! «Колесница» восхитительна в частностях ее и в целом! Но я, при всех моих претензиях к французам, считал и считаю Францию наиболее просвещенной страной цивилизованного Запада. Я не исключаю, а предполагаю почти с уверенностью, что мои суждения, не раз высказанные в «Сыне Отечества», страдают односторонностью. Это случилось, может быть, потому, что от моих «Писем» пахнет дымом и кровью отечественной войны.

— Вы верующий? — спросил царь.

— Без веры, государь, не могут существовать ни личность, ни общество. Ослабление религии и привело к развращенности нравов среди французов,— убежденно ответил Иван Матвеевич.

— По-моему, Гаврила Романович очень верно подметил вредность для всякого общественного спокойствия излишних мудрствований философов и щедрости государей,— сказал царь.

Иван Матвеевич почувствовал в этих словах намерение царя испытать его и со свойственной ему ловкостью дипломата перевел вопрос из плоскости политической в плоскость литературную.

— Я находил и нахожу, ваше величество, важной и полезной разумную критику для науки. По моему убеждению, значение Лессинга как критика для науки огромно! Он оказал сильное влияние на развитие всей немецкой литературы! Мы же в этом отношении отстали от Запада и до сих пор находимся в том положении, в каком немцы находились, когда Виланд начал писать, а предрассудок Фридриха Второго противу своего языка действовал еще над многими умами.

— Что же спасло немцев и вывело их на истинную дорогу? Или они все еще блуждают по бездорожью? — спросил царь.

— Их спасло то, что они всегда учились у древних. Не подражали, а учились, государь.

— Что же замедлило ход нашей словесности?

— Внесение в нее псевдоклассицизма, государь! Псевдоклассицизм подсушил многие самые глубокие корни отечественной словесности. Как бы некоторые критики и поклонники псевдоклассицизма ни восторгались героями Расина, но все-таки из-под псевдоклассической тоги у них выглядывают французские красные каблучки.

— Значит, все псевдоклассики пустые сочинители?

— Нет, ваше величество, они вовсе не пустые! В сочинениях выдающихся французских псевдоклассиков ума много, но вот изящной природы, во всей ее очаровательной простоте, нет ни в одном. А это очень плохо. Везде натяжка, нигде не встретим живых цветов, которые мы с истинным наслаждением видим в природе...

— Но ведь они, французские псевдоклассики, как некогда рассказывал мне мой учитель Лагарп, искони руководствуются в своих сочинениях теорией украшения природы. Что вы скажете на это?

— Я, ваше величество, давно считаю такую теорию явной бессмыслицей, — решительно заявил Иван Матвеевич, улыбнувшись.

— Почему же?

— Украшать природу, государь, невозможно. Напротив того: лишним тщанием давать несродные ей прикрасы — значит страшно искажать, портить ее. Природа во всей ее первозданной сущности, и только она одна — неиссякаемый источник вдохновения и красоты... Смешно, ваше величество, называть истинным художником слова или кисти, служителем искусства человека, который,

смотря в окно на грязную парижскую улицу, описывает испещренные цветами Андалузские луга или пышно рисует цепи Пиренейских гор, глядя с чердака на Монмартр. Истинное искусство, думается мне, немыслимо без верности натуре.

Царю нельзя было отказать в умении беседовать на равном уровне и с военными, и с философами, и с учеными, и с образованнейшими писателями, какими были Гаврила Державин и Иван Муравьев-Апостол.

По-прежнему ласково улыбаясь, он обратился к Сергею:

— Вы второй сын Ивана Матвеевича?

— Второй, ваше величество!

— Мне очень много хорошего недавно рассказывал о вас граф Ожаровский,— сказал царь.

— Мне, ваше величество, посчастливилось служить в его партизанском отряде.

— Что вы скажете о нем?

— Это храбрый и умный командир.

— Когда вы служили в его отряде?

— В двенадцатом году. Я начал службу офицером Главного штаба сперва при генерале Монфреди, а потом поступил в отряд графа Ожаровского.

— Какие награды вы получили за кампанию тринадцатого года?

— За эту кампанию я получил Владимира четвертой степени и золотую шпагу за храбрость.

— А как и где закончили войну?

— Около того же времени, когда, по мысли и на иждивение Екатерины Павловны, сестры вашей, герцогини Ольденбургской, был сформирован из удельных ее крестьян егерский имени ее высочества баталион. Командиром был назначен флигель-адъютант князь Оболенский, я с чином поручика был переведен в этот баталион и командовал ротой,— коротко доложил Сергей по-французски.

— Прекрасный баталион! — воскликнул Александр.— Он отлично участвовал в Кингсштейнском, Лейпцигском и во всех других замечательных сражениях!

— Да, ваше величество, все в этом баталионе — от командира и до рядового — дрались, как и подобает драться истинным сынам отечества. Из тысячи человек возвратилось только четыреста с небольшим. В декабре 1814 года баталион был расформирован, и я, в чине

штабс-капитана, получив орден святой Анны за кампанию 1814 года, переведен бессменным ординарцем к Николаю Николаевичу Раевскому, затем — командиром роты в Семеновский полк, к Потемкину.

— Везет вам, штабс-капитан, — по-доброму позавидовал царь. — Вы попадаете служить к отличнейшим начальникам! Как на подбор, все герои! А Раевский — выше всяких похвал! Ни у одного монарха в Европе не было и нет таких генералов и офицеров, каких господь вручил моему покровительству.

Сергей и его брат Матвей совсем были сбиты с толку нынешними рассуждениями царя.

— Вы где родились: в своей деревне, в Хомутце, Полтавской губернии Миргородского уезда? — досконально для чего-то расспрашивал царь, не сводя с него глаз.

— Я родился в Петербурге, в доме отца Самборского.

— Сколько же вам лет?

— Двадцать второй пошел.

— Вы помните и знаете отца Самборского?

— Помню, ваше величество. Таких людей, как священник Самборский, нельзя не помнить и не помянуть добрым словом. Кроме того, он привлекал мое внимание своей оригинальностью. Его внешность как бы всегда пребывала в некотором противоречии с духовным саном — он брил себе бороду, ходил в сюртуке со звездой и в круглой шляпе...

— Андрей Афанасьевич Самборский стоит того, чтобы мы всегда вспоминали его добром, — согласился царь. — Он в молодости долгое время был священником при нашей миссии в Лондоне и только в 1781 году оставил свою заграничную службу. Это человек истинно просвещенный и большой любитель сельского хозяйства. Он, возвращаясь на родину, первый вывез из Англии многие сельскохозяйственные орудия, за что ему вечно будут благодарны наши земледельцы. Моя бабка Екатерина Вторая весьма ценила его и назначила духовником и законоучителем моим и брата моего Константина Павловича. Духовные семена, умелой рукой брошенные Самборским в наши с братом души, не пропали даром... Андрей Афанасьевич путешествовал потом по Греции, а теперь поселился на Украине, в своей деревне Каменке. Устроил для крестьян больницу, выписал на свои средства доктора и спас тамошних крестьян от появившейся

в угрожающе страшных размерах лихорадки. Он во всем показывал и показывает себя как истинный христианин.— Рассказав о священнике Самборском, царь снова обратился к штабс-капитану: — Где протекло ваше детство?

— Детство мое, ваше величество, как и детство моих братьев и сестер, к сожалению, проходило главным образом за границей,— ответил Сергей.— Сперва в Испании, а потом в Париже.

— Почему же — к сожалению?

— Потому что воздух родины, ваше величество, как и язык родного народа, не только великие врачеватели наши, но и великие наши воспитатели. Я в этом убедился по приезде в родные пределы!

Царь остался вполне доволен таким ответом и продолжал награждать Сергея своим вниманием:

— А каким путем вы и ваш брат из Испании попали в Париж?

За Сергея, с позволения царя, ответил Иван Матвеевич:

— В Испании, куда я был послан вашим величеством, моя семья не нашла каких-нибудь сносных воспитательных заведений, вследствие этого мы не могли оставить своих детей в этой стране и принуждены были отдать в парижский пансион Них.

— Пансион Них? — заинтересовался царь, впервые, должно быть, услышав об этом учебном заведении.— И что он из себя представлял?

Ответил царю Сергей:

— Пансион Них в то время совмещал в себе и приготовительное и гимназическое образование. Оттуда были выпускаемы воспитанники в политехническую школу и университет. Однако в политехническую школу могли поступать только французские подданные, это явилось для меня большим огорчением, так как я имел большое желание учиться в политехнической школе.

— И как вы окончили пансион?

— Неплохо, ваше величество...

— Окончил блистательно, ваше величество,— дерзнул впасть в разговор отец штабс-капитана.— Его латинские стихи обратили внимание всего училищного совета, о чем свидетельствуют письма ко мне содержателя пансиона. Достойно похвалы то, ваше величество, что сын мой Сергей добротой и серьезностью характера с самого ран-

него возраста снискал в пансионе всеобщую любовь.

— И много ли вас там воспитывалось?

— До шестисот воспитанников, ваше величество,— отвечал Сергей, несколько смущенный похвалами отца.— Как ни хорошо было нам в пансионе, но мы с братом Матвеем с нетерпением ожидали день, когда сможем отправиться в Россию...

— Я тоже, находясь в Париже, страшно скучал по отечеству,— как с равными, поделился царь своими душевными переживаниями.— Да, по-иному мы, русские, и не можем чувствовать себя на чужбине, как бы ни была она прельстительна. И каково было ваше чувство, когда вы вновь ступили на родную землю?

— Ваше величество, у меня всякий раз начинается горячий битвы сердце, когда я вспоминаю наш переезд в Россию, будто заново совершаю весь этот незабываемый на всю жизнь вояж,— ответил Сергей Иванович.— Окончивши успешно воспитание в пансионе, мы вместе с братом и матушкой отправились в Россию. Мы торопили время... Мы умоляли дорогу, чтобы она ради нас сделалась короче. Мы торопили ямщиков и не скупились на подарки станционным смотрителям. Словом, мы готовы были лететь на крыльях...

— Ваша мать, Анна Семеновна, все время была с вами в Париже?

— Да, государь! Когда отец выехал в Россию, то наша мама отправилась из Мадрида в Париж к нам, чтобы дожидаться окончания воспитания нашего. Она готова была пожертвовать для нас не только временем, здоровьем, но и самой жизнью.

— Что за чудесная женщина, что за удивительная мать! — проговорил государь.— Она была истинно святой женщиной по доброте и нежности своего характера. Я хорошо помню Анну Семеновну... Помню, каким украшением самого блестящего общества являлась она, когда вместе с Иваном Матвеевичем перед их отъездом за границу жила в Царском Селе. Это была женщина редкостного сердца и редкостного ума.

Лестный отзыв царя об их матери глубоко тронул чувства Сергея и Матвея. У штабс-капитана подступили слезы к глазам, он с трудом сдержал их. Так же чувствовал себя и Матвей, особенно горячо любивший свою мать.

— И как же Наполеон не выслал Анну Семеновну?

Он же был не император, а грубый корсиканец, самодур и деспот? — выразил искреннее удивление Александр.

Глаза Сергея как бы воспламенились, и он продолжил взволновавшее его до глубины души воспоминание:

— Когда мама приехала в Париж, то ей и нам пришлось пережить немало тревожных дней. Отношения между Францией и Россией оставались неприязненными, и на пребывание в Париже нашей маме пришлось просить разрешение у самого Наполеона. Все мы ждали грубой выходки с его стороны, опасались высылки... Но мы ошиблись в наших тревожных опасениях. Наполеон с редкой галантностью ответил на просьбу нашей заботливой маменьки...

— И что же он ей ответил? — спросил царь, в душе задетый столь лестным отзывом о гостеприимстве Наполеона.

— Он собственноручно написал матушке: «Покуда во Франции будет уважаться добродетель, до тех пор Муравьевой-Апостол не будет никакого притеснения». И обещание императора никем не было нарушено во все время нашего пребывания в Париже и в пределах Франции. Это еще вовсе не значило для нас и для нашей маменьки, что разрешение на наше возвращение на родину будет выдано нам без всяких помех и проволочек. Но и с отъездом нам повезло. Помогла Наполеонова свадьба... В 1809 году, когда Наполеон бракосочетался с эрцгерцогиней австрийской Луизой, наша матушка воспользовалась этим благоприятным случаем, чтобы испросить разрешение на отъезд в Россию. И нам разрешили. Мы помчались... Мы полетели...

Под Лейпцигом встретились с французским кавалерийским отрядом, который был выставлен против партизанского отряда ротмистра Шиля, который впоследствии был изрублен под Гамбургом. Французские кавалеристы нас не задержали и не обидели. Мы благополучно прибыли в Берлин и остановились в Липовой аллее. Однажды мы с мамой сидели за утренним чаем и при раскрытых окошках, вдруг слышим — вблизи раздался ружейный залп. Мы подошли к окнам и увидели ужасное зрелище: по приказанию того самого галантного Наполеона, что удивил нас недавно своей любезностью, расстреливали против королевского дворца взятых в плен нескольких кавалеристов из отряда Шиля. Прусский король со своим семейством в это время находился в Кенигсберге, а все

крепости прусские были заняты французами. Пруссия лежала втопанной в грязь сапогами Наполеона.

Сердца и мысли наши неудержимо рвались в Россию. Вот и граница... Первый, кого мы увидели на родной земле, был казак, стоявший на часах. Мы, не помня себя от радости, выскочили из кареты и бросились его обнимать. Казаки не только не любят, но и не умеют плакать. Но в этот раз, ваше величество, поверьте, я видел слезы на глазах у казака. Мы его одарили всем, чем только могли, как доброго вестника, как соотечественника, как хранителя священных рубежей отчизны! Усевшись в карету, поехали далее. И тут одна весть, что слышали мы от нашей чудесной маменьки, больно поразила нас в самую душу. Эта весть, вдруг повергшая нас в уныние, раскрыла благородство ее характера и безмерную любовь к своим детям... Ко всем к нам...— Штабс-капитан до того разволновался, что попросил у царя позволения не касаться той новости, той неожиданной вести, которая так ошеломила братьев Муравьевых-Апостолов.

Царь не настаивал на раскрытии этой семейной тайны, но счел нужным заметить:

— И грустная песня требует своего окончания. Но я вас не понуждаю...

Замечание царя привело штабс-капитана в оживление, и он счел за лучшее досказать все.

— Карета наша уже неслась по родной земле. Маменька сказала нам: «Я счастлива вами, дети мои! Я безгранично рада при виде сияющих ваших лиц, рада тому, что долгое пребывание за границей не охладило ваших чувств к священной земле отцов ваших. Но, дети мои милые, простите мне великодушно одну вину перед вами... Прощая, знайте, что сделала я эту вину по моей воле, вполне сознательно...— И тут ее глаза оросились слезами.— Пришел срок сказать мне вам всю правду о нашей родине... В ней вы найдете то, чего не знаете, чего вы не видели и о чем только слышали по рассказам да читали в книгах. В России вы найдете повсеместно рабов-земледельцев. Рабство утверждено законом. Простите меня, дети мои, за то, что я до сих пор ни разу ни одним словом не упомянула об этом. Вы жили в Европе, давно покончившей с рабством и рабами... Мужайтесь, дети мои, и веруйте в светлое, в лучшее для себя и для всего любезного отечества...»

Мы долго и скорбно молчали, а потом я спросил нашу

маменьку, почему она меня и брата Матвея до пятнадцатилетнего возраста держала в полном неведении. Она ответила: «Из боязни, что упоминание о рабах растлевающе повлияет на сознание и души ваши». Об этих словах, ваше величество, я не в состоянии забыть и на один день. И в тот час, сидя в карете, я в мыслях принес клятвенное обещание всевышнему верной службой своей просвященному государю приблизить час падения рабства в любезном отечестве...

— Ваша клятва, штабс-капитан, близка моей душе.— С этими словами царь встал и поцеловал Сергея в лоб.— Я сам все время помышлял о скорейшем искоренении рабства среди моих подданных. Не за горами то время, когда в России слово «раб» останется достоянием одних историографов. И поэтому вы будете свидетелями и помощниками в моем деле. Искоренение рабства — главная цель всей моей жизни... Не торопите только меня... Дайте время, достаточное для столь грандиозного нововведения. Имейте терпение и веру в меня. И я не обману всех ваших светлых надежд и упований. В процветании и благоденствии России и всего народа русского я вижу смысл своего царствования и смысл всей моей жизни.

Александр вновь казался прекрасным и достойным своего назначения, таким, каким он жил в воображении гвардии и армии, всего вооруженного народа русского в те незабываемые дни, когда одним европейским народам возвращал похищенную у них свободу, другим обещал ее скорое введение.

В разговор вступил Державин:

— Ваше величество, терпения и веры в своего царя у русских хватит! И будет кому достойно прославить в веках все ваши благие дела, которые могут подняться превыше дел Петровых! Есть кому воспеть... Вот, государь, на досуге почитайте сами...— Державин передал царю тетрадь лицеиста.— Самое небесное провидение снизошло на вас, государь, когда вы собственной рукой начертали повеление об учреждении Царскосельского лицея. И среди первых же воспитанников господь послал вам истинного русского Гомера. Ежели сохранит его господь для России, скоро он затмит всех певцов, до него сиявших на небосводе отечественной словесности. Затмит и меня. И я радуюсь такому затмению. Берегите же, государь, сего диковинного посланца небес...

Царь взял тетрадь и передал в руки адъютанту. Визит подошел к концу.

— Ваше величество, не желаете ли отобедать с нами? — пригласил Державин. — Волховским судаком угощу. Свежий... Вчерась только мужики привезли из моей Знаменки.

Александр поблагодарил за приглашение и обещался непременно заехать как-нибудь в другой раз и в недалеком будущем.

Державин, его семья и гости вышли проводить венценосца. Все остановились у зашторенной стеклянной двери, а сам хозяин вместе с государем подошел к лестнице.

— Осторожней, ваше величество, не плюхнетесь на лаковых ступенях, как я плюхнулся намедни, — запросто предупреждал Державин, — торопился, нога подвернулась — и хлоп всей старой сковородкой... Слава богу, кости целы остались, а мягкое место и по сей день болит. Чаю, синяк посадил... Старость не радость...

Александр ничего не сказал, лишь пошевелил тучными плечами и осторожно, держась за перила, стал сходить по лестнице. Сзади адъютантов, крихтя, сошел и Державин в белом колпаке. Он не захотел идти дальше сеней.

— Уж не взыщите, ваше величество, провожать до сеней не пойду, — сказал Державин у порога. — Боюсь простуды.

Высокий гость уехал.

— Ну и слава богу, все обошлось благополучно. Где повар? Велите обед готовить в нижней большой гостиной, — отдал приказание Державин и стал медленно подниматься на второй этаж, откуда из соседней с кабинетом комнаты доносился жалобный вой белой собачки, разлученной с хозяином на время визита императора.

7

В квартире статского советника, просветителя, ученого — Василья Назарьевича Каразина, — что на Кабинетской улице за Владимирской церковью, в доме Сладковского, было суетно. Хозяин квартиры готовил званый обед для знатных особ, надеясь видеть среди гостей и графа Аракчеева, недавно возвратившегося из-за границы. Устроитель хотел этим обедом сломить непреодолимую стену равнодушия, с которым столкнулся в военном мини-

стерстве и в других правительственных ведомствах, когда пытался привлечь внимание вельмож и чиновников к своему немаловажному изобретению — концентратам для продовольствования армии.

Каразин не зря считал гостем номер один графа Аракчеева. Граф кое-что сделал для Каразина по части признания нужности изготовления концентратов: по его указанию был устроен комитет для опробования и оценки этих продуктов. Изобретатель несколько раз был у Аракчеева в его огромном деревянном доме на углу Литейной и Кирочной, чтобы иметь честь лично пригласить графа на опытный обед из концентрированных продуктов, на котором в роли главных оценщиков предстояло выступить солдатам и матросам. Но попытки Каразина не увенчались успехом — он не был допущен пред очи временщика.

18 июня накануне проведения опыта Каразин написал пригласительные письма, помимо графа Аракчеева, командующему гвардейским корпусом графу Милорадовичу, графу Кочубею, генерал-адъютанту Потемкину, генералу Киселеву, президенту Академии наук вице-адмиралу Шишкову, военному министру князю Горчакову-первому и еще многим важным персонам, от которых зависела судьба изобретения. Он сам развез приглашения и договорился с военачальниками о присылке назавтра к нему на опытный обед солдат и матросов.

Генерал-адъютант Потемкин пригласил в штаб полка офицеров и приказал им назначить к опытному обеду по несколько человек от каждой роты.

Граф Аракчеев, получив через своего адъютанта капитана Матроса приглашение к опытному обеду, долго вертел в руках листок, чихал в кулак, недовольно брюзжал, чем-то раздраженный, повторяя:

— Еще один гог-магог объявился, с Украины прискакал, сайгак...

Что раздражало графа — трудно понять. Приглашение было составлено в самых приятных выражениях и без лести. В нем говорилось:

«Сиятельнейший граф,
милостивый государь!

Завтра, т. е. 19-го числа, наше собрание будет проводить довольно любопытный опыт. Солдаты и матросы приглашаются к обеденному столу и имеют быть накормлены и напоены так, как Филотехническое общество

предполагает кормить их за границею или на море. Удостоите, милостивый государь, взглянуть на это сами. Осчастливьте сим вашего почитателя, который, кроме пользы отечеству, желает приобрести и доброе мнение ваше. Кроме членов никого я не приглашал. В десять часов мы соберемся, но солдатский обед будет, я думаю, готов не прежде двенадцатого часу.

Имею честь быть с глубочайшим почтением вашего сиятельства всепокорнейший слуга Каразин».

— Гог-магог, прислал какой-то лоскуток,— повторил Аракчеев и спросил адъютанта Матроса: — Кто привозил: сам или слуга?

— Сам лично статский советник Василий Назарьевич Каразин.

— Гог-магог и опасный затейник, все хочет показаться умнее всех. Все такие умники бойко начинают, да плохо кончают.

Он велел адъютанту удалиться. Матрос вышел недовольный графом. Находясь при нем, он столько всего насмотрелся, что уже не мог подавлять в себе чувство неприязни к этому всероссийскому полицейскому и закононаставнику.

А граф ломал голову над тем, как лучше поступить с этим приглашением. Ничего не решив окончательно, убрал его в стол, а сам принялся за письмо к Настасье Минкиной.

К десяти часам утра в квартиру Каразина съехались все члены комитета и приглашенные. Лишь граф Аракчеев не появлялся и не присылал никакого ответа на приглашение. Каразин, не имея минуты для отдыха, то встречал знатных особ у подъезда, то распоряжался на кухне, держа команду над целым взводом специально приглашенных и обученных обращению со сгущенными продуктами поваров, давал наставления, что и как варить, как жарить и парить сухие овощи, какими сдобрять приправами. В нелегком поварском искусстве он был непревзойденным мастером. Большая кухня наполнялась аппетитными запахами.

Приехал в сопровождении Федора Глинки Милорадович.

— Ну, Василий Назарьевич,— заинтересованно обратился Милорадович к Каразину,— удалось ли вам, мно-

гострадальный муж, удостоверить оба департамента опытами приготовления сгущенных концентратов?

— Не удалось... Но не теряю надежды.

— Что же мешает?

— Изобилие всякого рода чиновников в наших департаментах,— с горечью отвечал Каразин.— И в самом деле, милостивейший государь, обратите внимание вот на этот нынешний «Адрес-календарь». При Екатерине Второй он едва занимал двести страниц! Теперь же распух до семисот! Семьсот с лишком страниц без включения губернских чиновников, и то многие еще не помещены в оном. Сколько же людей праздных, бесполезных, умножающих только дороговизну в столице!

— Да, шалунов развелось много,— согласился Милорадович.

— Не только молодые шалуны, рыщущие по бульварам, но дети, учащиеся в школах, внесены в канцелярские списки и получают жалованье. Можно смело сказать, граф, что две трети служащих совсем не несут никакой службы. Не знаю, есть ли на свете, кроме России, еще такая страна, на которую навалилось столько прожорливых чиновников, подобно червям на заброшенную нерадивым хозяином капусту.

— Василий Назарьевич, не приходите в отчаяние,— успокаивал Милорадович.— Скоро все, решительно все образуется по-новому, по-хорошему. Наконец-то наш государь получил возможность все свое попечение обратить на благо отечества и своих подданных. Мы на пороге великих преобразований! Верю в это! Не зря же богатыри наши проливали кровь и все отдавали родине... Надежды и упования наши исполнятся!

— Дай-то бог,— не возражал Каразин.

Сергею Муравьеву-Апостолу, который сопровождал Потемкина, Каразин показался человеком непосредственным, целеустремленным, неотступным. Штабс-капитану захотелось познакомиться с ним покороче. Такое впечатление о Каразине сложилось и у Глинки.

Каразин познакомил гостей со своим другом, также членом комитета, писателем Анастасевичем. Имя это было известно многим по смелой книге о личной свободе крестьян, изданной в первые либеральные годы царствования Александра.

Внимание Сергея, с детства любившего книгу, привлекла богатая библиотека Каразина. Она занимала три

комнаты. В шкафах и на полках Сергей увидел не только редкостные книги, но и древние рукописные свитки. Вместе с Глинкой они путешествовали от шкафа к шкафу, с восхищением рассматривали инкунабулы на разных языках.

Глинка заглянул в каталог Архиерейской библиотеки и покачал головой:

— Убого выглядит.

— Что ж делать, сей каталог похож на все прочее подобное у нас,— сказал Каразин, вошедший в этот момент в библиотеку.— Знаете ли вы, господа, что редчайшие манускрипты так называемой Патриаршей ризницы есть не что иное, как остатки библиотеки пятнадцатого века, привезенной из Греции Софьей, последнею дщерью Палеологов? После кратковременного хозяйничания в Москве французских разбойников с большой дороги манускрипты эти валялись в одном из закоулков бывших патриарших келий, валялись чуть ли не до последних дней... Вот как русские ценят и хранят наследие своих отцов.— Каразин, ища что-то среди рукописных свитков, говорил уже с негодованием и скорбью: — Стыдно должно быть всем нам, очень стыдно за наше преступное равнодушие к своему героическому родословию. Знаете ли вы, господа, что профессор Маттей прибрал из тех манускриптов все, что только хотел? Часть своей добычи благополучно продал в Германии, остальному же кое-как сделал описание. Бесценным уцелевшим книгам и поныне нет порядочного каталога. И неудивительно — такое небрежение помогает растаскивать народное достояние... Ох, а сколько расхитителей плодов русского ума я вижу на каждом шагу! И страшно то, что их с каждым днем становится больше и никто не думает об ограждении наших святынь от их набегов.

А что случилось с богатейшей библиотекой князя Таврического, стоившей великих денег! — воскликнул он.— Эту уж и я видел, как описывали, укладывали, чтобы везти в Казань вместе с собранием разных драгоценных вещей в 1794 году. Знали бы вы, сколько таких драгоценностей не попало в опись!.. Люди, ответственные за все это, каждую пропажу объясняли одинаково: «Вероятно, крысы съели». — Муравьев-Апостол и Глинка рассмеялись.— Не сочтите, господа, за шутку... В числе съеденных вкусных вещей оказались драгоценные камни. Крысы после князя Таврического не только ели, но и пили

напропалую. В числе изничтоженных крысами вещей оказалась необыкновенной величины и красоты змея в спирте.

— Крысы выпили и закусили,— сказал Сергей,— помянули князя Таврического...

Каразин рассказывал, а сам был как на иголках от ожидания графа Аракчеева. Он несколько раз проворно сбегал по лестнице к подъезду, всматривался в даль улицы — не покажется ли экипаж Аракчеева. Время приближалось к полудню, а от Аракчеева не поступало никакого ответа на приглашение. Открывать же опыт в его отсутствие Каразину не хотелось.

Прибыл капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа Николай Бестужев и с ним несколько матросов, отобранных для опытного обеда. С согласия вице-адмирала Бестужев привел самых солощих, ни один из них не знал, что такое наедаться досыта.

За матросами вошли плотной гурьбой семеновцы. Их привел фельдфебель Брагин, державший в полку первенство по поеданию щей и каши в праздничные дни. Матросы и солдаты, впервые очутившиеся в такой богатой квартире, приняли ее за дворец знатного вельможи. Солдат Иван Дурницын, любивший все тщательно осмотреть и измерить своим оком, рассматривая лепные украшения на высоком белом потолке, блестящие позолотой люстры, говорил своим приятелям Жикину, Хватову и Хрущеву:

— Вот живут люди, умирать не надо, право слово. А зачем им торопиться на тот свет? Все равно там для господ нет лучшего рая, нежели здешний...

— Вкусно пахнет, ребята,— шмыгая носом, говорил добродушный унтер-офицер Мягков.— Ослабьте для начала ремни на одну заклепку, а там видно будет.

— А по чарочке водочки ожидается? — облизывая губы, будто он уже выпил, спрашивал рядовой Амосов.— Живот будто вдвое прибавляется, когда пропустишь чарочку.

— А если две, то и мочало на закуску годно,— размечтался рядовой Торохов, рябой, будто горохом кто выпалил по его лицу.

В огромном зале стояли два артельных стола, сдвинутых наподобие гигантской буквы «Т». За одним могло разместиться человек сто, а за другим, что стоял поперек зала,— человек тридцать.

Солдат и матросов усадили за большим столом. По-

вара ввезли на кухонной тележке пышущие паром чугуны, горшки, кастрюли.

Нестройный говор за столом вдруг как топором обрубило — вошли Милорадович, Потемкин, Киселев, Каразин и другие приглашенные в парадных мундирах и фраках. Рядовые никак не предполагали, что они будут удостоены чести пировать за одним столом с такими важными особами. Право открыть опытный обед хозяин квартиры предоставил Милорадовичу. Упоминание этого имени вызвало светлую улыбку на лицах солдат и матросов.

— Ребята, бородинские сизые орлы, парижские соколы ясные, господа офицеры, нижние чины и рядовые, солдаты и матросы! — стоя, обратился к собравшимся веселый, удалой Милорадович. — У всех у нас опалены крылья французским порохом! Но на то орлы и соколы, чтобы и на опаленных крыльях взлетать выше туч, если того потребует отечество! Опаленные-то крылья сильнее новеньких! Готовы ли вы, орлы и соколы российские, выполнить еще одно важное государево и мое повеление?

— Готовы! — грянули матросы и солдаты.

— Я собрал вас сюда, чтобы еще раз испытать храбрость вашу, — будто перед целой дивизией громко, с полководческим подъемом говорил командующий гвардейским корпусом, — испытать и оценить по достоинству! Сейчас я лично сам поведу вас всех со штыками, то бишь с ложками и вилками наперевес, врукопашную против щей и каши, что неприступно стоят на столе перед каждым из вас! Исполнимся же ратной доблести и пойдем на горячего, кипящего неприятеля. За дело, ребята! И знайте, что я не люблю тех коротконогих, которые мелким шагом семенят, идучи на приступ!

— Ура! Ура! Ура! — рванули солдаты и матросы, будто и в самом деле готовились идти на приступ.

— С богом, братцы! До донышка, чтобы и золотника зла не оставлять на гостеприимного хозяина, радеющего о пользе и преуспейнии отечества, о приумножении силы российского воинства! И чтобы завтра, как и сегодня, был ведреный день. А начинается всякое ведро в блюде, верно ли, орлы? В блюде густо — и в животе не пусто, и на небе ясно. И я с вами, как говорится у нас, хоть висю на хвосту, но по тому ж мосту! — завершил свое шутовское напутствие Милорадович. С деревянной ложкой и тарелкой в руках он подошел к солдатскому столу,

попросил налить варева из общего котла, что с превеликой радостью и сделал рядовой Иван Дурницын.

Застучали, загремели деревянные ложки. Такого вкусного обеда повара не готовили для рядовых и в викториальные дни. Июньский полдень веял в открытые окна сухим, знойным воздухом. У Дурницына трещало за ушами от усердия, с каким он уничтожал все, что было в миске. Повара не успевали подносить корзины с ломтями хлеба. С матросов и солдат катился пот, никто не хотел оказаться в числе отстающих.

Дурницын думал о том, какие диковинные повара в домах у знатных господ: сварят щи так сварят — ложку проглотить. Не то что в роте. Теперь ясно, почему барский румянец отличен от мужицкого и солдатского. Одно его смущало: полнейшее отсутствие на столе и около не только водки, но даже и пива. Повергало в тайное уныние и то, что Милорадович, напутствуя застольное воинство на приступ щей и каши, полусловом не обмолвился о чарочке... Неужели по забывчивости?

Миски у всех опорожнились. Не отстал от солдат и Милорадович. Не отстали и другие. Каразин радовался.

Милорадович, встав, сказал:

— Молодцы, ребята, вижу ваше усердие! Первое неприятельское укрепление взято штурмом! Bravo!

— Рады стараться, ваше превосходительство! — отвечал унтер-офицер Мягков.

Его слова хором повторили матросы и солдаты.

— А если добавить из того же чугуна? — хитро жмурясь, спросил Милорадович. — А что это за солдат, который не помышляет о добавке? Солдату добавок нужен не только для государевой верной службы, но и для собственной нужды. Или не так?

— Так точно, ваше превосходительство! — подтвердил Мягков.

— Тогда плесни-ка еще! — Милорадович протянул порожнюю миску к артельскому чугуну.

Честь налить добавку в миску командующего гвардейским корпусом на этот раз выпала Амосову. Глинка и Сергей Муравьев-Апостол не отставали от генерала.

— А теперь вольная воля каждому, — засмеялся довольный Милорадович. — Если у кого под ремнем есть местечко, то можно и по второму добавку.

И со вторым добавком управились без особых трудностей.

— Ну, ребята, что скажете о первом блюде? — спросил Милорадович, выбирая глазами солдата. Взгляд его остановился на Дурницыне. — Ну, скажи, гвардеец, как ты сейчас себя чувствуешь?

— Чувствую себя, ваше превосходительство, как в домовом отпуску длиной во всю жизнь! И надо б лучше, да нельзя.

— Щи полюбились?

— Полюбились, ваше превосходительство! Вкусно, как на маслянице у тещи!

— И что ты во щих увидел?

Дурницын стушевался перед вопросом, не поняв всей его серьезности.

— Из чего сии щи сварены?

— Щи, ваше превосходительство, натуральные и с мясом! Щи, можно сказать, самые веселые, гвардейские, все в них есть: и морковка, и капуста, и лучок, и разные душистые травы.

— Откуда же в такую раннюю пору взяться капусте?

— Не могу знать, ваше превосходительство! Но на квашенину непохожа! Сдается, что капуста и морковь свежие, возможно, из полуденного края привезенные.

— А как мясо?

— Мясо, ваше превосходительство, отменное — чем больше ешь, тем больше хочется.

Ответы солдата были лучшим одобрением дела, начатого Каразиным.

Повара разносили по столам второе: гречневую кашу с мясом. Каше был оказан такой же восторженный прием, как и щам. Управившись легко и свободно с первой порцией и снова ослабив ремни, солдаты и матросы потянулись за добавком, а добавок отпускался без всяких ограничений.

Каразин, обрадованный всеобщим одобрением его трудов, сожалел лишь о том, что не видит среди обедающих самого графа Аракчеева. Знал Василий Назарьевич — для временщика не имеют значения чьи-либо отзывы. После каши подали кисель, приготовленный также из концентратов. Не помнили гвардейцы и матросы такого истинно царского обеда. Даже в день вступления в Петербург после похода во Францию не было такого угощения.

Генералы Милорадович, Потемкин, Киселев, разделившие вместе с солдатами этот испытательный обед, хвалили Каразина, обещая ему всяческую поддержку в доведении до конца столь важного государственного дела.

Капитан-лейтенант Николай Бестужев от имени обедающих преподнес Каразину искусно изваянного матросом-умельцем бога морей Нептуна.

Перед тем как завершиться трапезе, довольный Милорадович еще раз блеснул своим солдатским остроумием:

— Ребята, вы не хуже моего знаете, что неприступные вражьи крепости берут не брюхом, а берут их геройским духом, как говорил мой великий наставник Александра Васильевич Суворов. А я добавлю к его мудрости: ежели нет прочной опоры для брюха, то не в чем держаться героическому духу! Так ли, ребята?

— Так, ваше превосходительство! — рванули солдаты и матросы.

— Господин статский советник Василий Назарьевич Каразин, как вы сами могли убедиться, помогает нам построить прочную опору для героического духа! Спасибо ему за труды бескорыстные и столь нужные нашему отечеству.— Милорадович обратился к Каразину и в департаментском стиле заверил его: — Я не премину безотлагательно на труды ваши в пользу государственную обратить всемилоостивейшее его императорского величества внимание. Очень сожалею, что за нашим столом мы не видим управляющего военным министерством князя Горчакова-первого.

— Был приглашен лично мною,— разочарованно сказал Каразин.

— Военный ученый комитет, я уверен, будет благодарен вам за теорию вашу и ее практическое применение,— уверил Милорадович и обратился к нижним чинам и рядовым: — Спасибо вам, ребята, спасибо, орлы и соколы, вы еще раз порадовали меня и других господ генералов и офицеров тем, что умеете брать любые крепости! С победой, братцы! С викторией! И в честь победы налить каждому по чарке! По полной! А ежели у которого уж больно густо в животе, то для такого разрешаю и вторую налить.

Оказалось, что у всех солдат и матросов от такого щедрого опытного обеда в животе густо и требуется весьма разбавить. После третьей чарки Милорадович

пожелал солдатам и матросам успешной службы, доброго здоровья, всяческого благополучия и объявил опытный обед закрытым.

— Ребята, по домам! Но чтобы в кабаки не заглядывать! И в увеселительный дом не показываться! Не подведите меня и своих командиров перед государем нашим, столь милостивым и щедрым.

— Не подведем, ваше превосходительство! — в один голос грянули подогретые винными парами солдаты и матросы.

К самому шапочному разбору в зале появился адъютант Аракчеева капитан Матрос.

— Милостивый государь, Василий Назарьевич! — обратился он к устроителю обеда. — Я прислан сюда сиятельнейшим графом, его превосходительством генералом от артиллерии и кавалером Аракчеевым, чтобы принять участие в обеде из сгущенных предприятий...

— Э-э, душа моя, хлеб за брюхом не ходит — опоздал ты со своим графом всего на три часа, — сказал Милорадович, тем самым дав понять Каразину, что он берет его под защиту перед своевольным вельможей. — Все выхлебали и ложки облизали, так вкусно было... Впредь не будете опаздывать.

Однако Каразин велел повару, чтобы тот собрал на стол для Матроса.

Семеновские солдаты и матросы ушли.

Милорадович, состоявший в давнишней дружбе с отцом Сергея Муравьева-Апостола, обнял за плечи штабс-капитана и дружески спросил:

— Как служба, земляк?

Муравьев-Апостол растерялся от такого вопроса: почему земляк?

— Ты по деду — серб?

— Да, отец моей матери был серб.

— Я тоже происхождением серб, значит, мы земляки, — весело объявил Милорадович, любивший умную, талантливую офицерскую молодежь. — Как вы находите песни Федора Глинки?

— Нахожу их превосходными! Глинка в тяжелые для отечества годы снискал себе славу храброго воина и вдохновенного певца! Не знаю, кто из поэтов выразил лучше Глинки гнев и священное ожесточение наше против врага!

— А доходят ли эти патриотические песни до солдат-

ской души? Живут ли они среди моих гвардейцев? — поинтересовался Милорадович.

— Живут. Гвардейцы с охотой поют его песни. Не только поют, но и читают. Всему помехой — неграмотность подавляющего большинства наших солдат, — сокрушенно делился своею болью Муравьев-Апостол. — Думается, наступил срок занятия фрунтом увязать с обучением солдат чтению и письму. Михаил Андреевич, гвардия — гордость императора, и неужели не при- скорбно видеть ее неграмотной, невежественной? А какой способный, переимчивый и любознательный народ у нас в полку!.. От вас многое зависит... А мы, гвардейские офицеры, готовы всеми силами помочь нашим солдатам в овладении хотя бы начальной грамотой.

— Душа моя, если бы все зависело только от меня, то завтра же я всю гвардию засадил за буквари и аспидные доски.

— От кого же зависит? От государя? Внушите ему...

— Если бы я был граф Аракчеев, то ничего бы не стоило внушить. Но я, увы, не Аракчеев, а всего-навсего Милорадович.

— Неужели наши солдаты, добывшие такую честь и славу своему государю, не заслужили внимания властей? Неужели никто не задумывается над облегчением их страшной участи?

— Многое, если не все, будет зависеть от того, кто сядет справа и кто слева от царя...

— В Сенате? В Государственном совете?

— За обедом в узком составе. Сенат, Государственный совет, Кабинет министров — все это, душа моя, пустой звук. Решают дела России два человека. Что есть наш Государственный совет? Аракчеев. Сенат? Тот же Аракчеев. Я с вами говорю так откровенно лишь только потому, что знаю, чей вы сын... — Милорадович с улыбкой заглянул Сергею в лицо, слегка сжал его плечи и, отпустив, подошел к хозяину, чтобы откланяться.

На гауптвахте Нового адмиралтейства было сыро и холодно в любое время года.

У Антона, с детства страдавшего от простуды, сильно ломило ноги и руку, припухшие в суставах. Темничному томлению не было видно конца. Он тревожился

за Маккавейку, ничего не зная о его судьбе.

Вместе с Антоном на гауптвахте изнывали ткачи Новгородской казенной парусной фабрики. Их было около двух десятков человек. Исхудалые, бледные, они словно тени бродили по гауптвахте. Одни сокрушенно вздыхали, другие усиленно молились, выпрашивая у всевышнего избавления от темницы, третьи, отчаявшись во всем, страшно бранились, не щадя не только владыки земного, но и небесного. Однако ничто не помогало. Двери гауптвахты оставались закрытыми, таскать по допросам перестали, и в суд, на который у всех была последняя надежда, не звали.

Парусинщик Дмитрий Вшипов, смуглый мужик, с густыми, вразлет, бровями, присев рядом с пригорюнившимся Антоном, сказал участливо:

— Не вешай носа, может, все уладится... Какими судьбами тебя занесло в этот проклятый, пропади он пропадом, Питер? Тут вольготно живет только барской сволочи, а простому человеку — смерть.

— Захотелось отпробовать бесплатно быка жареного на золотых копытах и в серебряных рогах. Думалось, с победой-то над вором-хрянцузом царь раздобрится, не то что быка не пожалеет зажарить — велит и фонтаны вином зарядить...

— Вот он тебя и зарядил на гауптвахту, — мрачно улыбнулся другой парусинщик, Филат Лебедев, беспрестанно кашлявший и плевавший на пол сукровицей. — Еще не так зарядит...

— Теперь и сам вижу, что шибко мы с моим мальчонком обмишурились, — обреченно вздохнул Антон. — Понадеялись на бывалошнее, ан бывалошнее больше не родня нынешнему.

— Какое бывалошнее? — поинтересовался Вшипов. — Пугачева, что ли, вспомнил?

— Когда государь, ныне царствующий, венчался, так жареного быка выставлял перед дворцом для всего простонародья. И винца по кружке. Мне самому о ту пору привелось быть в Питере. Хлебнул во здравие государя, посчастливилось, и косточку бычиную пососал...

— И не растоптали? — спросил кто-то из глубины мрачной гауптвахты.

— Уцелел... Правда, заячьей шапки лишился, да ребро одно малость покорежили, но костоправша, наша баба деревенская, царствие ей небесное, ребро выправила и

все остальное на свое место поставила,— простодушно и с полным уважением к друзьям по несчастью рассказывал Антон.— А вы, парусинщики, как сюда затрекались? За что вас морят? Взбунтовались, поди? Или по Аракчееве дурную песню спели? Ведь он, кажись, ваш сосед?

— Верно, сосед, да такой сосед, что добрее на свете нет,— отозвался Лебедев.

— Тебе, дед Антон, не повезло, а нам еще больше не запаило,— начал рассказ Вшипов.— Хотя мы и не охотились за обман-быком жареным. Война всю Россию до самого дна взбаламутила. И сейчас еще крутая волна гуляет от берега до берега и одному богу весть, когда она уляжется. Вот и мы оказались на белопенном гребне той кипучей волны... Во время нашествия неприятеля нас, мастеровых, человек полтысячи или побольше того, по предписанию генерал-губернатора новгородского, тверского и ярославского, собирались присоединить к составленному по Новгородской губернии корпусу ополчения. Что миру, то и вдовьему сыну — думали и мы воевать француза. Однако к корпусу нас почему-то не причислили, а отдали под начало новгородскому коменданту Петрову. Обучали нас воинскому артикулу, потом по высочайшему повелению по осени возвратили на парусную фабрику. Еженедельно посылали нас по очереди для содержания по городу караулов. За те месяцы, когда учили нас воинскому артикулу, не заплатили нам на фабрике ни копейки. А за мундиры, которые мы надели на себя, будучи в ополчении, всем нам назначили вычеты. На кусок хлеба для детей не осталось, и работа перестала спориться. Какая уж тут работа, если ты ночь в карауле стоишь, а днем у станка дело правишь. Навык к своему мастерству через то стали терять. Да и жить нам стало негде: фабрика, по ветхости строений, в жителях стеснена, а все новые покои заняли ранеными и пленными французами. Кое-как рассовали нас по деревянным дырявым казармам и прочим ветхим покоям с превеликой нуждою. Пошли мы с Лебедевым к нашему директору Рербергу, чтобы заявить претензию от всех бывших ополченцев, а он нас и слушать не захотел. «Вы, говорит, у меня давно на дурном замечании! Я прикажу иметь за вами строгий присмотр, и если замечу, что подстрекаете прочих, то найду верный способ водворить спокойствие!»

Мы не убоялись его угроз. Сочтя себе за отягощение несправедливый ежемесячный вычет с каждого человека по восемьдесят одной копейке за выданный казенный мундир, стакнулись всей фабрикой пойти по начальству. Но ведь всякое начальство — канальство. Одна каналья другой отписывает, а другая каналья одним глазом смотрит в бумагу, а другим — на твой карман. А много ли в кармане у мастерового? Наконец, по общему уговору, осмелились утруждать его величество нашей всеподданнейшею просьбою. Царь-то наш, может, и не плох, да на одно ухо оглох, как раз на то, которым бог велел царю народ слушать. От царя попала наша просьба на рассмотрение господина министра графа Аракчеева. А господин Аракчеев, говорят, так приглядчиво рассматривает жалобы рабочих людей, что от его рассмотрения бумага льдом обволакивается. От графа вернулась наша бумага на рассмотрение местного начальства, того самого расканальского начальства, на которое мы жаловались.

Начальство признало нашу жалобу лжезатейной, а жалобщиков — злоумышленниками. Многих наказали шпицрутенами и палками, а шестьдесят человек в особое наказание сослали на прядильную фабрику в Архангельск, многие жены и дети остались без всякого пропитания. А вычет с нас за мундиры продолжался, и чинились прочие немалые притеснения в нарушение высочайших предписаний и регулов. Команда и на этот раз не отступилась, почитая твердо, что местным начальством обстоятельства просьбы нашей были бессовестно затемнены и нас изнуряют несправедливо.

Мы опять от всего общества написали на всевысочайшее имя другую просьбу и избрали Федота Матвеева с товарищами нашими ходоками для подачи нашей просьбы его величеству. Дело в мае было. Наняли от команды извозчика, он отвез наших ходоков до Петербурга на переменных лошадях, нанимали их от себя. Приехали наши в Петербург поутру, остановились у одного сродственника нашему парусинщику, служащего при заемном банке рядовым. Сказали ему, что приехали, мол, с полотнами.

После этого вышел Федот Матвеев на Сенную, а вслед за ним и ямщик, который их привез. Тут откуда ни возьмись присланный от фабрики экипажский работник Гришка Лексеев, да еще есть у него брат Мишка, оба такие сволочи, что убить не жалко. Признали они Мат-

веева и обще с ямщиком представили к надзирателю, а от него — в съезжий двор. Просьбу отобрали, а жалобщика и ямщика заковали в железа...

Не дождавшись никакого удовольствия и милости, мы по почте особо послали письменную просьбу графу Аракчееву. Но и на это никакой милости не получили. И неизвестно, каким манером наша особо написанная Аракчееву просьба возвратилась к нашему начальнику. Тут и началось...

— Команду во фрунт! — будто взбесившись, рано поутру оповестил начальник.

В воротах Адмиралтейства поставил матросов и двух унтеров да одного офицера с заряженными ружьями и тесаками наголо, будто на бунты.

— Стоять и не шевелиться до моего возвращения! — приказал, а сам поехал в город.

Стоим. Добра ждать нечего. Вскоре наехали высшие начальники: новгородский губернатор, полицмейстер, комендант.

Губернатор выкликнул по имени десятков шесть и пошел лаяться:

— Жалобщики!.. Лжезатейники!.. Злокозненные выдумщики!.. Знаю, как вы подавали государю вашу пустую просьбу, но ничего из нее не вышло, и не ожидайте никакой милости!

А начальник наш Рерберг, воздев к небу руки, говорил:

— До бога высоко, до государя далеко, и трудно до него дойти, а пойдете — не бывать милости от него.

— Где же нам милости искать, коль не у его императорского величества? — в тысячу голосов отвечали мы.

— Прикусить собачий язык, а кто не прикусит, у того велю вместе с башкой оторвать! — кричит Рерберг.

А мы все равно не умолкаем и стоим на своем:

— И еще просьбу отдадим в собственные руки государю, а справедливости добьемся!

Тут губернатор приказал драгунам по фрунту ездить и топтать нас копытами.

А Рерберг грозит нам:

— Я вас по единому человеку всех разошлю, куда ворон костей не заносит!

Поколотили нас палками, потоптали копытами, нескольких бросили в ордонанс-гауз, а многих угнали неизвестно куда, говорят так, что в Архангельск.

И тут, глядим, поскорости из Петербурга приехала комиссия. Рожь хвали в стогу, а комиссию — в гробу... Начала комиссия таскать на допрос тех, кои посажены в ордонанс-гауз. Ну, известно, у нас издавна правосудие пыточными речами подпирается. Допрашивали со всякой дерзостью и терзанием...

Но и на этот раз мы не уstraшились, нашлись верные просители, постановили на собрании с третьей просьбой к государю, вспомнать в ней и прочие нам утеснения.

Нести эту третью просьбу пришлось мне да Филату Лебедеву...

Отлучились мы с фабрики самовольно и двадцатого июля пришли в Петербург и здесь узнали, что государь и вся царская фамилия уехали в Петергоф. Делать нечего, надо ждать. Привились мы на одном постоялом дворе. Два дня прождали, а на третий пошли на Петергофскую дорогу и у кабачка ожидали на дороге государя.

Ждем, томимся, а сами не знаем, когда государь проедет. Уж больно крепко солнце припекает. Заглянули мы от нечего делать в лавочку. Пока мы были в лавочке, государь в это время прокатил мимо. Выбежали мы из лавочки, только и увидели пыль, что вьется позади царской коляски. Вот неудача-то. Но наказ мира надо выполнять.

Тут узнали мы от одного сведущего человека, что вдовствующая императрица будет проезжать в Павловск. И решили мы так: Лебедев со своей просьбой пойдет на дорогу, которая ведет в Павловск, чтобы подать нашу жалобу императрице; я же остался ожидать его у кабачка... Жду час, жду другой... Товарищ мой не возвращается. Между тем заметил я какого-то прохиндея, который что-то уж очень пристально на меня поглядывает. Думаю себе, как бы не взяли под караул, да поскорее возвратился в Петербург от греха.

На другой день отправился на Каменный остров в надежде дожидаться государя. Ждал, ждал, но так и не дождался. Уж хотел убираться восвояси, но вот в девятом часу вечера увидел экипаж... Это ехала по саду государыня императрица. Я с просьбой в руках пал на колени. С запяток соскочил придворный камер-лакей, подбежал ко мне, взял просьбу и приказал идти в канцелярию. «А где она — эта канцелярия?» — стою, гадаю. Время позднее, и я решил шагать прямо на гауптвахту для переночевания и ожидания решения.

На гауптвахте меня приняли. В душе надежда затеплилась: наконец-то наша просьба попала в царские руки. Вдруг вижу перед собой придворного лакея. Вручил он мне мою просьбу и сказал:

— Она не следует к государыне.

Огорчился я. Тут вскоре после ухода лакея приезжает сам обер-полицмейстер, записал мое имя и прозвание и велел идти в город для подачи.

Переночевав на гауптвахте, поутру вышел я и остановился у моста — все думаю, как мне довести нашу просьбу до рук самого императора. Тут подходит ко мне полицейский часовой и спрашивает:

— Что за человек?

— Казенный мастеровой, Новгородской парусной фабрики ткач!

— Зачем пришел в город и имеешь ли при себе вид?

— Намерен подать просьбу в руки государя... Вот стою жду — не проедет ли...

— Пойдем со мной! — приказал полицейский.

Препроводил он меня в Первую адмиралтейскую часть, здесь отобрали просьбу, а меня отослали под караулом в полицию, из полиции в дежурство морского министерства... И вот с того дня таскаю на руках и на ногах ржавые браслеты, спасибо царю — не пожалел на меня демидовского железа.

— А ты, Лебедев, как сюда попал? — спросил Антон другого парусинщика.

— Мне повезло, я оказался счастливее Митрия... Всего одни сутки караулил на дороге, что ведет в Павловск. За Триумфальными воротами передал просьбу ехавшей в Павловск государыне Марии Федоровне. Она приняла просьбу и приказала прийти мне в Павловск. Через день явился я в Павловский дворец в придворную канцелярию. Сажу. Жду. Вдруг канцелярский хлыст спрашивает мое имя и вручает мне обратно мою просьбу с объявлением:

— Ее величество приказала подать оную по принадлежности государю императору или великому князю Константину Павловичу.

Я, не теряя надежды, отправился в город выполнять приказание царицы. Около трех дней мотался в поисках подступа к высоким лицам. На Стрельной мызе в десять часов утра при разводе я увидел великого князя Константина Павловича и подал.

Взять под караул! — приказал Константин Павлович.

И меня повели по тем же дорогам, по каким водили Вшипова, пока мы с ним не встретились здесь... Вместо холста рубашечного и сапожного товару, который мы выпрашивали у государя из милосердия, получил и я кандалы на руки и на ноги.

Еще грустнее сделалось Антону от рассказов фабричных людей.

— Должно, скоро наших парусинщиков прибавится на гауптвахте, — сказал Вшипов. — Ведь уговор между нами был положен таков: буде мы не получим желаемого удовлетворения, то наши мастеровые пошлют еще двух человек с такой же просьбою... Нет уж, хотя и уговор общий положен, но лучше бы не посылали.

Парусинщик Лебедев сокрушался не столько по жене и трем малолетним детям, сколько по артельному сундуку с артельной казной, ключ от которого оказался при нем. Он много раз просил начальство гауптвахты вызвать с фабрики двоих или троих ткачей с тем, чтобы передать им ключ от артельного сундука, но просьба его оставалась без последствий.

— Или уж больно велика казна в артельном сундуке сберегается, что ты так страдаешь по ней? — спросил Антон.

— Как же не страдать? Ведь может статься, что иной с голоду умирает и нуждается в артельной копейке, а копейка эта лежит в недоступности, — в сердцах ответил Лебедев. — По бытности на фабрике имел я у себя в содержании артельных денег пятьдесят один рубль. А как при отлучке для подачи просьбы собственных денег на дорогу у меня не оказалось, то я, сказавшись артельщикам, взял с собою из артельных денег одиннадцать с полтиною. Остальные деньги теперь в артельном сундуке, а ключи от сундука при мне...

— А зачем ты его при себе держал? Ты, отлучаясь в дорогу, отдал бы его артельщикам, — поучающе заметил Антон.

— Не глупей твоей моя голова — отдавал артельщикам, да они его не взяли, полагая мое скорое возвращение на завод... А скорое-то на долгое поворотилось.

По полу шныряли крысы и мыши. Воздух был отравлен нечистотами. Карп Ягунов, парусинщик с той же казенной фабрики, заболевший желтой горячкой, метался

на нарах в беспамятстве. С неделю назад его назначили к отправке в какой-то госпиталь, но так и забыли о нем. Примолкли узники. Думал и Антон свою невеселую думу.

9

По долгу службы Николаю Тургеневу часто приходилось присутствовать на заседаниях Комитета министров. Он смертно скучал на этих сборищах.

Министры представлялись ему говорящими куклами, не способными ни мыслить, ни действовать самостоятельно в соответствии с голосом собственной совести. Единственный человек, который иногда мог развеять секретарскую скуку Тургенева, был граф Милорадович. С его приходом на заседание министров как бы врывался свежий ветерок.

За окнами цвело синевой вешнее небо. Скучающий Тургенев, почти не слушая нудных речей, глядел в окно и думал о предстоящей завтра сходке у него на квартире. На сходке вместе со старшими литераторами столичными будет блистать и талантливая лицейская поросль, особенно запомнился ему лицеист Пушкин, от стихов которого в восторге даже сам Державин.

Справа от председательствующего в собрании сидел в глубоком бархатном кресле первый министр и генерал от артиллерии граф Аракчеев, на нем был армейский мундир с лентой через плечо.

Глаза его были холодны и пусты, как у ватной куклы, и не выражали никакой мысли. Крупным, почти прямоугольным лицом и большой головой граф напоминал Тургеневу деревянного истукана. Сходство усиливалось тем, что Аракчеев нынче почти ничего не говорил, а только слушал других. Однако его внешнее безразличие вовсе не означало нежелания навязать Комитету министров свою волю. Все знали о привычке Аракчеева брать слово последним, с тем чтобы словом этим решить дело от имени власти самодержавной. После уже никто не пытался что-нибудь предлагать, отклонять, оспаривать.

Тургенев всегда приходил в ярость, когда ему случалось быть свидетелем подобных аракчеевских выступлений в Комитете министров. Он возмущался и презирал министров, низведенных невежественным властолюбцем до жалкого положения дрессированных попугаев. Особенно гадкими они казались ему оттого, что он знал:

здесь молчат, словно мертвецы, а вернувшись в свои департаменты и присутственные места, бранят того, кто третирует и попирает их на каждом шагу. Иногда, вслушиваясь в лепет министров, Тургенев рисовал мысленно уничтожающие их портреты. Вот и сейчас он давал про себя оценки каждому из сидящих здесь.

Вошел опоздавший к заседанию граф Милорадович, и у Тургенева при его появлении сразу полегчало на душе. Верилось, что если граф и не станет оспаривать Аракчеева, то хоть бросит несколько остроумных замечаний или шуток.

Милорадович разместился слева от стола председательствующего, как раз напротив Аракчеева. Подумал: «Сей каменный монумент продолжает величаво безмолвствовать».

— Далее, на заключение господ министров, сентенция военного суда по делу о мастеровых Новгородской казенной парусной фабрики, судимых за отказ от посылки шестидесяти человек из них на казенный прядильный завод в Архангельск,— объявил председательствующий.— И еще две сентенции, согласно записке, составленной в аудиторском департаменте по двум делам, рассматривавшимся в комиссии военного суда при флотских командах в Петербурге о наказании шпицрутенами мастеровых Новгородской фабрики, подавших дерзкие и злокозненные жалобы.

Тургенев, наблюдая за лицами министров, видел, что всем им скучно и никто из них не собирается вникать в суть этого самого наиважного дела из всех дел, обсуждаемых ныне. Только один Милорадович продолжал глядеть орлом, приготовившись слушать внимательно нескладные записки главнокомандующего в Санкт-Петербург и морского министра об ослушании, оказанном мастерами Новгородской парусной фабрики своему начальству.

После зачитания секретарем бумаги морской министр сделал устные добавления к зачитанному:

— Господа министры, вина злонамеренных ослушников особенно опасна тем, что они не подчинились высочайшей воле, изъявленной на одном из заседаний комитета устами сиятельнейшего графа Аракчеева, государственного мужа, чьи суждения всегда отличаются состраданием к несчастным и человеколюбием истинно христианским...

У Тургенева прервалось дыхание, а лицо будто опалило пламенем. Ему захотелось встать, подойти к морскому министру и при всех залепить ему пощечину.

— Я вам напомню, господа министры, представленное мною и утвержденное комитетом предложение. Оным предложением комитет предписывал не откладывать наказания ослушников. Мы все помним, что при подписании сего журнала незыблемый страж справедливости и законности генерал от артиллерии граф Аракчеев объявил комитету, что государь император, утверждая вышеизложенное мнение комитета, повелеть соизволил: тех парусинщиков, кои замешаны были в неповиновении, по окончании над ними суда не удерживать больше на фабрике, но отправить в Архангельск на тамошний прядильный завод... По злостному умыслу мастерового Кузьмы Булавкина фабричная команда вышла из должного против начальства послушания и завела предерзостное возмущение. Булавкин находился главнейшим возмутителем и зачинщиком. — Министр дальше невразумительно промямлил о силе Морского устава, сослался на номера книг и артикулов и зачитал выдержку из сентенции: — «Военный суд приговорил из подсудимых: Карпа Ягупова, Тимофея Васильева, Петра Миронова, Конона Тарасова, Мирона Гуреева, Федора Исакова, Петра Яковлева — повесить».

Все обратили взоры на Аракчеева — что скажет он. Но Аракчеев продолжал безмолвствовать.

— Согласны с мнением военного суда. Давай дальше, — с трудом преодолевая позевоту, сказал министр Гурьев.

Перешли к суждению по двум делам, рассматривавшимся в комиссии военного суда при флотских командах. Речь пошла о новгородских мастеровых — парусинщиках Вшипове и Лебедеве. Тургенев обратил внимание на тронутый изморозью чуб Милорадовича — чуб зашевелился.

Генерал-лейтенант, генерал-интендант и кавалер Пущин сделал свое толкование преступления новгородских парусинщиков:

— Парусинщикам Вшипову и Лебедеву не следовало бы утруждать не токмо его императорское величество, но и свое вышнее начальство затейливыми и настоятельными просьбами. Но они, как и прежде сего, уже неоднократно утруждали его величество. Забыв долг службы и пови-

новение начальству, они, как бунтовщики и непокоривцы законам, пишут и утруждают своими просьбами даже всю царскую фамилию и усиленным своим домогательством уже не из милосердия, а почти желают вынудить, дабы избавить их от вычета за выдаваемый из казны мундир и сверх того производить им в дачу рубашечный холст и сапожный товар, а на малолетних детей с начала их рождения полный провиант. Комиссия военного суда находит мастеровых Вшипова и Лебедева виновными в самовольной отлучке от команды, в утруждении подачею просьб, кроме царской фамилии, также знатных персон.— Пущин подобострастно поглядел на монументального Аракчеева, чтобы тем самым показать всем, и прежде всего самому Аракчееву, что самой знатной персоной он считает его. Затем продолжал: — При сем указанные Вшипов и Лебедев бунтовщически утверждали, что ежели они и по сим последним просьбам не получают желаемого удовлетворения, то и еще намерены подавать таковые же просьбы, чем и доказывают неопровержимо, что через них и происходит между фабричными возмущение. Сего допустить в благоденствующем и процветающем отечестве нашем никак нельзя. Суд нашел просьбу мастеровых лжезатейной, так как, по высочайше утвержденному в двадцать четвертый день января 1812 года докладу, мастеровым Новгородской фабрики положено производить только верхнее обмундирование, кроме белья и обуви, с вычетом из них задельных денег из жалованья в те сроки, на какие выдан мундир.— Генерал, надев очки, достал из папки какие-то выписки из Полного свода законов и долго читал их, потом сделал окончательный вывод по существу: — За каковой поступок Вшипов и Лебедев по силе воинского сухопутного устава ст. 64, 95 и 133, а Лебедев и за унос с собою артельных денег, одиннадцати рублей пятидесяти копеек по 181 и 193 артикулам подлежат повешению.

— Раз подлежат так подлежат, против закона, как против бога, не дано нам, смертным, подымать свой голос,— сказал министр Гурьев, сердитый на всех за то, что заседание затянулось.

— Не слишком ли жестоко, господа, подошел военный суд к участи людей, которых еще вчера в честь величайшей победы над неприятелем государь наш, как и всех своих соотечественников, назвал верными сынами России? — спросил министр внутренних дел граф Кочу-

бей, у которого раза два бывали новгородские настойчивые парусинщики со своими просьбами.

— Воинский сухопутный устав писан не военным судом, сила его высочайше благословлена как руководство для всех судей,— отвечал генерал-лейтенант Пущин и продолжал: — И еще одно дело новгородских парусинщиков рассмотрено в военном суде. Десять человек из мастеровых фабричных, неоднократно утруждавших его величество просьбою и изъявивших намерение и еще утруждать государя, по силе того ж воинского устава 95 и 133 артикулов, приговорены вместо смерти к битию кнутом, вырезанию ноздрей пред полком и к ссылке в вечную работу на галеры. Все они содержатся под караулом на гауптвахтах Гребного порта и Нового адмиралтейства.

— Ну что ж, господа, государем вручены неподкупным судьям точнейшие весы правосудия. Нам остается лишь согласиться с мнением суда, который, соединяя законность с состраданием и человеколюбием, сказал свое твердое слово,— первым высказался Гурьев.

За ним подал свой набожный голос «серый мужичок», кроткий и богобоязный с виду князь Александр Николаевич Голицын:

— Божественный закон истинному христианину предписует смирение и любовь к ближнему и через мученическую смерть указывает верный путь избавления души нашей от земных грехов и печалей здешних. Всякий суд земной есть орудие в руках господних. Одобрив решение военного суда, обратимся с призывом о помиловании несчастных или хотя бы о смягчении приговора властью благословенного ангела нашего государя императора.

«Этот «серый мужичок» то скрипит, как запечный сверчок, то завоет, как волчок»,— подумал Милорадович о князе Голицыне и, недовольно фыркнув, взял слово.

— Из зачитанных здесь записок, из сентенции и пояснения к бумагам, сделанных господином генерал-лейтенантом, генерал-интендантом и кавалером Пущиным, я не вынес достаточной ясности по существу самого дела о степени вины каждого из подсудимых, обреченных судом на зверскую казнь и варварское изуродование путем изъятия ноздрей перед полком,— говорил Милорадович бурно и без оглядок на Аракчеева.— Речь идет не о своре борзых, предназначенных к продаже или обмену на крепостных... Речь идет о жизни и смерти

людей, недавно защищавших отечество или с оружием в руках, или своим трудом на заводе. Остается неясным, кто они, эти приговоренные к смерти: Вшипов, Лебедев и другие? Злодеи? Разбойники с большой дороги? Перебежчики в лагерь неприятеля? Враги православия и престола? Или такие же, как и остальные пятьдесят миллионов наших соотечественников, россияне, верные сыны своего отечества?..

Тургенев ждал, что столь горячая речь генерал-губернатора выведет Аракчеева из застывшего состояния, но ни одна жилка на крупном, скуластом лице друга царя не дернулась. У министра финансов Гурьева от страха похолодели уши, когда он услышал резкости Милорадовича — ему казалось, что уже одно то, что он слышит такие слова, делает его, Гурьева, виноватым перед Аракчеевым.

— Кто эти ослушники, приговоренные судом к разным наказаниям, я могу дать краткую справку о каждом, — вызвался присутствующий на заседании комитета новгородский губернатор. — Директор Новгородской фабрики восьмого класса Рерберг, препровождая ослушников в Новгород, дабы произвести над ними высочайше повеленный суд, о каждом из них сделал исчерпывающий отзыв. — Губернатор обратился к помощи бумажки. — Вшипов в службе состоит с 1808 года, ему двадцать пять лет, из крестьян, поведения худого, за пьянство и недоход к работе наказыван был при команде палками...

— У нас палками награждают не только пьяниц, — сказал сердито Милорадович.

— Лебедев, в службе состоит с 1800 года, от роду ему 35 лет, из крестьян, поведения худого, — продолжал читать по бумажке новгородский губернатор. — Козьма Булавкин, в службе с 1797 года, из крестьян, от роду ему тридцать семь лет, в 1804 году за дурное поведение наказан розгами и в 1812 году за дерзость против комиссара Иванова наказан палками, Тимофей Васильев, в службе с 1797 года, из солдатских детей, ему тридцать лет, в штрафах не бывал, Петр Миронов, в службе с 1806 года, из крестьян, двадцати четырех лет, за драку наказан при команде палками. Конон Тарасов, в службе с 1806 года, из крестьян, ему двадцать восемь лет, за пьянство и драку наказан при команде палками. Семен Гурьянов, в службе с 1806 года, из ямщиков, ему двадцать семь лет, за непочевание при квартире наказан

палками: Федор Исаков, в службе с 1794 года, из крестьян, сорока двух лет, за неявку к работе и пьянство содержался под караулом шесть суток. Петр Яковлев, в службе с 1806 года, из крестьян, двадцати пяти лет, в штрафах не бывал... О прочих же десяти человеках сказать ничего не могу, списка о их службе никакого нет.

Милорадович остался крайне недоволен таким ничего не объясняющим ответом и пришел в еще большее раздражение. Он спросил присутствующего в собрании флотского начальника в Петербурге Матвея Матвеевича Муравьева:

— Вызывались для объяснений подсудимые в комиссии военного суда?

— Нужно полагать, что вызывались, но с уверенностью сказать не могу,— был ответ флотского начальника.

— У меня есть сведения, что мастеровые люди в комиссию военного суда не вызывались и судимы были по списку заочно,— резко и непримиримо напал на военный суд Милорадович.— Что это: суд или судилище? Мы, потомки великого вольного рода славянского, не будем подражать судьям гнусного дикаря и варвара Чингисхана! Благословенному государю нашему решительно противна всякая мысль об укоренении рабства и жестоких притеснений среди его верноподданных! Мы помним все прекрасные слова государя о том, что его заветной мечтой и желанием является дожить до желанного дня полного освобождения россиян от всякого рабства! Рабство — великое зло. Ведь недаром же в русском народе сказано о рабской жизни: три невольника на белом свете: пахарь в поле, жена в доме да собака на цепи... Комиссия военного суда своим свирепым и необоснованным приговором решила прибавить к этим трем невольникам четвертого: рабочий у станка! Суд осудил фабричных людей только за то, что они всепокорнейше принесли три просьбы на высочайшее имя... Только за это! Но разве всепокорнейшее принесение просьбы к кроткому и любимейшему монарху, в котором народ видит своего отца, заступника, хранителя законности, есть тягчайшее преступление? За принесение жалобы лишать живота, рвать ноздри, навечно ссылать на галеры — неразумно, противозаконно, бесчеловечно... От таких приговоров дурно пахнет звериным азиатизмом. А какой же казни предаст комиссия военного суда тех мастеровых с казенной парусинной фабрики, которые осмелятся в четвертый раз

подать всенижайшую и всепокорнейшую жалобу на жестоких притеснителей и нарушителей указов государевых?

— После такого примерного наказания не осмелятся,— сказал Гурьев.

— Уже осмелились, господа... Вчера несколько мастеровых все с той же Новгородской казенной парусинной фабрики валялись у меня в ногах с челобитной, умоляя передать жалобу в собственные руки его императорскому величеству! — с неподдельным волнением продолжал возбужденный Милорадович.— Это были не злодеи, не пьяницы и не драчуны, а ходоки от всей Новгородской парусной фабрики команды мастеровых! Верноподданные государя...

При упоминании о жалобе, предназначенной в собственные руки государя, Аракчеев тяжело заворочался в кресле, будто вдруг почувствовал неудобство. На всякий пакет с пометой: «В собственные руки государю» он смотрел подозрительно и с затаенной боязнью. Ему всегда казалось, что в одном из таких пакетов рано или поздно будет доставлена царю кляуза на него, на Аракчеева, и этой кляузе поверит его благодетель.

— Господа, если правда все то, что написано в жалобе мастеровых, то мы с вами являемся свидетелями воцарения самого лютого рабства и бесчеловечия на наших заводах и фабриках! — воскликнул Милорадович.— И это, господа, на казенном заводе... Можно себе вообразить, что же творится на частных, на партикулярных фабриках и заводах? Полнейший произвол, беззаконие! Исполняя волю и желание нашего государя, мы должны осудить заводское рабство и встать на защиту справедливых в своих жалобах мастеровых людей!

— Истинны ваши слова, граф, должно осудить живодеров,— поддержал Кочубей. Остальные молчали.

Заговорил председательствующий:

— И еще на утверждение комитета выносятся постановления комиссии военного суда о беглом бродяге Антоне Дурницыне, назвавшемся экономическим крестьянином. Комиссия военного суда нашла в оном беспачпортном Дурницыне все признаки бездомного бродяги и отклонила как недостойную внимания выдумку подсудимого о том, что он якобы пришел в Петербург в надежде полакомиться быком жареным и чаркой дарственной водки в связи с великой победой над Бонапартом. Сие желание бездомного Дурницына было основано на неле-

пом воспоминании дня бракосочетания ныне царствующего государя императора, когда для простолюдья перед дворцом был действительно выставлен жареный бык и бочки с вином. Суд нашел, что между днем бракосочетания его величества и победой над Бонапартом не может ничего быть общего и сама мысль о таком сравнении уже является преступлением и подлежит строгому наказанию. Суд приговорил бездомного Антона Дурницына вместе с мастеровыми ослушниками к ссылке навечно на галеры...

Милорадович вдруг громко расхохотался, откинувшись на спинку кресла. Присутствующие от удивления совершенно остолбенели и некоторое время таращили на него глаза, ничего не понимая. Князь Голицын, «серый мужичок», мелко перекрестил себе живот. Аракчеев пожевал губами, но не двинул ни рукой, ни ногой.

— Да ведь это анекдот, господа министры, чистый анекдот! — отсмеявшись и вытирая глаза надушенным батистовым платочком, проговорил Милорадович. — Вот позабавится солнышко ясное, государь наш, как расскажу я ему, какие пули отливает безмозглая комиссия военного суда, какие бессмысленные приговоры сует на утверждение Комитета министров!..

— Помилуйте, граф, я не понимаю вашего... прошу объясниться, — пролепетал пришедший наконец в себя председательствующий.

— Изволь, душа моя. Известно ли вам, господа, что сей Антон Дурницын об одной руке? Попавши ко французам в двенадцатом году, руки он сам себя лишил, дабы не служить извергу рода человеческого Бонапарте. А мы сего однорукого патриота — на галеры! Что это, коли не азиатчина?

— Да откуда ж, извольте узнать, Михайла Андреич, известно вам про Дурницына? — недоумевал председательствующий.

— На то мы и слуги государевы, чтобы знать все, что в отечестве нашем деется, — отрезал Милорадович и из-за обшлага мундира достал сложенную вчетверо бумагу. — Вот прошение известной всем нам Екатерины Федоровны Муравьевой, без малого полтора года пролежавшее в полицейских шкапах. Госпожа Муравьева сообщает, что в день возвращения в столицу во главе войска нашего государя пропал тверской ее вотчины однорукий крестьянин Антон Семенов Дурницын, в случившейся тогда сутолоке взятый полицией под стражу.

По словам его внука, бывшего с ним, из толпы вытолкнули их на проезжую часть, тут его и сцапали. Полтора года мытарили ни за что, ни про что, а теперь — на галеры... Не слишком ли легко, господа, распоряжаемся мы животом подданных всемилостивейшего государя нашего? Россия, я чаю, не наша с вами вотчина, а государство, к величию и славе благословенным нашим монархом приведенное...

Дело Антона Дурницына, полагаю, следует вернуть в комиссию военного суда с резолюцией Комитета министров о скорейшем возвращении сего крестьянина его законной владелице, присовокупив ее прошение, — Милорадович передал прошение Муравьевой председательствующему и, откинувшись на кресле, коротко хохотнул: — А государя я сим анекдотцем потешу, право, потешу...

Слова эти вывели Аракчеева из состояния окаменелости. Он пошевелился в кресле, крикнул и, медленно поднявшись, объявил:

— Государь император, опробовав мнение комитета о примерном наказании ослушников-мастеровых, повелеть соизволил вместо указанного в приговоре военного суда наказания каждого прогнать шпицрутенами сквозь тысячу человек и после сослать на Иркутскую суконную фабрику в рабочие... А крестьянина Антона Дурницына... — Аракчеев глухо прокашлялся, словно слова вдруг застряли у него в глотке... — понеже выявились истинные обстоятельства по его делу, примерно наказать плетью за дерзостный обман и отослать оного на двор к госпоже его Муравьевой на ее усмотрение.

Сказав это, Аракчеев склонился над журналом Комитета министров и поставил свою подпись.

...В этот день Николай Тургенев, вернувшись домой со службы, сделал в своем дневнике запись о графе Милорадовиче, назвав его единственным из сильных мира сего, кто всей душой ненавидит рабство и готов бороться с ним.

Миновав ветхие деревянные домишки петербургской окраины, Московская дорога долго петляла по болотистой равнине. Потом местность начинала повышаться, земля становилась суше. Когда, звеня поддужными колокольцами, пролетала тройка, вставала валом за нею седая пыль и медленно оседала на придорожную траву.

По обочине дороги с котомкой за плечами бодро шагал старик Антон. Позади остался суровый Петербург, впереди бугрились, насколько хватало глаз, зеленые холмы с рощами и перелесками, и от ощущения вольного простора даже воспоминания о полицейских плетях, от которых у Антона еще почесывалась спина, потеряли свою остроту. Спокойно было на душе. От барыни Екатерины Федоровны узнал Антон, что с внуком его Маккавейкой беды большой не случилось. Ногу помяло конским копытом, прихрамывает маленько, но жив остался, слава богу, еще позапрошлой зимой с порожным барским обозом отправили его домой. При содействии Екатерины Федоровны повидался старик Дурницын и с сыном Иваном, солдатом Семеновского полка. Ничего, исправно служит Иван и живет, знать, неплохо — рубль серебром дал на дорогу. Теперь все мытарства позади, теперь калачом его не заманишь в Петербург на царское угощение. Видно, царь да бояре, что лошади в паре — под которую не сунься — затопчут. Одна теперь дороженька — на родимую сторону. А там, поди-ка, и в живых его давно не числят... Придет, порасскажет, как в Петербурге с нашим братом крестьянином православным распоряжаются... Да и не только с крестьянином... Взять мастеровых парусинщиков... Тоже помытарила ребят жизнь-удавка...

Дорога взбежала на вершину холма. Остановился Антон, посмотрел назад. На горизонте, притушенный дымкой летнего дня, золотисто поблескивал шпиль Петропавловской крепости. Далекие крыши слились, образуя как бы панцирь сказочного дракона. Пастью принял дракон к Финскому заливу, а хвост исчезал в сиреновой мгле где-то в стороне Ладожского озера. Постоял Антон, перекрестился на восток, вздохнул и зашагал по обочине дороги в полуденную сторону.

На высоком живописном берегу полноводного Северского Донца привольно раскинулась утонувшая в тени садов слобода Белогорье.

Вековые клены и липы обступили белокаменный, с колоннами дом острогожского дворянина-домоседа Михаила Тевяшова. Вот уже много лет не выезжал Тевяшов не только в Петербург, но и в Воронеж. Жизнь в деревне

не тяготила отставного, екатерининских времен, майора. В нескончаемых заботах по хозяйству проходили дни его. Одно только тревожило дружную чету Тевяшовых: подрастали две дочки, надо было подумать об их будущем. Наступала пора вывозить дочерей в свет, подбирать приличную партию.

Перед белым домом с колоннами зеленела просторная лужайка, с двух сторон охваченная старинным садом, на ней пламенели клумбы с розами, маками, георгинами. Пространство под старым могучим дубом, что взметнул свою темно-зеленую голову выше дворянского особняка, дети облюбовали для своих игр. Здесь сестры Тевяшovy нередко вместе с дворовыми подружками играли, пели песни, водили хороводы.

Сегодня игрища начались сразу после завтрака. Цепочка девочек, взявшись за руки, с песней приближалась к другой такой же цепочке, что стояла спокойно шагах в десяти напротив:

— Бояре, а мы к вам пришли!
Молодые, а мы к вам пришли!

Первая цепочка, держась за руки, отступала, вторая, так же взявшись за руки, сопровождала ее отступление песней:

— Бояре, вы зачем пришли?
Молодые, вы зачем пришли?

Вторая цепочка отступала, а первая снова наступала и песней отвечала первой:

— Бояре, мы невесту выбирать,
Молодые, мы невесту выбирать!

И так цепочки поющих то сходились, то расходились.

— Бояре, а какая вам мила?
Молодые, а какая вам мила?

«Бояре — женихи и сваты» чаще всего перетягивали на свою сторону Наташу Тевяшову, чем явно были недовольны ее младшая сестра Настя и подруга Верочка. Верочка даже хлестала хворостиной дворовых и крестьянских девчонок и мальчишек за то, что привязались сватать все одну и ту же невесту.

На балкон, с которого хорошо обозревалась солнечная лужайка, вышли отставной майор Тевяшов с супругой. На нем был домашний байковый халат на голове чепец, на ногах шлепанцы.

— Родионовна, не возвращал сосед «Московские ведомости»? — крикнул няне с балкона Тевяшов.

— Не возвращал, батюшка Михайла Андреевич, не возвращал...

— Уж больше месяца, как увез! Не послать ли к нему человека? Где Артем?

— Чаю, батюшка, в бурмистерской. Где ж ему быть? Там от солнышка прячется. Только, батюшка, что зря гонять такую даль? «Ведомости», может статься, как тот раз, у Бедряги взял Хрящов, у Хрящова — Проскуров, у Проскурова — Синегубов, вот и гоняйся по всему Острогжскому уезду за «Водомостями», — независимо рассуждала Родионовна, с малолетства прислуживавшая Тевяшовым.

— А ты покличь все же Артема!

— Сейчас, батюшка, сейчас покличу.

Родионовна по тропинке через сад пошла за Артемом. А на лужайке продолжалось звонкое «боярское» сватовство.

— Что же мы с тобой, супруг мой любезный, Михайла Андреевич, никуда не ездим, нигде не бываем? — озабоченно заговорила майорша Тевяшова. — Наташа с Настей растут, как трава-мурава. И никакого мы им настоящего дворянского образования не даем. Отец — помещик, отставной майор, больше двадцати лет царице Екатерине верой-правдой служил, а дочки наши с крестьянскими и дворовыми детьми хоровод водят.

— Все это верно, Матрена Михайловна, да с кем водиться в Острогжске? С Бедрягами знаем... А еще с кем прикажешь? То-то и оно... А до Воронежа не близко — не наездишься, — ответил Тевяшов лениво — видно, такой разговор затевался супругой не впервые.

— Только и занимаемся вареньями да соленьями да богу молимся, а образованием дочерей и не озаботимся, — тужила Матрена Михайловна. — Растут они у нас точно две дикие вербочки на берегу Донца.

— Сам понимаю, Михайловна, пора озаботиться дочерним воспитанием, — покладисто согласился отставной майор. — Вот, бог даст, на зиму из Петербурга через Бедряг выпишу учителя-француза и гувернантку-француженку. Только боюсь, не поедут в такую глушь. Засиделись мы с тобой в Белогорье. Редко выезжаем, то правда твоя. Да уж наши и годы не те. С моим здоровьем ныне не до менуэтов.

— День мой — час мой, а неделя — и весь век, — в тон супругу проговорила Матрена Михайловна.

— А ведь, бывало, как затрубит серебряный рог, как ударят барабаны — все во мне так и закипит. Умел на парадах и смотрах гарцевать майор Тевяшов, умел и в сражение своих солдат водить.

И словно в ответ на слова отставного воина где-то за садом запел воинский рожок, слышался дробный бой барабана. Тевяшов, услышав эти знакомые его сердцу волнующие звуки, удивленно взглянул на супругу и не сдержал улыбки: вот, дескать, матушка, на ловца и зверь бежит...

Веселье на лужайке приостановилось. Сестры Тевяшovy и Верочка, взявшись за руки, первыми побежали к ограде навстречу приближающимся откуда-то издалика звукам трубы и барабана.

Через сад к барскому дому спешил управитель Артем — бородатый, кряжистый казак из здешних старожилов. Остановившись под балконом и сдернув с головы соломенную шляпу, доложил барину:

— Из Мценска идут к нам на Донец шесть взводов конной артиллерии. И все с отличиями! Вокруг Белогорья надлежит батарее быть на размещении.

Тевяшов был человек гостеприимный и хлебосольный и потому радостно встретил такую весть:

— Просим милости! Чаю, офицеры все столичные. С ними и нам будет повадней!

— Вчера запоздно был квартирьер, просил согласия поставить дивизион на размещение среди здешних крестьян и слободских обывателей, — докладывал службистый Артем.

— Кто армии в чем-либо откажет, тот самый последний на свете человек! — объявил с балкона отставной майор. — Размещай без всяких препятствий! С приветом и радушием.

Тевяшов оживился, крикнул с балкона через открытую дверь во внутренние комнаты:

— Дворецкого! Ключника! Экономку! Портного! Обоих поваров и всех поварят!.. — Он поглядел на опустевшую лужайку. — Девочки!! Куда они подевались?

Супруги Тевяшovy сошли в сад. От ограды к ним подбежали девочки и наперебой стали рассказывать, что они там увидели.

— Золото в петлицах, серебряные трубы, кивера с украcой!

Тевяшов со всей семьей вышел за ворота, мимо ко-

торых пролегала столбовая дорога. По дороге маршировала конноартиллерийская рота. Командир приказал роте остановиться, сам подошел к Тевяшову, отдал честь ему и его супруге:

— Разрешите представиться! Подполковник Сухозанет Иван Онуфриевич!

— Рады видеть у себя в доме героев Бородина,— отрекомендовавшись, приветливо отвечал Тевяшов.— Вот моя семья: супруга — Матрена Михайловна. Это наши дочери — Наталия и Настасия, их подруга Вера.

Сухозанет поцеловал ручку у госпожи Тевяшовой, затем обратился к хозяину:

— Разрешите представить моих подчиненных господ офицеров конноартиллерийской роты.

Офицеры один за другим подходили к Тевяшову и его жене, а Сухозанет называл каждого по фамилии:

— Косовский..

— Миллер...

— Унгерн-Штенберг-первый...

— Унгерн-Штенберг-второй...

— Гордовский..

— Сливицкий...

— Буксгеведен..

— Штрик...

— Ососков...

— Марков..

— Мейндорф...

Каждый пожимал руку хозяину и целовал хозяйке руку. Наталья, Настасия, Верочка приятно были удивлены появлением таких интересных людей. В семье много говорилось о войне, об армии, о доблести солдат и офицеров, которые находились где-то далеко и увидеть которых не было никакой надежды. И вот вдруг эти герои во всей красоте и простоте своей стоят перед ними. Как тут не закружиться голове, как не влюбиться с первого взгляда в этих нарядно одетых усачей и юношей с бляхами на киверах! Девочки были вне себя от счастья, от встречи, которой не забыть всю жизнь.

— Судя по мундирам с золотыми петлицами на воротниках, по бляхам на киверах за отличия и серебряным трубам, я имею честь принимать героев Красного, Тарутина, Березины, Лейпцига и Кульма? — осведомился Тевяшов.

— Пыль всех дорог России и Европы, от Москвы до

Парижа, осела на ступицах колес наших пушек,— витиевато ответил командир.— Мои орлы под командованием графа Чернышева прошли сквозь огонь всех сражений. После возвращения в Россию и по сей день пребываем в движении — были в Гродно, Слониме, Столовичах. В начале пятнадцатого года наша батарея вторично вместе с российскими войсками вступила в пределы Франции, в городе Вертю ждали высочайшего смотру. После смотра на возвратном пути побывали в Вильно, в Мценске, а теперь вот примаршировали к вам в Острогжский уезд.

— Очень вам рады! Очень рады! И надолго прибыли?

— Сие зависит от начальника штаба 1-й армии.

— Места у нас на Донце и Дону поистине благодатные, но развлечений, признаться, маловато,— завел приличный разговор Тевяшов.— Сидим лето и зиму по своим именьям, словно отшельники по монастырям. А ведь армия скучать не любит, это я по себе знаю.

— Зачем нам монастырская тишина? — усмехнулся Сухозанет.— Музыка и хорошая песня — спутницы победоносного воинства, как говаривает наш квартирьер прапорщик Рылеев. Кстати, почему его не видно?

— Рылеев все еще занят квартирьерскими делами,— ответил Миллер,— заботится о нашем удобстве и приятностях...

Тевяшов пригласил офицеров в беседку над прудом, а сам пошел в дом, чтобы распорядиться об обеде для офицеров и всей роты, что расположилась на привал за оградой обширного сада.

Офицеры не хотели идти в беседку без юных хозяек к несказанной радости последних. Верочка, Наталия, Настасия нарвали диких и садовых цветов и на глазах у самих героев стали плести венки, чтобы наградить каждого витязя,— все они были безупречными витязями в полудетском воображении девочек. В тенистой беседке было шумно и весело, так что важные гуси и болтливые утки, отдыхавшие на берегу пруда, сошли в воду и отплыли на другую сторону.

Друг Рылеева Миллер столкнулся со Штриком и Буксгеведеном, попытавшимся напасть на отсутствующего квартирьера.

— Что за привычка у вас, господа, плохо говорить о людях в их отсутствие? И почему вы всегда недружелюбны к Рылееву?

Буксгеведен медленно, с ленцой ответил:

— Или вы не знаете ветреника Рылеева? Рылеев самый бесполезный и нерадивый офицер в нашей роте.

— Буксгеведен прав! — вмешался Штрик, узколицый, узкоплечий молодой человек. — Никакие увещевания не действуют на Рылеева.

— Чем вы это, Штрик, докажете? Чем? — горячился Миллер, уже дважды вызывавший Штрика на дуэль в результате подобных схваток.

— Я докажу, — явился Буксгеведен на подмогу другу. — Фрунтовую службу Рылеев презирает.

— И гарнизонную ненавидит! — поддакнул Гардовский, которого в роте прозвали застежкой, одинаково годной ко всем ботфортам.

На Гардовского пошел атакой Федор Унгерн-Штенберг:

— Гардовский, постыдитесь! Или вы были глухи и слепы и не видели и не слышали всех стараний Рылеева? В городе Вертю, когда наша батарея готовилась к высочайшему смотру, Рылеев успел составить несколько записок о способах и средствах дальнейшего улучшения всего дела армейской артиллерии. В этих записках он высказал всю правду, на что не всякий генерал отважится.

— А вы их читали? — язвительно спросил Штрик

— Читал!

— И я читал! Я согласен с моим братом! — заступился за квартирьера Григорий Унгерн-Штенберг. — И не вина Рылеева, что его записки положили под сукно.

В спор вмешался толстяк Косовский:

— Рылеев подрядился на службу к вам, немцам, и потому для него в России все дурно, все надо изменить, а как изменить, того и сам не знает.

— Верно, верно, Косовский! — шумно одобрил Буксгеведен.

— Вместо службы в строю то болеет, то сочиняет какие-то триолеты, — не переставал язвить Штрик.

— А вы, Штрик, знаете, почему он пишет? Потому, что он умнее вас, ему есть что сказать, а вам сказать нечего! — повысил голос Федя Миллер.

— Как раз все наоборот, Миллер, кому есть что сказать, те молчат, а те, кому сказать нечего, те пишут, — отбивался Штрик.

— К вашему сведению, Миллер, все элегии нашего

ротного пиита я, не читая, уничтожаю, — надменно сказал Буксгеведен.

— Когда-то варвары уничтожили великий Рим, но они от того не перестали быть варварами, — не сдавался Миллер.

К спорящим подошел Сухозанет, которого Тевяшов успел ознакомить с расположением покоев в двухэтажном городском доме с мезонином и двумя флигелями. Миллер, взволнованный спором, обратился к старшему командиру.

— Скажите, Иван Онуфриевич, когда наша батарея из Виленской губернии выступила в Орловскую и Рылеев был назначен на квартирьера, как он исполнял свои обязанности?

Сухозанет хитро улыбнулся, помедлив, ответил.

— Вы все тому нелицеприятные свидетели.

— Исполнял весьма добросовестно! — враз твердо сказали братья Унгерн-Штенберги.

Неприятели Рылеева промолчали. Один Штрик не унимался:

— Рылеев — скрытный человек. Гордый гений... Ха, ха... Вития! На сочинениях Державина помешался. Хочет быть вторым Державиным... Но слишком высоко метит...

Нежное, как у девушки, лицо Миллера покрылось румянцем, он угрожающе, хотя и без жестов и крика сказал:

— Желая вам добра, господин Штрик, я советую в словах и выражениях впредь быть осторожней, иначе ваше новоселье ознаменуется третьим с вами поединком. А вы, кстати, не в пример Рылееву, стреляете неважнецки как из пушки, так и из пистолета.

Миллер говорил правду — по меткости стрельбы из любого рода оружия никто в роте не мог поспорить с Рылеевым.

— Уж не думает ли Федя Маленький меня запугать?

Штрик встал, выпятив грудь. Поднялся и Миллер. Друг против друга стояли: ни дать ни взять два петуха.

— Прошу прекратить препирательства, господа! — строго прикрикнул Сухозанет. Оба молодых офицера сели на свои места.

— Во избежание подобных столкновений, — сказал Буксгеведен, — было бы полезно перевести прапорщика Рылеева — ради его же блага — в другой род службы.

— Не так-то просто... Три мои представления остались без последствий, — ответил Сухозанет.

— Почему же, Иван Онуфриевич?

— Инспектор артиллерии барон Меллер-Закомельский повелел оставить Рылеева при батарее,— ответил Сухозанет, пошевелив широкими плечами.

— Барон Меллер-Закомельский? Чем же ему угодил Рылеев? Уж не в родстве ли он? — загорелся любопытством Штрик.— И для чего оставить?

— Приказано следить за ним строго, с тем чтобы со временем сделать из него полезного человека, хотя бы для общества, ежели не для службы.

— И вы верите в такую возможность, Иван Онуфриевич? — криво улыбнулся Штрик.

— Приходится верить.

11

Впервые в доме Тевяшовых собралось так много гостей. Тихая Наташа с тайным трепетом ждала начала танцев. Зато бойкая Верочка весь день звенела соловьем. Она радовалась тому, что с приходом конноартиллерийской роты круто изменилась сонная жизнь в Белогорье. Радовалась и смелая Настя, частенько подсмеиваясь над тихой, боязливой сестрой. Верочка с Настей уже знали по именам всех офицеров, знали, кто из них прапорщик, кто подпоручик. Офицеры в роте были сплошь молодые, их появление в тихом имении воспламенило девичье воображение.

Едва ли не впервые Верочка и Настя с такой озабоченностью заговорили о платьях, прическах, лентах, брошах, о том, что считается в столице модным, а что — нет... Да и как же они могли не волноваться, если им стало известно, что почти все офицеры роты — воспитанники столичного кадетского корпуса. Кроме того, они дважды побывали в Париже — городе щеголей и щеголих, по которому равняются все столицы мира. Анна Ивановна Бедряга, приятельница Тевяшовых, приехавшая пораньше, стала наставницей девушек в их приготовлении к вечеру. Она украшала голову Верочки пышной многоярусной прической, какие носили дамы в екатерининские времена, и уверяла доверчивых щебетуний, что именно такие прически делают петербургские аристократки теперь. Ей верили, забыв, что она лет десять уж не бывала в Петербурге.

Любительница поговорить, Анна Ивановна давала свою оценку каждому офицеру:

— Один другого лучше, барышни! Сам командир роты, подполковник Петр Онуфриевич Сухозанет, приятнейший человек: что усы, что мундир, что нашивки. А обхождение какое с дамами, чисто столичное. А какой ангелочек Федор Петрович Миллер! Друзья прозвали его Федей Маленьким, но он вовсе не мал. А сложение! Прямо картинка! И обхождение лучше быть нельзя. Начитанный... Лучше всех танцует гавот и экосез... И братьям Унгерн-Штенбергам в приятности не откажешь. И происхождения знатного... Но, пожалуй, самый интересный из них прапорщик Кондратий Федорович Рылеев... Сливицкий мне сказывал по секрету, что прапорщик Рылеев настоящий поэт и пишет оды по любому торжественному случаю: на день чьего-либо бракосочетания или по случаю чьей-либо преждевременной кончины, а также товарищам по роте, если какой-нибудь из них влюбится...

Верочка вертелась перед зеркалом, но, услышав последние слова генерал-майорши, оставила свое занятие и с возмущением заговорила:

— Да как же так можно, Анна Ивановна?! Ведь такие стихи по неопытности несчастная девушка может принять за собственное сочинение влюбленного! Будет день и ночь читать и перечитывать, считая его за голос сердца... О, какие же бывают коварные мужчины!.. Я нынче обязательно сделаю выговор прапорщику Рылееву! Обязательно! Я пристыжу его при всех!

— А вдруг он окажется не виноват? — возразила Настя.— Как же отказать друзьям, если они влюбляются, а писать вирши не умеют? Выговор делать не надо! Пускай прапорщик напишет всем нам в альбомы по стишку. Правильно, Наташа? Ты что притихла? Ой, а букли у тебя какие! Диво! Анна Ивановна, сделайте и мне такие же!

Тихая Наталья смотрела на все эти заботливые приготовления к провинциальному балу как на спектакль, принять участие в котором она и хотела бы, но чувствует себя неготовой для этого.

— Федю Маленького я знаю, — звенел голосок Верочки.— Он очень не любит Буксгеведена и всегда заступается за Рылеева.

— Э, милая моя, они уже давно помирились, — принимаясь за Верочкины каштановые букли, говорила Анна Ивановна.— Поди, из-за ревности поспорили...

— Я читала роман какого-то французского сочинителя, — щебетала без остановки Верочка, — и мне в том романе больше всего понравилось, как два маркиза при дворе какого-то, не то испанского, не то французского, Людовика стреляются на дуэли. Нет, не стреляются, а сходятся на шпагах. Это, по-моему, еще страшнее... И убивают друг друга на глазах у самого короля. И такой приятный конец у сочинения: маркиза умирает на груди у пронзенного жениха, но ее воскрешают, и она выходит замуж за генерала и уезжает с ним в путешествие. Хорошо бы, если бы и у нас в Белогорье состоялась хотя бы одна дуэль... Все-таки это очень интересно. Не обязательно убивать друг друга... Вызвать на дуэль — для меня и этого достаточно.

— Кого вызвать? Тебя? — с улыбкой спросила Наталья.

— Не меня... Например, Сливицкий вызывает на дуэль Федю Миллера, дуэль назначается на круче над Донцом, и все Белогорье волнуется, ожидает... Я плачу, Настя плачет, Наталья плачет...

— Отчего? — спрашивает Наталья.

— От глубокого волнения. Как ты не понимаешь таких переживаний? — готова была возмутиться Верочка.

— Из-за кого же Сливицкий вызывает на поединок Миллера? — спросила тихо Наталья.

— Как из-за кого? Из-за меня. Или я не стою того, чтобы из-за меня состоялась хотя бы одна настоящая дуэль? — бойко рассуждала Верочка. — Какая же это любовь без ревности, без вызова, без ранений?.. Такая любовь неинтересна.

Наталья не понимала желаний Верочки. Хотя и не оспаривала подругу, но все ее рассуждения встречала тихим смехом.

— Ну уж если в Белогорье подполковник Сухозанет не разрешит устроить хоть одну дуэль, — шла на уступки Верочка, — то уж увоз невесты влюбленным офицером должен состояться обязательно! Я на меньшее никогда не соглашусь! Это же прелестно: темной ночью влюбленный до безумства жених, получив бессердечный отказ родителей невесты, проникает в ее спальню и спящую, закутав в енотовую шубу, увозит... Венчанье в сельской церкви... А потом обрученные падают в слезах к ногам раскаявшихся в своей жестокости родителей, вымаливают себе прощение и благословление...

Анна Ивановна, вовсе не желая дать пищу воображению Верочки, начитавшейся всякой всячины, тотчас же рассказала две-три истории, близкие к Верочкиному идеалу, и тем самым как бы подтвердила неизбежность умыканий, тайных венчаний, раскаяний и примирений между влюбленными и подобревшими родителями.

Верочка, подвитая, подкрашенная явно в ущерб внешности, которой наделила ее природа, с нетерпением ожидала наступления вечера и начала танцев. Воображение ее рисовало кавалеров, приглашающих ее к танцу. Кто первым подойдет к ней из троих наиболее желательных молодых людей — Сливичкий, Рылеев или Миллер? Она не знала, которому из них отдать предпочтение: тому ли, чья фигура самая статная, тому ли, кто всех лучше танцует, тому ли, кто всех умнее? Верочка почему-то не верила, что все эти качества могут соединиться в одном лице. Такое ей представлялось невероятным. У Рылеева прекрасные черты лица, его темно-карие большие глаза светятся колдовскими чарами... Миллер на диво строен... Сливичкий степенный, породистый, по осанке его хоть сейчас же производи в генералы или сажай в министры. А вот в большеротом, грубоватом подполковнике Сухозанете, несмотря на его старшинство и возможность вскоре поменять эполеты на полковничьи, Верочка не находила ничего привлекательного.

Тихая Наталья весь этот день думала только об одном, имя которого ни за что не решилась бы назвать. Все ее волнения в ожидании предстоящего вечера были связаны с размышлениями о нем, об одном из офицеров конноартиллерийской роты.

Острогожские помещики, разбуженные от усадебной дремоты пением армейских рожков и боем барабанов, съехались в дом к Тевяшовым с женами, сыновьями и дочерьми. В танцевальном зале блестел пол, тщательно натертый воском из собственного амбара. На хорах разместился оркестр, составленный в складчину из армейских флейтчиков, горнистов, барабанщиков и местных музыкантов, принадлежащих Тевяшову и его соседям.

Все обещало веселый вечер и упоительные танцы, для молодежи особенно.

Тевяшов позвал гостей к обильному яствами и на-

питками столу, за которым свободно могла разместиться вся конноартиллерийская рота.

Наталья, сидевшая между Верочкой и Настасьей, оказалась как раз напротив прапорщика Рылеева, который подошел к столу одним из последних. Его подвел под руку шурин Анны Ивановны, лейб-гвардии отставной полковник Михаил Григорьевич Бедряга. Висок его был пересечен глубоким шрамом — память о Бородинском сражении. Полковник и прапорщик о чем-то увлеченно беседовали. Бедряга рассказывал, а Рылеев сосредоточенно слушал. И, сев за стол, Бедряга продолжал свой рассказ о тех временах, когда он служил ротмистром. Рядом с Рылеевым, с другой стороны, сидел подвижный Федя Миллер. Он успевал вести беседу сразу и с Настей, и с Верочкой, и с Натальей.

— Господа, я и все мое семейство, а вместе с нами и присутствующие здесь на празднестве семьи острогожских дворян рады приветствовать за этим столом подвижников великого Кутузова и верных слуг государевых, истинных сынов отечества! — обратился к гостям Тевяшов, облаченный в мундир при всех регалиях. — Выпьем же за русских орлов, победителей Бонапарта!

Здравица сменялась здравицей. Наполняли бокалы в честь и славу живых и мертвых. Нестройным говором наполнялся зал. Воспоминаниям и рассказам не было конца. Сначала каждый рассказ слушали все, но потом на том и другом концах стола гости начали обособливаться кучками. Это не нарушало стройности пиршества, потому что все чувствовали себя свободно. Верочке не давал покоя бесконечными комплиментами Буксгеведен, на которого она нарочно не хотела обращать внимания, потому что не он владел ее мечтами.

Вдруг раздался звонкий тенор Феди Миллера:

— Господа! Мой друг Кондратий Федорович Рылеев желает доставить всем нам удовольствие великолепной одой в честь князя Смоленского!

Объявление явилось полнейшей неожиданностью для Рылеева. Никакого желания он не изъявлял, но отказаться было невозможно — призывно рукоплескала вся застольица, а слуги с подносами перестали суетиться вокруг. Только Штрик, Буксгеведен и Майндорф продолжали свои разговоры. Рылеев погрозил Миллеру и встал:

— Без меня меня женил наш Миллер, но я это ему припомню...

Наталья с удивлением глядела в большие глаза молодого офицера. Такие глаза, увидев раз, уже нельзя забыть.

— Я, господа, надеюсь на ваше великодушное снисхождение, предлагая вашему вниманию мой незрелый стихотворный опыт.— Рылеев сделал короткую паузу и начал читать:

Герой, отечества спаситель!
Прими от сердца должну дань...

Жанр оды нелегок для всякого поэта, желающего принести «от сердца должну дань», тем более для поэта молодого. Но при всей зыбкости стихотворной строки Рылееву нельзя было отказать в неподдельном сердечном волнении, и это волнение передавалось слушающим.

С своими чувствами сражаясь,
Решился ты Москву отдать;
Но духом паче укрепляясь,
Един лишь ты возмог сказать:
«Столицы царств не составляют!»

У израненного полковника Бедряги на глаза набежали слезы — поэт воскресил в его душе незабываемое: в Бородинской битве он командовал лейб-гвардии гусарским эскадроном. Раненный пулею в голову, он упал... Гусары подскочили к нему, чтобы подать помощь. От ужасной боли он не мог сказать ни слова, но сознание не оставило его. Отвергнув помощь, он указал гусарам в сторону неприятеля...

А Рылеев продолжал читать:

Тарутин, Красный доказали,—
Где россы галлов поражали,—
Что правым есть защита — бог!
Их след остался на равнинах,
На век кичливому во срам!
А кости их в лесах, в долинах,
Во славу памятники нам!
Ты сих, Кутузов, дел творитель!
Где царств надменный покоритель?
Где сей ужасный бич людей,
Кого страшились земны боги?
Его умчали быстры ноги
С венчаных храбростью полей.
Твои дела, защитник трона,
Священной веры и закона,
Из века паче будут в век

Все с новой силой преливаться
И гласно в мире отзываться,
Что ты великий человек!

Бедряга, не смущаясь своих слез, обнял автора оды и поцеловал. То же сделал и хозяин дома. Сила поэтического слова в сто и тысячу крат была умножена жаром кровоточащих воспоминаний, но сейчас едва ли кто отдавал себе отчет в этом. Ода была нужна каждому, кто жил заботами о родине.

— Bravo! Bravo! Bravo! — кричали со всех сторон.

— Благодарение богу — второго Державина послал отечеству! — провозгласил Бедряга, не особенно разбавившийся в поэтической премудрости. Он по-полковничьи взвешивал стихи: рифма есть, оружие славится — чего же больше спрашивать?

— Выше, выше Державина! — с жаром провозгласил Миллер.

— Федя, не горячись, — пытался Рылеев охладить увлекающегося друга. — Ты похвалами не откупишься... Никто и никогда выше Державина в искусстве сем не встанет!

У Натальи в ушах все еще звенел голос поэта.

Грянула музыка, молодежь хлынула в танцевальный зал.

— Гавот! — начальнически распорядился подполковник Сухозанет.

Он пригласил Настю. Миллер щелкнул каблуками перед Верочкой:

— Прошу вас!

Верочка не отказалась. Рылеев около дверей разговаривал с Бедрягой и Тевяшовым. Затем подошел к стеснительной Наталии, чтобы пригласить ее на танец.

— Я не умею танцевать, — сконфуженно сказала она.

— Совсем не умеете?

— По-столичному не умею...

— А по-острогжски? — засмеялся Рылеев.

— По-острогжски маленько умею... Только нас никто этому не учил.

— Сделайте одолжение, разрешите мне стать вашим наставником?

Рылеев был отличным танцором, ученица оказалась на редкость понятливой, и оба не почувствовали в танце ни малейшего затруднения.

Сливицкому досталась Машенька, родственница Тевяшовых, милая и смешная в наивности своей тринадцатилетняя блондиночка. Танцуя, она все время задавала Сливицкому какие-то, должно быть, очень забавные вопросы, он смеялся, отвечая.

В гостиной играли в вист. К чете Тевяшовых, сидевших в креслах, подошел Бедряга и сказал:

— Никаких гувернеров и гувернанток для ваших дочек выписывать не надо! Все равно лучшего учителя, нежели мой, не найдете ни за какие деньги. А я вам нашел отличного учителя и воспитателя, образованнейшего человека...

— Кто же он? — с любопытством спросила Тевяшова.

— Прапорщик Рылеев. Знания его обширны, мысли благородны, стремления возвышенны. Я имел возможность не только коротко познакомиться, но и подружиться с ним! Без колебаний сделайте ему предложение, пока не перехватили другие.

Для Тевяшовых такая рекомендация была полнейшей неожиданностью.

— Но служба в строю не позволит ему заняться обучением наших дочерей. Ежели бы он согласился выйти в отставку... Да ведь такое едва ли возможно, — сказал Тевяшов.

— Служба не помешает, — уверил Бедряга. — И для вас, и для него такая комиссия будет во благо.

— Я не против, я вижу в нем отличнейшего сына отечества и храброго воина, — согласился Тевяшов.

Не возражала и Тевяшова, она лишь выразила сомнение относительно оплаты:

— Больших денег мы обещать не можем, а бесплатно кто же примет на себя такой труд?

— За большими деньгами он и не гонится, хотя и нуждается более других в роте. Впрочем, об этом прошу не намекать ему, — попросил Бедряга. — Бедность — крест тяжелый...

— Пойдемте в зал, посмотрим, как там веселятся, — позвала Тевяшова.

В танцевальной зале кружились пары. Миллер с Рылеевым поменялись партнершами. Теперь Рылеев вел Верочку, а Миллер тихую Наталию. Он рассыпался в похвалах ее умению танцевать, а она приходила в смущение, потому что никогда за собою хореографических талантов не ведала.

В перерыве, когда Рылеев подошел к Бедряге, Тевяшов обратился к нему:

— В удобное для вас время, Кондратий Федорович, прошу зайти к нам в дом для разговоров весьма важных, чем очень обяжете меня.

— Посещение вашего семейства для меня всегда приятно! — ответил Рылеев. — Завтра же навещу вас.

Возбужденный Миллер взял Рылеева под руку и позвал в сторону. Они остановились у открытого в сад окна. В саду было тихо, от деревьев веяло прохладой. Ночь дышала душистым настоем левкоев и маттиолы. Чета серебристых ночных бабочек будто в танце кружилась в проеме высокого окна.

— Спасибо Острогожску, чудесный здесь народ! — упоенный счастьем, изливал свои чувства Миллер. — Семья Тевяшовых чудесная. А дочки! Прелесть! Которую из них полюбить мне? Ну, посоветуй же, Кондратий! Ты смеешься? Я всерьез. Не пойду же я к Штрику или Буксгеведену за таким советом? Наталью или Настасью?

— Федя, на их месте я бы выбрал тебя. Но тебе, увы, ничего не могу посоветовать.

— Это почему же, Кондратий? Или уж я тебе больше не друг? Я, очевидно, влюблюсь в Наталию. Она тихая и вся такая... мечте подобная... Даже слов не нахожу... А Сливицкий определенно без ума от Верочки. Ну, а тебе Настасью! Она же ближе к твоему, похожему на булат, характеру. Завтра же пиши мне триолет или нечто в этом роде для ангела души моей...

Вдруг к ним подошли Наталия, Настасья, Верочка, Маша и увенчали Рылеева душистым венком, сплетенным из росных цветов.

— Лауреат Белогорья! — воскликнула Настя. — Не обижайтесь! Мы же впервые в своей жизни видим живого поэта!

Рылеев смущался, когда его называли поэтом, и теперь, краснея, повторял:

— Не стою, ей-богу, не стою такой награды... право же...

А золотистые ночные бабочки продолжали кружиться в оконном проеме.

Рылеев не собирался заниматься ни в гувернеры, ни в учителя, но в конце концов уступил уговорам нового

друга Бедряги и просьбе Тевяшова — согласился быть наставником сестер Тевяшовых на то время, пока конно-артиллерийская рота квартирует в Белогорье.

Сестры Тевяшovy как самого светлого праздника ждали начала занятий. К ним присоединились Верочка и Машенька, против чего не возражал учитель.

Под класс была отведена большая светлая комната на втором этаже тевяшовского дома, ее окна смотрели в сад, вернее, на лужайку с клумбами и могучим старым дубом.

Разумеется, у молодого учителя не было не только педагогического опыта, но и необходимых учебников. Отпросившись у командира роты, он поехал в Воронеж, чтобы купить необходимые книги. К его радости, удалось купить много книг для себя на французском и русском, кое-что приобрести из учебников и оставить большой заказ на книги с доставкой на дом.

Занятия начались. Не без ходатайства Бедряги командир роты, не очень благоволивший Рылееву, все-таки пошел на уступки — разрешил учителю реже выезжать на фрунтовые занятия.

Рылеев учил тому, что сам хорошо знал. Знания книжные в своих рассказах обогащал он личными наблюдениями, вынесенными из двух заграничных походов. Особенно хорошо и весело проходили уроки всеобщей и отечественной истории, уроки русской, французской, польской и немецкой словесности. Будучи поклонником муз, он вместе с тем находил своеобразную поэзию и в занятиях математикой. В его рассказы о великом вольном Новгороде, к месту и ко времени, вторгались древние мудрецы Пифагор и Эвклид со своими аксиомами и теоремами.

Как-то послушать молодого учителя зашли Тевяшovy, отец с матерью. Рылеев был в ударе — он рассказывал о первых русских переводчиках с других языков. В качестве великого переводчика, к приятнейшему удивлению отставного майора Тевяшова, назвал Петра Первого. Не только назвал, но и ярчайшими примерами из кратких, но поразительных по своей глубине и пониманию существа переводческого дела замечаний в письмах к генералам и вельможам убедительно доказал справедливость такой высокой оценки.

Учитель увлекся рассказом, чтением колоритных Петровых писем и бумаг, ученицы, забыв обо всем на свете,

заслушались, родители Тевяшовы не смели шевельнуться и так просидели, сзади учениц на стульях у стены, более трех часов.

После уроков Тевяшов зазвал Рылеева к себе и за обедом сказал ему:

— Лучшего наставника и желать нельзя... Вот кабы все учителя были такими! А наши что: ночь кутит, на заре домой катит, а на урок придет — башка трещит, и что от такой башки ждать? У нее одна забота: где бы опохмелиться да спать завалиться... За такое ученье, как ваше, тройной цены не жаль.

Учителю приятно было слышать лестный отзыв о своих первых успехах — у него одно было желание: отдать ученицам все, что он знает, уча других, учиться и самому. Собственно, он так и делал с первых же уроков. Учительская деятельность удовлетворяла его еще и потому, что рассказанное им на уроках зачастую осмыслялось им по-новому, более глубоко и прочно откладывалось в памяти.

— Вероятно, родители ваши ничего не жалели для того, чтобы дать вам хорошее образование и воспитание, — сказал Тевяшов. — Хвала и честь вашим родителям.

Держа в руке рюмку с красным вином, Рылеев задумался. Медленно поставил рюмку перед собой.

— Вы что, Кондратий Федорович? Или я неумышленно причинил вам неприятность? — забеспокоился Тевяшов.

— Я вырос в нужде, Михайла Андреевич. Матушка моя постоянно страдала от безденежья.

— А родитель?

— А дражайший мой родитель подполковник Федор Андреевич Рылеев жил далеко от нас. И возможно, что это было к лучшему... Он служил управляющим имением в Киеве у члена Государственного совета генерала от инфантерии князя Голицына. Помню, будучи кадетом, на пасхальной неделе я послал праздничное поздравление отцу и вместе с поздравлением напомнил ему: «Я, исполняя вашу волю в рассуждении учения, осмеливаюсь у вас просить двадцать пять рублей, дабы купить необходимые мне книги: «Полную математику» в семи частях, состоящую и содержащую все математические науки и стоящую двадцать пять рублей, и «Жизнь Суворова», стоящую десять ассигнаций двадцать пять копеек. Сии обе книги один кадет уступает за тридцать ассигнаций.

Пять у меня есть, оставшиеся с праздника. Вы можете на меня положиться, ибо в бытность вашу в Петербурге, когда вы мне давали деньги, то я всегда употреблял на книги, которых у меня уже набрано пятнадцать...» Да, я с детства люблю книгу... А что еще на земле есть дивнее и полезнее книги?

— И что же ответил родитель? — спросил Тевяшов.

— На этот раз мой родитель не отказал мне в просьбе... Вот одна из тех двух книг. Она прошла со мной по всем дорогам.— Рылеев вынул из поношенного парусинового портфеля книгу в кожаном переплете и положил перед Тевяшовым.— «Полная математика».

Титульный лист был испещрен множеством автографов, а над ними перед верхним обрезом рукой Рылеева было написано: «Приглашаю всех друзей моих приложить руку на добрую и долгую память!»

— Чьи же подписи? — спросил Тевяшов.

— Кадетов-однокашников, с которыми учился и вместе делил все наши радости и беды. Видите, первый — Александр Михайлович Булатов! Прекраснейший мой друг...

— Смотрите, и Федор Миллер руку приложил!..

— Миллер Федя сокашник и земляк... Ох, математику он не любил!.. Частенько приходилось мне за него решать задачи,— с улыбкой вспомнил Рылеев.

— Кто с математикой не в дружбе, тот и в артиллерии далеко не пойдет.

— Не всегда так, Михаил Андреевич. Миллер отличный офицер! Пушкарь на славу!

Грустный рассказ прапорщика еще более возвысил его во мнении Тевяшова, не считавшего бедность за порок. На своем веку сколько повидал он богатых безумцев, балбесов и самодуров, обладателей огромнейших владений, от которых вскоре ничего не оставалось! Тевяшов пожелал от души, чтобы конноартиллерийская рота как можно дольше оставалась в Белогорье.

— Наша жизнь, знаете по своему опыту, непостоянна, нынче здесь, а где завтра — богу весть,— сказал Рылеев.

— Нет, нет, Кондратий Федорович, мы вас не пустим из Белогорья! Оставайтесь с нами навсегда!

— Но я военный.

— В отставку выходите!

— Ни дядя мой, ни мать моя на это не дадут согласия!

Тевяшов проводил Рылеева до самой крестьянской

избы, заглянул в нее вместе с прапорщиком, посмотрел, покачал головой:

— Какое здесь житье? Что это за изба? Переходите в дом ко мне.

— А я уже привык.

— Яма, истинно яма.

— Ну что вы! Привык и к закопченным окнам, и к этому столу,— Рылеев тронул исписанные стихами листы на столе.— Хозяин и хозяйка добрые, их дети — так же... Чего ж еще желать?

— Смотрите же, замерзнете зимой.

— В мороз приду к вам греться!

— Для вас в моем доме тепло всегда найдется!

13

Ученицы собрались в комнате для занятий. Настроение у них было радужное — предвкушали интересный урок. Интересный учитель также способствовал оживлению.

Наталя нынче казалась восторженной, бойкой, как бы непохожей на самую себя. Она с увлечением декламировала вольнодумные стихи, ходившие в многочисленных списках. Эти стихи принес в Белогорье прапорщик Рылеев. На одном из занятий по словесности он продиктовал их своим ученицам, полюбившим поэзию с первых же уроков.

Оставь другим певцам любовь!

Любовь ли петь, где брызжет кровь...

— Чьи это стихи? — спросила Настя увлеченную декламацией сестру.— По-моему, их сочинил Кондратий Федорович.

— А кто же должен петь про любовь? — растерянно вмешалась Верочка.— Я хочу, чтобы поэты больше пели про любовь!

В чтение включилась и Настя, имевшая приятное контральто.

И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать.

К сестрам присоединились Верочка с Машенькой:

Пора, друзья! Пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя — народа дух и нравы!

Вошел Рылеев и, остановившись посредине комнаты, влил свой голос в хор ученических голосов:

И те священные времена,
Когда гремело наше вече
И сокрушало издалече
Царей кичливых рамена!

Тишина. Вдохновенный блеск глаз. Радостные лица. Минута, которую называют счастливой.

Рылеев поздоровался с ученицами.

— Вам нравятся стихи? — спросил он.

— Очень!

— Поэзия — вовсе не язык богов, а язык людей, — заметил Рылеев. — Возвышенность воображения поэта никогда не должна отрываться от земли с ее радостями, печалью, мечтами и упованиями.

— Но кто же должен петь о любви? — озабоченно спросила Верочка, сама смущаясь и приводя в смущение учителя. — Неужели и вы, Кондратий Федорович, против любви? Любовь во всех романах описывается... Без любви скучно жить на свете... Или вы не согласны?

— Я на любовь гонения не объявляю, я не тиран, не лицемер и не ханжа в скуфье поповской, — ответил он. — Но надо помнить: есть певцы, которые из любви сделали себе пожизненную тему, они ее перелопачивают на разные лады, как старьевщики уже изношенное кем-то платье. Такое описание любви напоминает больше ремесло. Любовь не умирает и там, где брызжет кровь. Скажу более: истинная любовь, достойная душ возвышенных и благородных, пламенеет там, где брызжет кровь... Поговорим сейчас об этом: о любви, о крови, о народе, подвластном страху, о священных временах, о кичливых царях.

У двери, за порогом, остановился Тевяшов, он нынче решил не смущать учителя своим присутствием. Решил минуту послушать из-за двери.

— Все ли вам понятно в том, что вы сейчас так славно прочитали? — спросил учитель.

— Понятно все!

— И долго повторяли?

— Нет, сами слова как-то сразу запали в душу, — ответила Наталья.

— Все, что истинно, нелицемерно, то просто и легко.

Рылеев каждой ученице задал по несколько вопросов и, выслушав ответы, для каждой нашел особое слово благодарности:

— Спасибо, ручеек весенний звонкий! — сказал он Вере.

— Спасибо, ласточка-крылатка! — сказал он белокурой Маше.

— Спасибо, колокольчик острогожский! — сказал он Насте.

— Спасибо, мотылек! — сказал Наталья.

Ее ответы были самыми полными, и всякая мысль, изложенная учителем, не просто повторялась ею, а обогащалась чем-то новым, свежим, иногда наивным, но своим, наблюденным в жизни. Слушая тихую, стеснительную ученицу, вглядываясь в черты ее лица, он почему-то вспоминал набеги печенегов, половцев, хазар, великие перемещения народов, взятие в плен хазарами славян, славянами — хазар, история в своей огромной квашне так перемешала все нации и племена, что тип славянки с веками приобрел осанку косожских красавиц. Черноглазая, темноволосая Наталья являла ярко выраженный тип украинки, и вместе с тем в ее лице, в глазах, во взгляде угадывалась кровь буйной степи, от набегов которой когда-то не раз несла непоправимые уроны Русь изначальная.

«Вот та, которую искало и рисовало мне мое воображение, — сказал себе Рылеев, — она одарена умом, душой нежною, доверчивой, глушь деревенская ее не загубила. Я полюбил ее!..»

За дверью Тевяшов стоял и слушал, что говорил учитель. А говорил он нынче вот что:

— Тот не поймет во всей обширности истории родной земли, кто лишь одним рассудком беспристрастно оценить все хочет! Нет беспристрастных ни Боянов, ни летописцев Несторов! Рассудку вечно помогает сердце, а сердцу, в свою очередь, — рассудок! Теперь мы с вами знаем, как пал великий Новгород — оплот народовластия... Пал... От его падения все содрогнулось. Шесть с лишним веков над башнями новгородскими призывно, гордо, вольно, по-республикански звонил колокол древней нашей свободы, звонил, сзывая россиян на вече... Но под ударами жестокого царя погиб Борецкий...

— Что случилось с Марфой, женой его? — спросила Наталья.

— Марфа не покорилась, она возглавила полки! И грянул вновь кровопролитный бой, неравный бой с царем Иваном Третьим. В оковы Марфу заковали. Но дух свободы и в монастыре, куда ее бояре заточили, не изменил душе возвышенной...

Как молния из тучи, ударили стихи:

Как гордый дуб в час грозной непогоды,
И вече в прах... И древние права...
И гордую защитницу свободы
В цепях увидела Москва...

Наталья закрыла глаза ладонью. Взгляд Верочки сделался суровым — поэзия истории родной земли всегда плодотворна для добрых впечатлительных сердец. А устами поэта-учителя продолжала звать первая русская республиканка:

Нам от беды не откупиться златом,
Мы не рабы: мы мир приобретем,
Как люди вольные, своим булатом
И купим дружество копьем!

Рассказ учителя о роке жестоком и суровом, что выпал на долю гордой, негибавшей русской женщины, о роке, отнявшем у нее отечество, свободу, сыновей и вместо них давшем несчастной одни оковы и мрак тюрьмы, довел до сладких очистительных слез его слушательниц. Марфа, с каждым новым словом о ней, о ее подвиге, о ее чувствах и размышлениях, о ее понимании общественного долга и своего предназначения, вырастала из новгородской посадницы в богатыршу русскую, олицетворяя собою всю Россию и ее негибавший в борьбе с деспотизмом дух. Она казалась сошедшей в русскую историю с Олимпийских высот из пленительных мифов Эллады, и в то же время, при всей героичности, она вся была отдана заботам о родине, о земных делах, думам об униженном бесправии родном народе. Марфа, не задумываясь, отдала в жертву родине все, что ей было мило, все, чем она жила на этом свете — детей, свободу и свое имя. Для народа нельзя ничего жалеть. Принесший в жертву народу никогда не будет им забыт. Наталью особенно потрясла та часть поэтического повествования о новгородской героине, где говорилось о том, что лично Марфа была свободной, но не хотела довольствоваться свободой только для себя. Она хотела

добиться свободы для всех соотечественников или умереть в борьбе. Она по-республикански понимала свое предназначение и гордилась им. Ее образ в изображении Рылеева возвышался над всеми русскими героинями, чьи имена донесли до нас летописи. Она своими добродетелями, и прежде всего гражданскими устремлениями, превосходила знаменитую Ольгу и Рогнеду.

— Кто чести друг — тот друг прямой народа! — воскликнул Рылеев. — Таков был девиз Марфы. Он не погиб! Он вечно жив! Запомните ж его! И никогда не забывайте!

— Что с Марфой? С Марфою что стало? — спросили враз все четыре ученицы.

Рылеев ответил им заключительной строфой собственной «Думы о Марфе»:

Что случилось с ней — народное преданье
В унылой робости молчит.
С посадницей исчезнула свобода
И Новгород в развалинах лежит...

Для всех была горька развязка этой драмы.

— Идите отдохните, — сказал Рылеев.

Наталья заплакала и убежала, Настенька за ней — утешать и уговаривать.

— Предание молчит, а оно не должно молчать, тем более в унылой робости, — подойдя к учителю, вполне здраво заговорила Вера. — О таких людях надо вечно вспоминать и рассказывать.

— Да сбудется! — приветствовал ее желание Рылеев.

Комната освободилась. У порога Рылеева встретил Тевяшов, смущенный и нерешительный. Он позвал учителя в свой кабинет, но учитель пожелал выйти на балкон. Тевяшов охотно исполнил его желание, они вышли на балкон. Тевяшов был озабочен, и эта озабоченность сковывала его движения и мысль. Рылеев подумал, что помещик расстроен долголетней тяжбой с соседом по межевому делу. Но причина озабоченности Тевяшова, как вскоре оказалось, коренилась в другом.

После нескольких малозначащих замечаний о погоде, о цветах на клумбах Тевяшов осмелился осторожно, и то в форме вопроса, высказать учителю свои опасения относительно существа последнего урока.

— Кондратий Федорович, нужно ли им знать науку о том, как стать другом народа? Республика... Народная держава... Набат свободы... Зачем им знать все это? Они же — девочки...

Рылеев почувствовал в осторожном замечании смятение Тевяшова и желание изменить дух занятий с его дочерьми. Это учителю очень не понравилось, и с горячностью, свойственной юности, он воскликнул:

— Кто звон вечевого колокола душой своей не слышит, тот не русский!

— Нет, я просил бы вас, Кондратий Федорович, так не увлекаться...

— Я вас не понимаю... Давно ли вы меня хвалили... Что случилось? Или уж и к вам в дом змеею клевета вползла? Скажите же!

Тевяшов мялся, вздыхал...

— Так вот знайте, Михайла Андреевич, учить ваших умных, прелестных дочерей я могу только так или никак,— продолжал Рылеев.— Выбирайте любое... Вы не из робких... Но — кто и чем вас напугал?

— Никто не напугал.

— Неправда. Вы честный человек и не умеете говорить неправду. Честного всегда отличишь по слову... Штрик? Мейндорф? Или же Буксгеведен мутит исподтишка?

Тевяшов — в который раз! — тяжело вздохнул и сказал:

— Недавно в доме у Бедряги командир вашей роты подполковник Сухозанет сказал мне: «Вы там поглядывайте, чему и как он учит... Эта горячая голова хотела бы всех девиц России видеть Жаннами д'Арк и Марфами Посадницами, а в каждом острогожском казаке ему чудится потомок Емели Пугачева, которого он готов всюду прославлять. Рылеев может такому научить, что после семерым не разлучить...»

— Подлец! Какой подлец! — сжав кулаки, вскипел Рылеев.— И это мой командир?! Я завтра ж вызову его на поединок... Я честь свою не дам в обиду... Сухозанет давно решил всю роту перессорить! Завел себе наушников и шаркунов... Отсюда прямо иду к нему и брошу вызов!

— Ради бога, Кондратий Федорович, не делайте этого! Не стоит он того, чтоб ты стрелялся с ним,— для убедительности прижав руки к груди, начал упрашивать Те-

вяшов.— Сухозанет мне не указ, но дело хуже... Севодни я был в Воронеже в Собрании дворянском... После баллотировки предводителя ко мне подошел губернатор Сергей Николаевич Глинка и сказал: «Ну, как твой гувернер в мундирном сюртуке? Говорят, что прямо Робеспьер... Париж уму научит... Смотри, чтоб, надышавшись воздуха французского, он революцию в Белогорье не устроил... А то и Острогожск себе конвент запросит! Нынче у всех таких, из молодых да ранних, три слова на уме: свобода, братство, равенство!»

Тевяшов почти дословно воспроизвел сказанное воронежским губернатором.

— Ежели губернатор так сказал, то он набитый дурак, хотя и носит фамилию известного и уважаемого дворянского рода Глинок,— запальчиво сказал Рылеев.— Я непременно объяснюсь с ним... У меня и для губернатора всегда найдется лишняя перчатка, чтобы бросить ему не под ноги, а прямо в физиономию! Я так и сделаю в первую же мою поездку за книгами в Воронеж... Непременно сделаю!

И только тут Тевяшов сообразил, какого дал маху, сказав всю правду о губернаторе, которого и без того все проклинали в Острогожском уезде за мстительность и жестокость.

— Прошу вас всеми святыми не объясняться с губернатором, иначе вы погубите меня и все мое семейство,— взмолился Тевяшов.— Не употребите во зло нам мое совершенное доверие к вам... Вы благородный человек, и потому я все сказал вам откровенно.

Рылеев казался неумолимым.

— Ваши опасения, Михайла Андреевич, напрасны: дни губернаторства злодея этого отныне сочтены! — уверял Рылеев.— Если останется он невредим и после поединка со мною, то в собственные руки государя мы с Миллером напишем донесение и обнажим все злодеяния тирана здешнего!

Ученицы, отдохнувшие в саду, спешили в комнату занятий.

— Так обещаете ли мне, Кондратий Федорович, не выдавать меня на верное съедение губернатору?

— Волков бояться — в лес не ходить...

Они остановились в дверях балкона. И вдруг Рылеев сказал гордо:

— Ну что ж, заботливый отец, учить я по-другому

не умею... Быть может, разрешите мне проститься с ученицами?

Ошеломленный Тевяшов не ждал такого поворота. Он что-то пытался говорить в свое оправдание, лепетал что-то о семенах, ранних всходах, губительных морозах, просил не торопиться с открытием всех тайн истории.

— Чем раньше сев, тем дружнее всходы и цветенье ярче! — свой взгляд отстаивал Рылеев.

— Я истинно не понимаю, Кондратий Федорович, зачем им ведать о делах давно минувших, о событиях мертвых...

— Все сущее — корнями там, в минувшем! Прошлое не труп, а богатырь живой, но усыпленный. А без корней — нет ни стволов, ни листьев. Знание прошлого — наша сила!

— В чем же сила знания о прошлом?

— Знаменитый польский стихотворец Немцевич превосходно отвечает на такой вопрос: вспоминать юношеству о деяниях предков, говорит он, дать ему познания о славнейших эпохах народа, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти есть лучший способ возбудить в народе сильную привязанность к родине. Ничто уже тогда тех первых впечатлений, тех ранних понятий подавить не в силах: они удесятятся с годами, приготавливая храбрых для войны ратников и мужей добродетельных для света.

Хотя Тевяшов и понял всю справедливость этого суждения, все же позволил себе с усмешкой возразить:

— Речь идет о юношах, о мужах... Мои же девочки ни в гренадеры, ни в сенаторы не предназначаются.

— Вы не правы. О, как вы не правы! — горячо воскликнул Рылеев. — Ведь ваши дочери, наступит срок, в этих благородных понятиях воспитают своих детей. Я считаю себя обязанным велением собственного сердца и совести всеми способами распространять в России хотя бы некоторые познания о знаменитых деяниях предков. Ведь никто так мало не знает о России, как русские... Пора отречься нам от нашей позорной забывчивости о самих себе... Доколе мы будем считать учебниками по истории России измышления невежественных и злобствующих иностранцев, что наезжают к нам под видом академиков и путешественников?

— Распространять познания о деяниях знаменитостей, но ради чего? — спросил Тевяшов.

— Чтобы заставить народ гордиться славным своим происхождением и еще больше любить родину свою! Счастливейшим почту себя, если благодаря моим бескорыстным усилиям прибавится хотя бы одна капля света в народе нашем.

— Народ... А что народ? Народ подобен снегу: зимою выпал, по весне растаял... Так было и так будет вовек,— сказал Тевяшов и сам задумался. После недолгого молчания продолжал: — Наверное, вы правы, Кондратий Федорович, да ведь... — Он махнул рукой. — Ну, да будь по-вашему, учите как знаете, только, голубчик, чтобы не выходило ваше учение за стены моего дома. И насчет губернатора прошу — выбросьте вы этого эфиопа из головы, право...

— Хорошо, Михаил Андреевич, если мое желание постоять за свою честь может принести вам вред...

— Может, голубчик, еще как может...

— Хорошо. Я должен идти на урок, перерыв затянулся.

— Идите, голубчик, идите, не буду вам мешать.

Когда Рылеев ушел, Тевяшов шумно выпустил из себя воздух, пробормотал:

— Ох, молодо-зелено... А благороден, честен, высок в помыслах — люблю...

14

В этот будний день занятий в поле не было. Рылеев решил прогуляться по окрестным горам, что обступили слободу Белогорье. Он надел фрак, велел слуге оседлать карего скакуна и вскочил в седло. Степь развернулась навстречу коню и всаднику, в лицо и грудь хлестнуло горячим ветром, и все вокруг понеслось, полетело: строения и деревья, земля и небо, горы и балки. Серебристые облака приближались из-за Дона стаей лебедей. В ушах натянутой струной звенел ветер. Дышалось легко и свободно. Рылеев ощущал себя частицей огромного, несущегося в неизвестность мира.

Богатая горами сторона с ее прелестными видами не раз врачевала душу поэта, навевала ему немало сладких дум и замыслов. Разъезжая по горам и любуясь ландшафтами, он забывал обо всех тревогах, на какое-то время сливался с природой. Отсюда, с Белогорских высот, мысль его охватывала всю необозримую Россию, проникала во мрак веков минувших и во мглу грядущего.

Но нынче и сказочно красивые горы не могли увлечь его своими зелеными чарами. Мысленно он все еще как бы продолжал беседу с отцом Наталии и Настасии. Он все яснее отдавал себе отчет в том, что покинуть дом Тевяшовых уже не в состоянии. Она, возможно, и не подозревает об этом, но рано или поздно почувствует его любовь, услышит его признание. Первая любовь... Первое признание... Вспомнились слова матери: «Первая любовь делает человека или на всю жизнь счастливым, или, наоборот,— на всю жизнь несчастным. Если и есть в жизни настоящая любовь, так это только первая, а все, что приходит после нее, уже не взволнует душу до слез...»

Рылеев хотел быть счастливым, а еще больше хотел видеть счастливой свою возлюбленную. Счастье в его воображении было наполнено каким-то неземным светом и таило в себе столько вдохновляющей волшебной силы, что наполняло душу готовностью к свершению подвига.

Розовая дымка всегда окутывает первую любовь, как бы оберегая ее от жестоких ударов жизни.

«Я могу покинуть дом Тевяшовых только вместе с Наталией!» — было его неколебимым решением.

Он остановил скакуна на лысой вершине горы, с которой далеко было видно во все стороны. Вон слобода Белогорье... Вон Подгорное... А там, в зелени тучных садов, притаился деревянный Острогожск, чистый и опрятный в хорошую погоду казацкий городок. Там много друзей у Рылеева, и среди них сам городничий — брат известного поэта Федора Глинки — Григорий Николаевич. С ним всегда приятно побеседовать. Городничий Глинка самый осведомленный человек в смысле важных столичных новостей. Он часто получает от брата из Петербурга письма, в которых всегда много места уделено событиям литературным и журнальным. Не съездить ли в Острогожск? Вихрем... Птицей... Молнией...

Долго не раздумывая, Рылеев повернул лошадь и дал ей шпоры. Извилистая дорожка, что петляла по Лысой горе, будто вдруг ожила и зашевелилась гигантской змеей, стараясь захлестнуть в петлю скачущего по ней. Любой донской казак позавидовал бы лихости артиллерийского офицера, его умению править конем, его молодецкой посадке.

У подошвы горы, где проселок круто поворачивал на Острогожск, он едва не столкнулся с Федором Миллером и братьями Густавом и Федором Унгерн-Штенбергами.

— Кондратий, а мы тебя искали по всей слободе! — воскликнул Миллер. — Почему один? Почему не сказался нам? И почему так возбужден? А где твои прелестные ученицы? Сливичий наш день и ночь бредит Верочкой.

Рылеев осадил лошадь.

— Полно, Федя, ты, по-моему, сам возбужден куда больше, нежели я.

— Да, Кондратий, ты прав. Знаешь, наш командир решил перессорить между собою всех нас.

— Хотел бы я знать, каким способом? — усмехнулся Рылеев. — Не таковы мы, ребята, чтоб служить для потехи чьей-либо!

— Сухозанет способен на любую подлость! — воскликнул Миллер. — Суди сам... Стало известно, что всех младших он представил к повышению чинов в обход старших!

— Не может этого быть, Миллер? — не поверил Рылеев.

— Клянемся честью, все верно! — подтвердил Федор Унгерн-Штенберг. — И это делается с единственной целью — перессорить между собою офицеров. Верно, он почувствовал к себе оппозицию. Что нам делать? Как быть, Рылеев?

Рылееву было теперь не до поездки в Острогжск.

Все четверо спешили, стреножили лошадей, пустили их пастись по траве, а сами сели на сизый, продолговатый камень, до половины вросший в землю. Камень был теплый.

— Распри и раздора между нами, офицерами, надо избежать любой ценой, — после раздумья заговорил Рылеев. — Мы, как и до этого, при всех наших бурных спорах, при всех умствованиях, при всем несходстве во многих суждениях, должны остаться единой дружной семьей и все сделать для того, чтобы проучить Сухозанета. А если он не остановится перед подлостью, то обнажить его подлость перед всеми.

— Но как это сделать? — хмурясь, сказал Миллер, больше всех негодовавший на командира.

— Мы опасаемся, что он уже успел расколоть нас на два лагеря, — заговорил с курляндским акцентом Густав Унгерн-Штенберг. — Младшие, незаконно представленные к повышению чинов, могут взять его сторону. И они уже, кажется, так и поступили.

Рылеев задумался. Сорвал росшую около камня седую

метелку полыни, размял ее в пальцах. Повеяло горьковатым, но освежающим, приятным полынным запахом.

— Дадим отпор Сухозанету,— сказал Рылеев.— И не только дадим отпор, но и проучим его на будущее. Надо спокойно, даже внешне безразлично, узнать настроение младших, что представлены к повышению чина. Главное вот что: чувствуют ли они себя сделавшими для службы что-либо отличное противу тех своих товарищей, которые обойдены? Сделать это надо уважительно, учтиво, без горячки и шума, на что мы, порой, в том числе и я, бываем великие мастера.

— Ну, а если младшие скажут нам, что они не чувствуют себя сделавшими для службы что-либо отличное противу своих товарищей, то что это нам даст в противоборстве с Сухозанетом? — спросил Миллер, не понимая хода мыслей Рылеева.

— Это даст нам возможность единой семьей вступить за нарушенную нашим командиром справедливость! Получив такой ответ от младших, представленных к повышению чина, мы, старшие, но обойденные, вместе с ними все пойдем к Сухозанету...

— И загоним его в угол! — подался к другу Миллер, готовый сейчас же бежать и в буквальном смысле исполнить свои слова.

— Федя, окунись в Дону и не горячись,— охладил его пыл Рылеев.— Лучше, если дело решится в нашу пользу без всякого загона в угол. Придем все к Сухозанету и сначала вежливо, учтиво, с достоинством укажем ему на вопиющую несправедливость.

— Ничего не добьемся... Он же дубина в мундире и со шпорами,— махнул рукой Миллер.— Или ты не знаешь этого сумасброда и интригана?

— Федя, успокойся,— с улыбкой посоветовал Рылеев.— Ежели после наших вежливых протестов командир не уймется и не откажется от несправедливости, то уж мы после этого с резким неудовольствием и опять же дружно, все вместе, докажем ему, как он несправедлив.

— Его и картечью не прошибешь, а все слова с него как с гуся вода,— предрек Миллер.

— Пусть не прошибем, зато обеспечим себе победу,— заверил Рылеев.— Если увидим, что и это его не трогает, то все мы, и представленные, и обойденные, подадим к переводу в кирасиры. Только чтобы все! Как повашему? Все — в кирасиры, а он пускай остается...

— Вот это бомба! — одобрил план Рылеева Федор Унгерн-Штенберг. — Если подвести под Сухозанета такой фитиль, то ему, пожалуй, долго не удержаться.

Миллер, встав с теплого сизого камня, походил вокруг, вернулся и сказал:

— Твой план, Кондратий, хорош. Я его одобряю. Но со своей стороны считаю, что Сухозанет нанес мне лично дерзкую обиду. Потому я поступлю с ним, как поступают с подлецом. И не остановлюсь ни перед чем...

— Стреляться? — спросил Рылеев.

— И безотлагательно! — ответил Миллер.

— А нужно ли, Федя?

— Я обязан защитить свою честь!

Братья Унгерн-Штенберги, не оспаривая возмущения Миллера, полностью поддерживали линию, обозначенную Рылеевым. Если действовать так, как подсказывает Рылеев, то можно добиться полной победы с меньшими издержками. Они попытались отговорить Миллера от схватки с командиром, призывали товарища забыть обиду, но призывы их оставались тщетными. Обиженный согласен был лишь ценой крови смыть дерзкую обиду.

— Федор Петрович, нельзя так легкомысленно подвергать свою жизнь опасности. Дуэль может стать роковой для одного или для обоих, — уговаривал Федор Унгерн-Штенберг. — План Рылеева может в конечном счете привести нас к примирению с Сухозанетом и сплотить между собою всех офицеров.

— Если примирение и будет достигнуто, то такой мир уже не продержится долго, — настаивал на своем Миллер. — Служба отравлена, и каждый из нас в недалеком будущем постарается разными дорогами выбраться из роты. Кто — в кирасиры, кто — в отставку. Я — в отставку, но не ранее как расквитаюсь с Сухозанетом. Во всяком случае, если даже Сухозанет и останется в живых, то ему все равно придется сдать роту другому...

Миллер обошел вокруг камня, поправил седло на своей лошади, погонял сапогом круглый белый гриб-пылевик и обратился к Рылееву:

— Будешь моим секундантом?

— Надеюсь, до этого не дойдет, Федя.

— Дойдет...

— Могу ли я отказать в просьбе своему другу, — ответил Рылеев.

Из поездки по горам они возвратились перед вечером.

Еще сизые сумерки не успели опуститься на землю, а багровая луна уже показалась из-за гор. На западе догорала заря, и первая звезда несмело проглянула в темнеющей синеве. Жители Белогорья были заняты вечерними работами: загоняли в хлевы вернувшийся с пастбища сытый скот, хозяйки доили коров, готовили ужин.

Рылеев, постояв около хаты, в которой он квартировал, направился к Северскому Донцу. Тропинка привела его в дальнюю рощу — любимое место уединенных прогулок при луне. Под шепот деревьев хорошо мечталось. Здесь и рифмы слетались скорее, и слово становилось покорнее воле поэта.

Он бродил по роще, надвинувшейся на обрывистый берег, под которым плескалась река, и думал о Наталье. Хотелось свершить для нее что-то такое, что превосходило бы человеческие возможности. Воображение рисовало дни, полные радости и блаженства в вечном союзе с ней. И стихотворные строки будто вбирали в себя слово за словом:

Люблю, уединясь, во мраке рощи дальней,
При шепоте дерев, в мечтаниях бродить...

Иногда в простые, ясные и точные слова, рожденные в душе, вторгались книжные поэтические образы. Скажем, к «пучине голубой безоблачного неба» плохо шли «вечерние лучи златого Феба». Поэт чувствовал, что на острогожском небе Фебу, пожалуй, нечего делать, и в то же время ему не удавалось вырваться из обветшалых сетей поэзии уходящей.

Великие поэтические тени далеких веков, к такому убеждению приходил Рылеев, уже не могут принять на свои плечи груз современности. Они в свое время неплохо потрудились для людей, и за это благодарное человечество их никогда не забудет. Но при всем при том ни Зевс, ни Аполлон не в состоянии дать сколько-нибудь удовлетворительные ответы на жгучие вопросы, которыми начался век девятнадцатый.

И я мечтаю с беспечностью вверялся,
Под сенью этих рощ ее я полюбил...

Для новорожденных слов нашлась и мелодия

собственного сочинения. Рылеев остановился на обрывистом берегу и, тихо напевая, любовался прощальными лучами заката. Послышались легкие шаги, он оборвал напев, обернулся. Перед ним стояла взволнованная и как бы вдруг повзрослевшая Наталья.

— О, Наташа, вы с кем здесь? С Настей? С Верой?

— Я одна.

— Так далеко от дома? И не боитесь?

— Я вас ищу... Ищу весь вечер... Вот и нашла... Но почему вы так печальны?

— Милый мотылек,— Рылеев нежно коснулся ее плеча.— Вы не ошиблись: мне грустно ныне.

— А почему? — Она перевела дух и порывисто проговорила: — Скажите же мне все. Скажите... И, если хватит сил моих, я все для вас готова сделать...

Рылеев взял ее трепетную руку и долго смотрел в черные глаза.

— Язык любви еще недоступен вашей неопытной душе.

— Вы не правы... Вы не правы... Не отвергайте признания моего, Кондратий Федорович... Я вас люблю... Люблю! Люблю навеки!

Словно испугавшись своих слов, она заплакала.

В эту минуту под обрывом раздались голоса сослуживцев Рылеева, решивших покататься на артельной многовесельной лодке. Смущенная Наталия скрылась в роще, только шуршание подлеска донеслось до Рылеева.

Хватаясь за лозняк, растущий по крутому склону, он сбежал к воде.

— Кондратий, в лодку к нам за рулевого! — позвал Сливицкий.

— За рулевого — всегда готов! причаливай! — отозвался Рылеев.

Лодка ткнулась носом в сырой песок, Рылеев вскочил в нее.

— Все вы мне сейчас очень нравитесь,— сказал он, занимая предназначенное ему место.— Не знаю, нравлюсь ли я вам. Но поскольку в нашей белогорской республике налицо равенство и братство, а со свободой еще плоховато, тем более на сем ковчеге, то придется вам меня терпеть.

Лодка под шумный, веселый говор беззаботной офицерской компании отчалила от берега. Дружные взмахи весел легко понесли ее на стрежень реки.

Прогулка по реке превратилась вскоре в плавучую сходку, каких немало бывало за время квартирования артиллерийской роты в Острогжском уезде.

Ввиду того что прапорщик Рылеев был самым начитанным в роте, всякий спор и всякое умствование не обходились без его участия. Бывали времена, когда он, устав от бесплодных прений, старался держаться в стороне, но такое устранение обычно продолжалось недолго: или друзья двумя-тремя словами поджигали его и возвращали в самое пекло спора, или же он сам, наскучив молчанием, бросался в словесный бой, из которого не всегда выходил победителем.

— Опять мы слышим ваши излюбленные слова, Кондратий Федорович: равенство, вольность, свободомыслие,— с места в карьер повел наступление Косовский.

— Лучше этих слов не найти во всех словарях мира! — ответил Рылеев. — Чем они вам не угодили?

— А не довольно ли Россию одевать в коротенькие штанишки, что остались после Руссо и Вольтера и ныне за их полной ненужностью в Европе распродают по дешевке? — подлил масла в огонь Штрик.

— Вон до какого бесчестия довели Францию Вольтеры панталоны,— поддержал Штрика Буксгеведен.

— И не задумывались ли вы, Кондратий Федорович, что все ваши распаленные мечтания о добродетели, законности, равенстве, вольности — суший вздор? — продолжал Штрик.

— И ни к чему доброму привести не могут, кроме как к новому Емельке,— добавил Марков.

— Пугача помнят и не забудут,— коротко возразил Рылеев. — А вот наши имена будут ли помнить?

— Объясните нам толком, чего же вы все-таки хотите? Кто же мы, по-вашему мнению? — спросил Буксгеведен.

Рылеев молчал, наблюдая за розовато-лиловой волной за кормой лодки. В воде полоскались первые звезды. Вон и лунная дрожащая тропинка наискосок легла от берега до берега. Вся она была как бы покрыта переливной золотистой чешуей. В воображении поэта стояло живое смуглое лицо Натальи, ее черные глаза. За спиною что-то болтали. Порой гремел буйный смех, как среди беззаботных гуляющих людей на челне Степана Разина. Рылеев казался отрешенным от всего, что происходило рядом с ним.

— Что молчишь, бард? Кто же мы, по-твоему? — Штрик потряс Рылеева за локоть.

— Да, да, интересно все же услышать просвещенное мнение, — поддержал Буксгеведен.

Не оборачиваясь, Рылеев сказал:

— А вы, господа, способны выслушать правду о вас?

— Смотря какую... Правда разная бывает, — уклонялся от прямого ответа Штрик.

— Разнообразны низость, подлость, раболепие, вероломство, а правда от сотворения мира неизменна, едина и неделима! — воскликнул Рылеев и сразу вызвал шквал возражений не только среди явных противников, но и среди тех, кто всегда оставался на его стороне. Когда шум утих, Мейндорф насмешливо заметил:

— Наш поэт так и не хочет осчастливить нас своим глубокомысленным суждением.

— Напротив — жажду, — Рылеев повернулся лицом к сидящим в лодке. — По моему мнению, все мы, господа... Ну, как бы поточнее выразиться...

Посыпались самые неожиданные подсказки:

— Жалкие, бескрылые, пустые...

— Погрязшие и прокисшие...

— Мало смыслящие в стихах и журнальных статьях...

— Не читаем «Благонамеренного» и «Сына отечества»...

— Чуждаемся «Литературного приложения к «Инвалиду»...

— Не хвалим Державина, превознося до высот Гомера...

Рылеев слушал их и смеялся, а потом сказал:

— Не хочу опровергать вас, господа, мне остается лишь выразить сочувствие...

— И добавить о всех нас: проживете и умрете в неизвестности, — улыбнулся Буксгеведен.

— Тогда как он прогремит, подобно и его любимому царевубийце Бруту, — пустил шпильку Штрик.

— Буду признателен провидению, если мое имя в истории родной земли займет когда-нибудь хотя бы несколько строк, — спокойно проговорил Рылеев. — Но эти завидные строки неподкупные потомки с любовью отдадут лишь тем, кто жил, не помышляя о своем месте на страницах летописей. Не обязательно быть Брутом или Степаном Разиным, чтобы иметь право назваться истинным сыном отечества.

И снова посыпались полушутливые колкости:

— Значит, имя Рылеева займет несколько строк?

— Да, займет! — В этом восклицании Рылеева прозвучало кадетское озорство. — Накоплю денег и заведу вольное общество благодеяния и добра для россиян. Сам себя с высочайшего разрешения назначу президентом одного общества, а Штрика и Буксгеведена возьму к себе: одного — бухгалтером, другого — скорописцем. Разумеется, при условии, что они к тому времени научатся сносно говорить и писать по-русски. Куплю у американских дикарей провинцию и образую там вольную республику...

— И сам себя всенародным голосованием выберу в президенты! — подхватил Буксгеведен.

Косовский попытался внести примирение в разгоревшуюся перепалку.

— Любезный Кондратий Федорович, частенько мы слышим от тебя о всеобщем равенстве, благоденствии, но я, например, этим твоим убеждениям и мечтаниям не верю. Во всяком случае, пока не увижу впечатляющего примера гражданственности и равенства.

— Примеры не грибы после теплого дождя, их нужно терпеливо ждать.

— Зачем ждать?! — задорно вскричал Штрик. — Начни сам чистить платье и сапоги себе и своему Ефиму! Чем не пример?

— Да сам же, вместо Ефима, беги к колодезю за водой! — подхватил Буксгеведен.

— Такие требования — вздор! Дело не в платье и не в колодезе. Статья эта со временем разрешится сама собою, — сказал Рылеев в грустном раздумье. Помолчав, добавил: — Иные из вас неверно понимают слова мои. И все-таки еще раз повторяю: господа, всем нам пора проверить себя.

— С чьей же помощью?

— С помощью совести, Штрик. Пора пристальнее взглянуть на все окружающее, ибо, кроме зла, несправедливостей и неслыханного лихоимства, ничего у нас нет! Зло надо искоренять всеми силами.

— На что уповать в борьбе со злом? — спросил Косовский.

— На то же, на что мы уповали в жестокой схватке с Наполеоном, — на самих себя, — сказал Рылеев. — Потому и необходимо всем нам думать. Думать, и еще раз думать, дорожить каждым днем своей жизни и бес-

корыстно трудиться для блага и счастья России. Не следует забывать о неизбежности суда потомков наших. Хочется жить и поступать во всем так, чтобы потомство не нашло в делах и помыслах наших лицемерия, раболепия, низкого эгоизма. Я думаю, что великий подвиг России, свершенный ею на поле Бородина, ждет своего продолжения...

— И как же бы желал Кондратий Федорович продолжить его и чем закончить? — без иронии спросил Ососков, молчавший почти весь вечер.

— У меня нет ответа на такой вопрос, — признался Рылеев. — Ясный и полный ответ может быть дан лишь всем нашим поколением. Здесь нужно много голов и много умов.

Под конец прогулки уже не сражались так запальчиво, рассуждали спокойнее, спорили без колкостей, больше обнаруживали согласия в разговорах, касавшихся не только распорядка в роте, но и распорядка в государстве. Потом Рылеев, будто забыв обо всем, чем он кипел полчаса назад, стал рассказывать анекдоты о временах Павла Первого, слышанные от дяди — генерал-майора Рылеева.

На обоих берегах было слышно, как время от времени взрывается гомерическим смехом плывущая лодка.

Наталья стояла на опушке рощи в тени ракиты и глядела на темно-голубую ленту реки.

Этот тревожный день и полный волнений вечер явились для нее тем порогом, который не дано никому переступить без душевного потрясения. По одну сторону порога осталось тихое деревенское детство и отрочество, со всеми их радостями и забавами, по другую сторону ее ждала неизвестность. Но неизвестность не пугала юное сердце, жаждущее любви, большой и светлой, как лазоревая степь ясным вешним днем.

А многовесельная артельная лодка все приближалась. Слышно было, как звонко целуются весла с серебристой волной, слышно было, как звучно, будто наигрыши свирели, поскрипывают уключины... У Натальи обомлело сердце от одной мысли о катании вместе с ним вот на такой же лодке, в такую же удивительную пору, при такой же

тишине на обоих берегах. Наталья сделала несколько шагов к берегу...

Рылеев вдруг прервал рассказ. Он заметил на горе белое платье... Он не сомневался, что это была Наталья, и в мыслях безжалостно упрекнул себя за то, что холодно ответил на ее признание, и этой неоправданной холодностью, несомненно, причинил ей боль... Он повернул к берегу. Но белого платья уже не было видно на горе.

16

Лодка врезалась килем в отмель и осталась на приколе отдыхать до утра.

Офицеры гуськом по извилистой тропинке взошли на обрывистую гору. Отсюда видны были дремлющие под луной окрестности. Еще раз полюбовались заречными далями, прежде чем мирно разойтись по квартирам.

Рылеев, дружески положив руки на плечи Маркову и Ососкову, обратился к сослуживцам:

— На сегодня кладем конец всем нашим рассуждениям, умствованиям, спорам и возвращаемся каждый к себе в объятия сна. Расходимся друзьями, а не врагами. Но, прежде чем подадим мы друг другу руки, я хотел бы обратиться с вопросом к младшим нашим товарищам, которые представлены к повышению чина в обход старших. Довольны ли они таким поступком командира роты и знают ли они о нем?

— Впервые слышим,— отвечали Марков и Ососков.

Другие сказали, что они что-то слышали, но приняли эти разговоры за пустую выдумку.

Рылеев убедил товарищей, что это вовсе не выдумка, и рассказал все, что узнал от Миллера.

— Наши товарищи, представленные к повышению в чине, находите ли вы себя сделавшими для службы что-либо отличное противу своих товарищей, которых хочет обойти командир? — спросил Рылеев о самом главном.

Младшие артиллеристы без колебаний ответили отрицательно на этот вопрос. Все они выразили готовность вместе с обойденными сослуживцами протестовать перед командиром. Только Штрик и Буксгеведен не одобрили такого сговора, найдя его противоречащим воинскому уставу.

— Значит, не пойдете с нами? — спросил Рылеев.

— Почему не пойдем? Пойдем, если остальные решились идти,— заверил Штрик.

То же сказал и Буксгеведен. На этом и порешили.

На другой день, вернувшись с полевых занятий, Рылеев после обеда навестил Миллера на квартире в казачьей хате.

— Федор, все офицеры согласны двинуть к Сухозанету. Я прошу тебя, чтобы одно дело не помешало другому, хотя бы на время забыть о дуэли. Сухозанет может воспользоваться этим конфликтом в своих видах, и тогда все мы окажемся в проигрыше.

Миллер нынче был спокойнее и сговорчивее, нежели вчера. Рылееву удалось отговорить его от незамедлительного поединка. И тем уже был доволен Рылеев, а про себя берег надежду, что время незаметно охладит друга и дело обойдется без дуэли.

Сухозанет пил чай в саду под яблонями, когда к нему пришли скопом все двенадцать офицеров конноартиллерийской роты. Он встретил пришедших с вниманием, велел слуге подставить к грубо сколоченному из неструганых досок столу запасные, такие же грубо сколоченные скамьи и накрыть их попонами, какими обычно накрывают лошадей в холодную пору.

В пузатый самовар, что затихающе пошумливал посредине стола, добавили углей, а в липовую плошку горой положили меду в сотах, сзывавшему к себе пчел и ос.

За чаем осторожно и учтиво офицеры (главным образом Рылеев, Миллер и Федор Унгерн-Штенберг) повели разговор об уже свершившемся представлении младших чинов к повышению в обход старших товарищей. В разговоре делался намек на то, что этот шаг неминуемо вызовет неудовольствие со стороны обойденных и может причинить роте непоправимый ущерб. Сухозанет слушал, посмеиваясь и отделяваясь шуточками.

— По себе знаю, всякому обидно, когда обходят. Но все на свете переменчиво: нынче обойдут, а завтра представят к повышению. Служить, господа, а не обиды свои и чужие собирать в мокрую тряпочку! Не люблю я таких собирателей. А кто их любит? Не дают покоя ни себе, ни другим...

Штрик и его друзья, хотя и молчали, но явно при-

держивались той линии, которую отстаивали Рылеев, Миллер и Унгерн-Штенберг.

Офицеры одобрительно оживились, почувствовав силу товарищества. Но явно выраженное оживление не понравилось Сухозанету. И, когда Марков сказал, что готов отказаться от представления, командира взорвало:

— Ну и дурак, что повторяешь бредни Федора Миллера. Глупые твои бредни никто и слушать не хочет. Как мною решено, так и будет. Не тянись за дурнями.

И тут Миллер едва не сорвался — бросил руки на край стола с тем, чтобы вскочить... Рылеев едва успел прижать его коленку к скамье. Миллер дернулся, сердито запыхтел, но остался на месте.

Видя, что учтивость в разговоре с командиром ничего не дает, кроме новых огорчений, Рылеев, а за ним и другие, как обойденные начальником, так и не обойденные, стали изменять тон. Говорили с нескрываемым неудовольствием и на всякую резкость Сухозанета отвечали резкостью. Подполковнику с каждой минутой становилось труднее отбиваться, но он упрямо продолжал настаивать на своем, считая союз против него кратковременным и непрочным.

— Поелику вас, судя по вашим рассуждениям, ничто не трогает, — сказал наконец Рылеев, — то вы остаетесь в роте единственным офицером.

— Что это значит? — повысил голос Сухозанет.

— То, что все мы подадим к переводу в кирасиры, — резко сказал Миллер.

— Что-о?! — вскочив и грохнув кулаком по столу, бешено закричал Сухозанет. — Хотите под военный суд?! Как бунтовщики? Как преступники? Такие, как Миллер, одинаково не нужны ни в артиллеристах, ни в кирасирах! Подмутчик в мундире офицера!

Миллер встал из-за стола и, сделав несколько шагов, остановился перед командиром роты.

— Господин подполковник, я прошу вас встать.

Сухозанет не обратил внимания на требование подчиненного. За столом установилась напряженная тишина.

Миллер повторил свое приглашение, но Сухозанет не сдвинулся с места.

— Вы, кажется, празднуете труса, — сказал Миллер, выразив улыбкой презрение.

Пропустить мимо ушей такие слова Сухозанет не посмел и поднялся из-за стола.

— Вы подлец! И я вынужден поступить с вами, как с подлецом! — сказал Миллер и бросил перчатку к ногам подполковника.

Сухозанет поднял перчатку — вызов на поединок был принят.

Чаепитие в саду закончилось. Офицеры покинули старшего командира, не подав руки на прощанье. Сухозанет попросил остаться Штрика и Буксгеведена.

— Который из вас согласен быть моим секундантом? — обратился он к обоим.

— Я готов, долг чести обязывает, но мне кажется, что дуэли не будет, — проговорил Буксгеведен. — Завтра Миллер одумается и явится с извинением.

— Не думаю этого, — заметил утративший надменность Сухозанет.

— Имейте в виду, Петр Онуфриевич, Миллер в стрельбе из пистолета с любого расстояния уступает лишь одному Рылееву, — напомнил Штрик.

— Я стреляю из пистолета не хуже Рылеева, — сказал явно для самоуспокоения Сухозанет. — Договаривайтесь с секундантом Миллера об условиях и месте поединка.

Сухозанет никогда не был дуэлянтом, и предстоящий поединок страшил его возможностью роковой развязки. Но уклониться от вызова, сделанного на глазах у всех офицеров, он никак не мог. Отказ значил бы полнейшее его моральное поражение и понудил бы уйти со службы, во всяком случае, оставаться в этой роте он уже не смог бы.

Молодые офицеры в этот вечер долго гуляли по берегу Северского Донца. Миллер снова был беззаботен и весел. Казалось, что он совершенно забыл о происшествии во время чаепития. Шутили, острили, злословили. Несколько раз заставляли Рылеева поворошить неисчерпаемую шкатулку его богатой памяти — не найдется ли в ней еще чего-нибудь интересного и свежего из жанра анекдотов и забавных исторических былей.

— Ну как, господа, подаем все вместе к переводу в кирасиры? — спросил Рылеев.

— Подаем! — был единодушный ответ.

— Конечно, подождем исхода поединка, — заметил Миллер. — Может быть, бог даст мне избавить всех от перевода в кирасиры. Во всяком случае, буду стараться.

Разошлись в первом часу пополуночи. Рылеев проводил Миллера до калитки.

— Кондратий, прошу быть моим секундантом,— попросил Миллер.

— Не возражаю. Могу одолжить один из двух моих пистолетов. У обоих бой отличный!

— Буду иметь в виду. Поручаю вести переговоры с секундантом Сухозанета. Условия ставь самые низжайшие. Без уступок.

И они расстались до утра. Рылеев раскрыл окно, глядевшее в небольшой садик, и задумался о том, что им с Миллером готовит завтрашний день. Уговор всей офицерской артелью подать к переводу в кирасиры, по спокойном размышлении, начинал казаться ему очень обременительным. Перевод в кирасиры может потребовать от него непосильной жертвы — покинуть слободу Белогорье, а возможно, и сам Острогожский уезд, покинуть Наталью... Хотя для любви, если это только настоящая любовь, и не существует непреодолимых расстояний и преград, тем не менее, возможность разлуки бременем ложилась на душу прапорщика. Если перебросят на десятки, а может быть, и сотни верст, то не наездишься к своей возлюбленной. Да и неизвестно, к какому командиру попадешь... Среди всех возможных преград, ожидающих его на этом пути, возможно, самой непреодолимой явится воля родителей Натальи. Они не раз довольно ясно говорили о том, что девушке, связавшей свою судьбу с судьбой военного, не зная ни спокойствия, ни уюта, ни счастья. Отставной майор Тевяшов, рано потерявший здоровье от ранений, недугов и долголетней межевой тяжбы с соседом, считает службу в армии напрасной тратой самых лучших лет жизни, лет, в которые человек с умом, дарованиями и прилежностью может пробить себе широкую дорогу.

Матрена Михайловна Тевяшова такого же мнения о современной военной службе, как и ее муж. И можно не сомневаться, что они, если даже благосклонно примут его признание в любви к Наталье, потребуют от жениха выхода в отставку.

Готов ли он к такому шагу? И готов, и не готов... Розовый туман восторженных надежд, с которыми он около четырех лет назад отправлялся в действующую армию, уже окончательно рассеялся, и больше не вернутся обманчивые сны юности.

С каждым днем пребывания в армии он все больше приближается к взгляду Тевяшова на бесплодность службы для человека с умом и сердцем.

Так что же приводило в смущение прапорщика? В тенетах каких противоречий билась его мысль?

Рылеев боялся того, что любовь уведет его от самого себя, что он излишне много повинуется сердцу, а сердце — вечный противник рассудка — легко обращает вчерашних героев в себялюбцев, в ограниченных эгоистов, для которых мир начинается в их собственной особе и в ней же кончается. Было страшно поэту измельчить себя на пламени любви.

Ему нелегко было думать о возможной отставке и потому, что она как бы оставляла его в неоплатном долгу перед отечеством и государем; этот долг он признал за собою не по принуждению, а по велению собственной души.

Оплатил ли он, участвуя в двух великих походах и во многих сражениях, этот долг? В разное время он по-разному отвечал себе на этот вопрос. Одно для него было бесспорно: чин офицера артиллерии уже больше не пленял его. Мужество и храбрость, не раз проявленные им в бою, не были замечены, поле славы оставило в памяти горькие воспоминания. Можно проявить отвагу и на поле славы гражданской.

Но найдется ли там для него место и признание?

С думами об этом он заснул, а за открытым окном уже щебетали птицы.

17

Согласно договоренности секундантов, поединок должен состояться на Лысой горе поутру в шесть часов.

Ночь накануне поединка Миллер провел у Рылеева. Тот настоятельно советовал другу пораньше лечь, лучше выспаться, чтобы приехать со свежей головой и твердой рукой. Но Миллеру не хотелось спать. Возможно, оттого, что при всем внешнем спокойствии он не мог подавить волнения.

Они пили чай, читали стихи разных поэтов, а больше всего Державина. Потом решили все тревоги и волнения потопить в пунше...

На рассвете к хате подвели двух оседланных лошадей. Из-за края неба, как расплавленный докрасна металл,

извергалась заря, готовая затопить всю землю.

Рылеев и Миллер приехали на Лысую гору первыми, лошадей привязали к кусту краснотала, а сами отправились побродить. Выходило, будто из чистого золота отчеканенное, ослепительно пылающее солнце. Земля и небо, казалось, радовались вместе с людьми его благотворному приходу. Все окрест окончательно пробудилось, заликовало, заиграло.

«И это удивительное утро может стать последним утром моей жизни», — подумал Миллер с щемящей тоской.

Однако тоска не поколебала его решимости стреляться и не поддаваться позорному соблазну примирения.

Над горой, высоко-высоко в лазури, парила чета степных ястребов, описывая широкие круги в небе.

Миллер наказал Рылееву, что именно следует написать родным в случае трагического исхода поединка.

— Сейчас тебе, Федя, нужно только одно: хладнокровие, и еще раз хладнокровие, — посоветовал Рылеев.

С горы видно было все селение и дорога, по которой должен был ехать Сухозанет со своим секундантом. Но они что-то опаздывали. Ожидание становилось утомительным. Минуту больше часу, как они прогуливаются по горе. Ни тот ни другой не допускали мысли о том, что Сухозанет трусил и решил отказаться от поединка в самую последнюю минуту. Даже если бы дело обернулось так, то прибыл бы секундант с уведомлением об отказе.

— Уж не приехал ли начальник штаба корпуса в роли судьи и примирителя? — высказал предположение Рылеев.

— Все равно это не дает Сухозанету право нарушать условия договоренности! — в сердцах сказал Миллер. — Неужели он так малодушен? После столь постыдного отказа ему нельзя оставаться не только на службе в армии, но и среди живых — он должен будет немедленно пустить себе пулю в лоб...

Из-под камня выползла медного цвета змея и, свернувшись в кольцо, осталась греться на солнце. Ее не стали тревожить. А ястребиная чета, вспарив еще выше, продолжала описывать круг за кругом над Лысой горой.

— Два часа, как мы приехали, а их все нет, — раздумчиво проговорил Рылеев. — Что, друг мой, будем делать?

— Я сейчас еду к Сухозанету и дам ему пощечину при всех, — решился на крайнее средство Миллер.

— Стоит он этого!

— И еще добавлю плеткой...

Миллер пошел к кусту, чтобы отвязать лошадь. Но вскоре раздумал.

— Лучше дать ему пощечину не на квартире, а в присутствии всех наших офицеров и рядовых в поле, во время занятий. Так и сделаю,— решил Миллер.— Ну что ж, Кондратий, извини за беспокойство, делать нечего, поедem обратно.

— Подожди, подожди, Федя, вон кто-то скачет по дороге...— указывал Рылеев под гору.— Они! Сухозанет и Буксгеведен! Ах, мерзавцы такие, заставили ждать столько времени!

— Да, они,— сказал сумрачный Миллер и опять привязал соловую свою лошадь к кусту.

— Федя, строжайше прикажи сердцу молчать!— наставлял Рылеев.— Сейчас не время отдаваться во власть чувств и настроений. Подчини сам себя голосу хладнокровия и рассудка.

Миллер молча кивнул.

Подскакали Сухозанет и Буксгеведен. Подполковник, проворно соскочив с седла, с холодной вежливостью поклонился ожидавшим его и попросил у них извинения за досадное опоздание.

— Проспал, господа, ей-богу проспал!— сказал он.— Так нынче крепко спалось, будто душа куда-то далеко-далеко летала и там заплуталась. Мертвецки крепко спалось! А слуга и секундант не решились нарушить моего спокойствия... Будем великодушны и простим друг друга, тем более что это взаимное великодушие может стать последним нашим великодушием на этом свете. Итак, я и мой секундант к вашим услугам, господа.

Сухозанет и Буксгеведен привязали лошадей к тому же кусту, но с другой стороны.

Секунданты отошли в сторону, еще раз подтвердили один другому условия поединка, зарядили пистолеты, шагами отмерили расстояние между барьерами, развели противников по местам, подали пистолеты и жребием решили право первого выстрела.

Первый выстрел достался Миллеру. На него такая удача не произвела никакого впечатления. Он и сам не знал, что с ним происходит. Еще час назад он мечтал о счастье стрелять первым. Но в душе его к этому времени свершилась перемена, неясная для него самого.

Но что она произошла — в том не было сомнений.

Рылеев, стоявший справа от барьера, обратил внимание на вдруг изменившееся лицо Сухозанета. Оно сделалось молочно-белым, едва успели секунденты разыграть жеребьевку о праве первого выстрела. Сухозанет понимал, какое преимущество выпало на долю Миллера, одного из лучших стрелков в роте. Расстояние всего в десять шагов между барьерами теперь казалось подполковнику смертельно опасным — трудно промахнуться на таком близком расстоянии.

— Сходитесь! — в один голос сказали секунденты.

Миллер медленно пошел к барьеру навстречу бледному Сухозанету. Рука с крепко зажатым в ней пистолетом оставалась опущенной, будто Миллер забыл в эту минуту о том, зачем они съехались на этой горе. «Почему он не целится? Или решил не целясь? Со вскида? Но так рискованно... Опасно...» — волновался за друга Рылеев.

Лицо Миллера было непонятно спокойным. На нем как бы отразилась та внезапная перемена, которая может произойти в душе лишь сильного, безбоязненного человека. Зная свою беспромашность, Миллер совершенно не сомневался в том, что жизнь смертельно напуганного исходом жребия противника находится в его власти. Дистанция позволяла меткому стрелку выстрелить так, как он этого захочет. Полчаса назад он, очевидно, не задумываясь, стал бы целиться в сердце. Полчаса назад он горел желанием увидеть кровь поверженного врага, насладиться его издыханием. Сейчас предоставлялась полная возможность для исполнения такого желания, но его оскорбленная душа уже не находила себе удовлетворения в уничтожении чужой, пускай и ненавистой жизни. Убийство себе подобного, еще недавно казавшееся лучшим и единственным средством в защите своей чести и достоинства, представлялось отвратительным, гнусным, не сулящим ни успокоения, ни удовлетворения. Он медлил с выстрелом и желал в эту минуту лишь одного — примирения. А бледный Сухозанет видел в нем лишь неотвратимо надвигающуюся смерть.

Рылеев в полной растерянности следил за каждым движением Миллера, не понимая, что с ним происходит.

У самого барьера Миллер поднял пистолет и, не целясь, сделал выстрел под углом вверх — этого благородного поступка не мог не заметить секундент Сухозанета...

Выстрел будто оледенил кровь в жилах подполковника, он не сразу поверил в то, что остался жив и невредим, что теперь к нему перешло право ответного выстрела. Страшный испуг помешал ему заметить сознательно мимо него направленный удар.

Рылеев не сомневался в том, что Сухозанет, при всем его волнении, оценит по достоинству благородный жест прапорщика и на безопасный выстрел ответит таким же безопасным выстрелом.

— Ваша очередь! — напомнил Буксгеведен.

Сухозанет стал наводить пистолет. Рылеев понял, что он целится прямо в сердце Миллеру, который стоял грудью к врагу. «Сухозанет решил поединок свести к палаческой расправе», — мелькнуло в голове Рылеева. Но он уже не имел никакой возможности что-либо изменить.

К чете парящих над горой ястребов присоединилась другая крылатая чета, прилетевшая из-за леса с того берега.

Раздался выстрел. Будто кто-то невидимый сильно толкнул Миллера в левое плечо, он всем корпусом пошатнулся влево, но устоял на ногах. Рылеев бросился к нему... Из левого рукава прапорщика струей хлестала кровь, такая же струя била из-под мундира слева и выше соска... Рылеев сразу не разобрался, куда был ранен Миллер — в грудь или в руку.

Напуганные выстрелом ястребы улетели прочь от горы.

Сухозанет с опущенным дымящимся пистолетом в руке, наклонив голову, стоял у барьера, не отдавая себе ясного отчета в том — плохо или хорошо он сделал.

Секунданты, сняв мундир с раненого и усадив его на траву, лоскутьями изорванной нижней рубахи перевязали рану.

Время, аптечные лекарства или настой чемерицы, к которому по совету муравьевского оброчного мужика прибегал Павел Пестель, наконец-то помогли ему залечить рану. Он еще слегка прихрамывал, при ходьбе раненая нога уставала значительно быстрее, чем здоровая, но это обстоятельство его не пугало. Хуже было дело, когда приходилось танцевать: многие повороты, наклоны, движения уже не давались ему с той легкостью и пластичностью, какие выгодно отличали его танец

прежде. А танцевать он любил. Сцепив зубы, чтобы приглушить боль в поврежденной ноге, он пускался в круговорот кадрили и кружился весело и легко, делал все необходимые фигуры безукоризненно, и те, кто наблюдал за ним со стороны, и сама дама, танцующая с ним, не замечали, чего ему эта легкость стоит.

С полкового бала, что давал генерал-адъютант Яков Потемкин в штабе полка на углу Гороховой и Фонтанки, Пестель вышел вместе с Сергеем Муравьевым-Апостолом. Оба были возбуждены не столько шумным балом и бесконечным множеством здравниц, прозвучавших в эту ночь, сколько тем откровенным, захватывающим разговором, который велся здесь. Это был разговор верных единомышленников. На смену офицерской артели, на смену беспорядочно шумным собраниям в гостиных пришло первое по-настоящему тайное общество — Союз спасения, он же — Общество истинных и верных сынов отечества. Союз спасения начал обретать организационные формы и набираться сил. Ядром его осталась бывшая офицерская артель Семеновского полка. К этому ядру потянулись лучшие из офицеров. Руководили тайным обществом организаторы Союза Павел Пестель, Сергей Трубецкой, Федор Шаховской, Михаил Лунин, Илья Долго-руков, Михаил Новиков, Иван Якушкин, Никита Муравьев, Александр Муравьев. После ряда собраний, на которых много говорили о целях и путях Союза спасения, было поручено Павлу Пестелю написать Устав Союза спасения, как программное руководство к действию.

Этой-то почетной работе и отдался Павел Пестель с присущей ему пылкостью и точностью. Работал над Уставом каждый день. Если даже поздно возвращался от друзей или с бала, как сегодня, то все равно извлекал из подушки заветную тетрадь. Подушка стала тайником, где хранил Пестель важные политические документы нового общества.

— Как подвигается Устав? — спросил Сергей.

— Зайдем ко мне, послушаешь, — пригласил Пестель. — Вчера закончил вчерне ту часть, в которой определены рекомендации рядовым членам...

— Раздел очень и очень важный, — сказал Сергей Иванович. — Как бы ни был искусен Верховный Совет боляр нашего Союза спасения, но если он не будет опираться на деятельных рядовых членов, то все наши благие упования останутся на бумаге.

— Бесспорно!

— И в то же время, Павел, надо избежать резкого деления на посвященных и непосвященных во все важнейшие политические дела нашего общества,— предостерег Сергей.— Дух аристократизма надо решительно изгонять из любого политического общества, если оно всерьез полагает добиться успеха.

— Что ж, и в этом ты прав.

Они подошли к дому, который принадлежал отцу Пестеля. Павел имел квартиру в офицерских казармах, но этот месяц жил у отца — здесь ему удобнее было работать над Уставом. В прихожей их встретил слуга, они сбросили ему на руки шубы и поднялись наверх.

В кабинете, полном книг, у стены стоял кожаный диван. Он был накрыт пуховым одеялом, а сверх одеяла лежали три пышные подушки в алых шелковых наволочках, украшенных русскою вышивкой. Пестель выдернул нижнюю подушку, ножницами начал осторожно с уголка потрошить ее чрево, сделал лаз, запустил в мягкое перо руку и вытащил оттуда тетрадь с прилипшими к ней перышками и пухом. Дунул на тетрадь — пух взлетел в воздух и медленно опустился на ковер.

На письменный стол из белой карельской березы Пестель поставил запотевший пузатый кувшин с холодным клюквенным морсом, две кружки и поставец с сухарями. Сергей с удовольствием выпил кружку и начал хрустеть сухарем, рассыпавшимся и таявшим на его крупных, плотных, белых, как снег, зубах.

— Я, Сергей, считаю, что на первых порах нашего бытия, пока общество не накопило необходимый опыт, мы должны ограничиться воздействием на умы и приобретением новых членов,— прочитав несколько уставных правил, пояснил Пестель.— С этим моим мнением согласны все — и Бурцов, и твой брат Матвей, и Никита Муравьев, и Катенин, и братья Калошины, и Шипов, и Трубецкой...

— А как думают Илья Долгоруков и Федор Шаховской?

— Оба они, как члены статутной комиссии, не возражают.

— Читай дальше...

Пестель читал ту часть Устава, в которой подробно излагались обряды приема новых членов в Союз спасения. На лице Пестеля то появлялась, то пропадала лу-

кавая улыбка, будто читающий что-то видел между строк, но не хотел об этом поведать слушающему — мол, догадайся сам. А следующий все больше хмурился и наконец сказал с явным неодобрением этой части:

— Слишком торжественно, Павел, ну, совсем как у масонов. Еще не хватает только священно-артельских синих шаровар и поясов с кинжалами. Зачем нам эти игрища? Пускай ими тешатся бесплодные старики, иссушившие слабый свой ум на сочинении масонских правил и обрядов. Неужели, Павел, ты не чувствуешь всей ненужности таких украшательств?

— Я это делаю сознательно, Сергей, для маскировки, для того, чтобы легче сбивать со следа полицейских ищеек, — возразил Пестель. — Масонская обрядность нам на пользу! Я думаю ввести как обязательное правило многоступенчатую клятву...

— То есть?

— Первое: вступающий дает клятву сохранить в строжайшей тайне все, что ему будет сказано, если он не согласен с мнением нашего Союза.

— Я не возражаю против такой клятвы.

— По вступлении в наше общество каждый дает вторую клятву. Словом, каждая ступень, не исключая старейшин, должна приносить особую клятву.

— И все это в сопровождении торжественного обряда?

— Думаю, что да.

— Смотри, Павел, тяжеловесность масонского священнодействия не оттолкнула бы от нас людей серьезных, которым претит такая пышная театральность.

— Я думал об этом. Пускай жар-птица революции русской, пока отрастают ее крылья и укрепляются маховые перья, предстанет перед неискушенными в виде безобидно каркающей вороны в пестром масонском оперении. Для начала не страшно. Масоны, с их уставами и обрядами, настоящая находка для нас, лучшего и не придумаешь. Потому-то я и подгоняю под масонские некоторые наши уставные правила! Мы будем из масонских лож черпать полезных для нашего дела людей, таких, как братья Чаадаевы; одних держать на примете, других нечувствительно, но усиленно готовить для открытия им нашей тайны. Еще нам надо отвоевать и сделать своим филиалом Вольное общество любителей словесности, — разворачивал программу действий Пестель. — В настоящем его виде это Вольное общество

плывет без руля и без ветрил... Хорошо бы посадить туда рулевым умного человека. Федор Глинка подошел бы для такой роли. Кстати, каковы виды на Глинку?

— Глинка уже наш! Вопрос о его вступлении недавно решен Матвеем в моем присутствии,— сообщил Сергей.

— Отлично! — Пестель тряхнул головою и полистал тетрадь.— Ну что ж, послушай дальше. «Каждому члену Общества вменяется в обязанность приискывать людей, способных и достойных войти в состав Общества. О таковых следует давать заранее Обществу знать, чтобы можно было собрать о них каждому члену сведения. Не удостоверяться о достоинствах и доброй нравственности их по одним слухам, но стараться изыскивать средства испытывать их. Самим членам вести себя и поступать во всех отношениях как по службе, так и в частном быту таким образом, чтоб никогда не заслужить ни малейшей укоризны».— Перекинув лист тетради, Пестель спросил: — Как находишь? Эту главу я оттачивал вместе с Матвеем и Никитой Муравьевыми.

— Хорошо отточили, полностью одобряю! Тут не обряды, не форма, а само существо дела,— похвалил Сергей.— Можно еще вот что добавить по разделу практических действий. Каждый член Тайного общества должен порицать Аракчеева и Долгорукова, военные поселения, рабство и палки, леность вельмож, слепую доверенность к правителям канцелярий, жестокость и неосмотрительность уголовной полиции, крайнюю небрежность ее при первоначальных следствиях. Необходимо также добиваться всеми способами открытых судов. Ведь закрытый суд в государстве — это первый и вернейший признак абсолютного бесправия людей, закоренелой азиатчины, тиранства...

Пестель тотчас записал на полях слова Муравьева-Апостола.

— Потом,— сказал он,— внесем твое предложение в основной текст. Теперь еще один немаловажный вопрос. Непременно надо, чтобы у тех, кто будет руководить нашим Союзом, имелось ясное представление об его облике и конечных целях. Цель наша: уничтожение крепостничества и установление конституционной монархии. Союз наш — организация от начала и до конца революционная. И могущие в нем происходить перемены, которые относятся к его устройству, не должны изменить или отклонить его революционного направления. В этом суть

Устава. Впрочем, на первых порах о нашем радикализме пускай знают немногие. Остальным можно глухо объяснить, что целью Общества является введение нового порядка в управлении.

Сергей задумался и, после продолжительного молчания, проговорил:

— Пойдет ли на пользу Обществу такая двойственность Устава: полная ясность целей для немногих и нарочитая неясность для многих?

— Мы начинаем дело, до нас никому не ведомое, ошибки неизбежны,— ответил Пестель.— Но приходится считаться с фактами—уже сейчас есть признаки расщепления в Обществе...

— Ты имеешь в виду отход от нашего дела Александра?

— Не принимай мои слова буквально...

Сергей, взволнованный, встал, прошелся по кабинету из угла в угол. Остановился перед Пестелем, спросил:

— Какие у тебя доказательства относительно его отступничества?

— Он уже заговорил о программе медленного влияния на мнения,—с раздражением ответил Пестель и, взяв со стола курительную трубку, начал набивать ее табаком.

— Это недоразумение,—убежденно сказал Сергей.— Александра я знаю, он никогда не отшатнется... Да и как ему решиться на такой безрассудный шаг? Не вместе ли с нами он закладывал основы Союза спасения? А если что-то не так сказал—это понятно. Сейчас у него голова кругом оттого, что он безумно влюблен... Любовь... Любовь... Любовь... Вот чем он бредит последнее время...

— А ты разве не влюблен? А мне разве чуждо это великое чувство? Нельзя любовь делать ответственной за то, за что должен отвечать сам, и только сам,—встав из кресла, жестко отчеканил Пестель. Вокруг губ его легли складки, он точно постарел на много лет.— На любовь взваливают все свои проступки лишь люди ветреные, непостоянные и малодушные. Да едва ли и доступно им чувство настоящей любви?..

— Павел, перестань так говорить об Александре!—вдруг вскипел Сергей.—Еще одно непочтительное слово о нем—и я брошу к ногам твоим перчатку...

Бледные, они стояли у стола лицом к лицу. Оба

непреклонные, оба до безумства гордые и безрассудно решительные... Пестель безотчетно выдвинул ящик стола, в котором лежали два заряженных пистолета, и поспешно задвинул, устыдившись...

— Я обязан сказать все до конца... И не одно слово...— Пестель взялся за кувшин, но от чрезмерного волнения плеснул мимо кружки на письменный стол.— Впрочем, давай сегодня на этом кончим. Мы понимаем друг друга. Мы не имеем права приносить в жертву сердечным вихрям дело, принадлежащее не только нам с тобою.

— Павел, возьми обратно оскорбительное слово об Александре Муравьеве,— исступленно проговорил Сергей.— Возьми, прошу тебя.

Пестель с минуту глядел прямо в глаза возмущенному штабс-капитану.

— Подчиняюсь голосу рассудка и беру обратно. Но боюсь, Сергей, не пришлось бы тебе после раскаиваться в том, на чем ты так неотступно настаиваешь сейчас... Уже светает,— Пестель отдернул штору.

За окнами еще дремал туман над безлюдными улицами. Сергей Муравьев-Апостол вышел из квартиры Пестеля и взбудораженный, и в чем-то не уверенный. Неуверенность была порождена сдержанно-спокойным предостережением Пестеля. Нет, не хотел Сергей верить в то, что Александр Муравьев окажется рыцарем на час, не та порода, не те корни, да и характер Александра никак нельзя сравнить с характером его брата Николая, легко увлекающегося от избытка энергии и неизрасходованных сил молодости.

Сергей шагал вдоль Невского, любовался величественно-сказочным в этот ранний час городом. Вдруг он увидел на другой стороне проспекта Александра Муравьева и его брата Михаила. Они прогуливались, не замечая никого и ничего.

Муравьев-Апостол подошел к ним, поздоровался, дальше они отправились вместе. Когда поравнялись с подъездом дома Муравьевых, Сергей попросил Александра задержаться на минуту. Они остались вдвоем.

Не открывая всего недавнего разговора с Пестелем, Сергей намекнул другу насчет того, что он охладел к общему делу.

— Я не охладел, Сергей, это неправда! — пылко возразил Александр.— Но я весь во власти той, чье имя —

ангел небесный! Я безропотный и покорный раб ее... И какое же блаженство вкусить такого сладкого рабства... Я никогда не знал, что так всевластна над нами любовь... О, сладчайшая тирания любви!.. Я решился просить ее руки и трепещу в ожидании окончательного ответа...

— Почему трепещешь?

— Ответ может быть разный...

— Но я верю, что в жертву любви не будет принесено то, что превышает всякой жертвы?

— Я готов на любую жертву! — выпалил Александр Николаевич. — Отказ для меня будет равносильен смерти, он сделает мое существование бессмысленным.

— Стыдись... Ты носишь чин полковника, ты муж, прошедший сквозь ад войны, а не юноша семнадцати лет, — упрекнул Муравьев-Апостол. — Надеюсь, ты не открыл своей невесте нашей тайны?

— Тайна сохранена и сохранится, Сергей, но ее родителями поставлено железное условие, роковое для меня условие: или... или...

— То есть?

— Или — она, или — Тайное общество.

— Значит, ты открыл нашу тайну?

— Только намекнул.

— Ты и этого не имел права делать...

— Позволь? Как не имел права? — удивился Александр. — Не могу же я, женившись, сказать: моя жизнь, мое сердце, моя душа принадлежат не супруге, не семье, и я невластен сам над собой. Извини, но я так никогда не сделаю, это бесчестно.

— Но ты же, Александр, добровольно начинал вместе с нами...

— Начинал... Но всего предвидеть невозможно.

— Я понял так: если невеста или ее родители потребуют от тебя променять дело нашего Общества на узы Гименея, то ты променяешь?

Александр ответил молчанием, и это начало бесить Муравьева-Апостола.

— Променяешь?

— Ты, Сергей, был влюблен хоть раз так, как влюблен ныне я?

«Влюблен», «влюблен»... Любовь удесятерит мои силы, мою готовность не задумываясь, без малейших колебаний отдать все делу, которому мы посвящаем себя!

— Я — ослепленный счастьем пленник! Сергей, не задавай мне таких вопросов и не требуй ответа на них. Верь одному: Александр Николаевич Муравьев, что бы там с ним ни случилось, не сделает бесчестного поступка: не предаст, не продаст, не выдаст...

— Этого мало, Александр, слишком мало для коренного члена Союза спасения, одного из его основателей, — как приговор прозвучали слова Сергея. «Как скоро сбылось твое пророчество», — мысленно обратился он к Пестелю. Кивнул Александру: — Прощай.

Они расстались без прежней товарищеской теплоты.

А пробужденный Петербург уже шумел из конца в конец.

19

Из пепла и праха, с быстротой удивительной, возрождалась сожженная Москва после наполеоновского нашествия.

Откуда только что бралось! За какие-нибудь пять лет, прошедшие со дня изгнания французов, на многие и многие версты вокруг опаленного Кремля уже белели вновь возведенные и возводимые дома, роскошные дворцы, храмы, палаты. Неискоренимый город с истинно богатырской силой рванулся ввысь и вширь. На смену сгоревшей деревянной шла Москва каменная, с обновленными дворянскими усадьбами, садами, парками, аллеями.

Победоносная Россия двинула под кремлевские твердыни армию каменщиков, землекопов, плотников, печекладов, кирпичников, штукатуров, столяров, кузнецов, кровельщиков, колодезников, краснодеревцев, маляров, лесорубов, стекольщиков, позолотных дел мастеров. Огромный город, изрытый котлованами и канавами, рыжевший на солнце вывороченным суглинистым чревом, одетый в пахнувшие смолой леса, был гигантской новостройкой.

Могучие руки, вчера оборонявшие древнюю столицу, ныне были озабочены ее украшением. Из всех губерний, ближних и отдаленных, пестрыми толпами шли и шли крепостные и вольноотпускные оброчные мужики, умеющие делать все на свете.

У подножия Воробьевых гор, близ голубеющих капустой полей, на обширной, расчищенной пожаром ложбине вокруг неприступного Новодевичьего монастыря, под гус-

лярный перезвон владимирских и ярославских топоров, под возбуждающий шорох пил вырастали не по дням, а по часам опрятные новые домики простолюдинов. Низалась улица к улице, улицы сливались в посады, в слободы.

По мужицкой терпи-спине, считая выпуклые ребра под самоткаными рубахами, прошагали несметные горы кирпича и железа, прокатились смолянистыми кряжами неоглядные костромские и тверские леса. Поднялись они с мужицких плеч до подоблачья и встали колокольнями, дворцовыми сводами, куполами, крестами, бойницами, башнями.

По неггибаемым тем плечам и спинам вволоклись на головокружительную высоту соборных звонниц тысячепудовые медные исполины — знаменитые московские колокола с «малиновым звоном», отлитые по суздальско-ростовскому «секретцу», — чтобы колоколо, когда нужно, пело, а когда и рыдало набатом на всю Россию.

С весны в Москву по велению царя-победителя начали прибывать избранные офицеры от всех гвардейских полков — осенью ожидалось торжество по случаю начала разгрома наполеоновских полчищ; началом этим явился день отступления французов из Москвы. Ожидали небывалый военный парад. Говорили там и сям, что Александр в связи с приближающимся пятилетием примет участие в церемонии по закладке на Воробьевых горах собора-памятника в честь погибших воинов.

Старая столица, с ее хотя и чопорным, но патристически настроенным дворянством, возбужденным рассказами о новых и новых благоволениях государя иностранцам всех положений и рангов, долетавшими из Варшавы слухами о том, что якобы Александром окончательно решено отдать Польскому королевству Литву и Малороссию, в ожидании приезда царского дворца волновалась, роптала, негодовала, злословила, поносила венценосца и его приближенных. Разным толкам не было конца.

Этот глухой ропот не сулил восторженной встречи царю.

В гостиной Тевяшовых было тепло, светло и тихо. Рылеев, свободный от строевых занятий, наслаждался беседой с возлюбленной. Они были счастливы. Оба ждали

от жизни столько радости, что ее хватило бы не на один век. Тевяшов уже считал Рылеева чуть ли не членом семьи. А того нет-нет да и терзало тайное беспокойство. Мать почему-то задерживалась с решительным ответом, а без ее согласия на женитьбу сына все надежды и мечты могли рухнуть. Он догадывался, почему мать медлит с ответом, и догадка была безотраднa.

Присев с гитарой на софу, Наташа взяла несколько аккордов. У нее был отличный слух и приятный голос, близкий к драматическому сопрано, но на людях она не отваживалась петь. Рылеев стоял перед нею и вполголоса напевал посвященный ей романс собственного сочинения.

Как счастлив я, когда сижу с тобою,
Когда люблюся я, глядя на тебя...

Пение прервал стук в дверь. Вошел денщик Ефим и подал Рылееву только что доставленное с местной почты письмо.

— От матушки! Наконец-то! — держа перед собой нераспечатанное письмо, воскликнул Рылеев. — Наталья, друг мой... О, как много я жду от этого письма.

Струны гитары перестали звучать. Наталье было понятно его волнение, она ждала ответа из Батова с не меньшим трепетом.

Рылеев распечатал письмо. Прочитал. Помрачнел.

— Неприятности? — прижав к груди руку, Наталья поднялась с софы.

— И сам не разберусь...

— Можно мне заглянуть в письмо?

— Могу ли я тебя, мой друг, держать в неведении? Но, прости меня... Я не хочу тебя огорчать.

— Что в нем, Кондратий? О чем оно?

— О тебе и обо мне... О нашем будущем... Тяжелое письмо, — ответил он, целуя черные ее локоны.

— Я не огорчусь.

— Я в нерешительности, милая моя... Не знаю: показывать иль не показывать письмо это родителям твоим... Дай мне остаться одному.

Наталья не препятствовала его желанию. Он остановил ее у порога.

— Не уходи... Смешно: хотел скрыть от тебя печальную правду. Но не могу, ты должна все знать... Обо мне и о моей семье... Знать больше, чем знала до сих пор. Вот

что пишет мне мать моя Анастасия Матвеевна... Читай сама...

Он сел на софу и, передав письмо Наталье, стал следить тревожным взглядом за выражением ее лица.

«Друг мой, Кондратий Федорович,— вслух читала Наталья,— что пишешь в рассуждение женитьбы, я не запрещаю: с богом, только подумай сам хорошенько!! — обрадованная Наталья прервала чтение, чтобы поцеловать Рылеева в лоб. Затем опять обратилась к письму: — Жену надо содержать хорошо, а ты чем будешь ее покорить? В имении только что и можно продать один овес; и то не более как пятьдесят четвертей... Удивляюсь я, что тебе наскучила военная служба. Что ты будешь делать в деревне? Чем займешься? Скоро все тебе наскучит, и сам будешь жалеть, что скоро поспешил отставкою; можешь и женатый служить... Посуди хорошенько, чтоб не сделать Наташу несчастной, и родителей ее не заставляй раскаиваться, что они дочь свою милую отдали за тебя...— Наташа читала, а по щекам ее катились крупные слезы. Она плакала от какого-то непонятного, впервые посетившего ее сердце чувства, одновременно и легкого, и тяжелого...— Ты говоришь, люблю ее и надеюсь, что любовь продолжится вечно. Ах, друг мой, ты еще не знаешь, какая это птица — любовь! Как прилетит, так и улетит. Покойный отец твой говорил мне: вечно любить тебя стану — и его любовь улетела... Женитьба твоя меня не огорчает, а что ты выходишь из службы, то меня поразило...»

Наталья вытерла платочком глаза.

— Мать у тебя мудрая... Я люблю ее и хочу, чтобы и она меня полюбила.

— Я должен показать это письмо твоим родителям,— сказал Рылеев.

— Потом... Потом... Зачем показывать?

— Я чувствую себя обязанным так поступить.

— Ничто меня не может разлучить с тобою,— уверяла Наталья, приглаживая пальцами темные волосы на его голове.

Они до вечера просидели в гостиной рука в руке. Не раз перечитали письмо и вслух, и про себя. И каждое такое чтение для обоих было радостно. Суровость и прямота суждений матери были для них благотворнее сладкой лжи. Поначалу огорченный и расстроенный, Рылеев теперь понял, что мать прислала прекрасное письмо.

Такое письмо способна написать лишь поистине мудрая женщина, повидавшая в своей жизни и плохое, и хорошее. Она не унизила ни себя, ни сына своего, ни невесты, ни ее добрых, доверчивых родителей, она помогла сыну с достоинством рассказать невесте о крайне стесненных материальных возможностях, чтобы потом не грызло душу раскаяние. Любовь нерушима, если она не дрогнет перед самым страшнейшим испытанием — бедностью. И вот к этому-то испытанию ту и другую сторону мать издалека подвела своим письмом. Откровенность — первый признак доброй и честной души.

Рылеев не преуменьшал трудностей, что ждут его с уходом из армии. Он отдавал себе ясный отчет в том гнете, какой обременит его душу на второй же день после свадьбы, когда ему придется думать не о роскошестве и удовольствиях, а о хлебе насущном для своей семьи. Он смотрел на свое будущее с холодной рассудочностью человека, который без самонадеянности верит в силы своего духа и ума. Прапорщик опасался вмешательства дяди, генерал-майора Рылеева, в его дела. Для таких опасений у жениха были основания: дядя, конечно, будет недоволен решением племянника смолodu выйти в отставку и сделает все для того, чтобы помешать ей. Для такого шага у генерал-майора Рылеева имеются возможности: он бывает настойчив в достижении цели, он может обратиться через генерал-адъютанта Волконского прямо к государю, и государь послушает его.

Над Белогорьем столбами поднимался белесый дым — жарко топились печи. На улице трещал мороз и снег скрипел под сапогами. По случаю сильных морозов полевые учения во всех ротах и батареях были отменены. Офицеры коротали время кто как умел: отсыпались по квартирам, резались в карты, часами сидели в белогорской харчевне, которую батарейцы в шутку прозвали рестораном «Три курляндца, три лифляндца».

1818 год уходил в вечность по несокрушимым ледяным мостам, что соединили берега реки и всех ее притоков. В штаб-квартире готовились к переходу на новые квартиры в соседнюю губернию, но эти сборы не могли разогнать скуку, под гнетом которой изнывал гарнизон в глухую зимнюю пору.

В харчевне над крутым берегом Северского Донца, сдвинув два стола, сидели офицеры и говорили обо всем,

что только говорится, чтобы занять время: о морозе, о квартирных хозяевах и хозяйках, о здешних свадебных обрядах, об украинских всемогущих колдунах и ведьмах, о проделках корчемников, о масонских ложах в Петербурге и Москве, об ограниченности воронежского дворянства, что омужинилось до неузнаваемости, сидючи по своим берлогам, о слухах относительно всеобщего преобразования всех русских сел и деревень в военные поселения, о краже якобы какими-то морскими пиратами мятежного Бонапарта с острова Святой Елены, о феноменальном взяточничестве воронежского генерал-губернатора Глинки, родного брата известного сочинителя полковника Федора Глинки, о ропоте чугуевских поселенных казаков, о новых покроях мундирных сюртуков, что вошли в моду этим летом в столице, о белогорских недоступных красотках, подглядывающих за неженатыми прапорщиками, подпоручиками и поручиками из окон, затененных кружевными занавесками, о низкой плате офицерам за их службу, об отупляющей шагистике и дисциплине, о попойках и проделках скучающих офицеров в соседних ротах, да мало ли еще о чем...

Рылеева в харчевне не было, и Федя Миллер, оправившись после ранения на дуэли, скучал без него. Некому было придать беседе остроту и содержательность, как это умел делать Рылеев.

— Еще три денька осталось, Косовский,— и — прости-прощай Белогорье,— заговорил мечтательно Миллер.— Переходим в Курскую губернию в Рыльский уезд... Как-то встретят нас куряне?..

— Точнее: как-то встретят нас курянки? — подхватил Косовский.— Курянки ведь тоже казачки? Кто знает? Никто?.. Плохо...

— Каково-то легко будет расставаться Рылееву со своей возлюбленной ученицей? — лениво протянул Унгерн-Штенберг.

— Он же в отставку подал,— сказал Косовский.

— Отставка снова не принята! Дядя воспрепятствовал,— весело возвестил Гордовский, считавшийся в батарее самым осведомленным по части сплетен.

Буксгеведен уныло проямлил:

— Не принята отставка? Жаль... Жаль... Стихотворцу не место во фрунтовой службе — закваска не та... Слов много — дела мало... Давайте поможем ему уйти в отставку...

— Я протестую, Буксгеведен, против ваших колкостей! — вспыхнул Миллер. — Рылеев — мой друг, и вы не смеете о нем так говорить при мне!

Буксгеведен, как неживой, медлительно повернул короткую шею, чтобы поглядеть на Миллера, сидевшего на той же скамье, с краю стола. Буксгеведена опередил Марков.

— А кто над вами, немцами, больше всех издевался все эти годы? Кто? — обратился он к Миллеру. — Рылеев. Чьи это забавы:

Три курляндца, Три лифляндца —
Батареи нашей цвет,
Да три русских иностранца,
Да еще Сухозанет...

— Уж если Рылеев и издевался над кем, то не над немцами, а над дураками, — не давал в обиду своего друга Миллер. — К тому ж, если хотите знать, сия безделка не принадлежит Рылееву.

— Нет, нет, Миллер, — вмешался Буксгеведен, — твой Рылеев нерадивый и беспечный офицер.

— Замолчите, капитан! — повысил голос Миллер.

Неизвестно, чем бы кончилось препирательство, если бы вдруг не появился на пороге харчевни Рылеев с журналом в руке. Ему навстречу поднялись Миллер и Косовский.

Обняв друга, Миллер сказал:

— Дни блаженства твоего кончаются — первого января наша батарея переходит в Курскую губернию.

— Отныне блаженство мое вечно! Я уже свободен! Отставка, вот она! — Рылеев потряс над головой журналом «Русский инвалид». — Я к вам заехал попрощаться!

Батарейцы, оставив стол, окружили счастливец.

Косовский, дав всем высказать приличествующие случаю слова, обратился к Рылееву:

— А скажите-ка, любезнейший Кондратий Федорович, довольны ли вы вообще своей судьбой, которая, кажется, лелеет и хранит вас на каждом шагу?

— Отчего же не быть довольным, когда она так милостива ко мне, — улыбнулся Рылеев. — Но судьба каждого из нас, взятая отдельно, ничто в сравнении с судьбою отечества. Я убежден, что она никогда не перестанет

покровительствовать тому, кто хочет способствовать достижению Россией славной цели.

Буксгеведен скривил губы в высокомерной улыбке, спросил:

— В чем же заключается эта цель?

— Да, пожалуйста, откройте нам! — подсоединился к нему Штрик. — Или одному, по выбору вашему, из товарищей... Хотим быть просвещенными...

— Не откажите, — паясничая, поддержал Штрика Мейндорф. — Возможно, ваша цель воспламенит и нас.

Рылеев испытующе смотрел в лица спрашивающих и молчал.

— Но вы опять безмолвствуете, — развел руками Штрик.

— Он всегда был скрытным и удалялся от товарищей... Почти все шесть лет, — бросил упрек Буксгеведен.

— Не ото всех скрытным! — яростно возразил Миллер.

— И не всегда! — поддержал Штенберг.

— Службы никогда никакой не нес, — глядя куда-то в пространство, сказал Мейндорф.

— Да еще издевался над нами: зачем каждый из нас нес службу вдвойне — и за себя, и за его благородие, — явственно задирался Буксгеведен.

Федя Миллер не мог понять, почему отмалчивается его безбоязненный друг, почему не дает сдачи? За сдачей и ответным ударом дело не станет у Рылеева, если кто несправедливо затронет его.

— Неправда! — воскликнул он. — Неправда, Буксгеведен! Кондратий исправно нес службу. Бессмыслицу нашей службы он ругал, это правда.

Рылеев пребывал все в той же спокойной позе, молча взирая на друзей и недругов, будто не слышал ни похвальных, ни осудительных отзывов о нем. Косовский попытался вызвать его на разговор:

— Я ныне не узнаю вас, Кондратий Федорович, куда девался ваш огонь, ваш пыл? Где ваше красноречие? Мы все помним: вы возражений не терпели... А нынче? Что с вами?

Но и эти слова не отомкнули уст Рылеева.

— Я думаю так, господин Рылеев: если предопределение судьбы до сего времени не совершилось еще над вами, то этим вы обязаны счастливому случаю, — опять вмешался Штрик. — Может быть, та же судьба ожидает, чтобы вы проверили себя. Если вас миновали пули, это

еще не дает вам права идти слепо, на авось. Согласитесь же, ведь редко кому приходится отделаться так счастливо, как вам?!

Буксгеведен с иронией вторил Штрику.

— Должно думать, что господину Рылееву предназначается другая, лучшая, смерть как избранному судьбы,— с иронией добавил Буксгеведен.— Не правда ли?

— Хорошо, очень хорошо вдруг почувствовать себя победителем над теми, кто хотел видеть тебя побежденным! Я победил вас, господа,— быстро и решительно проговорил Рылеев и, присев к столу, продолжал: — Вам хотелось задрать меня и вызвать на скандал. Так вот, друзья мои, нынче скандала не будет. Я выслушал всех вас терпеливо, даже излишне терпеливо, чем немало удивил господ Штрика и Буксгеведена, теперь дайте мне слово. Вижу, господа, что вы остаетесь по сию пору в том же заблуждении, что и раньше. Я не однажды повторял и еще раз повторю: свободомыслие для истинного гражданина дороже жизни. Долг каждого — помогать скорее пережить тьму, в которую погружена голодная, бесправная Россия. Я верю в будущее! Без такой веры жизнь не только уныла, скучна, но и бессмысленна. Счастье каждого из нас должно влиться каплей в океан общего благоденствия. Не сомневаюсь, в будущем России ждет величие, ее подданных — счастье. Но это произойдет не раньше, чем изменятся устаревшие законы, расцветет просвещение, нравственно усовершенствуются служители государства, уничтожатся лихоимство, произвол, жестокость, насилия, от которых изнемогает отечество. Первейшая задача — удалить от власти людей, подобных Аракчееву...

— Кого же вы хотели бы посадить на место удаленного? — поинтересовался Буксгеведен.— Уж не Мордвинова ли?

— Сначала надо удалить, а уж потом ставить,— ответил Рылеев.— Я не Марат и не Робеспьер и не собираюсь никого пугать. Я хочу удовольствоваться самой скромной ролью — служить людям, бороться с невежеством и лихоимством, защищать законность и быть сострадательным к ближнему.

— И все? — удивился Мейндорф.— Но вы же всегда не уставали говорить, что Россия стонет от казнокрадов, от попов, от городничих, и изъявляли готовность свертывать им головы... Отдумали?

— Не отдумал. Да, непросвещенная Россия стонет от казнокрадов и от городничих! Да, все наше судопроизводство — насмешка, издевательство над законом и над личностью. Да, вся наша государственная администрация — главный источник зла, развращенности, разложения, гниения! Верно и то, что гниение в нашем отечестве всегда начиналось с головы, корни же у нас здоровые, жизнеспособные, полные сока. А все, что гниет на здоровом теле, обыкновенно удаляют путем отсечения...

— Все ваши помышления, Рылеев, всегда к безумству были склонны, — бросил Буксгеведен.

— Повинуясь голосу честолюбия и желая оставить свое имя в памяти потомства, вы, вероятно, заранее обрекли себя на все смерти, — посмеиваясь, сказал Мейндорф. — Очевидно, размышления о смерти занимают у вас много времени?

— Я меньше всего думаю о том, где, когда и как я умру, господин Мейндорф, но это вовсе не значит, что моя голова подражает вашей и с детства ни о чем не думает...

Слова Рылеева были встречены смехом. Когда же воцарилась тишина, Буксгеведен спросил:

— Вы счастливы, господин Рылеев?

— Да, я счастлив!

— Так научите же и нас быть счастливыми!

— Влюбитесь так, как я влюблен...

Новый взрыв смеха разрядил обстановку.

— Друзья, забудем споры, диспуты и несогласия! — обратился к сослуживцам Штейнберг. — В честь скорого отъезда нашего друга Кондратия Федоровича Рылеева — прошу поднять бокалы.

Выпили до дна. Рылеев погрузнел. Когда же наполнены были бокалы, он встал и ответил на здравицу:

— Час расставания с друзьями — самый грустный час. Бог знает что ждет нас там, за далью лет. Встретимся ли когда-нибудь? Господа, я считался несколько лет вашим сослуживцем... Но, кажется, был скверным слугою царю. Вы, возможно, поделом не любили меня как ленивца, но, признаюсь, я любил вас всех, кроме двух... Мы не сошлись с самого начала. К тому же я не замечал со стороны их желания сойтись со мною... Но — довольно. Сдвинемте бокалы! Надеюсь, при встрече со мною

никто из вас не откажется подать мне руку, как старому камраду; объятия ж мои всегда отверсты для каждого из вас. Конечно, жалею сердечно, что вы не хотели понять меня... Впрочем, пусть оно и так! По крайней мере, не забывайте тех слов, которые много раз мною высказаны были перед вами!

Сдвинутые бокалы зазвенели примирительно и дружественно.

— Мы горячо любили и любим тебя! — Миллер обнял и расцеловал Рылеева.

Штейнберг прослезился:

— Ты вечно будешь в памяти, в душе моей... Не забывай же и меня, я ценю твою дружбу и горжусь ею.

Растроганный до глубины души искренностью сослуживцев, Рылеев сказал на прощанье:

— Легко может статься, пройдет несколько лет — и все изменится к лучшему... Я это чувствую и не теряю надежды на перемену. Ну, вот и все... Прощай, родная батарея... Прощайте, друзья, товарищи боевые, братья-батарейцы... Прощай, Белогорье, здравствуй, желанное неизвестное!

Все поднялись, грянули песню. А когда спели, Рылеев пошел по кругу, чтобы проститься с каждым. И каждый напутствовал его добрым пожеланием, забыв о недавних колкостях и недомолвках.

У крыльца обнялись, расцеловались, и санки, в которых сидел Рылеев, полетели по хрусткому снегу к усадьбе Тевяшовых, где родители и невеста с волнением и нетерпением ждали высочайшего решения о выходе Рылеева в отставку. Все вокруг, несмотря на мороз и глубокие снега, радовало глаз и душу. И подрумяненные молодые облака, что висели неподвижно в голубеющей холодной вышине, и дым над выбеленными трубами, и цветистые шали и полушалки на головах юных белогорок, что с громким смехом и визгом уступали дорогу мчащимся санкам, и подсиненный, с голубиными нежнейшими переливами, иней на приопущенных ветвях, и гулкие безлюдные дали, при виде которых начинает биться сильнее русское сердце, и снежные скатерти, причудливо разрисованные следами ворон и зайцев... Хороша ты, русская зима!

Часть третья

Друг царя

1

Всю весну и лето скучал Александр, погруженный в уныние. Заведенное им в последнее время чтение Библии по утрам и вечерам не укрепляло духа и воли, не влекло к размышлениям о делах внутренних и внешних. Безразличие и апатия преследовали его всюду, куда бы он ни ехал, за какое бы дело ни принимался. Лишь выезды на учения, парады и смотры немного рассеивали его.

В нем с новой силой возродилось желание юношеских лет отказаться от престола, от непосильного бремени власти, которая уже больше не прельщала и не сулила славы, и удалиться от изнуряющего шума светской жизни, чтобы на склоне лет вкусить недоступное владыкам благо незаметной жизни простого гражданина.

День избавления от короны порой представлялся ему как день духовного и нравственного воскрешения. В мечтаниях своих он видел себя то безвестным простолюдином, вроде царскосельского садовника, отдающим все помыслы и заботы нравственному самоусовершенствованию, то отшельником, вроде монаха Авеля, наделенного свыше дивным даром провидения. Все минувшее проплывало перед ним, будто в тумане, в кадильном дыму.

Иногда он старался загладить все свои откровенные и сокровенные прегрешения перед терпеливицей Елизаветой, пытался быть ласковым, заботливым, внимательным мужем, но эта игра в нежного супруга, при всей его исключительной актерской одаренности, плохо удавалась ему. Она еще больше обнажала его притворство и лицемерие не только перед женою, но и перед ним самим.

Елизавета за этой холодной напускной нежностью ощущала ледяной холод его души. Примирившись с положением царицы-пленницы в совершенно чуждом и враждебном ей семействе, она безропотно принимала и сносила всякую несправедливость. Александр покинул Каменноостровский дворец в шесть часов утра, не ска-

завшись Елизавете, куда и надолго ли уезжает. Впрочем, она привыкла к его отъездам и не сокрушалась.

Царь уезжал недалеко. Он спешил в Красное Село, чтобы присутствовать на линейном учении, назначенном 2-й бригаде 1-й пехотной дивизии. Командиром этой бригады был великий князь Николай Павлович.

С утра небо хмурилось, будто хотело угодить хмурому императору, но часам к десяти погода разгулялась, выси поголубели, и все как бы преобразилось к лучшему.

Просветлело и на душе у царя, когда грянули медные трубы дивизионного оркестра и гулко забили барабаны. Учение началось удачно. Батальонные колонны шли четким, стройным шагом, соблюдая строго установленные уставом интервалы. Можно было лишь удивляться выносливости и выучке солдат, сжатых и стянутых тесными мундирами, узкими панталонами и крагами из твердой, как луб, кожи. По бокам их блестело множество начищенных пуговиц, которые можно было застегнуть не иначе как при помощи железного крючка. Высокие кивера на голове могли держаться лишь с помощью чешуйчатых ремней, туго затянутых под подбородком. Грудь солдат была стеснена ранцевыми ремнями, перехватывавшими скатанную и перекинутую через плечо шинель. Как при убыстренном, так и при замедленном шаге солдатам было тяжело дышать, стесненное дыхание мешало плавно выносить ногу и вытягивать носок... Но солдаты, зная, что каждого из них ждет за малейшую оплошность, старались из последних сил. Лица их заливало соленым потом, а от мундиров валил пар. Царь со свитскими офицерами, сидя в седле, наблюдал с зеленого холма за ходом учения. Справа от него гарцевал на чалом жеребце, просившем ходу, командир бригады.

— Хорошо держат взводные дистанции, — хвалил царь. — Отличная тишина в шеренгах, все так, как и должно быть. Согнутых колен не вижу... Ногу поднимают ровно, носки вытянуты...

Царь долго не отнимал от глаз подзорной трубы. Он не ошибался: солдаты шагали как безголосые мертвецы, будто их перегоняли с одного кладбища на другое.

Учения продолжались, а царь уже думал о другом. Хотя он и оставался еще на холме среди окружавшей его свиты, но мыслями витал где-то в иных пределах. Про себя, по памяти, прочитал он самый любимый им 90-й псалом... Потом его внимание привлекло корявое, засох-

шее и почерневшее дерево на том краю поля, тоже как бы наблюдавшее за маневрами. Ему вспомнились дни, когда это дерево стояло зеленым. Под его сенью однажды с отцом, царем Павлом, и двумя своими братьями наблюдал он за учениями гатчинцев. Он помнит, как отец его топал ногой и раздраженно стучал шпагой по коре дерева, заметив оплошность в посадке какого-то артиллерийского офицера, так стучал, что на коре дерева остались рубцы. Не от них ли оно засохло? И сам себе Александр вдруг показался таким же подсохшим или подсыхающим деревом без единой зеленой ветки, без единого живого листка на ней.

Великий князь на разгоряченном и пританцовывающем нетерпеливом жеребце время от времени делал пояснения по ходу учений, говорил громко, учитывая тугоухость брата. Выражение царского лица менялось: то оно заволакивалось печалью, то на какое-то время прояснялось.

— К моему удовольствию, ваше высочество, я нашел 2-ю бригаду 1-й пехотной дивизии в отличнейшем состоянии,— подвел царь итоги только что завершившемуся линейному учению.— Вы отличнейший командир и распорядитель людьми. Я не заметил среди рядовых и нижних чинов ни одного заспанного лица; ни малейших признаков вялости, не заметил и шевеления под ружьем. Церемониальным маршем прошли безукоризненно, без малейшей качки в теле и неравенства в плечах! Вижу, что крепко потрудились, ваше высочество! Объявите мою высочайшую благодарность господам офицерам, а нижним чинам к ужину — по чарке водки!

После учений царь, не сказав ни слова Аракчееву, ждавшему приглашения к обеду, вдвоем с Николаем Павловичем поехал обедать к великой княгине Александре Федоровне. Всякое приглашение к царскому столу Аракчеев рассматривал как свою новую победу в постоянной крайне запутанной борьбе за место около царя, за сохранение в своих руках всей полноты власти. Аракчеев с наслаждением вписывал в дорогую книжку в золотом переплете и с золотым обрезом каждый свой обед вдвоем с царем. Таких званых царских обедов у него было больше, чем у кого-либо из самых важных царедворцев. И наперсник ликовал от сознания своего безграничного могущества. А нынче он обойден приглашением. Чем объяснить такую перемену? Уж не очернил ли кто-нибудь из нена-

вистников его перед царем? Самым страшным для Аракчеева было не то, что он нынче обойден приглашением, он опасался другого — не занял бы его место за столом князь Александр Николаевич Голицын или генерал-адъютант Закревский.

В такие неудачные дни Аракчеев чувствовал себя как бы сразу постаревшим, а сердце его будто обугливалось в груди. Он велел подать ему венскую коляску, ни за что ни про что обругал дураком адъютанта своего Матроса, выгнал из своей коляски, плюнул кучеру в лицо и велел гнать в Петербург с тем, чтобы оттуда сегодня же вечером выехать в Грузино. Такие удары не привык сносить злопамятный временщик.

Обедали у великой княгини Александры Федоровны. В присутствии молодых и умных женщин царь на какое-то время высвобождался из тенет уныния, делался галантным светским кавалером, остроумным, изысканным собеседником, мастерски и всегда к месту, если только его не подводила глухота, говорил комплименты, целовал ручки, отвешивал поклоны, будто возвращался к улетевшей молодости.

Нынче он был необыкновенно любезен с хозяйкой стола и внимателен к ней, отдавая должное ее высокому душевному совершенству и женской обаятельности, еще раз расхвалил усердие и распорядительность великого князя Николая в роли командира гвардейской бригады.

— Вот такие энергичные и молодые монархи нужны ныне Европе, — вдруг погрузнев, проговорил Александр. — Ничто в этом мире не вечно: нынче властелин половины мира, а завтра смерть уравнивает непобедимого владыку в правах с последним его рабом...

Внезапный спад в настроении царя озадачил и насторожил его брата и невестку. Они настороженно глядели на впавшего в меланхолию самодержца, слова которого о бренности земной славы определенно являлись лишь подступом к чему-то более значительному.

— Хорошо показали себя на учении оба полка: Измайловский и Егерский, — мысль царя зачем-то повернула вспять. — И вся гвардия моя, вся армия и даже вся Россия неотложно нуждается в приведении ее в такие же стройные шеренги и колонны, какие я нынче видел на линейных учениях. Мне уже, чувствую, не под силу такое

предприятие, это сделает мой преемник.— Царь задумался и после паузы спросил, просветлев глазами: — Как поживает мой двухлетний тезка, ваш ангелоподобный сыночек Сашенька?

— Благодарим всевышнего, государь, мальчик у нас растет чудесный, он, к моей неопишуемой радости, очень похож на своего родителя, особенно глазами,— с гордостью отвечала великая княгиня, одетая в просторные наряды, в каких обычно ходят беременные женщины незадолго до родов.

— С трепетом и волнением, государь, ждем в недалеком будущем прибавления нашему скромному семейству,— добавил Николай и властно положил руку на плечо сидевшей супруги.— Она сделала меня безгранично счастливым; семейное счастье для нас обоих дороже всего на свете!

Николай, встав, поцеловал жену в пышные, спадающие кольцами, черные бубли. То же сделал и царь.

— Не могу без слез умиления нарадоваться на ваше семейное блаженство,— сказал он, поднося к подслеповатым, ласковым и вместе с тем лукавым глазам клетчатый, сильно надушенный платок.— Дай вам бог, Александра, благополучно разрешиться от сладостного бремени и подарить всем нам ангела, подобного моему несравненному тезке. Вы подлинно счастливы, ваше блаженство мне порой представляется блаженством рая. О, сколько бы я отдал за один день, за один час такого истинного счастья. Я не знал его на протяжении всей моей жизни, но не переставал мечтать о нем. И не только мечтал, но и пытался найти его на земле. Увы, всевышнему, должно быть, не угодно было исполнить мои желания. Однако грешно истинному христианину завидовать своему ближнему. И я не завидую, я радуюсь, находясь среди вас, друзья мои кроткие.— Потерев глаза, царь убрал платок в карман черного мундирного сюртука, еще раз поцеловал ручку у великой княгини.— Что-то небесное творец вложил в вашу душу, когда отпускал ее из высей горних в скоротечное путешествие на землю. А я вот такого счастья, каким господь дал наслаждаться вам, никогда не знал...— Он глубоко вздохнул и заговорил, словно на исповеди, о том, что все знали, но о чем молчали.— Да, никогда не знал и теперь уж не узнаю... И виноват во всем этом я сам, да еще виноваты условия, в которые я был поставлен с детских лет волею моих

родителей. Связи, что имел я в молодости, сыграли со мною злую шутку, они сделали меня вот таким, каким я предстаю перед вами... Ни мне, ни брату моему Константину Павловичу ни в юности, ни в молодости никто и никогда не внушил мысль о возможности истинного семейного счастья... Мы оба были воспитаны, прямо скажу, дурно... Мы с ним с молодости не умели ценить и понимать сие счастье...

Впервые с такой беспощадною откровенностью царь бичевал сам себя, своего брата Константина, своих родителей, всех бывших учителей и наставников, дядек и кавалеров.

— Нас слишком много учили ремеслу властвования над другими, но ничего или почти ничего не открывали нам из самой великой науки, из науки о том, как человеку сохранить в себе человека и прожить жизнь, достойную христианина. За все беспорядочные и бесчисленные связи, доходившие нередко до грани необузданного распутства, которые мы имели в молодости, творец наказал нас: ни я, ни брат мой Константин Павлович не имеем детей, которых бы мы могли признать. И это самое тягостное, самое разрушительное для меня чувство. — Он опять потянулся к клетчатому платку. — Как жестоко наказали мы с ним сами себя. Что может быть мучительнее для чувствительного сердца — подозревать в том или ином ребенке своего сына или дочь и не иметь возможности признаться в своем отцовстве... Страшно... И такой грех лежит на мне и на брате моем Константине... Под бременем разных возложенных на меня обязанностей я изнемог... Я чувствую, ангелы мои, как силы мои ослабевают с каждым днем. Вам первым признаюсь я в этом, зная, что вы оба достойны державного доверия. Я приехал к вам в Красное Село и уединился с вами за этим столом с тем, чтобы объявить вам совершенно доверительно и в полнейшей тайне свое окончательное решение, от которого будет зависеть не только ваше и ваших детей будущее, но и дальнейшая судьба всего вверенного мне от бога государства... Выслушайте же меня с мужеством и спокойствием...

Александр вышел из-за стола, опустился на колени перед иконой, висевшей на стене, помолился, вернулся на свое место. Великий князь и княгиня молча наблюдали за приготовлением царя.

— В нашем веке деятельным государям, кроме многих

других качеств, нужна крепкая физическая сила и безупречное здоровье для исполнения огромных и постоянных трудов,— заговорил царь.— Я таким здоровьем и такими силами, как сами видите, уже не обладаю. Чувствую, что скоро окончательно лишусь потребных сил, а без них я не смогу исполнять свой долг так, как я его разумею. Потому я нашел за благо, считая это своим священным долгом перед любезным отечеством и моими подданными, отречься от свыше мне врученной власти... Я решился на сей шаг не в день и не в два, мое решение бесповоротно...

Николай резко откинулся на спинку стула, удивленный таким неожиданным для него откровением. Великая княгиня заплакала. Большие навывкате глаза великого князя смотрели на сутуловатого царя с тем тревожным выражением, с каким человек, пребывающий в здравом разуме, смотрит на сумасшедшего.

— Вижу, вы оба поражены моей решимостью,— продолжал Александр.— Отнеситесь к этому с необходимым спокойствием и привыкните к мысли о том, что отрекись от правления с той минуты, когда почувствую себя созревшим для сего акта. Престол после меня унаследуете вы, мой любезный брат.

— Государь, мы поражены как громом! — сразу перешел на скороговорку Николай Павлович.— Что подумает, что скажет обо мне цесаревич Константин?

— Государь, не делайте нас столь несчастными,— зарыдала великая княгиня.

— Я знаю, что бремя власти над другими — несчастье для истинного христианина, но господь свершенным им во спасение наше подвигом требует от нас жертвы,— проповеднически успокаивал царь смятенных собеседников своих.— Константин не станет для вас преградой к престолу. К тому же, по причине вам известной, он имеет природное отвращение к сему месту. Он решительно не хочет наследовать престол. И какой смысл Константину занимать престол? Он почти одних лет со мною и в тех же, как и я, безнадежных семейных обстоятельствах. Мы с ним оба похожи на то черное засохшее дерево, что стоит на поле, где мы нынче делали смотр учениям. Кстати, велите спилить это дерево, чтобы к следующему смотру его не было на том месте. Я и Константин видим на вас знак благодати божией — дарованного вам сына! Теперь есть кому продолжить царский род.

Вы должны знать, что призываетесь свыше на сие достоинство, и вам надо привыкнуть к этой мысли!

Царь еще раз вышел из-за стола и опустился перед настенной иконой.

— Итак, будем считать, что первый и главный шаг мною исполнен согласно велению божью,— заключил он, вернувшись за стол.

Николай тер глаза батистовым платком. Великая княгиня; поплавав, скоро успокоилась.

— Господи, господи,— повторяла она,— не заслуживаем мы сего достоинства.

Александр кротко и ласково начал утешать их.

— Пока что все остается по-старому, как и было, но вы, ангелы мои, должны привыкать к будущности, для вас с этого дня неизбежной.

— Ваше величество, во мне нет ни сил, ни духу на такое великое дело,— возразил скороговоркой Николай.— Мои мысли не достигают дальше того, чтобы безупречно служить моему государю... Я совершенно не готов к принятию непосильного для меня бремени.

— Срок для такого переворота еще не настал и не так скоро настанет, но к неизбежности такого переворота надо постепенно приучать самих себя,— наставлял царь терпеливо и дружески.

— Но, государь, я воспитанием не приуготовлен к приятию державной тяжести,— еще торопливее заговорил Николай, будто стараясь оправдаться.— Учитель Ламсдорф, которого никак нельзя сравнить с мудрым Лагарпом, своей хворостиной не вооружил меня даже азбукой государствоведения, зато он превзошел всех дядек своей грубостью. Потому-то я в учении с детства видел одно принуждение и учился без всякой охоты. Вам известно, что успехов в учении я не оказывал и за это был наказываем телесно...

— Но в математике, артиллерии и особенно в инженерной науке, а также в тактике ты обнаружил немалые успехи,— заметил царь.

— Да, лишь одни военные науки занимали меня страстно, в них одних находил я утешение и приятное занятие. Отсюда и желание мое служить по инженерной части,— признался Николай.— У меня решительно нет никакого опыта в правлении и достаточного знакомства со светом. Я весьма благодарен моему благодетельному

государю за то, что он дал мне счастье вступить в управление инженерной частью, а затем государю угодно было сделать мне милость — назначить меня командиром 2-й бригады. Вот, по существу, и весь мой опыт, он слишком мал для того, чтобы принять на себя всю полноту державной власти. До назначения в бригаду все мое обучение государственному управлению ограничивалось ежедневным ожиданием в передней или секретарской комнате вашего величества.

Царь не согласился с доводами брата.

— О, друг мой Николай, я оказался в несравнимо более тяжелом положении при моем вступлении на престол: приняв державную власть, я нашел все дела в совершенном запущении, полное отсутствие всякого основного правила и элементарного порядка в ведении дел государственных. Я дивился тому, как не развалилось все наше государство, а для этого достаточно было незначительного толчка извне или изнутри. — Царь перечислил длинный ряд страшных злоупотреблений властью, ошибок и упущений со стороны его отца на престоле. — При Екатерине в последние годы порядку хотя было и мало, но еще живы были привычки... Родитель наш с первого же дня своего восшествия на престол начал ломать, рушить, искоренять все, что было установлено до него, не заменяя оно ничем... И в несколько лет государство наше сделалось воплощением хаоса, беспорядка, беззакония. Вот что досталось мне от моего родителя... Я же оставлю вам государство, в котором многое мною сделано к его улучшению, в котором каждому государственному делу придано законное течение, вы примете из моих рук великое отечество с установленным повсюду порядком, и вам останется только удерживать установленное мною...

Серые глаза Николая будто подернуло ледком от рассказа царя, очевидно без всяких оговорок верившего в свои слова о законном течении всех дел в преуспевающем государстве. Николай слушал, не возражая, но под молчанием его скрывалось решительное несогласие с братом. На щеках у великого князя время от времени набухали желваки, они всегда появлялись, когда он кем-нибудь или чем-нибудь возмущался.

Когда Александр принялся расхваливать гвардейский корпус в целом, расписывать в розовых красках положение дел в армии и в поселенных войсках, отданных под

начальствование графа Аракчеева на севере и под власть графа Витта на юге, великий князь едва сдержался от резкого возражения. Он не сделал этого лишь потому, что ему не хотелось повергать своего брата в печаль и уныние, ибо каждое возражение приводило его к расстройству настроения.

— Как видишь, друг мой Николай, я тебе оставляю не разбитое корыто, а просвещенное и самое могущественное в Европе государство. Со всей свойственной тебе тщательностию, войдя в дела вверенной тебе команды, ты теперь сам можешь сказать многое в подтверждение правоты моих слов.

Царь пытался вызвать брата на откровенность, догадываясь по его сурово нахмуренным бровям о затаенном его несогласии. И ему это удалось.

— Участь нашего любезного отечества, государь, обязывает меня к полнейшей откровенности, — быстро проговорил Николай. — Буду говорить обо всем, как ты сам видел, чувствовал — от чистого сердца, от прямой души: иного языка не знаю...

От такого вступления как бы надломленные посередине брови государя вздрогнули, замерцали веки и сквозь ангельскую обворожительную улыбку начало пробиваться смятенное беспокойство. Царь поднес ладонь к левому, особенно тугому уху, чтобы не пропустить ни одного братнина слова.

— Я, государь, вступил в командование бригадой в то время, когда вы и наша матушка императрица уехали в чужие края, чтобы принять участие в работе конгресса в Ахене. Я остался один без лучшего наставника, без брата-благодетеля, один, с пламенным усердием, но совершенною неопытностью. Знакомясь со своей командой, я нашел порядок службы распущенный, повсюду испорченный до невероятности...

— Тому виною был начальник гвардейского корпуса генерал-адъютант Милорадович, и за это я заменил его, по просьбе нашей матушки, генерал-адъютантом Васильчиковым, — поспешил оправдаться Александр. — А Милорадович пусть послужит генерал-губернатором Петербурга — эта должность по его характеру.

— Да, государь, вина Милорадовича велика, — подхватил Николай. — Самыми губительными месяцами для гвардии были те, когда она, начиная с самого 1814 года, по возвращении из Франции, осталась в продолжительное

отсутствие государя под начальством графа Милорадовича. Именно в сие время и без того уже расстроенный трехгодичным походом порядок совершенно разрушился... Просто уму непостижимо, государь, кому могло прийти в голову позволить офицерам носить фраки? Добиваться докторских степеней права в заграничных университетах? Гвардия очутилась во власти растленного влияния говорунов-генералов вроде Милорадовича и Потемкина, а отсюда и все трудноизлечимые недуги... Дошло до того, что офицеры выезжают на ученье во фраках, накинув шинель и надев форменную шляпу... Чему такая чучела во фраке и накинутой шинели может научить подчиненного? Отсюда и следствие: подчиненность и чинопочитание исчезли, а если и сохранились, то только во фронте, а за пределами фронта сделались предметом насмешек со стороны развращенных фрачников; уважение к начальникам исчезло совершенно, служба перестала быть службой, от нее осталось только одно пустое слово, ибо я нигде в вверенной мне бригаде не нашел ни правил, ни порядка, все делалось произвольно, без усердия, без рвения и как бы поневоле, дабы только тянуть как-нибудь со дня на день...

Великая княгиня не сводила испуганных глаз с разгорячившегося Николая. Она боялась, что эта прямота ее супруга не только омрачит царя, но и может лишить их высочайшего благоволения, ибо царь не умеет забывать причиненных ему печалей и огорчений. Недовольство, каким горел сейчас великий князь, не было тайной для его супруги, он не раз говорил с нею об этом, только в еще более суровых словах. Глаза Александра вдруг сделались похожими на вставленные безжизненные стеклышки, как у большой куклы. Он шевелил губами, часто облизывал их кончиком языка. Мысль его не могла примирить одно с другим: «Как же так получается: великий князь жалуется на испорченный до невероятности порядок службы и вместе с тем бригада так блистательно показала себя на линейных учениях?» Горше всего в эту минуту было для царя видеть себя самообольщенным итогами своего почти двадцатилетнего царствования. Но твердость, с какой говорил Николай, не возмущала царя, именно таким он хотел и впредь во всем видеть своего брата.

— Неужели от носки фраков поразила гвардию распушенность? — спросил Александр, надеясь из уст бра-

та услышать самый неліцемерный и откровенный ответ.

— Тут больше, чем распушенность, государь. Я ознакомился со своими подчиненными в бригаде. Присмотрелся внимательнейшим образом ко всему, что происходит в других полках. Присмотрелся к фрачникам и говорунам и пришел к мысли, что под военным распутством кроется что-то важное, такое, что давно должно бы стать предметом неослабного, нечувствительного наблюдения со стороны нашей преступно беспечной тайной полиции! — разгоряченно, сверкая ледяными глазами, рубил Николай. — Сия мысль руководит мною во всех непрекращающихся дальнейших наблюдениях!

— Говори, говори, что же ты умолк, — напомнил царь великому князю, потянувшемуся к графину с брусничной водой.

— Офицеров в гвардейских полках, государь, можно разделить на три разбора: на искренно усердных и знающих; на добрых малых, но запущенных и оттого не знающих порядка службы; и на решительно дурных, злонамеренных говорунов, дерзких, ленивых и совершенно вредных...

— Гнать, гнать таких из гвардии и отовсюду, — сказал вяло, будто спросонья, царь.

— На сих зловредных говорунов я уже налег всеми силами и всячески стараюсь от них избавиться, что мне, с божьей помощью, удастся... Но, государь, ограничиваться лишь одним удалением говорунов — мало. Корни дела значительно глубже, сии злонамеренные люди составляют как бы единую живую цепь, через все полки проходящую, они имеют влиятельных покровителей в обществе. Нелегко мне искоренять фрачников и говорунов. Влиятельные покровители в обществе всякий раз отплачивают мне нелепыми слухами и разными пакостными неприятностями, как только я вышвырну из полка какого-нибудь говоруна, скользкого как налим.

— Эту заразу занесло к нам оттуда, — царь качнул головой на западную сторону. — Живая цепь... Ее надо разрубить...

— И еще, государь, не пора ли подумать об ограничении неограниченной власти самого близкого вам человека, который представляется мне грубо вытесанным из мореного новгородского дуба. Свет находит, что многие его действия ускользают даже из-под контроля ва-

шего величества. Он не прочь высокомерно обращаться даже с нами, великими князьями, что не может не вызывать нашего негодования.

Такого о его любимце Аракчеве никто еще не осмеливался говорить царю. Лысина у него побагровела, ерзая на мягком, обитом розовым плюшем стуле, он тупо молчал. Обеими руками пощипывал надломленные брови, будто хотел убересть свой взгляд от встречи с взглядом Николая. Великая княгиня, воспользовавшись удобным мгновением, подмигнула супругу, чтобы он изменил тему разговора, ибо всем было давно известно, что царь воспринимает всякий непочтительный отзыв об Аракчеве как неуважение к своей особе. Николай, хотя и заметил подмигивание жены, не остановился, решив до конца высказать давно наболевшее:

— Тень от этого деревянного и чрезмерно возвеличенного вельможи падает не только на самого государя, но и на всех нас, на всю Россию...

На глазах Александра показались слезы, он их не утирал, словно тем самым хотел сказать брату, как глубоко к сердцу он принимает все его нелюбезные слова. Но сердце царя, с молодости привыкшее к безупречному исполнению разных ролей в разных обстоятельствах, вовсе не обливалось кровью и не билось трепетней, чем в начале обеда. Он потянулся к Николаю и поцеловал его в бледную щеку.

— Ты и об этом говоришь, как будущий достойный России монарх. Спасибо тебе, будь всегда во всем и со всеми таким. Но знайте, друзья мои,— слабым голосом, как кающийся грешник, утешал царь великокняжескую чету,— нет другого человека во всем царстве более преданного и верного мне и престолу, нежели мой друг граф Алексей Андреевич Аракчев. В России не рождалось еще такого трудолюбца неутомимого, как он. Да, Николаша, я с тобою согласен, что тень от графа Аракчева падает на полцарства моего, но от великана и тень великая... Вместе с тем знайте, что граф Аракчев не всевластен и не бесконтролен, и за ним, при надобности, найдется кому приглядывать. И приглядывают... А заменить мне его некем... Решительно некем...— грустно и обреченно повторил Александр.— Я его светило, он мой пожизненный спутник. Уберусь я с небосвода, там уж поступайте с ним как знаете, только не обижайте...

На нежном лице царя остались едва заметные следы от слез. Николай догадывался, что за этими слезами осталось много такого, о чем царь ему никогда не скажет.

После обеда они продолжали в гостиной начатый разговор.

— Так вот, Николаша, привыкай к будущности неизбежной,— повторил Александр.

— Добрый отзыв и милостивое слово моего благодетеля, чей один благосклонный взгляд вселяет бодрость и счастье в душу верноподданного, повелевают мне с новым усердием приняться за доверенное мне дело,— проговорил Николай.— Я буду и впредь зорко следить за всем, что происходит вокруг меня, что изумляет меня и чему я тщетно ищу причину...

— А теперь покажите мне моего тезку! — попросил Александр.

Белобрысая немка, камер-фрау, вскоре ввела за ручку курчавого двухлетнего мальчика с живыми, сообразительными глазенками навывкате, как и у Николая.

Александр наклонился, поцеловал маленького племянника в пушистые волосы, подарил ему золотую сабельку и заговорил с ним по-французски. Малыш порадовал его бойкими смешными ответами на безупречном французском языке.

— Следующий раз к этой сабле я привезу барабан! — обещал царь, прощаясь с племянником.

Николай и Александра Федоровна провожали вновь погрустневшего царя до самой коляски.

— Береги же своего ангела,— садясь в коляску, наказывал Александр.

Царь уехал из Красного Села.

Великая княгиня, когда вернулись в столовую, охватила горячими душистыми руками голову супруга и, осыпая поцелуями его щеки и твердо сжатые тонкие губы, стала поздравлять с будущим царствованием.

— Я пьянею от счастья при одной мысли о том дне, когда на твою драгоценную голову возложат корону,— лепетала она,— и ты станешь царем, а я царицей... Русской царицей... Щедроты нашего ангела-благодетеля потрясли мою душу...

Николай, любивший ласки своей жены, на этот раз довольно строго и холодно отвел ее руки от себя, упрекнув ее по-немецки:

— Восторги преждевременны... Все может измениться к худшему... Или ты не знаешь повадки цесаревича Константина? Я не верю, что он откажется от права наследовать престол... Не верю, да и советники его не одобряют такого намерения...

— А я и потрясена, и ослеплена от ждущего нас обоих счастья.

— Я же, наоборот, после всего сказанного нынче государем чувствую себя вдруг потерявшим из-под ног привычную прочную дорогу.— Искренняя тревога звучала в словах Николая.— Будто вдруг пропасть разверзлась у меня под ногами, и я падаю в эту пропасть, увлекаемый какой-то страшной, непонятной силой...

— Пойдем поцелуем нашего маленького цесаревича и поздравим его с сим столь знаменательным для нас всех днем,— позвала супруга расстроенного и озабоченного Николая.

Они направились в детскую комнату.

2

Царскосельская дорога, недавно тщательно углаженная, выровненная мужицкими лопатами, была как дворцовый пол. Ряды деревьев по обеим сторонам дороги стояли словно солдаты перед началом торжественного парада.

Походные дрожки, на диво прочные и легкие, с которыми почти никогда не расставался их хозяин, катились быстро и плавно, будто плыли по воздуху. Приятный ветерок освежал порозовевшее лицо царя. Радуюсь тишине и благодати мирных полей, Александр скинул с головы надоевший ему кивер с высоким черным султаном и обнажил плешивую голову. У него было такое ощущение, будто он купался в каком-то диковинно целебном источнике.

Отдыхая, он не переставал думать о том, что уже им сделано и что предстояло сделать. Нынешний день он считал удачным, и не только по результатам линейных учений 2-й бригады, а прежде всего потому, что удалось выбрать очень удобный и подходящий момент для столь важного разговора с братом Николаем. Теперь будет легче окончательно выбить из рук старшего брата, ве-

ликого князя Константина, фактически царствующего в Польше, право наследовать престол.

Но больше всего мысль Александра занимало предупреждение, сделанное Николаем, об опасной живой цепи, что якобы тянется от одного полка к другому. Он думал о том, как и с помощью кого добраться до этой живой цепи и понаблюдать за ее делами сначала нечувствительно, а там уж, исходя из результатов наблюдения, поступить и решительно. Он боялся, что цепь эта уже разрослась так сильно, что могла опутать не только гвардейские, но и армейские полки по всей России. На юге он облюбовал себе надежное лицо и недавно вверил ему нечувствительное наблюдение за всем южным крылом армии. Это лицо не подотчетно в своих действиях никому, кроме самого царя. Об этом поручении решительно не знает никто как в царской семье, так и среди наперсников царя. Тайна была столь важна и значительна для царя, что он счел нужным держать ее в секрете даже от самого Аракчеева.

Он мысленно перебрал десятки имен генерал-адъютантов и флигель-адъютантов, чтобы выбрать из них одно лицо, которому можно было бы поручить нечувствительное наблюдение за гвардией и армией на севере, и не нашел такого. Тщательность выбора объяснялась не только феноменальной мнительностью царя, но и важностью задуманного предприятия. Ведь дело шло, по существу, о создании сверттайной полиции над тайной полицией.

Царь извлек из черного мундирного сюртука пухлую записную книжку в черном кожаном переплете, желая о чем-то свериться с нею, но едва раскрыл ее, как тут же закрыл, вспомнив, что за его спиной стоят два здоровенных ливрейных гайдука и зорко смотрят за всем, что происходит на дороге и вокруг. Хотел попросить кучера Илью спеть какую-нибудь протяжную песню, но в этот миг увидел мчащуюся ему навстречу золоченую карету с фонарем. Это скакал Аракчеев. Шестерка вороных лошадей — четыре сзади, две впереди, разгоряченные плеткой вершника, — неслась, распластав длинные гривы по ветру. На высоком облучке, держась обеими руками за железную скобу, тряслись два лакея-телохранителя графа. Александр догадался: какая-то беда случилась в столице или где-нибудь в другом месте государства. Он велел кучеру Илье остановить тройку.

Едва золоченая карета поравнялась с царскими дрож-

ками, из дверцы, распахнутой, соскочившим с облучка лакеем, как медведь из берлоги, кряхтя и жалостливо охая, вылез Аракчеев в парадном генеральском мундире и черном, с высоким султаном кивере. С продолговатого, почти прямоугольного лица его лил пот, волосы, схваченные пепельной сединой, прилипли к узенькому и низкому, словно у крупной обезьяны, лбу.

Аракчеев крикнул на своего кучера и лакеев и велел им отъехать подальше.

— А вы, гоги-магоги, заткните уши! — цыкнул он на царских гайдуков и на царского кучера Илью Байкова.

Те беспрекословно подчинились приказанию Аракчеева. Гайдуки стояли столбами за спиной сидящего в дрожках царя, заткнув уши пальцами. То же сделал и царский кучер, знавший хорошо, что слово Аракчеева бывает строже и приказательнее императорского.

— И чтобы у меня, каналы, не косить шельмовскими глазами, не подслушивать, щелей под пальцами не оставлять, — погрозился он на царских гайдуков и затем уж совсем другим голосом и тоном доложил царю: — Ваше величество, батюшка Александра Павлыч, благодетель мой, в Чугуеве неладно...

— Что, что? — не понял глуховатый царь. — Говори громче!

— В южных поселенных войсках неладно... Волнение... В Чугуеве настоящий бунт... Генерал-лейтенант Лисаневич прислал своего офицера с важным донесением... Вот оно... — И Аракчеев, рукавом мундира мазнув себя по лицу, подал царю рапорт.

— Зачем мне это? — царь швырнул бумагу, которую чуть-чуть не унесло ветерком. — Я тебе и без рапорта верю... Вот она, живая-то цепь... Прав был великий князь Николай в своих наблюдениях. Волнение... Чтобы и помину об этом слове не было в России! — вдруг истерично закричал Александр. — Граф, сколько раз говорил я вам, чтобы вы осторожнее пользовались некоторыми совсем не обязательными для нас с вами словами... Не может быть ни волнения, ни бунта в моем процветающем и сплоченном единой семьей вокруг меня отечестве! Не может! Это исключено! И Лисаневич твой — набитый дурак, если он пишет в своем рапорте о каком-то бунте... Я за такие слова, сказанные не к месту и без всякого повода, буду сажать в Шлиссельбургскую крепость! — Царь

сошел с дрожек и, сверля каблуком щегольского сапога с кисточкой землю, продолжал изливать свое неудовольствие: — Мы сами иной раз виноваты в том, что неуместным и необдуманном употреблением ненужных слов се-ем семена будущих дурных мыслей в головах наших подданных.

Аракчеев смиренно слушал, слегка склонив большую квадратную голову. Он никак не мог сразу подобрать равнозначимого слова вместо не любившегося царю.

— В Чугуеве, Змиеве и Славянске, ваше величество, какое-то неустройство,— наконец-то выбрался он из затруднительного положения.

— И я так думаю, что легкое неустройство,— смягчился царь,— а всякое неустройство надо незамедлительно устраивать к хорошему. Немедленно отбирай себе нужных помощников и скачи в Харьков, нельзя медлить и давать неустройству разрастись...

— Батюшка, Александра Павлыч, мне никак нельзя выехать незамедлительно,— едва ли не в первый раз в жизни отвечал полуотказом царю самый верный и без лести преданный слуга.

— Почему же, брат и друг мой? Болен? Или обиделся, что я не пригласил тебя к столу нынче? Просто забыл, и ты уж меня как истинный христианин истинного христианина прости, сиятельнейший граф и кавалер Алексей Андреевич.

— Что ты, что ты, батюшка, мыслимо ли такое, чтоб я когда-нибудь обиделся на моего ангела и благодетеля! Разве я редко обедаю вдвоем с тобою! Всех чаще. Надеюсь и впредь остаться удостоенным столь высокой чести и милости.

— Так что же тебя удерживает, граф? Настасья?

— Батюшка, у меня у самого в наших новгородских поселенных войсках замечено легкое неустройство, которое никак не позволяет мне далеко отлучаться от здешних мест. Моим отъездом могут воспользоваться подспудные смутьяны или же, вернее сказать, разные гоги-магоги... Как здесь около себя все утихомирю, так неотлагательно, батюшка, покачу в Чугуев... Но не раньше как улажу все здешние болячки, а их много, батюшка, и они ближе и потому больнее нам с тобой, чем чугуевский нарыв.

Александр печально задумался, не зная, что руководит Аракчеевым: трусость или настоящая, невыдуманная

забота о тишине и спокойствии вокруг Петербурга, окруженного северными поселенными войсками. Печаль и задумчивость царя всегда заботили Аракчеева, и он всякий раз принимал близко к сердцу, если вдруг чувствовал себя виновником царского уныния.

— Батюшка, а ведь там у нас есть надежные люди, давайте пошлем к ним фельдъегеря с высочайшим указом,— предложил Аракчеев.— Я уже, пока ехал, и высочайший от вашего имени указ состроил.

Он вынул из перевернутого вниз султаном кивера написанный красным карандашом, будто кровью, высочайший указ о способах и мерах к подавлению восстания в Чугуеве.

— Хороший указ, но где взять хорошего исполнителя? — держа в руках бумагу, спросил царь.

— Там, недалеко от Чугуева, граф Витт со своими войсками,— подсказал Аракчеев.

— Такие дела я не могу поручать Витту,— сумрачно ответил царь.— Понимаешь, Алексей Андреевич, не могу... Витт — наполеоновский перебежчик... Для безупречного исполнения сего высочайшего указа нужен человек, чьи добродетели и усердие престолу были бы равны твоим... А такой человек во всей России только один, и этот человек — ты...

Аракчеев потряс перед глазами носовым серым платком с красными, как спелая клюква, пятнышками, проволоч им по глазам.

— Батюшка, не печалуйся на меня, не грусти, твоя грусть тяжелой горой давит меня каждый раз,— просительно проговорил Аракчеев.— Так и быть, как улажу здешнее неустройство, не откладывая ни на одну минуту, помчусь в южные поселения и все меры приму к сокращению неустройства...

— Спасибо тебе, друг мой, я знал, что ты, как истинный христианин, и на этот раз не откажешь мне в своей службе,— с чувством признательности сказал просветлевший царь.— Сократи неустройство с кротостью и смирением, как и подобает христианину, помня, что ты едешь к братьям своим православным. Пошли офицера к дивизионному командиру Лисаневичу, и все, что здесь тобою от моего имени написано, объяви ему, как мою высочайшую волю...

— Я знаю, кого послать, батюшка,— обещал Аракчеев.

— Как мне хочется снова погостить у тебя в прелестном Грузине,— мечтательно заговорил царь,— и опять вдвоем с тобою предаться сладостным нашим беседам о делах государственных и о боге... Скорее улаживай оба неурядища... А сейчас поедem ко мне ужинать в Каменноостровский дворец, а то царица скучает без меня...

3

Грязь и брызги вылетали из-под колес венской коляски выше дуги— Аракчеев возвращался из своего имения Грузина в Петербург. Шестерка перекладных скакала во весь опор. Из Грузина граф выехал ровно в шесть утра, невзирая на сильный дождик, и в двенадцать часов собирался быть уже на докладе у царя, а потом и отобедать вместе с ним. Властелин поселенных войск любил во всем чисто механическую точность: у него издавна было строго заведено на езду от Грузина до столицы и от столицы до Грузина тратить максимально шесть часов, и ни одной минуты более! Девяносто с лишком верст проскакать за шесть часов— не так уж плохо! Уверяли знатоки, что Аракчеев самый быстрый ездок во всей России, за ним не угнаться даже самому императору, на своем беспокойном веку заездившему табуны первоклассных лошадей.

День, в который приезжал в свое имение или возвращался из него неумолимый Аракчеев, был черным днем для всех станционных смотрителей на тракте от Новгорода до Петербурга— малейшая задержка на станции с лошадьми кончалась всегда мордобитием, а то и хуже— публичным сечением кнутом нерасторопных станционных распорядителей, тасканием за волосы, самыми грубыми оскорблениями и немедленным устранением от должности. Поэтому-то, наученные горьким многолетним опытом, безропотные смотрители перед проездом царского наперсника трепетали, как не трепетали перед проездом самого царя. Уж как ни самовластны до безрассудности были все три великих князя, но и они так не издевались над хранителями дорог, мостов и постоялых дворов.

Для того чтобы грозовая туча в карете или в венской коляске пронеслась мимо беззащитной смотрительской

головы, смотрители за сутки (а то и за двое) держали наготове и в неприкосновенности по дюжине лучших лошадей и при них отборных ямщиков. На всякий же непредвиденный случай — кузнецов, шорников, каретников, а в кузнях при дороге день и ночь оставался огонь в горнах. Все это делалось для того, чтобы при любой неполадке не было никакой задержки. Такое заблаговременное приготовление делалось на всех станциях, полустанциях — и только для одного Аракчеева.

Как только на взмыленной шестерке (а то и на паре шестерок) ко двору станционного смотрителя подкатывал властитель этого края, все приходило в движение, в кипение, несколько человек подбегали к экипажу: одни осматривали исправность колес, осей, другие быстро и проворно отпрягали взмыленных, загнанных лошадей, третьи на смену им уже закладывали самых резвых, свежих... И обычно бывало так, что граф не успеет отсморгаться или отчихаться, а уж лошади перепряжены, экипаж осмотрен, надежность гарантирована, можно продолжать путь...

Гроза под стук колес по новому прямому шоссе уносила дальше, с лица смотрителя станции или полустанции катился градом пот, раздавался вздох облегчения и благодарность всевышнему: слава богу, на этот раз черную беду пронесло мимо...

Но не всегда кончалось так счастливо... Однажды в осеннюю распутицу с кареты, в которой демоном несли Аракчеев, свалилось колесо в полуверсте от полустанции. Лакей спрыгнул с запяток и помчался на полустанцию... Оттуда через непродолжительное время прибежали сразу несколько человек и с ними инвалид-распорядитель полустанции. Кузнец определил, что слетевшее колесо нуждается в починке.

— Чини! — был приказ.

Но с починкой у кузнеца что-то не заладилось. Около двух часов граф, словно истукан, сидел в карете, не сказав никому ни одного слова, но глаза его с каждой минутой становились холодней и злей... Ему вспомнилось, как он в молодости, будучи гатчинцем, по приказанию своего первого покровителя царя Павла отрезал уши у капрала и рядового за то, что оба они были заподозрены в ропоте на тяготы службы. С тех пор его прозвали Сила-ухоед. Он не раскаивался, что поступил так варварски с подчиненными. Он помнил похвальные слова

Павла: «Вот это настоящий слуга своего царя, он, если угодно моему величеству, отрежет уши не только у кап-рала, но и у своего отца. Правда ли, Аракчеев?» И Аракчеев ответил: «Правда, ваше величество! Прика-жите, и я исполню это ваше повеление, но только не на отце, так как он у меня умер, а на родной матери и на двух моих братьях».

Аракчеев не только не стыдился этой своей готовно-сти, но любил, при всяком удобном случае, напоминать о ней ныне царствующему императору, своим подчинен-ным и незаконнорожденному сыну Мишеньке Шумскому, проживающему под видом воспитанника в его грузинском доме.

Два часа разницы в езде показались Аракчееву не-сносным оскорблением. Ему подумалось, что здесь, на этой полустанции, стоящей среди чахлых болот, совсем забыли о том, кто он есть такой... От злости он готов был молотъ зубами речной песок.

Наконец колесо уладили, посадили на ось.

— Уж извините, ваше высокопревосходительство, хо-телось попрочнее, понадежнее для вас, чтобы беды не случилось, чтобы душа наша была спокойна за чест-ную свою работу,— сказал кузнец и утер кожаным, в чер-ных подпалинах фартуком пот с лица.

И тут-то грянул божий гнев из графской ка-реты:

— Ах ты, свинья, гог-магог, еще с языком своим, мошенник, лезешь... Я из-за тебя два часа под дождем мокну.— Ни одной капли и не упало на укрытого в карете Аракчеева.— За такую неслыханную дерзость прибейте его ухо гвоздем вот к тому чурбаку, на котором он ковал.

Лакеи исполнили приказание — поставили могучего, широкоплечего кузнеца на колени и кузнецким гвоздем пришили его ухо к дубовому чурбаку, подпоясанному двумя железными обручами.

— И пускай мошенник так стоит, пока я не проеду обратно. А ты, козлиная морда,— плюнул он на трясущегося от страха распорядителя полустанции,— ответишь мне за него своей вшивой башкой, если я этого мошен-ника не найду на месте... Все село велю спалить, а вас, разбойников, угоню в Сибирь.

И уехал.

Три дня и три ночи простоял кузнец с приколоченным к чурбаку ухом при Новгородской дороге.

На четвертый день той же дорогой к Аракчееву в гости ехал царь Александр. Увидев прикованного к чурбаку кузнеца, он приказал кучеру остановиться и спросил:

— За что наказан?

— Сами не знаем, ваше величество, — упав в ноги царю, отвечал смотритель полустанции.

— Немедленно отковать, — распорядился царь. — Какое варварство... Я не могу видеть страдания ближнего... Это противно коренному христианскому правилу...

Но распорядитель мешкал...

— Ты почему не исполняешь моего повеления? — спросил удивленный царь.

— Боюсь, государь...

— Кого же ты боишься?

— Того, кто велел приколотить кузнеца к чурбаку.

— Но тебе приказывает сам царь! — с неудовольствием напомнил Александр. — Мое повеление уже никто не может ни изменить, ни отменить...

— Если бы это так, государь, и было...

— Чьим же повелением кузнец наказан?

— Повелением сиятельнейшего графа Аракчеева, государь, которого мы все опасаемся больше, нежели суда небесного...

— Ах, это сам граф Алексей Андреевич! Ну, этот зря не накажет. Коль Аракчеев наказал, то Аракчеев и помилует, — сказал, успокоившись, государь и поехал дальше.

И только на пятый день проезжавший мимо Аракчеев крикнул на ходу томившемуся около придорожного чурбака, чуть не сошедшему от страха с ума полустанционному распорядителю:

— Отковать!

Ровно в двенадцать Аракчеев подкатил к Каменно-островскому дворцу, надеясь застать царя за работой в его кабинете. Но царь накануне отбыл в Царское Село.

Аракчеев на несколько минут заехал в свой огромный

деревянный петербургский чертог, чтобы отдать управляющему Степану Васильеву и домашнему врачу Даллеру приказание о сборах в дорогу. На руках у Аракчеева была заблаговременно составленная памятка — что должно быть захвачено с собою из одежды, посуды и прочего домашнего имущества.

Через полчаса в той же забрызганной грязью венской коляске на тройке вороных он с бешеной скоростью скакал по ровной Царскосельской дороге. Со стороны глядя на эту гонку, можно было лишь дивиться выносливости и прочности уже немолодых костей графа.

4

Из Царского Села Аракчеев возвратился в первом часу пополуночи. В доме стояла гнетущая тишина, словно в необитаемом подземелье. Но никто из домашней челяди не спал. Бодрствовали и адъютанты, а вместе с ними и домашний врач. Разговаривали шепотом, ходили на цыпочках. Через каждый час раздавался похожий на стон бой часов в графском кабинете.

— Все ли готово в дорогу? — спросил граф дежурившего у парадных дверей в ожидании своего господина управляющего.

— Все готово, ваше превосходительство, — отвечал синегубый Степан Васильев, часто моргая маленькими плутовскими глазками. Говорил он тенорком и в нос. Голова его была гола, как коленка, волосы выпали после какой-то болезни. Ему было уже под шестьдесят. У него плохо разгибалась поясница, в отсутствие графа он ходил с палкой, но при графе и без палки делался расторопен. Он всю жизнь пресмыкался перед Аракчеевым и перенял от него некоторые замашки в обращении с подчиненными по дому. Челядь ненавидела и презирала его за двуличие, лицемерие, плутовство и алчность. Круглое лицо его с тоненьким острым носом всегда лоснилось, как горячий блин в масле.

— Быть всем начеку! — последовало приказание графа.

— Слушаюсь, ваше превосходительство!

Через несколько минут в большой домашний кабинет по зову лакея явились: главный хранитель сокровищ дома — тупоумный штабс-капитан Серков, домашний

врач Даллер, казначей Минут, адъютанты, капитан Матрос, и поручик Блюменталь, и Степка Васильев.

— Маршрут составлен? — спросил граф адъютантов.

— Так точно! — отвечали в один голос адъютанты. —
От Грузина до Москвы и от Москвы до Чугуева.

— Поди, опять насовали много остановок в городах? — хмуро буркнул граф.

— Внесены изменения, большинство остановок предполагается в имениях у ближайших к тракту помещиков.

— Так и должно быть, зачем сорить деньги по трактирам и ресторациям при нынешней дороговизне, — выразил свое удовлетворение граф и обратился к домашнему врачу Даллеру:

— Приходно-расходная книга в оба конца готова?

— Готова, ваше превосходительство!

— Смета на обеды составлена?

— Так точно!

— Молодцом. Люблю аккуратность! Серков, пред мои светлые очи! — потребовал граф следующего домашнего челядинца.

Штабс-капитан Серков встал перед графом во фрунт.

— Реестр вещам, назначенным из моего петербургского дома вместе со мною в нынешний вояж, составлен?

— Составлен, ваше превосходительство!

— Что в нем перечислено?

— В нем перечислена посуда столовая, чайная и кухонная, разный прочий прибор, а также гардероб и белье вашего превосходительства!

— Номера вещам не забыл вписать в реестр?

— Никак нет, ваше превосходительство, не забыл. Вещи записаны в точном соответствии с домовыми номерами, которые проставлены вашей собственной ручкой в генеральной описи по петербургскому дому.

— А точное обозначение веса серебряным вещам выставлено в реестре подорожном?

— Выставлено, ваше превосходительство!

— Ну-ка, читай, что ты там назначил в вояж, — приказал Аракчеев, откинувшись на спинку кресла.

Серков читал по реестру:

— В казенном ящике, сзади под сиденьем, между прочим имуществом взяты четыре ложки столовые серебряные весом: в первой — восемнадцать с половиною золотников, во второй — восемнадцать и одна четверть зо-

лотника, в третьей — десять с половиною золотников и в четвертой — восемнадцать золотников.

— Чарку вызолоченную, без которой мне и пир не в пир, не забыл? — спросил граф.

— Не забыл, ваше превосходительство, вот записана чарка серебряная, внутри вызолоченная, с буквицами «Н.Ф.», весом девятнадцать с половиною золотников!

— Я и без твоей записи помню, что в этой рюмке, царице моего пиршественного стола, девятнадцать с половиною золотников! А что взял в вояж из моего гардероба?

— Взято в вояж, — читал Серков, — мундир общий армейский, сшитый в Грузии пятнадцатого июня 1818 года, — один; панталонов темно-зеленых — одне, сшиты в Грузии пятнадцатого июня 1815 года, а другие двадцать девятого июня того же года — две пары; сапогов форменных, сшитых — одне двадцать первого августа 1817 года, а другие восемнадцатого августа 1818 года — две пары.

Более часа продолжалось чтение реестра вещам, отобранным в вояж и в чемоданах и коробьях уже уложенным по экипажам, но Аракчеев, после чтения реестра, захотел сам лично сделать смотр всем перечисленным вещам.

Смотр этот продолжался почти до самого рассвета. И пока граф звенел вызолоченными рюмочками, серебряными ножами и вилками, пока перекладывал с места на место мундиры, панталоны и рубашки, никто не смел вздохнуть полной грудью. Никакого, даже самого малейшего отступления от реестра он не обнаружил.

В шесть утра длинный аракчеевский поезд, состоящий из вереницы всевозможных экипажей, выкатил с петербургского подворья. С графом ехал не только его штаб, но и многочисленная домашняя прислуга. Поезд сопровождали конные драгуны. Своим помощником граф, с одобрения царя, взял командира гренадерского имени графа Аракчеева полка — полковника Шварца, которому уже не первый год оказывал всяческие милости и ловко проталкивал вверх по службе. Кorteж возглавляла золоченая графская карета, за ней катились запасные походные дрожки с кучером на облучке. На запятках кареты несли бессменную вахту гайдуки, давно привыкшие к дорожной каторге.

Поезд мчался как на пожар. Аракчеев дал обещание царю расстояние от Грузина до Харькова длиною в

тысячу триста двадцать девять с половиною верст покрыть за десять суток и к обеду одиннадцатого августа быть на месте.

Тысяча рублей прогонных денег лежала в кармане у Аракчеева; во всю дорогу он держал строгий счет каждой копейке, расходуемой казначеем на продукты.

Давно осталась позади Москва. День и ночь шел проливной дождь. Дорога раскисла, местами сделалась почти непроезжей. Но и по дурной дороге поезд мчался со скоростью ошеломительной. Аракчееву же все казалось, что он едет слишком медленно и такой медлительностью может вызвать недовольство государя. Два походных кузнеца и каретный мастер Иохим измучились больше всех, им буквально некогда было приклонить голову. С рассветом поезд трогался в путь, во время езды на неудобных дрожках не отдохнешь и не выспишься, а во время стоянок и ночевок, когда все другие отдыхали, кузнецы с каретником вынуждены были заниматься осмотром и предупредительным ремонтом экипажей.

На дороге между Тулой и Орлом, особенно в низинах, словно озера разлились лужи, ежечасно пополняемые из небесных хлябей. На одном из перегонов Аракчеев, должно быть, заскучал от одинокого сидения в золоченой карете с фонарем и позвал к себе полковника Шварца.

— Поди, в тайне бранишь меня, Федор Ефимыч, за то, что я понудил тебя трястись вместе со мною по орловским колдобинам и рытвинам?

— Как можно бранить мне моего благодетеля? — ответил Шварц. — Сопутствовать вам для меня великая честь...

— Честь честью, лесть лестью, — пробормотал Аракчеев. — Меня многие поругивают, правда, тишком, за то, в чем я ни брюхом ни духом не виноват. А тебя, Ефимыч, я выбрал неспроста, к твоей же несомненной пользе: надо показать свое отличие и усердие перед государем. Хватит тебе сидеть в гренадерском имени моего полку, есть у меня для тебя на примете лучший полк, от которого до государя батюшки нашего рукой подать! А ты, придет срок, за добро отплати добром. Видишь, я старею, а ты еще в цвете лет... Когда войдешь в полную силу и в доверие к государю, — а так будет, в том даю тебе мое слово, — то не забудь, в случае моей внезапной смерти, взять участие в моем воспитаннике Мишеньке Шумском, которого я решил усыновить... Он из отрочества вступает

в юность, имеет чувствительное сердце и способности...

Шварц знал, что это за Мишенька Шумский и почему о нем так заботится Аракчеев, но сделал вид, что принимает слова своего благодетеля и покровителя со всем простодушием наивного человека. Он готов был поклясться перед графом в своей готовности пожертвовать всем, вплоть до живота своего, для благополучия Мишеньки Шумского. Готовность полковника стать вечным другом юноши была принята графом с полным доверием.

Обещание о переводе в лучший полк исторгло из уст Шварца обильный поток благодарственных слов.

— Имя ваше, Алексей Андреевич, будет славно в веках за бесчисленные благодеяния, сделанные вами для любезного отечества, для благоденствия народного, — изощрялся Шварц. — Вы у нас герой! Вы первый из первых сынов России, истинный патриот и человеколюбец! Одни военные поселения уже обессмертили имя ваше, сделав его священным, наравне с именем возлюбленного нашего монарха.

— В поселениях не столько моя заслуга, сколько государева, — ответил Аракчеев. — Батюшка Александра Павлыч решил взять за образчик систему комплектования армии, что была введена Шарнгорстом в Пруссии. Государь считает, что военные поселения — тот же ландвер и ландштурм — явятся неисчерпаемым людским резервом, с помощью которого, при необходимости, можно будет увеличить в несколько раз действующую армию. Если сказать всю правду, то я спервоначалу противился введению этой прусской штуки. Зачем, думал, нам наши длинные ножки вытягивать по короткой прусской одежке. Но государь сказал мне: «Меньше рассуждай, но больше делай, как подобает исполнительному солдату!» Слово государя для меня — все! И тут я сам себе сказал: замри, душа, остановись, сердце, и принялся за дело. Уж если я взялся, то можно быть уверенным, что дело будет сделано! Скажу, не хвастаясь, во всей России нет солдата исполнительнее меня! Что приказано, то и исполняю. Если государь в своем приказе повелел сделать в наикороткий срок всех поселян счастливыми, то можно не сомневаться в том, что приказание будет выполнено. И сколько ни противились мне разные гоги-магоги — я его выполнил. Зато ныне пехота, кавалерия и артиллерия молят бога за мое и государево раченье... С 1816 года военные поселения растут как тесто на дрожжах. Дрожжи госуда-

рем из-за границы привезены, а квашню бог привел мне сколачивать, я и сею, я и вею, и месить, сам видишь, мне же приходится.

Сквозь беспрерывно напирающие тучи солнце весь день так и не могло пробиться. Дождь то ослабевал, то вдруг усиливался до ливня, дробно стучал о крышу и стены кареты, будто небо под залпы грома обстреливало ее картечью.

Аракчеев умолк, мысленно занявшись ревизией расходов, что были сделаны казначеем на продукты за истекший день. «Людской обед обошелся ровно в два рубля — дорого. Обманывает, подлец. Как бы мне его прищучить? И цыпляты с рябчиком не стоят того, что он записал... Сколько кувшину по воду ни ходить, а утопленному быть».

Вдали, за переменчивой дождевой сеткой, показался Орел.

Навстречу, расплескивая лужи, неслась тройка, запряженная в фельдъегерские дрожки, в которых сидел весь обрызганный грязью тот самый офицер поселенных войск, который привозил в Петербург от Лисаневича первое донесение о волнении в Чугуеве. На нем была серая шинель и широкополая шляпа. Осадив измученных лошадей, он выпрыгнул из дрожек и прямо по лужам подбежал к остановившейся карете Аракчеева.

— Ты куда? — спросил Аракчеев, высунувшись из приотворенной дверцы.

— С донесением от генерал-лейтенанта Лисаневича государю в собственные руки, — ответил нарочный.

— Давай сюда твое донесение. Что государевы, что мои руки — не все ли равно для России, — надменно произнес Аракчеев.

Нарочный не решался нарушить приказание своего непосредственного начальника и потому мешкал с вручением засургученного пакета в руки Аракчееву.

— Ты глух, братец, или от рожденья глуп? — зловеще спросил Аракчеев. — Или хочешь, чтобы я распорядился для тебя вторую обедню отслужить?

Нарочный немедленно раскрыл кожаную сумку и отдал пакет Аракчееву. Тот, не глянув на пакет, положил его под себя на сиденье.

— Рассказывай, что там у вас, у дураков, творится? — грубо приказал Аракчеев.

— Беспорядки в Чугуеве умножаются, ныне весь Чу-

гуевский округ пришел в неповиновение, — докладывал нарочный офицер. — Число бунтовщиков не поддается и приблизительному учету. В округе Таганрогского уланского полка сильное волнение, все коренные жители пришли также в совершенное неповиновение. Бог знает чем все может кончиться...

— А кончится тем, что всех вас я велю прогнать сквозь шпигруты по двенадцати раз... Беспорядки умножились, а твой Лисаневич только тем и занимается, что мух у себя на носу кивером щелкает да строчит донесения... Чернильные генералы, бумажные полководцы.

— Видя повсеместное умножение беспорядков, господин генерал-лейтенант Лисаневич потребовал из Полтавы еще два полка пехоты, — сказал нарочный.

— Храбрецы чугуевские и полтавские, не про вас ли на Руси сказано: молодец — против овец, а против молодца — сам овца, — сквозь зубы невнятно пробормотал Аракчеев. — С чего началось сие малозначительное нестройство?

— Поселяне отказались косить казенное сено для полковых лошадей, которого требуется более ста тридцати тысяч пудов. Не хотят отрываться от своего хозяйства.

Аракчеев приказал:

— Скачи вперед и знай, что если я тебя догоню, то сорву с тебя офицерские знаки, всыплю горячих тысячи две и отправлю на каторжные галеры... Чтобы к моему приезду в Харьков Лисаневич был там.

Нарочный как полоумный бросился к своему экипажу, тотчас повернул тройку и помчался во весь дух, словно за ним гналась нечистая сила.

5

В Харькове шумела народная ярмарка, открывшаяся накануне. Будто состязаясь в трудолюбии и искусстве, как добрые сестры, Россия и Украина привезли на это торжище все, что только продается и покупается. Тысячи и тысячи купцов и покупателей съехались сюда из разных ближних и отдаленных городов. Знаменитое Харьковское торжище имело оборот до двадцати пяти миллионов рублей.

Погода разгулялась. Стада туч скрылись за горизонтом. Солнце подсушивало землю и мостовые.

Во всяком базаре всегда есть что-то праздничное, заманчивое. Люди приезжают на него не только обменяться продуктами и товарами, но и мыслями, новостями.

Недавно вышедший в отставку Рылеев вместе со своим острогожским приятелем Бедрягой ходили от лавки к лавке по многолюдному торговому ряду, подбирая подарок для Натальи. Товаров было так много, что у покупателей разбегались глаза.

Вдруг плотная необозримая толпа заволновалась и отхлынула на обе стороны базарной площади, уступая дорогу веренице экипажей, впереди которых скакали драгуны с саблями наголо. Боясь очутиться под копытами лошадей, испуганные обыватели и приезжие мужики лезли один на другого, жались к стенам, очищая широкий проезд. Рылеев и его спутники стояли на крыльце лавки и наблюдали за всем происходящим.

— Царь едет! — разнеслось в мятущейся толпе.

Как ветром смело шляпы и шапки со всех голов. Особо усердные падали на колени. Нашлись и сверхверноподанные, пожелавшие, чтобы по их спинам прокатилась золоченая карета, принятая за царскую. С фанатической обреченностью они лезли на освобожденную проезжую часть с намерением броситься под колеса головной кареты. Но драгуны секли их плетками по чему попало, мяли копытами, отбрасывали прочь.

Сквозь стекла было видно прямо сидящего в карете Аракчеева в мундирном сюртуке, точно таком же, как у царя. Он сидел будто неживой, глядя прямо перед собою в одну точку. Ни дать ни взять — аршин проглотил.

Рылееву стало грустно при виде людей, преисполненных раболепия. Откуда оно в них? Почему так всевластно слово «царь» над этими представителями рода человеческого, далекими от царского дворца, дворцовых нравов, не помышляющих проскользнуть поближе к царю — поближе к власти? Ничего подобного он не видел в Европе во время походов. Когда успели гордые славяне, отличавшиеся гражданскими доблестями, так переродиться, так измельчать, потеряв в себе все человеческое? Что же случилось с народом? Какой исторический катаклизм сделал его непохожим на самого себя?

— Где мы с вами в настоящий момент находимся: в европейской России, на Украине или в самом отдаленном и диком азиатском султанате? — обратился он к

своим спутникам по-французски.— Я не видел ни одного француза упавшим на колени при въезде нашего императора в побежденный Париж. Они не падали и перед Наполеоном. Неужели россиянам и украинцам все еще мерещится тень Мамай с ордами баскаков? Почему такое страстное желание у моих соотечественников быть тряпкой под чьими-то ногами?

— Не у всех, Кондратий Федорович,— по-французски же ответил Бедряга.— Не мне напоминать вам о том, что вы лучше моего знаете.

И все-таки Рылееву было несказанно грустно в эту минуту. Поезд проследовал к дому украинско-слободского гражданского губернатора Муратова.

Людское море снова затопило всю обширную площадь и вливающиеся в нее улицы. Базаром шли в обнимку подгулявшие отставные чугуевские казаки и пели песню про вольную Запорожскую Сечь. В песне было так много правды исторической и человеческой, что Рылееву захотелось пойти за казаками, дослушать песню до конца. Он повеселел, песня отогнала от него мрачные раздумья. Очевидно, безымянные творцы песни были не из таких, кто недавно пытался броситься под колеса золоченой кареты.

Среди подгулявших отставных Бедряга признал своих старых знакомых. И когда казаки остановились перед лавкой, в которой продавались кашемировые шали, Бедряга окликнул их, поздоровался, смеясь, пустил прибаутку:

— Как чугуевские запоют, в Харькове во всех кузнях молотки сами собою закуют? Для кого, усачи отставные, шали торгуете: для жен-казачек или для любовниц?!

Казаки, а их была тут целая маленькая дружина, приняли Бедрягу как своего. Тотчас Бедряга познакомил с ними Рылеева, назвав каждого отставника по имени.

Для Рылеева такое знакомство было сущей находкой. Он давно порывался съездить в Чугуев-городок, о котором в последнее время много говорилось по всей Украине в связи с укоренением там поселенных войск.

— Что там новенького у вас в Чугуеве? — спросил Рылеев казака Петра Гудза.

Гудз расправил вислые, мочального цвета усы, сказал с хрипотцой:

— Аракчеев царю в ухо дует, а весь Чугуев горюет...

— Приходилось видеть Аракчеева? — поинтересовался Рылеев.

— Приходилось, — басовито сказал другой казак, Малафей Трубчаников. — Вот как бог сотворил Аракчеева: две жердины поставлены, к ним два полена приставлены, вместо души — горсть собачьих кишок, на плечи — пустой горшок.

— Царь — круглый год в пути да в дороге, а его ручной медведь Ракчей управляется во всей России, как в большой берлоге, — добавил колченогий Иван Санжара — дюжий казак в широких синих шароварах, спущенных до половины сапог, и с прокопченной люлькой на серебряной высветленной цепочке у ремня. — По три шкуры дерет, одну, которая похуже, царю отдает, а две хорошие себе про запас кладет.

— У нас одному казаку, Петру Чумаку, недавно во сне было виденье, — вступил в разговор смуглый, круглолицый, с маленьким мальчишеским носиком Астах Татаринов, обладавший певучим, почти женским голоском. — Спустился на подушку ангел в облике семилетнего казачонка, с крылышками за плечами, и сказал: «Чумака, бог подсчитал — за тобой сорок тяжелых грехов, но бог все грехи тебе прощает, равно как и твоим землякам, таким же грешникам, Осипу Чела, Якову Ховшу и Марко Кизиму, ежели вы спалите дворец на горе, в котором останавливается по приезду к вам Аракчеев, а самого его ужокошите... И все будете навечно причислены к лику праведников. Согласен?» — «Согласен!» — с превеликой радостью отвечал Чумака.

Встал он пораньше и, благословясь, метнул скорее к Якову Ховшу, а там уже сидят за столом и горилку тянут Кизим с Челой, а с ними Василий Лизогубов и Мартин Ачкасов, и тут же на столе лежат топор и ружье заряженное. Им в ту ночь всем такое же виденье было. «А мне, — говорил Василий Лизогубов, — дух небесный и топор свой дал, да еще карабин, с таким наказом от самого всевышнего: чем удобнее, тем и глушите. Кто убьет Аракчеева, тот на том свете сядет в день Страшного суда одесную с господом богом нашим». Подкрепились и пошли в церковь, чтобы клятву дать на Евангелии.

— Дали? — спросил Рылеев, радуясь откровенному рассказу отставного казака.

— Дали и благословение попа получили... И на

общем вече всех чугуевских казаков ту клятву единодушно подтвердили... Теперь ждем, когда черный ворон в генеральских штанах закаркает над горой в Чугуеве,— продолжал Татаринов.— Ждем, может быть, и дождемся. И генералу Лисаневичу предупреждение сделали... Теперь он боится к нам и нос свой показать.

— Лучше умереть, чем окончательно потерять волю,— сказал Гудз.

— Слава богу, слышно, будто нынче государь пожаловал к нам в Харьков. Не по нашему ли недовольству? — гадательно рассуждал отставной казак Евстрат Распопов с вышибленным глазом.— Может, бог пошлет и нам царскую милость... Только здешний гражданский губернатор Васька Муратов такая гадина, бородавка, сколупнутая со срамного места у поганого Аракчеева и посаженная к нам губернатором... А чего с дворян требовать? Разве они люди? — разошелся Распопов, забыв, что он разговаривает с дворянами.

— И среди дворян есть хорошие люди, да только ныне нет им ходу,— вмешался казак Жигалев, на бритой круглой голове которого огнем горела ярко-рыжая настоящая казацкая чуприна.

Рылееву стало ясно, что собеседники его — люди волевые, смелые, знающие цену независимости, имеющие свой взгляд на власть и пределы, доступные для нее. Захотелось пообедать вместе с ними и продолжить беседу за рюмкой водки. Предложение было принято с радостью. Всею ватагой отправились в лучший трактир. И здесь у крыльца трактира казаки впервые слышали:

— Приехал Аракчеев...

6

Весть о приезде Аракчеева омрачила лица отставных казаков. Молча расселись они за большим столом. Но молчание длилось недолго. Выпив по чарке водки, казаки опять повели откровенную беседу, на все вопросы Рылеева отвечали охотно.

— Аракчеев устроил нам такой поселенный рай, что хоть заживо в гроб ложись и умирай,— рассказывал Санжара.— Черт надоумил царя подмахнуть аракчеевскую затею. Военные поселения пожрали наши поля, уголья, жилища. Владельцев чересполосных земель насильно согнали с насиженных мест, земли и строения отобрали, заставили согнанных искать себе пристанища в других округах.

— Сушная грабировка и разорение,— подхватил Гудз.— Выдала казна курам на смех вознаграждение на перенос домов и за отнятые лесные дачи, а его не хватит, чтобы задобрить самого последнего писаришку-взяточника.

— Так и татары не опустошали наш Чугуев, как Аракчеев,— добавил Ламанов.— Все иногородние купцы, а их у нас жило около двухсот семейств, изгнаны из города, имущество их, если правду сказать, отнято, хотя и создана была оценочная комиссия. А какой от нее прок? Она ценит только одни здания, пригодные для военного поселения, а земли, огороды, сады в оценку не кладутся. Но и за оцененные дома казна не платит полную стоимость, дает только четыре пятых оценочной сметы, это за хорошие строения, а за те, которые похуже,— всего одну пятую сулят. За ветхие же дома и лавочки Аракчеев приказал ни полушки не выдавать. Видите, какую всесветную грабировку устроили? Будь они трижды по седьмое колено прокляты и вместе с царем!

— До военных поселений наш Чугуевский уланский полк жил-поживал, ни горя, ни печали не знавал,— сказал Астах Татаринов.— Имелись у нас полковые земли для раздачи в пользование чугуевским поселянам. Отставные офицеры тоже садились на эту землю, им отводили участки. На этих участках многие отставные и пустили глубокий корень — построились, обзавелись хозяйством... Аракчеев своей железной метлой всех сметает, нет пощады и отставным укоренившимся офицерам, лишил их земельных наделов и выгнал в другие округа. Все, сукин сын, оказал. Из вольного чугуевского казака задумал сделать казенного дурака. Будто в мертвое царство всех нас поселили. Только и видим: побои, палки, брань, муштру. Не успел младенец на белый свет появиться, а ему уж мундир готов. Ни промыслу, ни торговле не стало простору. Каждый шаг казака на учете у начальства. Да разве так может жить человек? Уже и над детьми своими мы не вольны больше, и они с младенчества стали казенной собственностью. Да мы их, детей наших, и в домах своих не видим — с утра и до вечера муштруют их то в военной школе, то на учебном плацу. Дочь отдавай замуж не за того, кто ей мил и люб, а за того, на кого начальство укажет, женихов и невест делят по жребии... Во всем свете не встретишь такого

измывательства над человеком, какое ныне у нас...

— Уж чему — собственной печи, в которой щи себе варим, поселенный казак перестал быть хозяином: с весны в каждом доме печь осмотрена и опечатана, с ранней весны и до поздней осени казак под страхом смертного наказания не должен разводить огня в собственном очаге, — сплюнув, ядрено выругался Санжара. — Что это, дурь чья-то или издевательство над людьми?

— Где же хозяйки готовят обед для семьи? — спросил Рылеев.

— Как дикари, устраиваем временки каждый у себя во дворе...

В трактир зашли трое инвалидов-казаков. Гудз назвал их Рылееву.

— Рябой — это Максим Бордак, который без уха — Андрей Тыслюк, а начисто беззубый — Семен Казаков. Людишки так себе...

Инвалиды подошли к столу, поздоровались.

— Что третьего дни не были на кругу? — холодно спросил Гудз.

— Сыновья наши взамен нас были, — ответил Бордак, прицеливаясь одним глазом к графинам, что стояли на столе.

— Сыновья ваши глупы. Чтобы такое дело решать, надо было самим приходить, — упрекнул Санжара. — Вы, все трое, стали похожи не на казаков, а на бирюков. Потому вам и делать за нашим столом нечего. Не наливай им, господин подпоручик, — остановил Санжара Рылеева, который собрался было и этих казаков пригласить в компанию. — Они уж не впервой откалываются, все хотят выслужиться перед паскудой Фёдкой Саловым, чугуевским комендантишкой.

— Семь чирьев тебе на язык, Санжара, за твои напрасные слова, да столько же болятков вот на это место, — Бордак шлепнул себя по задку. — Сам ты первая в Чугуеве выслуга, а на других ссылаешься. Мы и не собирались угощаться за одним столом с тобой.

Инвалиды отошли и сели за свободный стол, около окна, из которого была видна часть кишевшей народом базарной площади.

— Эй, половой, где ты там? — хрипло позвал длинновязый Тыслюк. — Сковородку на головку — галопом во все четыре копыта к нашему столу!

Инвалиды оказались задиристыми, языкастыми, они

долго разговаривали с половым, а сами все старались зацепить словом Санжару или Гудза.

В трактир вошли чугуевский комендант полковник Салов и чугуевский полицмейстер. Их сопровождал белобрысый ротмистр.

— Вы чего по ресторациям шастаете? — начальственно спросил Салов инвалидов едва успевших пропустить по первой чарке.

— На ярманку приехали, господин комендант, — ответил Бордак.

— А кто разрешил? Почему без рапорта?

— Разве инвалидам, как и строевым, запрещается отлучка от дома на короткий срок? — удивленно спросил Тыслук.

— Хотя вы являетесь и инвалидами, но по инструкции обязаны пребывать в наличии при поселении. Заканчивайте свое пированье и без всякой задержки дуйте в Чугуев! Приказано всем чугуевским находиться в наличности по случаю важного дела. И чтобы я вас здесь больше не видел, ежели не хотите подарить свою инвалидную кожу моему денщику на сапоги.

— Слушаемся, — вразнойбой ответили инвалиды и принялись наскоро завершать обед.

С той же начальственной осанкой полковник остановился около стола, за которым угощалась шумная компания отставных казаков. Увидев среди них незнакомых ему людей, он несколько снизил тон.

— Что так расшумелись, отставные казаки? Потише надо. В Харькове вот уже четвертый час находится их превосходительство генерал от инфантерии и кавалер граф Аракчеев. Приказано: всем чугуевским жителям, вошедшим и не вошедшим в поселенные, строевым и отставным, малолетним и инвалидам, незамедлительно покинуть ярманку и нынче возвратиться к своему местожительству... О чем довожу до вашего сведения, отставные казаки, и прошу долго не задерживаться.

— А вот как дело свое успешно завершим, так и к местожительству воротимся, — сказал, нахмурившись, Гудз.

— Что же у вас за дело такое неотложное? — заинтересовался комендант.

— Садись с нами да выпей за успех нашего дела, тогда все и скажем, — пригласил Санжара и подставил к большому артельному столу еще три стула.

Салов и оба его спутника сели за стол.

— Так вот, господин полковник, выпьем за успех нашего дела, которое направлено к пользе и благу военного нашего поселения! — налив чарки, провозгласил Гудз. — Мы не враги своему отечеству и государю! Мы были, есть и останемся верными его слугами.

— Отчего не выпить за такое дело, — согласился Салов.

Выпили. Налили еще по чарке.

— А какое же дело-то все-таки, в чем оно заключается? — решил уточнить Салов.

— Дело доброе, дело божеское, — хитро щурясь, принялся разъяснять Гудз. — Не будем таиться от тебя, комендант, как единомышленника нашего, поскольку ты уже выпил за успех задуманного нами дела. Не хотим мы больше военного поселения, оно затеяно дьяволом да Аракчеевым, а не государем. И государю такая дьявольская мучительская затея не нужна. И мы, все поселенные казаки нескольких округов, задумали истребить графа Аракчеева.

У коменданта от такого разъяснения кусок застрял в горле. Он закашлялся и долго не мог освободиться от застрявшего в горле куска.

— Убьем собаку бешеную — и поселениям военным наступит конец, — добавил Санжара. — Ухайдакаем мучителя — люди скажут нам спасибо! Уж мы его живком не выпустим на этот раз из Харькова...

Салов, будто обжегшись, отскочил от стола.

— Я не пил за такое дело... Я ничего не слышал... Я ничего не знаю... Я приказываю вам...

Но Санжара и Гудз схватили его за руки и силой усадили на прежнее место. Полицмейстер и ротмистр с надеждой озирались на дверь, но оставить командира не осмелились.

— Как не пил? Вон икона свидетельница, если свидетельства живых людей будет мало, — грозно заговорил Яков Ламазов. — Пил и одобрял наш замысел!

— Образумьтесь, казаки, не губите себя и семьи ваши... — лепетал Салов. — Такими штуками не шутят.

— А мы и не думали шутить! Казаком сказано — саблей казацкой будет сделано. Можешь, ежели ты иуда-предатель, нынче сказать Аракчееву, что мы все на Евангелии поклялись лишить его живота. И клятву свою исполним не нынче, так завтра!

Полковник видел, что с ним не шутят.

— Помни, комендант, и то: сам ты и твоя семья в наших руках. Пойдешь против мира — несдобровать ни тебе, ни твоей семье...

— Нет, казаки, я с вами не пил за ваше дело. Я думал, что вы уговариваетесь идти всем поселением косить сено для полковых лошадей, которое не было вовремя скошено... Я пил за сено для полковых лошадей...— бормотал Салов, бледный как полотно.

— Значит, ежели тебя живком отпустить отсюда, завтра же всех нас выдашь собаке Аракчееву? — с угрозой спросил Распопов, положив руку на рукоять кривой сабли, висевшей у него на боку.

— Я ничего не знаю... А раз не знаю, то и выдать не могу,— поторопился успокоить казака Салов.

— Если так, то и разговор будет совсем другой,— сказал Санжара.— Тогда тебе, комендант, вольная воля и заступничество от всех от нас. И твоей семье тоже. И еще тебе одно предупреждение: тому не будет ни прощения, ни спасения, кто выдаст братьев Тареевых... За каждого из Тареевых предатель поплатится головой. Тареевы — всему нашему делу голова. И горе тому подлецу, который хоть один волос уронит с головы братьев Тареевых...

— Я ничего не знаю... Я ничего не слышал...— повторял Салов.

— Мы сказали тебе, комендант, все, что думают десять тысяч человек — жителей Чугуева,— предупредил Ламанов.— И ты это помни. Весь Чугуев, весь Харьков молятся за здоровье того, кто оглоушит собаку Аракчеева... И ты не мешай вольному народу... Помешаешь — пропадешь, как червец последний.

Когда Салова и его спутников отпустили от артельного стола, инвалиды Бордак, Тысюк и Казаков уже покинули ресторацию. Однако отставные не собирались прекращать угощения, вошедшего в полную силу. Разговор их с чугуевским комендантом привел Рылеева в восторг, и он предложил выпить еще по чарке за вольных казаков.

Санжара и Гудз, не обращая внимания на то, что вокруг них могли лепиться трактирные шпионы, затянули песню о батке Богдане Хмельницком. Рылеев, уже основательно освоивший украинский язык, запел вместе с ними.

Украинско-слободский губернатор Муратов был ставленником и клевретом графа Аракчеева. Шестой год правил он в Харькове. Из каждого наезда Аракчеева на Украину Муратов старался извлечь какую-нибудь пользу для себя, а поэтому встречал временщика с царскими почестями. Губернатор знал по своему опыту, что государь лишь утверждает своей подписью назначение послов, министров, губернаторов, а подбирает и выдвигает их один человек во всей России — граф Аракчеев.

С многочисленной свитой, под охраной конного отряда Муратов встретил аракчеевский поезд на станции в тридцати верстах от Харькова, поднес графу на расшитом украинскими узорами рушнике хлеб-соль. Другая депутация с хлебом-солью дежурила у въезда в город. Но мимо нее Аракчеев проскакал, не открыв дверцы кареты.

За неделю до приезда графа в Харьков среди самых богатых купцов города были проведены тайные сборы на подарки для него. Все это делалось Муратовым через губернских влиятельных чиновников, сам же он хотел остаться в тени, чтобы выдать эти дары за знак любви народной к высокому гостю.

Пышный, торжественный обед с представлением всех губернских чиновников по рангу, назначенный на день приезда, Аракчеев отменил. К столу в губернаторском доме, кроме самого хозяина, Аракчеев пригласил лишь приехавшего с ним полковника Шварца.

Они втроем обедали в огромном парадном зале, в котором обычно справлялись многолюдные торжественные приемы. Все красные вина вельможный гость велел убрать со стола, оставил лишь один графин с водкой.

Муратов, начиная обед, хотел сказать прочувствованную, заранее сочиненную по его заказу губернским секретарем здравицу в честь Аракчеева, но тот взмахом тяжелой, длинной, словно лапа гориллы, руки погасил витиеватый запев на полуслове.

— Я не за тем трясся тысячу триста двадцать девять с половиной верст от моего Грузина до твоего Харькова, чтобы ты чирикал мне в уши... Надо понимать и знать, когда кричать за упокой, когда — за здравие...

И больше он не сказал ни одного слова в продолжение всего обеда, занявшего около двух часов. Молчал Арак-

чеев, насупленно чавкая над тарелкой и временами купая край накрахмаленной салфетки в соусе, молчали и все остальные. Лакеи, в парадных ливреях, приближались к столу на цыпочках, будто плыли по воздуху, и так же удалялись. Аракчеев ел много, потому что последние сутки на подъезде к Харькову говел, чтобы не тратить лишних денег на харчи для себя и свиты и в надежде восполнить этот недобор за столом у губернатора. Одно непредвиденное обстоятельство нарушало спокойное течение обеда — в животе у Аракчеева скопилось много ветру, и он не знал, как от него освободиться, не покидая временно стола. В животе у него урчало, переливалось, перекатывалось, как у лошади, когда та объестся. Эта кишечная музыка была слышна не только за столом, но и по всему залу. На нее никто не обращал внимания. Аракчеев сам разливал водку по рюмкам, но делал это молча, так, словно находился за столом совершенно один. Разлив водку, он ставил графин около себя, но до рюмки не дотрагивался. Ел, чавкая. Его большие, будто из гранита выточенные, челюсти, как мельничные жернова, перетирали пищу. Потом он молчком брал рюмку, запрокидывал почти квадратную голову, широко открывал большой, как разношенная варежка, рот, выплескивал в него водку и опять обращался к еде. То же самое проделывали и Муратов с полковником Шварцем. Но у них так ловко не получалось. Муратов, решившийся было щегольнуть застольной лихостью, залил водкой свой нос и расчихался, что послужило поводом к единственной реплике во время всего обеда:

— Лить в себя лей, да государеву службу разумеи... Больно уж много у нас развелось сопливых генерал-губернаторов...

— Истинно, истинно,— просипел из последних сил Муратов, утирая платком заслезившиеся глаза.

Отобедали. Аракчеев попросил Муратова проводить его до нужника. У двери нужника губернатор в течение нескольких минут нес караул вместо телохранителя.

Вернувшись в зал, Аракчеев велел развесить на стене штабную карту Харьковской и соседних с нею губерний. Это исполнил Шварц.

— Здесь Харьков, здесь Чугуев, расстояние между ними тридцать две версты... Здесь Волчанск... Тут Змиев...— тыча пальцем в карту, глубокомысленно, как бы сам с собою, рассуждал Аракчеев.— Замухрышки вы с

Лисаневичем — не могли своими силами справиться, чтобы не омрачать благословенного государя нашего. Ведь каждое такое неустройство — новая рана чувствительному сердцу нашего благодетеля и ангела-миротворца.

Муратов хлопал глазами и все сваливал на Лисаневича, Витта и на других начальников поселенных войск, тем более что предписанием самого Аракчеева военные поселения полностью выведены из-под власти гражданского управителя губернией.

— Народ как божия стихия, за ним не уследишь, — такими словами закончил свое объяснение Муратов.

— Дурак ты набитый, глупее глупого монаха Фотия! — обрушился на него Аракчеев. — Поезжай петь такие ермосы к монахам в Киево-Печерскую лавру!.. Не стихия, а умысление злоумышленных преступников! И ты должен был положить мне на стол их поименный список! У тебя же такого списка нет...

— Так точно, нет, ваше превосходительство.

— Я знаю, что нет... Вот ты хотя и не гог-магог, но не лучшего какого-нибудь столичного гога-магога, — изничтожал Аракчеев своего клеветника, находя в этом изничтожении удовольствие для души. — Я тебя посадил на княжение в Харькове не для того, чтобы ты с вышитой ширинкой выезжал мне за тридцать верст навстречу. И дурак может выехать. И за полсотни, и за сотню верст выедет, а чернь в это время будет бунтоваться, бесчинствовать, буяннить... Почему ты, видя неустройство в Чугуеве, Змиеве, Волчанске, видя беспорядки в обоих уланских полках, заблаговременно не запретил столь великую и многолюдственную ярманку? Или ты, дурак, не понимаешь, что сметал омет сухой соломы около тлеющих углей?..

— Побоялся привести в полное и труднопоправимое расстройство всю здешнюю коммерцию и городскую казну, ваше превосходительство... Потому как здешняя ярманка дает оборот в двадцать пять миллионов рублей, — вытянувшись в струнку и тараща глаза, отрапортовал Муратов.

Слова его еще более ожесточили Аракчеева.

— А привести в расстройство чувствительное сердце государя ты не опасался? Вся промышленность, коммерция и торговля вместе со здешней казной — ничто в сравнении с драгоценным здоровьем великого предводителя народов!

— И министр финансов граф Гурьев не одобрил бы меня, ваше...

— Чурбан! — оборвал губернатора на полуслове Аракчеев. — Не у министра финансов надо было испрашивать согласия, а у меня! Коли надо, не то что в твоём Харькове — по всей России закрою и торжища, и ярманки! Речь идет о надежности и верности армии, которой отданы все заботы нашего государя.. А ты мне мелешь о коммерции и торговле!..

Муратов «ел глазами начальство», не смея более слова сказать поперек. Шварц вздыхал, бросая на него укоризненные взгляды.

— Что в публике говорят обо мне? — бесстрастным, будто неживым, голосом спросил Аракчеев.

— Говорят самое лучшее и как первому другу царя желают доброго здравия, большого счастья в семейной жизни, долгих лет служения любезному отечеству и благоденствующему народу русскому! — не моргнув глазом, отбарабанил губернатор.

— Муратов, Муратов, я думал, ты хитрее и догадливее... Думаешь провести меня на такой мякине? Как самому близкому другу царя желают мне смерти лютой — вот это правда. Так-то, харьковский льстец. — Столь неожиданным поворотом Аракчеев совсем сбил с толку губернатора.

— Помилуйте, ваше превосходительство, я... мои люди каждодневно, — залепетал он, но Аракчеев, не дослушав, махнул рукою.

— Иди, я сам тут займусь.

По карте он проверил расстояние от Чугуева до городов, в которые собирался послать нарочных с приказанием, чтобы расположенные там полки, не охваченные волнением, были готовы к походу на мятежников. Но, думая об этом, Аракчеев испытывал страх и неуверенность. Он боялся, что и остальные полки уже заражены духом бунта. На бугское войско у него не было никакой надежды — там каждый год вспыхивали волнения среди поселенных. Не мог он полностью положиться и на полтавские полки. Наибольшее доверие вызывала дивизия, расквартированная в Воронежской губернии, командиру которой он послал строго доверительную записку еще с дороги. Но одной дивизии явно недостаточно. Для подавления мятежа в Чугуевском и Таганрогском округах нужна большая и надежная военная сила.

Он решил подождать с отправкой нарочных до приезда генерала Лисаневича, которого ждал с часу на час. Генерал запаздывал — видно, недостаточно усердным оказался нарочный, возвращенный с дороги. Не забыть бы примерно наказать этого гогу-магогу...

Вокруг дома губернатора был выставлен круглосуточный караул.

Аракчееву был отведен самый тихий покой на втором этаже. В его спальню можно было попасть только пройдя через три комнаты. В первой стояли двое часовых, выставленных губернатором, во второй — два капрала, привезенные Аракчеевым с собою из Петербурга, в третьей находились его адъютанты.

Аракчеев долго не ложился, занимался доскональной ревизией приходно-расходной книги, которую вел домашний врач Даллер. Дорожные расходы на стол самого графа и его свиты, несмотря на их мизерность, казались ему разорительными, и он уже подозревал Даллера в прикарманивании денег, отпущенных из казны на прогоны. Взяв перо, он сеял бисер цифр по бумаге, прикидывая, сколько он может истратить на покупку подарков для своей Настасьи Минкиной, ее наказы у него всегда врезались в память, как и повеления царя. Настасья просила купить для нее материи голубой на три платья, зеленой — на два платья, дынной — аршин пятнадцать, да еще самбуршаль — аршин двадцать. Он подсчитывал аршины, множил их на рубли, подбивал итог — сознание того, что он трудится для царицы своего сердца, доставляло ему большое наслаждение. Перед ним на столе стояла позолоченная рюмочка с буквами «Н. Ф.» внутри — подарок Настасьи. Он ласково взглядывал на эту рюмочку и время от времени подносил ее к губам. Настасья во всех интимных прелестях стояла в его воображении, сердце начинало тосковать по ней волчьей тоской.

Из табакерки слоновой кости с золотыми ободками он извлек маленький медальончик с изображением Настасьи Федоровны и повесил его себе на грудь рядом с медальоном императора — так он делал всегда, находясь один. Из шкатулки, которую повсюду возил с собой, достал прядь каштановых Настасьиных волос, перевязанных красной шелковой лентой с золочеными узорцами, и уткнулся в них носом.

Ему вспомнились слова Настасьи, сказанные на прощанье ночью, накануне его отъезда из Грузина: «Уж вознагражу тебя, государь ты мой, солнце незакатное, за всю нашу разлуку непредвиденную... Знаю, как наградить... Вся твоя спервоначалу и ничья кроме...» От пряди волос пахло живой Настасьей — он отличался необыкновенным обонянием, — пахло так, как и в постели. Недаром при свиданиях с нею он называл ее самой душистой на свете женщиною.

В полночь прибыл генерал Лисаневич. Аракчеев, закрыв приходно-расходную дорожную книгу, но забыв снять с груди свой медальон с изображением Настасьи, принял Лисаневича в спальне. Разговор с дивизионным командиром начал более чем холодно.

— Мое июльское предписание получено? — спросил он.

— Получено.

— Военный суд наряжен?

— Наряжен.

— Кто за презуса?

— Полковник Салов.

— Главные бунтовщики военному суду преданы?

— Предаются... Но не всех удалось выловить.

— Дурное донесение привез ты мне. Сколько бунтовщиков выловлено?

— Сколько выловлено — о том сказано в рапорте!

И Лисаневич вручил Аракчееву рапорт.

— Уже содержатся под арестом: Чугуевского полка — тысяча сто четыре бунтовщика, Таганрогского — восемьсот девяносто девять, из коих над триста тридцатью человеками, как главнейшими преступниками, производится предписанный военный суд, — доложил дивизионный командир.

— Суд военный — это хорошо. Это очень хорошо. У меня всегда радостно становится на душе, когда слышу эти два слова, — одобрил Аракчеев принимаемые генералом меры. — А убеждением не пытался склонить к повинению?

— Никаких убеждений не хотят слушать, бесполезная трата времени, — ответил Лисаневич. — Все сплошь бунтовщики, даже женщины и дети кричат в тысячу голосов: не хотим военного поселения! Дома наши сожжем и сами себя не пощадим, а на поселенной каторге погибать не согласимся!

— Так и кричат?

— Это цветики, граф... Такие оглобли гнут, что и повторять не хотелось бы в вашем присутствии.

— Мое предписание, высочайше утвержденное, зачитывал бунтовщикам?

— Трижды зачитывал...

— И что они ответили на это?

— Повторили то, что кричали накануне...

— А именно?

— Отвечают вот что: «Конец Аракчееву — конец военным поселениям!», «Скажите Аракчееву: мы перед богом зарок положили истребить его, потому что знаем наверное — с его концом разрушится и военное поселение...» Много еще всяких угроз в ваш адрес привелось выслушать... и ругательств всяких...

— Говори, говори, не стесняйся. Я ведь знаю, что меня везде ругают, лучше правду слушать, чем выдумки льстецов, от которых меня тошнит. Повесить Аракчеева не собираются?

— Ну как же не собираются... Собираются... И срок расправе назначен.

— Велик ли?

— В первый же его приезд в Чугуев.

— Я другого и не ждал от здешних казаков... А губернатор Муратов, дурак такой, хотел голубиным перышком, обмакнутым в скоромное масло, помазать меня по губам в надежде, что я ему поверю. Садись, Лисаневич, за стол и пиши донесение в собственные руки государю, и не забудь написать все бранные слова, все угрозы бунтовщиков Аракчееву, и как они поклялись истребить меня, и какими непристойными словами называли друга государя..

Граф сам разложил перед дивизионным командиром лист бумаги с золотым обрезом.

— Пиши, братец, пиши, не стесняйся в выражениях, государь должен знать обо всем,— ласкательно просил Аракчеев.

— Удобно ли, граф, омрачать государя подобными неприятными сообщениями? Кроме того, повторение бунтовщической ругани... э... как бы унижает вас, достойнейшего сына отечества,— держа перо в руке, медлил Лисаневич.

— Не задумывайся, пиши,— настоятельно требовал Аракчеев.— Рассказав истину, тем самым ты меня возвы-

сишь во мнении государя, а вместе с тем возвысишь и себя! Пускай государь знает, что для него мы с тобою готовы на все.

Лисаневич принялся писать донесение царю. Аракчеев стоял у стола и наблюдал за пером в руке дивизионного командира, временами подсказывал, что необходимо добавить к донесению.

— Пускай их величество вообразит, в каком ужасно затруднительном положении нахожусь здесь я и возглавляемый мною комитет. И еще вот что следует непременно упомянуть: к умножению всех сих неприятных обстоятельств случился сей бунт... О нет, «бунт» нельзя, чтобы не омрачать нашего ангела... Выразимся помягче: случилось сие неустройство в то время, как в Харькове была знатная народная ярманка, сопровождаемая стечением народным, приездом купечества из всех южных провинций и собранием дворянства здешней и соседствующих губерний...

Аракчеев знал что делал. Трудности, изображаемые пером дивизионного командира, не были преувеличением. Но для него сейчас дорого было свидетельство о его преданности государю, полученное государем как бы со стороны.

— Очень хорошо, Лисаневич, что злоба бунтовщиков обращена единственно на меня, а не на моего ангела-благодетеля. Как истинный христианин, восприму ее похристиански со всей кротостью и братским всепрощением,— подсказывал Аракчеев.— Так и напиши, что бунтующие единогласно кричат: не хотим военного поселения, которое не что иное есть, как служба графу Аракчееву, а не государю, и мы приняли решительные меры истребить графа, потому что знаем, что с его концом разрушится и военное поселение.

Аракчееву хотелось предстать нынче перед государем распорядительным, строгим и вместе с тем великодушным администратором, которому чуждо чувство мщенья за готовящееся покушение на его жизнь. И об этом просил он Лисаневича написать несколько строк в донесении царю.

Граф собственноручно запечатал донесение, и на рассвете нарочный поскакал в Петербург.

В шесть утра Аракчеев уже сидел за своим письменным столом. Привычка пробуждаться с восходом солнца укоренилась в нем с юношеских лет: и ни разу на

протяжении всей жизни он не изменил ей. Его усердие и трудолюбие при исключительных обстоятельствах восходили до грани подвига. Он не считался ни со временем, ни со своими силами, если видел, что в его усердии нуждается государь. Петербургский распорядок дня он привез с собою и в Харьков.

После завтрака в парадном зале губернаторского дома открылось заседание чрезвычайного комитета под председательством Аракчеева. В состав этого комитета вошли генерал-лейтенант Лисаневич, генерал-майор Александров, начальник штаба поселенных войск Клейнмихель, харьковский губернатор Муратов и полковник Кочубей. Должность секретаря исполнял полковник Шварц.

Председательствующий предоставил каждому члену комитета ровно десять минут, чтобы высказать свои соображения. Он не имел привычки осаживать или прерывать говорящего, если тот укладывался в отведенное для него время. Но беда была тому, кто в запальчивости или по небрежности занимал лишних хотя бы полминуты. В пух и прах бывал изруган незадачливый краснобай. С мнением нарушителя регламента Аракчеев принципиально не хотел считаться.

Все уложились в отведенное для них время, чем остался весьма доволен председатель. После краткого резюме он спросил сидящих перед ним за длинным столом членов комитета, все ли зачинщики бунта выловлены и посажены под арест?

— Полагаю, что все,— ответил Лисаневич.

— А бумага, поданная бунтовщиками на имя государя, в ваших руках?

— Нет, бумага у них.

— Кто сочиняет просьбы бунтовщикам?

— Очевидно, эти бумаги пишутся сообща,— ответил Лисаневич.

— Сообща можно пить водку, а бумаги с призывом к возмущению пишутся умными головами, главными бунтовщиками,— возразил Аракчеев.

Клейнмихель тотчас услужливо сказал то, о чем умолчал Лисаневич:

— Просьбы и все бумаги, по-моему, сочиняются отставным капитаном Тареевым...

— Что тут у вас за капитан Тареев? Расскажите о нем, Клейнмихель,— приказал Аракчеев.

— Сей отставной капитан Тареев есть родной брат старшего адъютанта 2-й уланской дивизии штабс-ротмистра Тареева, человека крайне дерзкого, вольнодумного, пристрастного к чтению разных, нужно полагать вредных, книг. А отставной капитан Тареев состоит в дружестве с отставными и наиболее влиятельными в Чугуеве казаками,— продолжал Клейнмихель.— А те имеют своих единомышленников и в Харькове, и в Змиеве, и в Волчанске. Из них самые злобные: Иван Санжара, Петр Гудз, Иван Пастухов, Яков Ламанов, Ганька Пылев, Ванька Жигалев, Евстрат Распопов, отставной улан Моисей Перепелицын, рядовой из хозяев Прокопий Лестушка, инвалид Федор Визир, не вошедшие в состав поселян Марко Кизим, Яков Ховша, Осип Чела, Петр Чумак, Герасим Аршава.

Клейнмихель перебрал еще несколько десятков имен, выписанных им в тетрадку. Аракчеев особенно заинтересовался именами поселенных эскадронов унтер-офицеров и именами отставных унтер-офицеров и сразу же отдал распоряжение:

— Всех унтер-офицеров поселенных и резервных эскадронов и тех отставных унтер-офицеров, которые до учреждения военного поселения были в городе Чугуеве главноуправляющими, включить в число главнейших преступников на предмет справедливого наказания, так как через их злоумышленное действие в бунтующем народе произошли, надо думать, все беспорядки.

Лисаневич сделал попытку сказать несколько осторожных слов в пользу братьев Тареевых, которых в Чугуеве не только знали все жители, но и уважали за их честность, прямоту и неподкупность. Аракчеев холодным, неодобрительным взглядом встретил слова Лисаневича. Видя его недовольство, Клейнмихель поспешил и здесь:

— Я не понимаю мотивов, побудивших господина дивизионного командира встать на защиту братьев Тареевых. Служба государю обязывает нас быть правдивыми до конца... Лисаневичу должно быть хорошо известно, что старший адъютант 2-й уланской дивизии штабс-ротмистр Тареев — самый горячий подговорщик из всех подговорщиков. Это он подговаривал нижних чинов действующих эскадронов стоять заодно с их отцами, матерями, детьми и родными, призывал к возмущению, к прямому бунту, говоря, что лучше смерть

за правду, чем жизнь не по справедливости. Он же всех больше самыми непочтительными словами обзывал графа Алексея Андреевича и даже не щадил самого государя...

— Я таких слов от Тареева не слышал,— без запала, но и без уступки отвечал Лисаневич.— Я знаю Тареева как примерного офицера, распорядительного командира, героя Отечественной войны, удостоенного наград.

— Явно преступник и бунтовщик,— заключил Аракчеев и велел Шварцу тут же вписать обоих Тареевых в реестр особо важных преступников.

Лисаневичу осталось лишь промолчать.

8

Целую неделю Аракчеев просидел в доме харьковского губернатора, не решаясь показаться в Чугуеве. Он боялся попасть в руки к бунтовщикам. Ему стало известно через казаков-предателей — нашлись среди нескольких тысяч отважных людей и такие,— что о его истреблении не только помышляют, но и приуготовляют нападение сразу в нескольких местах: в Чугуеве, Волчанске, Змиеве и в самом Харькове. В точности сведений у него не было никаких сомнений. Иного он и не ждал от казаков, утративших остатки вольностей.

Каждый день Аракчеев распекал членов комитета и военного суда, являвшихся к нему с докладами о проделанной работе и о состоянии умов среди поселенных войск и харьковчан. Ни один доклад не вызвал одобрения с его стороны. Граф оставался решительно всем недоволен, особенно доставалось от него льстецу Муратову, которому столичный гость никак не мог простить шумной, многолюдной ярмарки. Аракчеев всерьез обдумывал предлог, под каким можно было бы развязаться с ярмаркой и одним махом удалить съехавшихся с разных сторон торговцев и прочих обывателей и зевак. Его озарила мысль вызвать нескольких врачей и заставить их объявить о внезапно вспыхнувшей в городе эпидемии холеры, что послужило бы причиной к закрытию торжища. Он возрадовался, озаренный такой мудрой догадкой, позвал домашнего врача Даллера и поделился с ним своим планом. Даллер, выслушав, сказал:

— Для современной медицины не составит никакой трудности сделать открытие холеры, можно даже открыть чуму... Но сие предприятие создаст еще большие затруд-

нения: по законам придется объявить карантин, все приехавшие на ярмарку окажутся в ловушке, и мы вместе с ними.

Аракчеев, подумав, отказался от своего замысла. Скопление множества народа в городе крайне страшило его. Думалось, что бунтовщики с умыслом приурочили беспорядки к знаменитой ярмарке. Все еще не было полной уверенности в безусловной надежности и преданности действующих эскадронов Чугуевского уланского полка, равно как и в преданности пехотных полков, силами которых он намеревался учинить расправу над бунтовщиками. Аракчеев изыскивал самые верные и действительные способы к тому, чтобы ожесточить пехотинцев против мятежных уланов. Озлобленные всегда наказывают жестоко, когда им в руки дают шпицрутены.

Узнав от Клейнмихеля, что среди пехотинцев замечен ропот на остервеневших в противоборстве с властями чугуевцев, Аракчеев не пожалел денег на водку. Угощать пехотинцев, по его приказанию, ездил полковник Шварц. Вместе с водкой устроителям этого угощения удалось влить в души солдат злобу к бунтующим уланам. Шварц, исполняя наказ главного усмирителя, внушал пехоте мысль о том, что противников службы государевой сам бог велит бить до смерти. И пехотинцы обещали не мазать, когда чугуевцев поведут сквозь строй.

Харьков был наполнен шпионами. Люди, встречаясь на улице, не говорили, а шептались, озираясь по сторонам. Губернатор распорядился хватать каждого подозрительного и сажать под арест. В трактирах и на постоянных дворах, в лавках и около балаганов — всюду шныряли осведомители. Временно приостановили народные увеселения, пение песен было запрещено.

Вечером кто-то с улицы бросил булыжину в окно покоя, где жил Аракчеев. Это происшествие наделало в городе такого шума, какого Харьков не знал за все годы существования. Губернатор Муратов почувствовал себя обреченным на опалу. Все, что можно было поднять на поиски злоумышленника, — все было поднято, искали день и ночь, но никого не нашли. На другие сутки все харьковчане знали о нападении на пристанище Аракчеева и с радостью разносили эту весть по улицам и по торговым рядам. В городе в один голос говорили о чугуевских храбрецах, решивших не выпустить Аракчеева живым с Украины.

Граф потребовал у губернатора другого, более безопасного, покоя, окна которого не смотрели бы на улицу и были недоступными для злоумышленников, но такого покоя не оказалось. Пришлось окна комнаты, им облюбованной, на ночь закрывать надежными дубовыми ставнями. Грудь Аракчеева распирала злоба, искавшая и не находившая себе свободного выхода.

Злобу его питали многие источники. Одни брали свое начало здесь, в Чугуеве, а другие там, в покинутом им Петербурге. Там остался царь, каждый день пребывания около которого у Аракчеева был на особом счету. На всю жизнь становился его личным врагом тот — независимо от его чина, звания, положения, близости ко двору, — по чьей вине Аракчееву хотя бы на один день пришлось разлучиться со своим благодетелем. Потому, покидая на какое-то время Петербург, граф оставлял во всех важных и нужных для него местах преданных ему информаторов. Таким нечувствительным доверенным был и Николай Муравьев, один из многочисленных отпрысков муравьевского фамильного куста, прозванный «аракчеевской слепой кишкой». Через эту «слепую кишку» Аракчеев знал буквально каждое слово, сказанное о нем министрами, генералами, губернаторами, дипломатами, великими князьями в секретарской перед дверьми императорского кабинета. И ни одно из этих тайно добытых слов не пропадало в его памяти, так или иначе отражалось на карьере, а то и на всей судьбе сказавшего.

И перед этой поездкой он наказал Муравьеву, как и прежде, не дремать в секретарской и писать почаще в Харьков. Знал Аракчеев: на другой же день по его выезде из столицы к царю полезут всякие Голицыны, Волконские, Закревские и будут чернить верного царского друга... Он готов был сровнять с землей весь Чугуев, а с ним вместе и Змиев с Волчанском, готов был всех чугуевских и прочих бунтовщиков живьем загнать в одну огромную яму и похоронить в ней, лишь бы поскорее покончить с неустройством, чтобы тотчас вернуться в Петербург...

Аракчеев отдал строжайшее приказание Лисаневичу и губернатору Муратову:

— Голову капитана Тареева, живую или мертвую, доставить мне в ближайшие два дня... Запастись побольше столбов и веревок...

Военный суд с приездом Аракчеева заседал по шестнадцати часов в сутки. Некогда было судьям заглядывать в судебники, некогда заниматься допросами арестованных. Судили без милосердия, заглазно, по списку приговаривали к лишению живота.

— Однако, господа, необходима ссылка на какой-нибудь высочайший указ,— сказал Лисаневич во время одного из заседаний.

— Секретарь потом впишет,— вполне серьезно ответил Клейнмихель, особенно старавшийся приговорить побольше к смертной казни.— Нам приказано судить без проволочки.

— Я такого же мнения,— согласился секретарствующий в суде полковник Кочубей.

— Господа, я дам приказание моему секретарю подобрать все главы и артикулы из законов, клонящие к смертной казни, что нами и будет вписано перед тем, как предоставить приговор на утверждение графу Аракчееву,— заверил губернатор Муратов.

Через две недели закончился суд.

Поздно вечером Лисаневич привез приговор на утверждение главному экзекутору России, который в это время уже возлегал в постели, обнюхивая клочок Настасьиных волос. Он принял командира дивизии, вылезая из-под одеяла.

— Ну, что там у вас, судьи-замухрышки? Все судите и осудить никак не можете?

— Суд завершен.

— Слава всемогущему! Тареев схвачен?

— Пойман... Закован в железа!

— Слава тебе, господи, слава тебе,— запел протодьяконски Аракчеев и, сев, свесил ноги до полу.— Эта поимка из важных! Ну, чем военный суд порадует меня?

При свете ночника Лисаневич хотел было зачитать наспех составленный приговор, но Аракчеев махнул ручищей, словно медведь лапой:

— Опять за бумагу прячешься... У меня бумаг и без твоих хватает, со всей России бумаги валяются в мою торбу, не успеваю выгребать. Я жду от суда не бумаг, а дела!

Лисаневич отложил приговор.

— А дело, Алексей Андреевич, обстоит следующим образом...

— Короче... Без акафистов... Ты кто: дивизионный командир или гог-магог?

— К лишению живота приговорены на сегодняшний день двести семьдесят пять человек! — отрапортовал Лисаневич, поняв, какие именно слова хочет услышать от него раздраженный Аракчеев.

— Вот, вот, это-то мне и надо, — заметно повеселев, одобрил генерала Аракчеев. — Поскупились, можно было бы и побольше... Никто бы с судий за сие не взыскал...

— Приговор военного суда покорнейше представляю на вашу конфирмацию, — доложил Лисаневич.

— За моей конфирмацией дело не станет, я привык к точности и ненавижу всякую медлительность, — не слезая с кровати, сказал Аракчеев. — Положи бумагу на стол под подсвечник. Государь повелел мне проявить милосердие при наказании виновных. Потому лишение живота заменяю сечением шпицрутенами. Каждого осужденного прогнать через тысячу человек по двенадцати раз... Получить порцию в двенадцать тысяч полновесных ударов это не то, что одну-две минуты на виселице покрутиться... Да и неприлично нам, христианам, душегубство. Получит каждый по двенадцать тысяч ударов, а уж жив останется, нет ли — на то воля божия...

Аракчеев дал дивизионному командиру подробнейшие наставления о том, как по всем правилам провести массовую показательную экзекуцию; как приготовить в дело шпицрутены; как произвести выбраковку неполноценного палаческого инструмента; как расставить пехотинцев, чтобы каждый удар был полновесным; как устроить строжайшее наблюдение со стороны капралов и фельдфебелей за солдатами-эзекуторами, чтобы обеспечить полный взмах и плотный удар; как доставить к месту расправы партии арестантов из Змиева и Волчанска.

— Перед началом дела всем пехотным солдатам выдать по большой чарке водки и обещать еще по чарке после успешного окончания дела. Предупредить солдат: каждый, заподозренный в послаблении, будет наказан немедленно теми же шпицрутенами и в той же божеской норме — через тысячу человек по двенадцати раз.

— Скольким медицинским чиновникам прикажете присутствовать при наказании? — спросил Лисаневич.

— Чиновникам? Каким еще чиновникам? На что

они? — выразил неподдельное удивление Аракчеев.

— Так уж положено, ваше сиятельство, медицинские чиновники нужны для наблюдения за наказанием с тем, чтобы, смотря по силе и сложению каждого преступника, вовремя прекратить наказание... — сделал разъяснение Лисаневич.

— Только для этого? Будто без них некому наблюсти...

— Высочайше утвержденная инструкция требует...

— Все, что утверждено высочайше, — для меня закон. Приглашай докторов, но скажи им, чтобы ели пирог с грибами, а язык держали за зубами и не совали свой нос под шпицрутены. А то, не дай бог, рассержусь и всю здешнюю медицину, как развратную бабу, велю растянуть на площади, заголить гузно и всыпать горячих полную порцию... А моя порция известна всей России и не подлежит ни убавке, ни прибавке. — Давши такое исчерпывающее наставление, Аракчеев сказал: — Итак, решено: наказывать буду в Чугуеве, в гнезде бунтовщическом. Хочу видеть удовольствие сие продленным на несколько дней.

— Как это сделать? — спросил Лисаневич.

— Будем пороть партиями. На первый день отбери десятка четыре главнейших преступников. В число их включи всех унтер-офицеров поселенных и резервных эскадронов и тех отставных унтер-офицеров, которые до военного поселения были в Чугуеве главноуправляющими. И помни, генерал, и скажи об этом каждому пехотному солдату: я сам лично буду вести учет каждому удару шпицрутеном, и горе тому, кто замечен будет мною в шельмовстве...

Эта ночь, пожалуй, была первой за все время пребывания Аракчеева в Харькове, наступление которой он встречал без тайного страха быть истребленным. Он был достаточно опытен для того, чтобы понять, что никакой суд не в состоянии осудить на смерть ненависть народную к нему. Мечта об его истреблении, конечно, не вырвана из сердца чугуевцев, но ряды готовых исполнить эту мечту сильно поредели: тысячи человек находятся под арестом и ждут суда, а сотни уже осуждены.

Он заснул с думами о своей Настасье и сыне Мишеньке Шумском.

Всю ночь его осаждали кошмары один другого нелепее... Вся дорога от Харькова до Чугуева по обеим сторонам уставлена свежетесаными столбами с перекла-

динами... На дороге грязь, лужи... По дороге идет голый, как облупленная молодая липка, незаконный сын его Мишенька, весь с ног и до головы облепленный грязью... По окрайку дороги шагает дебелая Настасья, в голубом платье из енгершали, у нее в руке золотое ведро и серебряный ковш с большими буквами внутри «А» и «П» — Александр Павлович. Она останавливается около каждого столба с перекладиной и, будто куст розы, поливает его человеческой кровью. А впереди бежит огромный черный пудель, будто он хочет догнать Мишеньку Шумского и никак не может. Верный собачьему обычаю, пудель останавливается около каждого столба, на короткое время поднимает заднюю ногу, делает свое дело и бежит дальше. За придорожными канавами справа и слева стоят сплошной стеной толпы озлобленных людей и бросают камень в бегущего по грязной дороге черного пуделя... И в этом пуделе Аракчеев узнает самого себя... И сколько четвероногий Аракчеев ни ускоряет свой бег, обнаженный, облепленный грязью сын его уходит от него все дальше и дальше, уходит, не оглядываясь, и по всей его фигуре и походке можно понять, как он удручен, несчастен и беспомощен. И вдруг сразу будто все исчезает с земли с неотвратимостью апокалипсической: и столбы, и Настасья с золотым ведром, и эта дорога, и твердь небесная... В тьму крошечную песчинкой, пылинкой, но не мертвой, а живой, обреченной на сверхадские страхи, улетает человеко-зверь...

Вдруг чьи-то, как лед, холодные руки сцепились на его горле...

Аракчеев соскочил с постели и бросился к двери... И только у порога, за которым дежурили караульные, он пришел в ясную память. Тело его источало холодный пот... На душе было так скверно, что появилось желание исступленно зарычать, застонать на весь губернаторский дом.

Комнату наполняла непроницаемая тьма, потому что все три окна были заставлены плотными ставнями. Аракчеев не знал, как отделаться от накативших на него сокрушительных страхов. С детства укоренившаяся в нем вера в колдунов, чертей, ведьм и прочих нечистых духов нашла новое себе подтверждение в происшествиях этой ночи. И только сейчас он по-настоящему подумал об Украине, славящейся на весь мир непостижимым многообразием ведьм. Он упрекнул себя за то, что не подумал

об этой опасности, вступая в губернаторский дом, и не принял никаких надежных охранительных мер. «Завтра же пошлю нарочного в Грузино, пускай Настасья спишет на бумажку заговор и с тем же гонцом пришлет мне...»

На улице было тихо. Послышался чей-то кашель под окнами. Кто кашляет: караульный или крадущийся к губернаторскому дому злоумышленник?

Аракчеев зажег свечу.

10

Снова серые тучи беспокойно мчались по небу, будто убегали от кого-то.

В Харькове на столбах и заборах были вывешены строгие публикации за подписью генерала от артиллерии и кавалера графа Аракчеева, повелевающие всем чугуевцам, независимо от пола и возраста, не позже пятнадцатого августа вернуться к своему постоянному месту жительства и впредь никуда не отлучаться. То же приказывалось жителям Змиева и Волчанска. По необъятному торжищу шатались ловчие шайки, которым было приказано вылавливать чугуевцев и отправлять под арест с тем, чтобы потом всех арестованных одним гуртом отконвоировать в Чугуев.

Через чугуевского коменданта, день на третий по прибытии сюда, Аракчеев вызвал в дом к губернатору для переговоров депутатов от города Чугуева, обещав им полную безопасность и беспрепятственное возвращение домой. Депутаты поверили его обещанию, явились. Аракчеев выслушал их, потребовал все бумаги, но бумаг при них не оказалось. Тогда он приказал всех депутатов арестовать.

Рылеев с Бедрягой не хотели уезжать из Харькова, не дождавшись развязки чугуевской драмы. Рылеев уговаривал друга поехать в Чугуев, чтобы посмотреть и послушать чугуевцев.

Как-то раз они зашли в мануфактурную лавку, которая в этот час была почти пустая. За прилавком стоял невеселый купец в красной атласной рубаше и в черной жилетке. От нечего делать он постукивал аршином, окоченным по концам медью.

На прилавке лежали грудой куски разноцветных добротных тканей. Пожилых лет покупатель в широкой шля-

пе, сером, смахивающем на писарский, сюртуке, вооружившись очками, держал в руке бумажку и вел торг с хозяином:

— Самбуршаль?

— К вашим услугам! Полюбуйтесь! Райский наряд получится.

— Почем?

— Четыре рублика за аршин и ни одной копейки более.

— Отмеряй девятнадцать с половиной!

Сверкая медными концами, аршин заиграл в руках у повеселевшего лавочника. Полминуты — и отрез в руках у покупателя.

— Енгершаль голубой?

— Пожалуйста, пресветлый господин! Сколько прикажете-с?

— Сколько стоит?

— Дешевка... За такой товарец — и всего по пяти рублев и по пятидесяти копеек за аршин! Матерьяца любому возрасту в украшение. Все знатные дамы покупают только у меня енгершаль — и голубой, и зеленый, и дынный... Извольте порадовать ангельской расцветкой ваш благородный понимающий глаз, — хвалил свои товары опытный торговец.

— Отмерь: енгершаль голубой — восемнадцать аршин, зеленой — двенадцать аршин, дынной — пятнадцать аршин, — велел покупатель и стал на той же бумажке подсчитывать карандашом общую сумму расхода.

Торговец тщательно завернул покупку, с поклоном вручил ее довольному гостеприимством и обходительностью господину, проводил до порога. У порога покупатель спросил:

— По вежливости видно — московский или ярославский щеголь... Угадал?

— Никак нет, вашество, не угадали... Мы недалние... Мы почесь тутошние... Из разоренного города, который ныне слезами умывается, шомполами утирается, — ответил торговец.

— Где же такой разоренный город?

— В тридцати с небольшим верстах отсюда — Чугуев. Слышали?

— Кто же вас разорил?

— За разорителем не за море ехать. Всех купцов обездолил, всех ремесленников и промышленных людей по миру пустил, будь он трижды и во веки веков проклят,

подлец и мерзавец Аракчеев, сукин сын.— Купец вздохнул, бросил на прилавок аршин.— Я, изволите знать, тоже из того разоренного города изгнанный навсегда... Ну, да что говорить... Для кого изволили купить материалу: для дочек или для супруги?

— Для его превосходительства графа Аракчеева,— ответил покупатель с порога.— Что еще прикажете ему передать?

Это был домашний лекарь Аракчеева — Даллер.

— Ври больше,— не поверил торговец.

Но Даллер показал ему какой-то украшенный вензелями и двуглавым орлом билет.

— Теперь веришь?

— Ну и что, что ты домашний лекарь у этого анчирхиста... Так и скажи: ни дна бы ему и ни покрывки за все благодеяния...

— Купец, хоть ты, вижу я, и чугуевский удалец, но не забывай: язык в наш век не только до Киева, но и до Сибири доведет...

Даллер покинул мануфактурную лавку, а купец, желая оставить за собою последнее слово, крикнул ему вслед:

— Сибирью не пугай, там тоже казачки Ракчея твою не жалуют!

За один такой ответ аракчеевскому слуге Рылеев загорелся желанием сделать что-нибудь доброе для этого человека. Решил купить подарок Наталье.

— Торговать так торговать! — весело обратился он к хозяину лавки.— Отмеривай и мне енгершаль голубой десять аршин!

Торговец проворно взял ножницы и поставил их на ход, чтобы отмахнуть отрез.

— Чур! — остановил его Рылеев.— Только не от этого куска, давай от другого. Не хочу от того, от которого резал Аракчееву.

Здесь же и Бедряга сделал себе покупки. Слово за слово — они познакомились с выселенцем из Чугуева.

— Как зовешься? — полюбопытствовал Рылеев.

— Зовемся запросто: Фома Ветчинкин,— ответил купец.— А то еще есть у нас Федор Ветчинкин, рядовой из хозяев, так тот брат мой, он пока что остался в Чугуеве. Будет дорога к нам в Чугуев, кланяйтесь моему брату, обещал быть на торжище, да что-то не появляется. Боюсь, уж не заарестован ли разбойниками-ракчеевцами.

У него и ночевать можно, дом-то большой, старого покроя, ежели не сломали разорители.

Хотелось Рылееву продолжить дружбу с этим мужественным человеком, имевшим на все свой взгляд и умевшим свое суждение окрылить самобытным словом.

— Как думаете, господа, прикажет Ракчеев терзать меня за мое ему пожелание? — спросил Ветчинкин.

— Я полагаю, что лакей, бывший в лавке, не осмелится пересказать своему вельможе сии великолепные слова, — сказал Рылеев.

— А не скажете ли вы мне, господа, что-нибудь хорошенькое о реке Амударье? Или Амурдарье? — спросил торговец.

— К сожалению, бывать на берегах Амударьи нам не приходилось, поэтому и сказать о ней можем лишь то, что известно из книжек, — ответил Рылеев. — Амударья, как и Волга, обросла сказками и сказами, былинами и песнями. А уж коль из песни та или иная река берет свое начало и в песню вливается, то, значит, достойна славы такая река.

Выслушав рассказ Рылеева о далекой реке, Ветчинкин частично приоткрыл большой, должно быть мирской, секрет:

— У нас в поселении слух прошел, будто где-то в полуденных краях, в тех землях, где Амударья протекает, пустует много богатейших земель, совершенно заброшенных, никому не известных, ни в какие межевые книги ни царем, ни барами не поверстанных. Приезжай, останавливайся, вбивай кол, где тебе любо, отмеривай косой саженью сколько тебе надобно угодий и раздувай кадило... Весть всех взволновала, объявилось множество желающих сняться с места и ехать в далекие края... Одно плохо — проводника надежного не находится... Поп чугуевский сказывал, будто те местности неподалеку от Индии и в них можно проехать через Индию, и никак иначе, а в Индию надо плыть через семь морей и три океана... По земле не страшно, ноги куда хочешь приведут, а вот по морю, по океану дело для нас, казаков, непривычное.

Становилось ясно, что обездоленные поселениями люди замышляют грандиозный побег чуть ли не всем округом. О подобных побегах целыми поселениями и станциями, о стихийных переселениях сотен и тысяч людей Рылеев слышался за время пребывания в Острогжском уезде. И эти рассказы были горькой, суровой правдой.

Рылеев с Бедрягой решили съездить в Чугуев. Они накануне договорились с ямщиком-троечником, здешним уроженцем, и выехали из Харькова в четвертом часу пополуночи.

Утро было теплое, но хмурое. Такую погоду обычно называют грибной. Рассвет начинался по-осеннему лениво. Дали медленно освобождались от белесой поволоки ночных туманов, казалось, земля так крепко разоспалась, что никак не может сразу разгуляться, повеселеть.

Примерно на половине пути они нагнали уныло, враздробь шагающую колонну, сопровождаемую усиленным конным и пешим караулом. Это гнали арестантов, названных Аракчеевым главнейшими бунтовщиками, из Волчанска и Змиева. Арестанты шагали по четыре в ряд, у каждого руки были заведены назад и крепко связаны, причем веревка была перекинута от одного к другому и от шеренги к шеренге, так что в один обхлест охватывала всю партию, что исключало возможность побега или неповиновения во время перегона.

Рылеев, пока тройка шагом объезжала колонну, жадно всматривался в скорбные лица непокорных поселенцев, питая к ним не только чувство сострадания, но и любовь, как к истинным народным героям. В колонне были и юноши годов восемнадцати, и зрелых лет мужики лет под сорок пять. На одних была полная форма уланов, на других — разномастная поселянская одежда.

Рылеев видел злобные, полные остервенения взгляды арестантов, исподлобья обращенные к нему и Бедряге. До слуха его долетал презрительный голос из глубины колонны:

— Слетаются стервятники... Боятся опоздать к кровавому завтраку...

Понял — проклинаят его и Бедрягу. И в душе благословил такое проклятие. Они правы... Они ни в чем не виноваты... Откуда им знать, кто и зачем мчится мимо них в Чугуев?

На самом подъезде к городку им привелось обогнать еще одну такую же опутанную веревкой партию арестантов. Здесь у некоторых на руках и ногах звякали цепи, будто на разбойниках и убийцах. Рылеев распорядился, чтобы ямщик не обгонял толпу, но колонна, без всякой к тому команды, вдруг сама остановилась, как бы при-

казав едущим, чтобы они скорее убирались с глаз долой. Пришлось подчиниться такому молчаливому приказанию тысячной толпы арестантов. Рылеев и на этот раз не отрывал жадного взгляда от колодников. И здесь его приняли за какого-то правительственного чиновника, подручного Аракчеева. В толпе арестованных, чтобы он слышал, громко сотни голосов проклинали Аракчеева за его страшную затею с поселениями.

Все ругательства, все поносные слова, какие только застряли в памяти и какие только можно выдумать, раздавались в колонне.

— Эй, вы, чернильное племя, канцелярские богатыри, передайте своему выморочному Ракчею — отольются ему наши кровавые слезы.

Рылеев, повернувшись лицом к колонне, поднял руки над своей головой и изобразил рукопожатие — дружеский знак.

В это утро солнце так и не показалось на небе. Чугуев казался присмирившим перед грозой.

В полдень на главной городской площади против деревянного дворца на горе ударили в колокол, сзывавший всех, кто не попал под арест, на полковой плац. От таких приглашений не принято отказываться. Старые и малые покидали жилища и направлялись на окраину, на плац. Там уже тремя толпами стояли арестанты, пригнанные из Змиева, Волчанска, выведенные из каменной чугуевской конюшни. Их окружали конные и пешие пехотинцы. Сюда же пригнали депутатов чугуевских, что были арестованы Аракчеевым в Харькове.

Барабанщикам было приказано бить в барабаны, как бьют при наказании шпицрутенами.

Чугуевский комендант полковник Салов, терзая лошадь шпорами, носился из конца в конец по полуразоренному городку, чтобы проверить, все ли вышли на плац. Его сподручные из действующего уланского эскадрона хлестали плетками всякого, кто, на их взгляд, слишком мешкал около своей калитки.

Рылеев с Бедрягой, оставив ямщика с тройкой во дворе у Ветчинкина, пошли на взрытую гору, чтобы обозреть с нее чудесные по красоте своей окрестности. Они остановились на одном из уступов горы, с которого хорошо был виден весь безукоризненно выглаженный лопатами, как паркет, ровный, просторный плац.

По Харьковскому тракту мчался длинный аракчеевский поезд. Спереди и сзади скакали конные драгуны с саблями наголо.

Поезд остановился на свободной от людей части плаца. Оглушительный барабанный бой разносился далеко за Северский Донец и Чугуевку, зловеще оповещая не только жителей, но и все холмы и рощи о наступлении для Чугуева черного дня.

Несколько тысяч поселян, которым удалось спастись от ареста, стояли нестройной отдельной толпой на противоположной от арестантов стороне плаца.

Аракчеев неуклюже вылез из кареты, ему подвели белую лошадь под черкесским седлом поверх красного махрового ковра с золочеными кистями. На нем был общий армейский мундир серого цвета, темно-зеленые панталоны и форменные сапоги. По-стариковски, тяжело, с помощью стремennого он вскарабкался в седло и поглядел через лорнет на плац, запруженный арестантами, вольными чугуевцами и войском. Следом за ним и все члены следственного комитета сели на лошадей.

— Что твои барабанщики словно мертвые? — бросил он упрек Лисаневичу. — Может, ждут заменить кожу на барабанах? Я могу... Только не привез с собою запаса, придется взять замену на месте, здесь, на плацу.

Лисаневич немедленно послал к барабанщикам адъютанта. Через минуту и без того оглушительно трещающие барабаны загремели осатанело.

— Депутаты доставлены из Харькова? — спросил Аракчеев присмирившего Муратова.

— Доставлены, сиятельнейший граф, в точном соответствии с вашим приказанием! Вон они!

— Поставить их сюда ближе, — распорядился Аракчеев.

Депутатов поставили отдельной кучкой, всего в нескольких шагах от Аракчеева и его многочисленной свиты.

— Первейшие возмутители отобраны? — обратился Аракчеев к Клейнмихелю.

— Отобраны и доставлены сюда с завязанными глазами, как приговоренные к смерти.

— С богом, приступим к делу, — сказал Аракчеев и направил лошадь на толпу.

Остановившись перед пленными и неплененными чугуевцами, объявил:

— Слушай — и каждый мотай себе на ус. Не намотаешь — не только ус, но и голову потеряешь. Я все слышал, что вы затеяли, чего добиваетесь. Депутаты сказывали. Но вы забудьте думать о своей глупости, она неисполнима. Запомните, на носу себе зарубите: я друг царя, и на меня жаловаться некому, можно жаловаться только одному богу. Не запрещаю. Даже помогу всякому из вас, кто пожелает первее других принести на меня всевышнему жалобу. Помогу, как истинному христианину подобает.

Рылеев с Бедрягой спустились еще одним уступом ниже и оказались совсем близко к плацу. Здесь собралось много разных обывателей — смотреть на проведение экзекуции никому не возбранялось, а наоборот, такое любопытство всячески поощрялось.

— Перед вами вся правда в живых лицах — весь военный суд. А я этой правды — шапка. Суд состоялся. Ни один бунтовщик не ушел и не уйдет от кары справедливой. Однако монаршья и моя милость безграничны. Дарую вам несказанную государеву милость: лишение живота заменяю шпицрутенами, каждого через тысячу человек по двенадцати раз! Но и на этом милость моя и государя моего не кончается, — продолжал кричать Аракчеев, привстав на стременах. — Тому, кто падет на колени и принесет чистосердечное раскаяние в своем злокозненном преступлении сейчас же, здесь же будет объявлено помилование. Будут помилованы и все те, кто принесет мне возмутительные бумаги с подписями главных затейщиков, кто поможет нам открыть наиглавнейших преступников, что до сих пор скрываются бегством. Выводи первую партию!

Под бешеный бой барабанов длинным живым коридором в два ряда выстроилась тысяча пехотных солдат. Подъехала подвода, груженная отборными шпицрутенами. Клейнмихель, подскакав к пехотинцам, запаасающимся шпицрутенами, принялся поучать, как выбрать лучший шпицрутен, как проверить его убойную силу до начала экзекуции, как класть полновесный удар во время наказания. Сотни шпицрутеносов покачивались над головами пехотинцев, испытывавших варварское орудие пытки на прочность, гибкость, охватистость.

У Рылеева ознобом обдало грудь и плечи...

Среди первой партии осужденных он узнал много знакомых лиц. Это были отставные казаки, с которыми он

познакомился в Харькове. Видно, всех их объявили главными зачинщиками.

— Лицом ко мне! — крикнул Аракчеев.

Арестантов повернули так, как было приказано. Рылеев признал отставных казаков Ламанова, Гудза, Санжару, Жигалева, Распопова, Жихарева, Татарина, Трубчанинова...

— Кайтесь, мошенники! На колени падайте! Я вам в неизбывном милосердии моем к ближнему даровал живот, я же могу и отнять его, видя ваше безрассудное упрямство! — возвестил Аракчеев. — Долго вас ждать?

Ни один из отставных казаков, рядовых из хозяев, отставных и резервных унтер-офицеров не пошевелился. Такое упорство озадачило Аракчеева. Ему как-то и в голову не приходило, что на земле есть немало людей, готовых скорее умереть, чем пасть на колени.

— Ка-а-а-а-йтесь! — иступленно взревел он. — Последнее слово мое: Ка-а-а-а-йтесь! Клейнмихель! Салов! Муратов! Где палачи? Сюда! Кишки из них, разбойников, выдирайте и на палку наворачивайте! Собакам на подаянье, воронам на погрянье!

Арестанты стояли по-прежнему. Рылеев, глядя на них, радовался, что ему в этот страшный день открылась во всей могучей красоте сила человеческого духа. Он готов был заплакать от восторга перед их мужеством.

Аракчеев что-то сказал генералу Лисаневичу, тот полковнику Салову. Комендант поскакал на берег Северского Донца, где стоял в запасе эскадрон улан, верных Аракчееву.

— Падай на колени, пока не поздно! — крикнул Аракчеев и указал на скачущий полуэскадрон улан с саблями наголо. — Падай! Руби головы!

Неприступное единодушие порвалось среди арестантов. А полуэскадрон уже летел по плацу прямо на упрямых арестантов. Еще каких-нибудь три-четыре лошадиных скока — и головы покатыются с плеч.

И вот один арестант пал на колени... За ним другой... Третий... Остальные продолжали стоять.

А всадники уже в пяти шагах, и в самый последний миг сверкающая сталью смерть пролетела мимо, едва не зацепившись стремями за арестантов, оставшихся стоять и перед лицом неминуемой гибели.

Аракчеев счел себя посрамленным нестигаемостью чужевцев. Его и без того большое лицо будто раздалось

и вытянулось еще больше, а глаза потускнели оловянно, как у неживого.

— Трех прощаю! Остальных — каждого через тысячу человек по двенадцати разков! Пускай упрямцы пользуются моей и государевой добротой! — Он улыбнулся, дав понять, что слова его надо понимать как отеческую шутку. — А ты, Ефимович, — обратился он к Шварцу, — иди последи за пехотинцами, чтобы не мазали.

Арестованным терять было нечего, они кричали, смеясь с каждой минутой все более:

— Палач!

— Тиран!

— Истязатель!

— Подлец! Мерзавец!

— Ворон! Стервятник!

Обнаженных по пояс, с руками, привязанными к ружью, пехотинцы одного за другим повели их сквозь строй. Слева и справа двумя шеренгами, по двести пятьдесят человек в шеренге, на расстоянии трех шагов один от другого, стояли подвыпившие пехотинцы с поднятыми шпиркетенами. За их спиной с обеих сторон ходили два фельдфебеля с мелком наготове, чтобы поставить крестик на спине того солдата, который будет заподозрен в неполновесном ударе. Пожалуй, на Руси не найдется такого сверхбогатыря, чья спина после первых же заходов не превратилась бы под ударами палок в кровавое месиво.

Стиснув зубы и сжав до хруста в пальцах кулаки, наблюдал Рылеев за сокрушением несокрушимых. Ему казалось, что не по чужой, а по его обнаженной спине со свистом ударяют шпиркетены, оставляя рубцы и раны на теле. Зрелище массового истязания было глубоко противно, отвратительно его отзывчивой натуре, но он не уходил, стоял, не сводя глаз с тех, кого избивали, и с того, кто приказал избивать. Минутами ему начинало казаться, что он потеряет всякую власть над самим собой и обреченно бросится вперед, растолкает свиту и задушит палача. То вдруг ему приходила мысль расплатиться с душителем свободы по-иному. Подойти, дать пощечину, бросить перчатку к ногам, а потом убить на честном поединке. Он считал, что Аракчеев никогда не падет до такого позорного для дворянина бесчестия, чтобы не принять вызов на поединок.

Арестанты при каждом новом заходе на кровавую тропу с еще большим остервенением кляли на все лады

Аракчеева. Два медицинских чиновника, жалкие с виду, приниженные необходимостью по долгу службы выполнять оскорбительную для их звания обязанность, стояли сзади взмахивающих шпидерутенами озверевших пехотинцев, на которых не переставал прикрикивать Шварц: — Сильней! Сильней! Так их... Так их, сукиных детей!..

Первым в ряду наказуемых шел тридцатипятилетний красавец, поселенных эскадронов унтер-офицер Иван Соколов, уроженец села Симы Владимирской губернии. За ним сверстник по летам, резервных эскадронов унтер-офицер Тимофей Губин, кинешмец родом, с золотистыми, лихо закрученными пушистыми усами. Третьим вели отставного улана Моисея Перепелицына. Он был так смугл, что казался отлитым из бронзы. Самым последним едва волочил ноги тщедушный Герасим Аршава.

Барабаны осатанело сотрясали воздух. От такого грохота можно окаменеть сердцем и забыть о том, что ты человек. Только сейчас Рылееву стало понятно назначение столь торжественного обряда, которым сопровождается каждое, подобное здешнему, наказание.

Дрогнувшие в самую последнюю минуту, когда на них, подобно буйной орде, мчался полуэскадрон улан, и упавшие на колени перед карателем Иван Жигалев, Евстрат Распопов и Астах Татаринов, понуро опустив обнаженные головы, все еще продолжали стоять на коленях, будто никому не нужные на плацу. Участь их была и решена и не решена. Все зависело от минутного настроения Аракчеева. Покаявшиеся... Признавшие себя виновными... Унизившиеся коленопреклоненно испрашивать прощения... Трое... Всего только трое из десяти тысяч.

Голова кружится. В ушах гром, треск, рев. Будто рушатся горы...

Рылеева поражала геркулесова выносливость унтер-офицеров Соколова, Колесникова и Праскурина... Град жесточайших ударов сыпался на их спины, а они продолжали мученический свой путь с гордо поднятой головой.

После четвертого захода, когда Герасим Аршава в беспамятстве повис на ружье, осмелившийся медицинский чиновник подошел к Клейнмихелю и сказал:

— Герасиму Аршаве и его брату Григорию Аршаве, по их слабости телосложения, наказание следует прекратить... А также по той же причине после шестого захода прекратить наказание Якову Ламанову, Ивану Санжаре, Петру Гудзу, Григорию Черникову и Якову Бочарову...

— Ничего, ничего, отдышатся, отлежатся — русский человек живучий, — пробормотал на ломаном русском Клейнмихель.

— Знаю я вашего брата, вся медицина сплошь — гоги-магоги, я уж давно на экзекуциях не верю ни одному вашему слову, добрячки-заступнички, — вмешался властно Аракчеев. — Я сам проверю их выносливость... Подведите-ка сюда тех, кого считаете на исходе сил...

По указанию чиновника от медицины пехотинцы подвели к свите привязанных к ружью Ламанова, Санжару, Гудза, Черникова и Бочарова. Эти держались на ногах. Герасима же Аршаву и брата его Григория не подвели, а подтащили на ружье и положили под ноги лошадям. Аракчеев слез с седла, сказал:

— Тот не слуга государю, ангелу нашему, кто боится рук своих замарать.

Он пощупал свисающие клочья окровавленной кожи на спине Герасима Аршавы, потом то же проделал и с Григорием Аршавой, буркнул под нос:

— Дать отдохнуть этим, пусть отдышатся, а коли окажется, что притворяются, то увеличить порцию.

Затем его пальцы, тяжелые, словно из чугуна отлитые, прошлись по взрытой до костей спине Санжары.

— Выдюжит!

Санжару повели обратно на мученическую тропу.

Грязным ногтем, будто лопатой, ковырнул Аракчеев вспаханную спину Гудза:

— Здоров, как мирской бык! Выстоит.

А Ламанова, Черникова и Бочарова без всякого осмотра велел вести обратно под шпицрутены.

— Врут, выстоят... С божьей помощью живы будут, не помрут.

Плац скоро сделался похож на ад: родные, родственники избиваемых насмерть арестантов, женщины и малые дети, согнанные на это зрелище, подняли невероятный вопль, крик. Они порывались туда, где продолжалось наказание, их с трудом сдерживала цепь караульных пехотинцев и отряд конников.

После шестого прохода с разрешения Аракчеева положили отдышаться Лукьяна Дерлина рядом с братьями Аршава. На десятом заходе потерял сознание Петр Головин. И ему здесь же отвели место.

По десять заходов вынесли Алексей Ткачев, Иван Башкатов, Алексей Нестеров, Иван Санжара. А еще

через маршрут положили на землю Михайлу Гридина, отставного унтер-офицера, отставных казаков Якова Ламанова, Леона Романова, Ивана Пастухова, Терентия Верещагина, рядового из хозяев Прокопия Лестушку, служащего-инвалида Федора Визира, поселянина Якова Ховша. О многих из вышедших из строя и медицинские чиновники затруднялись в данный момент сказать с определенностью: живы они или уже мертвы.

— Дышат, мошенники? — спросил Аракчеев вернувшегося к свите полковника Шварца.

— Некоторые мало-мальски шевелятся.

— Так и должно быть, Ефимыч, все идет по инструкции... Коли шевелятся, значит, отдышатся, хотя и не сразу... А им и не надо торопиться, причины нет поспешать: Бонапарте с острова Святой Елены не убежит, не объявит еще войну...

Последний заход свалил с ног крепышей Петра Гудза, Терентия Верещагина, Василия Кутепова, Григория Черникова, Якова Бочарова, Конона Ткачева, Петра Чумака, Осипа Чела...

Удивив не только посторонних, но и самих себя сверхчеловеческой выносливостью тела и духа, прошли все разы сквозь строй, ни разу не охнув, унтер-офицеры Иван Соколов, Алексей Праскурин, Тимофей Губин, Кирилл Беляев, отставной казак Пилев...

«Герои... Мученики, но герои...» — в мыслях повторял Рылеев, чувствуя, как влагой набухают глаза. Многие из тех, кто стоял вокруг, также не смогли сдержать слез.

— Этого палача нужно просто убить, — сказал Бедряга.

Соколова, Праскурина, Губина, Беляева, Пилева отвязали от ружей. Обнявшись через плечо, чтобы тверже держаться на ногах, они поплелись с плаца. С кровавых спин их свисали куски кожи и мяса.

Аракчеев объявил благодарность пехотным солдатам за то, что сильно били, не милосердничали и не мазали по воздуху. Затем, окруженный телохранителями, он подъехал ближе к арестованным и заговорил с ними:

— Видели? Убедились? Подействовало? Со шпицрутеном, как и с удавкой, шутки плохи... Наказание было строгое, но божеское... Второе будет погорячее первого... И лучше не гневить государя нашего и бога...

Народ молчал. Вперед выехал Клейнмихель, заговорил:

— Ненаказанные арестанты, еще, и в последний раз, обращаюсь я к вам с разрешения ближайшего и первейшего друга императора, первейшего в правительстве и во всей России патриота графа Алексея Андреевича Аракчеева с вопросом: согласны ли вы все покаяться в своем преступлении?

— Не согласны! — дружно грянули тысячи голосов.

— Согласные — три шага вперед! — скомандовал Клейнмихель.

Все остались стоять, как и стояли. Не сдавались и не соглашались не только строевые, но и инвалиды.

— Ты, Аракчеев, первый кровосос! Всю Россию разорил, людей по миру пустил! — потрясая пудовым кулаком, вскричал брат купца Федор Ветчинкин из толпы. Его почти трехаршинного роста фигура была хорошо видна. — У тебя бел-хрустален потолок, позолоченный конек... Откуда нахапал? Всю Россию обворовал, у солдата последнюю копейку отнимаешь, а себе дворцы строишь!

— Царя обдурил! — полетели из толпы гневные выкрики, слышались и бабьи пронзительные голоса.

— Достанется тебе, собака, собачья смерть!

— Изверг!

— Злодей!

— Убивец! Хриstopродавец!

Когда вихрь голосов смолк, Аракчеев сказал:

— В последний раз добром говорю: покайтесь в своем преступлении и прекратите свое буйство, как покались вот эти трое! — он указал плеткой на стоявших на коленях Распопова, Жигалева и Татаринова.

— Не покаемся! Не прекратим! — единодушно ответили и стар и мал.

Вдруг вскочили Распопов, Жигалев и Татаринов с криком:

— И мы не прекратим! Не покаемся!

Они бросились в кричащую толпу, чтобы найти там себе защиту.

— Хватай первых возмутителей и пори шпицрутенами на месте же! — приказал Аракчеев Клейнмихелю. — Не я буду, ежели не приведу толпу преступников в полное повиновение! Вытаскивай бунтовщиков! И каждого через тысячу человек по двенадцати раз! Пехоте обещаю по две лишних чарки на каждое рыло!

Пехотинцы выхватывали из толпы тех, кто попал под руку, вязали, волокли на середину плаца, прикручивали

руки к ружью и, под осатанелый барабанный бой, волочили сквозь строй. Пехотинцы, разозленные стойкостью чугуевцев, зверели и били жертвы с палаческой беспощадностью.

Более часа продолжалось истязание. Убойная сила шпицрутенгов была так велика, что многие сваливались с ног и теряли сознание, и трех раз не пройдя сквозь строй. Жители села Малинового Емельян Старцов и Федор Щербин упали на третьем проходе. Мартин Ачкасов и Михайла Крицын — на шестом. До десяти и одиннадцати заходов дотянули Василий Лизогубов, Илья Шехавцов, Матвей Натаров. И только невзрачный на вид Александр Пастухов вынес полностью все двенадцать заходов. Приняв последний двенадцатитысячный удар, он пал за мертво под ноги пехотинцам. После этого нового истязания Аракчееву удалось сломить арестантов и принудить их просить помилования.

Расправы были приостановлены. Арестованные вновь были приведены к присяге.

— Благодарение всевышнему, — облегченно вздохнув, сказал Аракчеев. — Теперь можно совсем перебираться в Чугуев, чтобы довести до конца суд правый, суд скорый. — Он обратился к толпе: — Ждите моих дальнейших распоряжений. Наказания, судом определенные, будут проводиться и впредь на этом плацу. Присутствие каждого поселянина и поселянки обязательно. Отцам вменяю в обязанность сделать внушение своим сыновьям, которые почему-либо не явились к принятию присяги сегодня...

— Пожар! — крикнул кто-то за спиной Рылеева.

— На Чугуевке!

— За плотиной!

— Унтер-офицера Ивана Соколова новый дом горит!

В небо, за плотиной, выбросило черный клуб дыма, затем вырвался пламень. Народ с горы и с плаца ринулся туда, где горело. И Рылеев с Бедрягой последовали за толпой.

К месту пожара скакал эскадрон улан, бежала пехота, пожарники налаживали пожарную кишку.

Когда Рылеев с Бедрягой подошли к охваченному пламенем дому, то услышали детский страшный вопль из горящего дома. Войти в горящий дом было уже невозможно. Вскоре выяснилось: жена унтера-офицера

Ивана Соколова сожгла сама себя и двух малолетних сыновей в постылом аракчеевском тереме с флигелем и мезонином.

После того как пожар был потушен,— сгорело на этот раз всего пять недавно отстроенных однообразно унылых домов,— Аракчеев засветло вместе с многочисленной свитой и под усиленной охраной воротился в Харьков в дом губернатора. Нынешний день он считал удачным.

Рылеев с Бедрягой решили переночевать в Чугуеве в доме рядового из хозяев Федора Ветчинкина, за смелые речи жестоко наказанного во второй приступ. Домой его привели под руки. Он не мог ни пить, ни есть, ни сидеть, ни лежать на боку или на спине. Его положили на солому среди горницы. Он лежал ниц лицом, на животе. На изрубцованную, будто изрубленную шашкой спину, на которой запекшаяся кровь была смешана с грязью и обломками шпицрутенгов, нельзя было глядеть без содрогания. Кости светились сквозь разрушенные мышцы и кожный, продырявленный в сотнях мест покров. Рылеев и Бедряга видели на войне немало искалеченных, но такой ужас им представился впервые.

Они стояли около лежащего на полу Ветчинкина, в душе проклиная виновника всех этих бедствий.

— Какой изверг... Какой изверг... Тиран... Ну и тиран... Нет таких слов, чтобы изобличить перед Россией все его неслыханные злодеяния...

Федор Ветчинкин порой начинал говорить что-то несвязное, как в безрассудстве. Мать-старуха принесла охапку лопухов и сочной крапивы, жена истолкла все это в ступе, потом аспидно-зеленым отстоем стала поливать багрово-синюю спину полумертвеца.

Засветили лампадку. Мать на коленях молилась перед иконами в переднем углу, со слезами выпрашивая у всевышнего жизни для сына, и тут же проклинала истязателя, призывая на его голову гнев людской и огонь небесный.

На другой день Аракчеев со всей сопровождавшей его свитой, после очередной расправы на плацу, переехал на жительство в обескровленный Чугуев, в деревянный дворец, что возвышался над взрытой горой.

Он распорядился, чтобы к нему еще раз привели всех депутатов, находящихся на положении арестованных.

Под караулом их привели к деревянному дворцу. Аракчеев, в армейском мундире с голубой лентой через плечо, при всех регалиях, в начищенных форменных сапогах, при шпаге, вышел на балкон.

— Теперь все бунтовщики, полагаю, убедились, сколь силен я! — заговорил он с балкона. — Меня заговорами и угрозами не испугаешь. Пугливого царь не сделал бы своим другом. И дурак в друзья царю не годится. А я вот пригодился! Двадцать пять годков исполнилось нашей дружбе. Мы с батюшкой-царем смолоду одно думаем. Милосерднее нашего батюшки другого царя не бывало и нет. Он меня научил милосердию. Видели, как я умею наказывать? Ежели и умирают наказанные по-божески, то уж это не по моей вине. Я помиловал приговоренных к казни, сохранил им живот, а ежели они помирают, то уж по воле божьей, значит, богу так угодно!..

Депутаты стояли под балконом, понуро наклонив обнаженные головы.

— Приму на свою ответственность остановить наказание, судом определенное, над тем, до кого не дошла очередь. Буду просить у государя для всех вас всемилостивейшего прощения, если исполните следующее: подадите мне список главным зачинщикам и отыщете все бумаги, при начале возмущения писанные.

— Подумаем, — ответили из-под балкона.

Аракчеев велел всех депутатов освободить из-под караула с тем, чтобы они могли разнести его последнее требование по Чугуеву.

При закрытых ставнях Аракчеев почти всю ночь писал пространное письмо с подробным отчетом об одержанных победах, о якобы невероятных трудностях и страшных опасностях, которые ему приходится преодолевать каждый день и на каждом шагу, бранил Лисаневича, неодобрительно отзывался о графе Витте, не проявившем никакой озабоченности положением дел в Чугуеве. Потом он взялся за послание статскому советнику Николаю Муравьеву, полное сдержанных упреков за скупые столичные новости, разумеется, под столичными новостями он подразумевал всегда новости дворцовые. Из всех нечувствительных агентов Аракчеева статс-секретарь Николай Муравьев в настоящее время был самым ценным для временщика информатором. Особенно в нем Аракчеев

ценил то, что тот ничем не брезговал в раздобывании нужных графу сведений.

Ночь прошла сравнительно спокойно: пожаров не было, побегов целыми семьями не замечено. Арестанты, запертые в полковой конюшне, не бунтовались и не выкрикивали угроз Аракчееву.

Перед началом очередной экзекуции к деревянному дворцу на горе приблизились три инвалидных казака: Бордак, Тыслюк и Казаков. Они вели за собой связанных по рукам сыновей отроческого возраста. Став перед дворцом на колени и заставив сыновей сделать то же самое, они попросили караульных доложить о них благодетельному генералу.

В это время на горе появились Рылеев и Бедряга, пришедшие посмотреть на самое красивое здание в городе.

Аракчеев вышел к стоявшим на коленях инвалидам, которые ткнулись лбами в землю при его появлении.

— Что у вас?

— Бумаги тайные принесли, — докладывал на коленях Тыслюк. — С согласия отпущенных депутатов... Вот, батюшка, человеколюбец, прикажи слуге своему принять все тайности...

— С общего согласия депутатов?

— Не так, чтобы полностью с общего, но все с депутатского, — добавил на коленях Бордак.

Аракчеев взял из их рук бумаги.

— А это кто связаны по рукам? — спросил он.

— Сыновья наши, батюшка, приказание твое полностью исполнили, сами своих сыновей по твоей инструкции лозанами выдрали, — доносили все три инвалида в один голос.

— За что? За послушание?

— За то, что бунтовались и приказу твоего слушать на плац не пошли...

— Похвально, отцы, похвально, но только я не верю в такое наказание, оно не может быть сочтено за полноценное, — огорчил инвалидов Аракчеев.

— Почему же, отец наш, человеколюбец?

— Потому, что родитель не может наказать своего сына так, как того требует инструкция, — отвечал Аракчеев.

— Батюшка, сначала посмотри наше старание, а уж если не полюбится, то делай с ними, что захочешь, — плаксиво проговорил Бордак.

Рылееву было противно смотреть на эту гнусную сцену.

— Ну, ежели обман, то смотрите, инвалиды, не выстоит ваша кожа,— предостерег Аракчеев и велел адъютантам своим повернуть к нему спиной подростков и заголить на них рубахи.

Наклонясь, внимательно осмотрел он иссеченные спины подростков и сказал с восторгом:

— Молодцы отцы! По инструкции выпороли! Без обмана! Вот вам за это каждому от меня по двадцати пяти рублей!

И он тут же из собственного кошелька выдал им награду беленькими ассигнациями.

— Вот настоящие патриоты и верноподданные своего государя! Непременно донесу о вас его величеству, государь и Россия должны знать истинных своих героев и брать с них пример для подражания! Ведите их на плац, я скоро приеду и наглядно покажу на ваших сыновьях, кто был, есть и пребудет солью земли нашей.

Премированные инвалидные казаки повели своих сыновей на плац.

Рылеев с Бедрягой ушли с высокой горы в подавленном настроении. Обоим было тяжело и горько видеть такое холопство.

При всех успехах Аракчеев не мог считать окончательно выполненным высочайшее повеление до тех пор, пока не будут схвачены три наиглавнейших бунтовщика и не будет поставлена на колени самая упрямая полутысяча арестантов, ныне под строжайшим караулом уланского эскадрона работающая на общественной полковой работе. Ее упрямство было поразительным: полутысячу несколько раз пригоняли на плац, на ее глазах свершили не одну зверскую экзекуцию, но полутысяча не сдавалась, кричала в один голос:

— Военное поселение — твоя затея, а не государево дело!

— Все до одного на смерть пойдем, а тебя, собака поселенная, посадим гузном на копье!

Было ясно, что эта неприступная полутысяча, обрекшая себя на все кары, держится прежде всего силою дружных и крепких зачинщиков. Их и собирался повытаскать одного за другим Аракчеев. Из бумаг, недавно

переданных ему инвалидами; он узнал по фамилиям и именам самых опасных вожаков из этой полутысячи. По этому поводу был созван комитет, на котором решили после незаметной подготовки еще раз пригнать полутысячу на плац и расправиться с ней.

Полутысячу разъединили на сотни, которые развели по разным местам плаца, и тут раздался голос Аракчеева, приехавшего на белом коне под красным ковром.

— Зачинщиков взять и отправить под арест!

Пехота усердствовала: из рядов выхватывали самых опасных сопротивленцев, скручивали руки веревками, били и угоняли с плаца. Полутысяча редела и теряла монолитность.

За какой-нибудь час непокорную группу основательно пропололи. Барабанщики приготовились, чтобы возвестить всему городу о начале очередного массового избиения.

Мимо плаца медленно ехали три еврея-фурманщика, они везли пустые гробы.

Аракчеев объявил оставшимся на плацу:

— Или немедленно на колени и на коленях вымаливайте себе прощение, или голова с плеч! Гробов хватит! Нынче не шпицрутенами, а саблями буду сечь головы!

Поредевшая полутысяча, лишенная тех, чьим смелым духом она держалась до сих пор, дрогнула. В это время Клейнмихель, по заранее условленному знаку, выхватил шпагу и взмахнул ею. Два эскадрона улан с саблями наголо с оглушительным криком лавой помчались на полутысячу, готовые растоптать ее копытами и порубить на куски.

К удовольствию Аракчеева, остатки арестантов тотчас пали на колени...

Клейнмихель покрутил над головой шпагой, и мчащиеся эскадроны остановились.

На крупном лице Аракчеева, которое казалось слепленным из грязно-серого гипса, появилась улыбка. Взята последняя твердыня.

— Так стоять! — распорядился он, желая продлить удовольствие.

Побежденные стояли на коленях, а он не торопился отдавать дальнейшие приказания.

Вдоволь насладившись зрелищем поверженных, он распорядился устроить парад. Действующим эскадронам Чугуевского уланского полка и пехоте было приказано

покинуть город, а затем вступить в него как подобает победителям.

Через полчаса войска вступали в Чугуев в военном порядке. Парад принимал сидевший на белой лошади Аракчеев. Эскадроны замерли перед ним.

— Объявляю вам, молодцы, монаршее благоволение! Ура! Ура! — рявкнул Аракчеев.

По всем эскадронам прокатилось ответное «ура».

— Церемониальным маршем!.. — скомандовал он. — Шагом повзводно! Рысью пополуэскадронно!..

Протопала пехота. Проскакали полуэскадроны.

— А теперь с богом, по квартирам, вон мимо тех мошенников, которые на коленях просят моего прощения!

Эскадроны еще раз развернулись и проследовали в свои квартиры мимо стоящих на коленях побежденных чугуевцев.

Колени, вдавленные в жесткий, усеянный мелкими камешками грунт плаца, онемели. Стояние превратилось в наказание. Аракчеев не был уверен в искренности их раскаяния. Но вот наконец он подъехал к арестантам, чтобы сделать внушение:

— За битого двух небитых дают! Теперь будете знать, как впредь бунтоваться. Завтра я отдаю приказ, в коем означу весь распорядок ежедневной службы. За порядком буду надзирать сам. Везде стану бывать лично. Малейшее нарушение или отступление от установленного порядка будет караться как буйство и преступление. Прощаю! По домам!

Прощенные с большим трудом отделяли от земли оплывшие, плохо разгибающиеся колени.

13

В Каменноостровском дворце в секретарской ожидали приема граф Нессельроде, Вилламов, князь Александр Голицын, граф Гурьев и статс-секретарь Николай Николаевич Муравьев.

Министр финансов и министр просвещения и духовных дел на французском обсуждали английскую систему кредитования и походя бранили знаменитого московского архитектора Витберга за его якобы расточительность в расходовании казны, отпущенной государем на возведение храма Спасителя. Вилламов и Нессельроде коро-

тали время, рассказывая анекдоты об известнейшем генерале Ермолове. Статс-секретарь никак не мог пристроиться к беседующим и потому бродил по секретарской с места на место, прислушиваясь к разговорам министров.

Прием нынче шел крайне вяло. Царь после обеда появился в своем кабинете с большим опозданием, долго никого не приглашал. Потом позвал к себе генерал-губернатора Милорадовича и засиделся с ним.

Граф Гурьев, не стерпев, тихонько сказал князю Голицыну:

— Сколько парадных панталон протер я вот об этот алый бархат...

— Бог терпел и нам велел,— умильно улыбнулся злобивый князь Голицын, облаченный, как всегда, в любимый свой серый фрак, за который и прозван был «серым мужичком». — Да ведь кто не заслушается нашего губернатора, соловья Боярда... Умеет пускать ракеты...

— Сиятельнейший граф Аракчеев своим примером, должно быть, повлиял на сиятельнейшего графа Милорадовича,— едко заметил Нессельроде, утомленный ожиданием.

— Что вы желали сказать этим сравнением? — прилепился Николай Муравьев.

— То, что некоторые из наших сиятельных графов засияли бы еще ярче, ежели бы они уважали не только самих себя,— резковато ответил Нессельроде.

С малиновым замшевым портфелем в руке и в парадном мундире при ленте через плечо появился еще один граф — Виктор Кочубей.

Статс-секретарь Муравьев, увидев его и взвесив свои возможности, пришел к мрачному заключению: «В этой компании я могу оказаться последним».

— Сам или приглашен? — спросил Вилламов графа Кочубея.

— Приглашен нарочным, присланным его величеством,— отвечал Кочубей к общему огорчению всех ожидающих.

Один за другим вошли великие князья Николай и Михаил, оба в гвардейских мундирах. У них не было никакого дела, и они не собирались на прием к царю, а зашли сюда просто поболтать, посплетничать вместе с генералами и министрами. Секретарская для великих князей давно стала излюбленным местом пустого вре-

мяпрепровождения. Впрочем, великий князь Николай с некоторых пор и на секретарскую комнату посматривал как на маленький плац или манеж. Прислушивался, оценивал, проникался доверием к одним и недоверием к другим. Ни один из ожидавших, за исключением статс-секретаря Муравьева, не сделал раболепного жеста или движения перед великими князьями. Да и они в секретарской держались запросто, чуть ли не компанейски со всеми, кто был вхож сюда. Князь Голицын похвалил загар на лице Николая, а Николай, не без сокровенного желания подковырнуть собеседника, похвалил серый фрак «серого мужичка», воздав должное искусству придворного портного и вкусу обладателя фрака. Великий князь Михаил скаламбурил о своем знакомце, унтер-офицере, пьянице.

— Дал я ему денег на новый картуз. А он их пропил. И купил себе какой-то старенький картузишко. Приложил руку к рваному картузу: «Вот купил!» — «Вижу, вижу, что водку пил...»

Кто-то высказал мысль, что уже давно никто в Петербурге и даже в самом дворце не знает, где же находится Аракчеев.

— В Грузии украшениями дворца занимается, — сказал граф Гурьев. — Де Дюр, говорят, изготовил для него такую бронзовую люстру, что диву дашься...

— Нет, говорят, он не в Грузии, а где-то в другом месте, — неуверенно заметил князь Голицын.

Дверь распахнулась. Из рабочего кабинета вышли царь и сияющий Милорадович. Уже этот один вид его говорил о том, что он занимал царя рассказыванием анекдотов и небылиц. Особенно царь любил слушать его рассказы о женщинах. И лицо царя нынче светилось такой обворожительной и всех греющей улыбкой. Это было хорошим предзнаменованием для ожидающих приема.

Царь обошел всю секретарскую, с каждым поздоровался за руку. Статс-секретарь Муравьев оказался в последнем ряду. Царь, поглядев на его вместительный портфель с бумагами, дружески взял его под руку и повел в свой кабинет.

Министры, генералы, сенаторы, члены Государственного совета молча обменялись удивленными взглядами, но никто не посмел улыбнуться.

Нессельроде, скуки ради, предложил Вилламову поиграть на щелчки. Проходивший мимо него великий князь

Михаил снисходительно, будто взрослый шалуну, погрози́л Нессельроде пальцем и кивнул на высокую черную дверь, из которой в любую минуту мог выйти тот, кто взыскивает строго за всякую, даже безобидную, игру.

Статс-секретарь Николай Муравьев был в курсе тайны царя и Аракчеева по делу о подавлении бунта в Чугуеве.

— Получил ли ты мой пакет с донесениями ко мне от сиятельнейшего графа? — спросил царь Муравьева.

— Получил и имею его при себе... Читаю и перечитываю донесения сиятельнейшего графа с истинным наслаждением, — сказал статс-секретарь.

— Я тоже... Я много бумаг ежедневно посылаю моему другу Алексею Андреевичу и много бумаг получаю от него... Какой прекрасной души этот чудесный человек, — с чувством проговорил царь.

Затем он, подставив ближе тугое ухо к собеседнику, выслушал все принесенные статс-секретарем дела, принял бумаги, назначенные к высочайшему рассмотрению или препровождению по назначению, и опять, с явным желанием продолжить приятную ему беседу, повел речь об Аракчеве и его безупречной многолетней службе.

— Труды его сиятельства почитаются мною превыше наград и отличий, — сказал Александр.

— Не только любящие его, не только имеющие надобность в нем, но и нелюбящие, ваше величество, дают цену сию деяниям и ангельской душе его, — подлаживался статс-секретарь под настроение царя, зная, что он всякую похвалу его другу воспринимает как похвалу самому себе.

— Я не устаю возносить молитвы всевышнему за то, что он даровал мне такого вернейшего друга, — продолжал царь, явно испытывая удовольствие от рассуждений об Аракчеве. — Вернейший... И чуть ли не единственный... Этот мне не изменит ни на этом, ни на том свете. Никогда. И какими добродетельными христианскими чувствами преисполнено его человеколюбивое сердце... Боже мой, нет слов, чтобы выразить всю мою любовь к нему... И не ворует... Ни копейки... Но воров не щадит...

— Я заключил из последнего письма сиятельнейшего графа Алексея Андреевича, писанного после первой удач-

ной операции в Чугуеве,— впал в речь императора статс-секретарь, изображая на лице своем печаль и сочувствие,— что их сиятельство очень скучает, и я боюсь, что это расстроит его драгоценное здоровье...

— Он всегда скучает в разлуке со мной... Я знаю его чувствительность и каждый день молю бога о продлении дней его и укреплении здоровья его. Молитесь же и вы, Муравьев, за благополучие и преуспевание его,— мягко посоветовал император.

— Молюсь, ваше величество, молюсь! — изливался в признаниях статс-секретарь, сам между тем в мыслях прикидывал: не показать ли царю полученное от Аракчеева письмо с весьма милостивым отзывом о его, Муравьева, личности.— Нельзя не возносить пламенных молений к всевышнему о таком человеке, как сиятельный граф!

На глазах статс-секретаря показались слезы, и он их не утирал, боясь, что государь не успеет заметить их.

— Он весьма сильно скучает по мне, а я по нем еще больше тоскую при каждой нашей разлуке,— в тоне исповедующегося кротко, словно инок, говорил Александр.— Иной раз, когда нет его рядом со мною, не могу ни о чем думать.

В сопровождении статс-секретаря вошел разбитной походкой коренастый, с разбойничьим лицом нарочный в забрызганном грязью кафтане. Одна рука его была засунута за пазуху, где береглась дорожная кожаная сумка.

— Из Чугуева. С донесением. В собственные руки вашего величества.

Александр почтительно поклонился нарочному, подойдя к нему, принял из его рук пакет. Знакомый почерк... Лицо царя просветлело.

— Устал? — спросил он нарочного.

— Самую малость, ваше величество... Только вот животом расстроился и через это большие неудобствия терпеваю,— ответил нарочный.

— Вот тебе империял,— наградил царь курьера.— А вы, Трофимов, проводите нарочного к моему лекарю баронету Виллие. А вы, нарочный, не должны, пока находитесь на излечении, ни о чем рассказывать...

Статс-секретарь Муравьев стоял перед Александром в раблепной позе льстивого просителя, ожидая разрешения покинуть кабинет.

Но тот все еще не мог оторвать взгляда от пухлого пакета за пятью сургучными печатями. Он даже поднес к носу и понюхал пакет.

— Куда вы, Муравьев, торопитесь? — спросил царь.

— Ваше величество, каждая минута вашего времени бесценна для отечества...

— У бога времени много, — пошутил Александр. — Я еще не закончил с вами приятную для меня беседу...

— Ваше величество, как вы неизреченно великодушны к вашим верноподданным, — и статс-секретарь, вновь сев в кресло около стола, поднес к глазам носовой платок.

— Всегда приятно бывает подержать мне в своих руках все, к чему прикасались руки добродетельнейшего и вернейшего моего друга, — сказал царь, осторожно костяным ножом с вензелями на ручке распечатывая только что доставленный пакет. — Мой друг умеет ценить чувства других, достойных его дружества.

Царь извлек из пакета кипу исписанных разными почерками бумаг. Из них он выбрал те, что были написаны рукой Аракчеева. Отдельные места из этих бумаг он прочитал вслух.

«Донесение графа Аракчеева об усмирении бунта в чугуевском военном поселении».

На нескольких листах донесения Аракчеев во всех подробностях излагал события с момента его приезда в Чугуев.

— Вот как рассуждает истинный друг государя: «Надеясь на благость Создателя, надзираю везде лично», — прочитал царь заключительные строчки письма и взял в руки бумагу, озаглавленную:

«СПИСОК

преступникам Чугуевского и Таганрогского уланских полков тем, кои назначены к первоначальному наказанию и которые сверх того еще наказаны».

Этот список был составлен одним из адъютантов графа — поручиком Блюменталем, а рукою графа были сделаны лишь чернильные пометы против многих фамилий наказанных:

«Иван Соколов — умре.

Яков Колесников — умре».

В конце длинного списка рукою Аракчеева был под-

веден итог: «По 28 августа умерших по воле всевышнего 25 человек».

— Царствие им небесное,— отложив в сторону список, сказал Александр, встал и скорбно помолился на икону, висевшую на стене.

То же сделал и статс-секретарь.

Царь на какое-то время умолк, будто этим молчанием хотел почтить память замученных насмерть аракчеевскими шпицрутенами.

Потом опять зашелестел бумагами, как шелеститмышь сухой листвой.

— Господи, какие испытания, какие нечеловеческие мучения приходится переживать моему безотказному другу,— голосом страдальца заговорил Александр, держа в руках короткое письмо.— Вот, Николай Николаевич, послушайте исповедь моего друга и сами оцените его достоинства.

«Батюшка Ваше Величество!

Представляя мои донесения о здешних делах формальными бумагами, я пишу сие письмо уже не к Государю, а к Александру Павловичу, следовательно, и открываю здесь расположение моего духа.

Происшествия, здесь бывшие, меня очень расстроили. Я не скрываю от Вас, что несколько преступников, самых злых, после наказания, законами определенного, умерли; и я от всего одного начинаю очень уставать, в чем я откровенно признаюсь перед Вами.

По важности дела я расчел о времени, что никак не могу поспеть в С.-Петербург к отъезду Вашего Величества, а потому и отправил все мои донесения через сего нарочного, прося на оные обратить Ваше внимание и удостоить меня, прежде отъезда Вашего из С.-Петербурга, ответом, чем успокоите мои мысли и душу...»

— Какая истинно ангельская кротость и смирение,— позволил себе сделать замечание статс-секретарь.

— Ну, как же такого не любить, Николай Николаевич? — Озабоченно повздыхав, царь заговорил так, будто перед ним сидел не статс-секретарь, а его наперсник Аракчеев: — Очень устаешь, друг и брат мой? Верю, верю тебе, ты же меня не обманешь. Заменял бы, да некем... И я устаю, но бог до сих пор не считает возможным освободить от обязанностей тяжких. Таков уж наш с тобою страдальческий крест. Укрепим души и сердца наши христианским терпением и смирением. Твое распо-

ложение духа для меня чувствительнее и дороже расположения духа всех остальных моих верноподданных. Я готов всем, чем можно только, облегчить расположение твоего духа.

Царь позвонил в колокольчик и в присутствии статс-секретаря велел безотлагательно призвать к нему гофмейстера двора, а когда тот прибыл, не впадая в какие-либо рассуждения с ним, сказал совсем не по-царски:

— Как христианин, помышляющий о благе своего ближнего, прошу митрополита распорядиться о служении за здравных молебствий в дворцовой и во всех остальных церквах о сиятельнейшем графе Алексее Андреевиче Аракчееве, уставшем на поприще служения отечеству. Передайте, пусть помолятся о просветлении омраченного тяготами возложенных на него обязанностей чувствительного духа его.

После того как безропотный гофмейстер двора удалился, Александр, не стесняясь присутствием статс-секретаря, подошел к большому настенному портрету в массивной багетовой раме, изображавшему Аракчеева в полный рост, в генеральском мундире и с кивером в длинных, как у обезьяны, опущенных до колен руках, и заговорил непритворно, как с живым:

— Друг мой, брат мой... Трудолюбец бескорыстный... Солнце красное, слава и надежда отечества... Издавна тебе известны, любезный Алексей Андреевич, искренняя моя к тебе привязанность и дружба. Опора моя и надежда отечества в час испытания, благодарю тебя искренно от чистого сердца за все труды твои. Ты устал, дух твой угнетен и скорбит под тяжестью бремени, возложенного мною на тебя... Но знай и тем утешься в скорби сей, друг мой, ни я, ни всевышний никогда не взыщут с тебя, ибо праведники не подлежат суду земному и небесному. В справедливости своей ты возвысился до деяния святого!..

Пока царь вел душедовверительную беседу с пышным и холодным изображением наперсника, статс-секретарь стоял позади царя и боялся перевести дыхание.

Царь вернулся к столу, на котором были разложены аракчеевские бумаги, и в задумчивости остановился, словно ожидая от статс-секретаря оценки только что сказанному перед портретом.

Статс-секретарь так и понял это молчание.

— Любой верноподданный вашего величества умер

бы от счастья, услышав такие слова о себе...

Александр не обратил внимания на похвалу. Помолчал. Пошевелил бумагами. Благосклонно сказал, обращаясь к статс-секретарю:

— Ежели у вас будут еще какие нужные дела ко мне до возвращения их сиятельства, то присылайте.

Откланявшись, Муравьев вышел.

Царь присел к столу, написал короткое благодарственное письмо Аракчееву в Чугуев, затем велел камердинеру посмотреть в секретарской: там ли великий князь Николай.

— Там! — доложил камердинер.

Александр отворил дверь и с порога по-французски окликнул великого князя Николая:

— Ко мне?

— Нет, ваше величество, просто зашли с Михаилом поболтать в секретарской.

— Посиди у меня, послушай, как одни льстят бесстыдно царю, а другие говорят неприкрашенную правду, — проговорил Александр, обняв через плечо брата. — А сначала почитай вот эти бумаги, что прислал граф Аракчеев...

Брови Николая задвигались и серые холодные большие глаза будто выкатились еще больше. Он прочитал все бумаги, являвшие собою государственную тайну, с исключительной внимательностью и с такой же подозрительностью к каждому слову Аракчеева.

— Видите, ваше высочество, в преданности Аракчеева сомневаться не приходится, — сделал пояснение Александр. — Но ваша мысль о живой цепи, что тянется от полка к полку, в свете всего, что нашел там Аракчеев, становится неопровержимой. Не находите ли, что граф обошелся строговато?

— Не нахожу, государь! Что заслужили, то и получили, — решительно ответил Николай. — Если под руками у нас заметна расхлябанность в лучших гвардейских полках, то можно вообразить себе, что творилось и творится в каком-нибудь Таганрогском или Чугуевском уланском полку. Надо полагать, командиры там разгильдяи, пустозвоны и картежники... При тех полномочиях, какими обладает Аракчеев, я прежде всего пропустил бы через строй в тысячу человек по двенадцати раз самого дивизионного командира, всех его помощников во главе с начальником штаба поселенных войск и со всеми никуда

не годными штабистами,— Николай сбился на скороговорку, голос его сделался звонким и неприятным.— Извините, государь, мою откровенность...

— Проще, Николай, проще, мы с тобою не на рауте. Мы с тобою двое. Мы с тобою братья. И будем откровенны, как и подобает братьям: без величества и без высочества,— в голосе Александра прозвучала непривычная энергия.— Ты, возможно, близок к истине, но переделывать поздно, да и неудобно перед Алексеем Андреевичем. Одобряешь ли меры, им предначертанные: комитет продолжает рассуждения о мерах окончательного наказания преступников, содержащихся под арестом в округах поселения Чугуевского и Таганрогского уланских полков... Аракчеев назначил большинство бунтовщиков к отправлению в Оренбург и в Елисаветград к графу Витту... Вот журналы следственного комитета, которые в оригинале граф подносит на высочайшую конфирмацию и, по утверждении, просит возвратить их ему для исполнения по оным... Граф неустанен: он уже приступил к осмотру прочих округов поселения 2-й уланской дивизии с возвращением всегда на ночь в город Чугуев... Да сохранит его господь...

Николай тщательнейшим образом познакомился с журналами, подносимыми на конфирмацию, и сказал:

— В целом не возражаю. Но для примера можно было бы самых отъявленных злодеев повесить или расстрелять, это впечатлительнее, нежели шпицрутены...

— Шпицрутены выгоднее, Николай. Шпицрутенами живот преступника из власти законов земных предается во власть законов всевышнего.

— Пускай будет так,— не стал спорить Николай.— Против ссылки бунтовщиков в Оренбург не возражаю, но наводнять злодеями юг, округа едва ли следует... Непотушенные угли будут ждать благоприятного момента, чтобы вспыхнуть новым, еще более сильным пожаром.

— Да, о юге надо подумать. Я сам собираюсь проинспектировать все южные поселенные войска. Но это состоится после возвращения и подробного доклада графа. Я распорядился, чтобы во всех церквах, и прежде всего в нашей, дворцовой, и полковых, помолбствовали о здравии Алексея Андреевича, ему, должно быть, худо. Скажи об этом и брату Михаилу.

— Скажу!

— Наблюдай за молебствиями в полковых церквах:

ведь у графа очень много завистников и недоброжелателей.

— Наблюду. Сам буду при молебствии, но молиться за здоровье Аракчеева не буду.

— Не молись, но чтобы другие молились.

— Не ручаюсь и за других. Едва ли станут молиться за здоровье Аракчеева князь Голицын, князь Волконский и Закревский.

— Этих я сам приструню. Знаю, что не станут, но пускай присутствуют при литургии. Важно, чтобы было с блеском и при полной тишине и спокойствии. Нужно это, Николай, нужно...

В голосе царя теперь звучала просительность, и эта перемена не понравилась властному Николаю.

— За полнейший порядок и безупречную тишину во вверенной мне бригаде ручаюсь, — отчеканил он.

Царь отпустил Николая, через камердинера вызвал секретаря и велел ему объявить всем, ожидавшим в секретарской, что на сегодня прием окончен.

«Долг государя налагает на меня обязанность присматривать и за делами Аракчеева, — думал Александр. — Но кому по силам и разумению такой присмотр? Кому вручить эту тайну? Некому... Бенкендорфу? Будет ли он справедлив в отношении Аракчеева?..»

Долго еще размышлял Александр, не решаясь на ком-либо остановить свой выбор. Одно знал твердо: попечение божественное о его безупречном слуге непременно должно быть подкреплено заботами нечувствительного полицейского надзора.

14

Осмотр прочих военных округов поселений 2-й уланской дивизии продолжался. В некоторые дни Аракчеев со своей свитой удалялся верст на восемьдесят, но как бы далеко он ни был, на ночь обязательно возвращался в Чугуев, в деревянный дворец на горе. Только здесь он мог чувствовать себя в безопасности.

Аракчеевский поезд, проносясь от одного селения к другому, наводил страх и ужас на приунывших жителей. Все ждали новых кар и притеснений. Рассказы о налетах Аракчеева на Змиевск и Волчанск приводили людей в трепет. Один невероятный слух сменялся другим. Говорили, что скоро все бунтующие села будут начисто стерты

с лица земли, что чуть ли не всю Украину насильно выселят куда-то на мертвые земли, где не только люди, но даже лютые звери не могут жить. Староверы призывали отцов и матерей к самоистреблению самих себя и своих малолетних детей, чтобы они не достались в руки антихристу. Каждый день комендант Салов докладывал о новых утопленниках и утопленницах.

Теперь, после усмирения чугуевцев, Аракчеев подумывал, как бы покрепче насолить начальнику южных поселенных войск графу Витту, всякий успех которого был для него несносен.

В голове Аракчеева созрел мстительный план: всех самых буйных здешних улан переселить в корпус Витта. Расчет был прост: насильственное переселение озлобит согнанных с отцовских мест казаков, они при удобном случае вновь взбунтуются, тогда всю вину за беспорядки можно будет взвалить на графа Витта.

Списки назначенных к переселению чугуевцев были составлены и утверждены Аракчеевым. Мнение свое он изложил на бумаге и с нарочным отправил его на высочайшее рассмотрение и утверждение. В утверждении он не сомневался. Вместе с этим через посыльного он уведомил графа Витта о возможном в ближайшее время пополнении находящихся под его началом поселенных войск. Уведомление было составлено так, что Аракчеев выступал в нем как бы лишь исполнителем воли царя.

Осмотр поселений 2-й уланской дивизии производился наскоро. Главный инспектор нигде не задерживался подолгу, он дорожил каждым часом, мысли его витали в Грузии и в Царском Селе.

Нынче ночь выпала беспокойная для Аракчеева. Поздно вечером была получена конная эстафета из одного самого отдаленного поселения, в которой сообщалось, что несколько сот семейств вступили в клятвенный сговор — всем в один час сняться с места, взять что можно, остальное предать огню и бежать куда глаза глядят. Всякого, кто станет противиться, упорствовать или мешать, — сжечь или повесить. По всем домам идут приготовления к массовому побегу.

Разгневанный Аракчеев немедленно вызвал Лисаневича и Клейнмихеля и сказал:

— Ежели хоть один поселенец сбежит из этой станицы, то я своей рукой завтра же сорву с вас обоих эполеты и аксельбанты вместе с лентами и орденами.

Был безотлагательно послан заградительный отряд — два эскадрона.

Не успел Аракчеев забыться сном, как в его комнате вдруг посветлело, порозовело. На улице закричали. Забили в набат. Глянул в окно — за Чугуевкой, недалеко от плотины, — пожар. Пылали несколько новеньких, недавно отстроенных домов — аракчеевок. Он смотрел из окна, охваченный страхом: не подпалили бы сразу весь деревянный Чугуев с разных сторон, не сожгли бы и его, Аракчеева, вместе с этим деревянным дворцом.

Он схватился за шкатулку с драгоценностями, которая по ночам всегда стояла на столе около его кровати. За стеной его спальни и внизу, на первом этаже, раздавались шаги. Ему подумалось, что это бунтовщики захватили дворец и теперь ищут по всем углам его, Аракчеева. Затряслись руки, и он уж был не рад шкатулке с драгоценностями. Кинжальной остроты раскаяние резануло в глубине груди: ну почему он не унес отсюда ноги днем раньше?

Кто-то осторожно подергал дверь с той стороны. Подергал, но не подал голосу. Промолчал и Аракчеев. За стеной слышался голос коменданта Салова:

— Надо будить, господа, еще в двух местах вспыхнуло... Поджоги!

— Не приказано! — отрезал адъютант Матрос.

— Сиятельнейший граф так устали, что я просто не решаюсь нарушить их сон, — объяснил домашний врач.

— Господа, не шутите, вы берете на себя ответственность, размеры которой могут быть велики, — пытался утешить комендант.

— Кто там? — подал голос Аракчеев. За дверью все смолкло. Граф совсем осмелел: — Ты, комендант? Тебя, дурака, надо завтра же сдать в солдаты за то, что сам не выловил и мне не помог выловить поджигателей!..

За дверью слышалось движение, кто-то хрипло кашлянул.

Аракчеев надел армейский мундир, прицепил шпагу, заткнул за ремень пистолет, открыл дверь в приемную, шагнул к коменданту Салову и при всех сильно, по-мужицки, ткнул ему кулаком в крупные, как у лошади, зубы:

— Мерзавец! Ты виноват! И только ты... Туши иди... Если не потушишь, я завтра же тебя повешу вот под этими окнами на горе!

Салов, сглотнув слюну, смешанную с кровью, прошепелявил:

— Потушу, ваше превосходительство!.. Потушу... Не волнуйтесь...

— Поджигателей, всех до одного, мужеского и женского пола, а также и малолеток... Вкопать столбы на плаце... Побольше столбов! Прислать дополнительно три роты и эскадрон в охрану моей квартиры.

— Ваше превосходительство, это не поджигатели, это бабы во дворе в летних каменных печах хлеба пекли... По халатности загорелось,— старался все повернуть на более мягкий лад Салов.

— Врешь, анафема,— поджигатели! Злоумышленники! Побольше столбов!..— повторил Аракчеев и снова запер дверь на ключ.

В комнате сделалось совсем светло. Разбушевавшийся пожар осветил не только Чугуев, но и окрестные селения. Было слышно, как трещит пожираемое огнем сухое дерево, как падают подгоревшие стропила. В небе порхали огненные хлопья, взметенные горящие щепки несло по воздуху во все стороны. Аракчеев боялся подойти вплотную к окну. Он не верил враждебной улице — в каждом незнакомце, проходившем и проезжавшем мимо дворца, ему мнился затаившийся отомститель.

До самого рассвета горела окраинная слобода за Чугуевкой. До рассвета продолжалось тушение пожара. Рядовые из хозяев и отставные казаки, подгоняемые унтер-офицерами, с поразительным безразличием и унынием смотрели на гибель своих и чужих жилищ, пожитков, скарба. Люди ничему не радовались и потому ничем не дорожили.

Салов, бешено размахивая плеткой, носился, как демон, по городку из конца в конец, стращал, пугал, сгонял ленивых таскать ведрами воду. На плацу ставили столбы. Комендант терял голову, думая о том, кого же объявить поджигателями. В поджоге он не сомневался, но не хотел больше терзать и без того истерзанный народ — помнил предостережение отставных казаков. Однако и обнаружение поджигателей грозило коменданту большой бедой — что взбредет в башку Аракчееву?

— Плотину размыло! Низину заливает! — разнеслось по всему Чугуеву.

Новая невзгода на голову коменданту. Плотины не размыло, ее разрушили. Но кто? Аракчеев, несомненно, потребует найти и представить ему и этих преступников. И бог весть что принесет утро...

Утро не принесло ничего отрадного. В комендатуре стало известно о побеге оклемавшихся после зверского наказания шпицрутенами Федора Ветчинкина, Якова Нестерова, Петра Гудза, Прокопия Лестушки, Федора Визира, Марко Кизима, Осипа Челы, Якова Ховша.

— Найти! — сквозь зубы распорядился Аракчеев. — И прямо на плац... На беглецах опробовать надежность веревок... Далеко они не могли скрыться.

Серое сырое утро несло печальный день всему Чугуеву.

С пожарищ, над которыми все еще курились дымки, удушно и тошнотворно несло запахом жженого мяса, не поймешь — скотиньего или человеческого.

Поджигателей и разорителей плотины комендант не обнаружил. Аракчеев на глазах у всех сорвал с Салова эполеты и, обругав самыми последними словами, бросил его под арест в дворцовый погреб со льдом.

Первым желанием Аракчеева было съездить в буйную станицу. Аракчеев вместе со всем штабом помчался в станицу, замыслившую всеобщий побег. Едва поезд выехал на середину моста через Чугуевку, как мост рухнул, мостовинник поплыл по воде. Несколько дрожек слетело в реку, только карета Аракчеева удачно проскочила на ту сторону. Аракчеев рассвирепел еще более. Теперь он сам готов был отдать приказание пожечь непокорный Чугуев, не оставить от него камня на камне. Конная охрана и вымокшие штабисты кое-как переправились через реку.

Поезд черным ураганом понесся по полям, через холмы... А стороной, вдоль дороги, низко над землей летел, должно быть, назобавшийся мертвечины ворон и каркал, и каркал на всю степь...

За четыре часа скачки оставили позади больше полусотни верст. Дорога взметнулась на взгорок, с которого стало видно море бушующего вдали огня. Горела с полуночи опустевшая, покинутая жителями станица.

Аракчеев приказал остановиться. Станица догорала. Не осталось ни одного дома, ни одной хижины, обойденной огнем. В огне погибла вся живность, которую не удалось взять с собою беглецам. Колодцы были разрушены. На обгорелых деревьях висело несколько трупов

мужчин и женщин, казненных, нужно полагать, самими разгневанными станичниками за измену общему заговору.

Трудно было не ошалеть от такой поразительной новости — снялись с родного домовища сразу несколько тысяч человек и бросились искать себе другое место под солнцем и, может быть, другую родину.

Карета Аракчеева медленно катилась по пустынной улице между двумя валами огня и дыма. Граф смотрел на разрушение, невольно обращавшее мысль и воображение к страшным временам татаро-монгольских опустошительных набегов, но ничего не отражалось на его прямоугольном, будто из дерева наскоро вытесанном, лице.

— А здесь на самом деле жили люди? — вдруг спросил он у Клейнмихеля, сидевшего с ним в одной карете.

— Значились.

— Надо воротить, а то убегут в Турцию или в Персию, — вяло и равнодушно сказал он. — Но кого послать? Здесь все мошенники, и я не верю в их раскаяние...

— Сделайте предписание графу Витту и отправьте с нарочным, чтобы он выслал надежных людей для нахождения и водворения на прежнее место самовольных бунтовщиков, — подсказал Клейнмихель.

Аракчеев обрадовался такой подсказке: представляется еще одна возможность поставить графа Витта в затруднительное положение. Тут же, среди горящих развалин, он собственноручно написал звучащую как приказ просьбу графу Витту и снарядил нарочного в Елисаветград.

От станции повернули к Волчанску. И опять, откуда ни возьмись, черный ворон верст семь добровольно сопровождал бешено мчавшийся поезд. Он летел низко над землей и каркал, каркал... Каркал до самой дубовой рощи, что длинной полосой зеленела на холмах.

Проехали рощу. Навстречу поезду среди равнинного неубранного поля шла унылая толпа женщин. Их было много, больше тысячи, пожалуй. Передние несли на руках большую икону в серебряном окладе, опоясанную вышитым полотенцем. Перед иконой шагала дюжина семилетних мальчиков в мундирах поселенных войск. В руках у них теплились зажженные свечи. Они шли медленно, плавно, прикрывая ладонями огоньки свеч. Женщины пели молитву, пение напоминало плач. Встреча с черным поездом для них была неожиданна.

— Куда и зачем? — крикливо спросил Клейнмихель, выскочив из аракчеевской кареты.

— Чьи и куда идете? — повторил Лисаневич.

— Мы — волчанские, идем в Чугуев к главному устройтелю и распорядителю, другу государя нашего графу Аракчееву со слезной и всепокорной просьбой нашей, — смиренно ответила одна из женщин, что несли икону на руках.

— О чем же просьба ваша?

— Просить на коленях будем, чтобы оставил он нам малолетних, неразумных детей наших и не угонял их от нас в Сибирь, — ответила женщина.

Аракчеев слышал весь разговор, но не вмешивался.

— Откуда вы взяли, что ваших малолетних детей собираются в Сибирь угонять? — спросил Клейнмихель.

— Слух такой из Харькова, с ярманки привезли. Пропусти уж нас, господин хороший, дай нам дойти до Чугуева, заступиться за малых безрассудных детей наших... Ну какие они царю-государю солдаты, они еще и порчишки-то не научились застегивать на все пуговицы!..

Лисаневич и Клейнмихель растерянно молчали, не зная, что делать. Аракчеев же оставался безучастным ко всему происходящему. Между тем в толпе женщин раздался плач, через минуту уже голосила вся тысячная толпа.

Аракчеев понял, что ему не отсидеться, и вылез из кареты. Сделал знак Клейнмихелю, чтобы он сказал женщинам о том, кто перед ними.

— Перед вами, матери поселенных детей, сам сиятельнейший граф генерал от инфантерии и кавалер Алексей Андреевич Аракчеев!.. Ну, или вы не слышали, что я сказал?! На колени!!

Более тысячи женщин встали на колени среди дороги перед графской каретой. Только мальчики, тепля свечи, по недогадливости своей продолжали стоять, и только строгий окрик Клейнмихеля побудил их встать на колени. Аракчеев вышел вперед, поднял руку, требуя тишины, заговорил:

— Еще не родился на Руси такой сын, чтобы был он отцов да материн. Бог, да царь, да я, друг царев, хозяева вашим сыновьям. Нам виднее, как поступить с вашими сыновьями. Никого не обидим. А надо будет — не только в Сибирь, но и подальше пошлем. А смутьянам и бунтов-

щикам не верьте. А кто поверит, тому плохо будет. Возвращайтесь домой!

Но женщины продолжали стоять на коленях и голо-
сить.

— Убирайтесь! — повторил Клейнмихель.

— Уважь, благодетель, заступник! — взвыли женщины.

И кто-то из впереди стоящих плакальщиц, на беду себе, громко и уж очень отчетливо выговорил:

— Не уважишь — к семьям своим не воротимся до тех пор, пока горе наше до самого заступника нашего, царя-батюшки, не донесем! Смилуйся, душа твоя ангельская...

Но «душа ангельская» не смиростивилась.

— Сделать примерное вразумление прямо здесь, на месте, — распорядился Аракчеев и водворился в карету.

Всадники с плетками налетели на женщин, начали избивать их. Не щадили и детей, только свечи покатались по земле. Женщины падали под ударами. Икона, опоясанная рушником, упала среди дороги. Поезд проехал по ней, вдавливая в грязь и дробя на части образ богородицы с младенцем.

Тракт вился у подошвы горы, поросшей кустарником. Притаившись за камнями, что угрожающе нависали над дорогой, Петр Гудз и Прокопий Лестушка не сводили глаз с дороги. У каждого в руках было по штуцеру. Они поджидали аракчеевский поезд. Такая же засада таилась и на другой дороге. Там караулили Федор Ветчинкин, Яков Нестеров, Федор Визир, Марко Кизим, Яков Ховша и Осип Чела.

— Чем круче царев друг гнет, тем скорее лопнет, — тихо говорил Гудз. — Бунтоваться надо. Не поодиночке, а всем сообща... Вот бы когда Емельяну-то Пугачеву сверкнуть саблей над Доном, над Волгой, над всей Украиной. Народ добит до крайности, от одной искры готов вспыхнуть... Надо начинать... А чего нам терять? Лучше уж смерть, чем такая жизнь...

— Резать, вешать надо подчистую всех сволочей — больших и малых, — также тихо отвечал Лестушка. — Палить поселенные казармы... Искорня изводить злодеев... Кабы офицеры вступились за нас, то можно бы устроить по примеру Емельяна Пугача пир на весь мир.

Вдалеке слышался лай целой своры поддужных

колокольчиков. Гудз и Лестушка, перекрестившись, отползли один от другого шагов на десять и навели штуцеры на дорогу.

Стук множества копыт и грохот окованных железом колес валом катился из степи. Из-под кустов, со склона горы, уже стало видно скачущих впереди карет всадников. А вот и экипажи, запряженные тройками, четвериками... Поезд ближе и ближе... Золоченая карета в самой середине поезда. К ней прикован взгляд Гудза и Лестушки. В этом золотом гнезде должен находиться петербургский «черный ворон».

Ни Гудз, ни Лестушка еще ни разу в жизни так усердно и горячо не молились всевышнему, как сейчас, испрашивая себе удачи в исполнении задуманного ими.

Аракчеев дремал, раскачиваясь на мягком сиденье.

У самой подошвы горы тарахтят экипажи. Еще минута, другая — и они приблизятся на расстояние выстрела.

Усталое солнце садится за далекими курганами. Лучи его скользят над землей, сверкают на спицах крутящихся колес.

— С богом... — сам себе шепнул Гудз и взвел курок.

Один за другим громыхнули два выстрела. Над кустарником поплыл синеватый дымок. Пулями выбило стекло из дверцы кареты, но сам Аракчеев остался цел. Он так был перепуган, что на какое-то время утратил способность разговаривать. Клейнмихель, сидевший с ним рядом, задергал шнур, протянутый к кучеру, тем самым приказывая гнать еще быстрее.

Лишь в деревянном дворце Аракчеев снова обрел дар слова. Спросил Клейнмихеля:

— Это по нам стреляли на горе?

— По куропаткам, но спяна попали не туда, куда им надо, — плел Клейнмихель.

— Нынче же очистить гору от кустарников. Заросли, подступающие к дороге, вырубить по обеим сторонам на полверсты, — приказал Аракчеев. — Не откладывая до утра, вывести на порубку всех жителей. Завтра к вечеру на дороге от Чугуева до Харькова не должно остаться ни одного куста, ни одного камня на указанном расстоянии. Головой отвечаешь за исполнение...

Толпы чугуевцев под присмотром унтер-офицеров той же ночью были выгнаны на очистку Чугуевской дороги.

Утром к ногам Аракчеева, когда он после завтрака спустился на первый этаж, упали жена и мать полков-

ника Салова. Просительницы, забыв не только о женском, но и человеческом достоинстве, ползали у него в ногах, голосили, называли его такими возвышенными словами, каких достоин бывает лишь истинный герой. Вдоволь наслушавшись их воплей, Аракчеев вынул из кармана сорванные с коменданта эполеты и швырнул их просительницам:

— Прощаю вашего дурака и оставляю комендантом здешним. Но пускай второй раз мне не попадается, второго прощения не будет...

Всю ночь и весь день вооруженные топорами и пилами чугуевцы сокрушали рощицы и дубравы, подступившие к Чугуевской дороге.

Весь день нарочные развозили пакеты по всем округам поселения 2-й уланской дивизии.

Аракчеев больше суток никуда не выходил и не выезжал из деревянного дворца.

Жители Чугуева — все, кто был поставлен под ружье и кто не был поставлен, — ожидали новой, еще более страшной кары.

15

Земля слухом полнится. На Харьковской ярмарке только и говорили о том, что каждый день творится в Чугуеве. Стало известно об избиении женщин в поле. Очевидцы рассказывали о столбах, поставленных на полковом плацу в Чугуеве. Самые смелые поехали в Чугуев, чтобы посмотреть своими глазами на все там происходящее.

Рылеев с Бедрягой, прежде чем покинуть ярмарку, решили еще раз съездить в Чугуев. На поездке настоял Рылеев, вынашивавший замысел большого исторического сочинения о казаках.

Главной же причиной его вторичной поездки в Чугуев было страстное желание вступить за несчастных казаков, смягчить жесткое сердце генерального карателя. С этой целью Рылеев, забыв о личной безопасности, написал горячее обращение к Аракчееву, как самому близкому другу царя, с призывом к великодушию и состраданию. Рылеев заступался за казаков и возлагал всю вину за волнение на тех начальников, которые чинили и чинят казакам всякие притеснения вопреки обещаниям, данным казакам самим царем, а следовательно, и самим

Аракчеевым. Бедряга одобрил этот очень рискованный замысел друга.

Юная жена Рылеева трепетала перед грозностью событий, в которые по своей воле ввязывается ее супруг. Ей понятно было его стремление помочь жестоко обиженным, но она не знала, чем все это может кончиться для самого Рылеева. Страшась возможных неприятных последствий, она все же одобряла решимость своего мужа вступить за людей, совершенно незнакомых ему.

Дрожки катились по Чугуевской дороге. Рылеев обратил внимание — справа и слева рощицы и дубравы отступили на полверсты от дороги. Свежесрубленные кусты и деревья зеленели, как весной. Это было похоже на прощальную улыбку.

Унылым погребальным звоном встретил Чугуев Рылеева и Бедрягу. По главной улице к городскому кладбищу медленно двигалась похоронная процессия. Рылеев и Бедряга сошли с дрожек, обнажили головы перед скорбной толпой. На попах сверкали парчовые ризы. Пахло ладаном. И плач стоял невообразимый. Плакали не десятки и даже не сотни, а тысячи людей. Впереди процессии на головах казаки несли тридцать белых дощатых крышек, а сзади попов тащили на полотенцах тридцать гробов с забитыми насмерть поселенцами.

В гробах лежали отставные и неотставные казаки, с некоторыми из них Рылеев совсем недавно познакомился в Харькове. Стиснув зубы, смотрел он на проплывавшие мимо гробы и мысленно произносил имена убиенных:

— Яков Ламанов... Гавриил Пылев... Леон Романов... Жихарев... Малафей Трубчанинов... Пастухов... Григорий Черников... Бочаров... Храмцев...

Версты на три протянулось печальное шествие, сопровождаемое на всякий непредвиденный случай сильным конным караулом.

Долго Рылеев и Бедряга стояли с обнаженными головами. Рылеев не уставал повторять на французском:

— Тиран, ну и тиран... Палач, ну и палач...

А гробы с мертвецами все несли и несли мимо. Не переставали скорбно рыдать колокола

Похоронная процессия текла и текла.

— На плацу вешать кого-то хотят, — слышался голос из толпы зевак.

Рылеев и Бедряга направились к деревянному дворцу на горе. Рылеев решился незамедлительно исполнить задуманное.

Нелегко было прорваться сквозь пешую и конную охрану, со всех сторон оцепившую дворец. Однако Рылееву и Бедряге удалось дойти до крыльца.

— К кому и зачем? — встретил их вопросом первый караульный заслон.

— К сиятельному графу их превосходительству Алексею Андреевичу с посланием в его собственные руки, — объяснил Рылеев.

На первом этаже тем же вопросом встретил посетителей адъютант Блюменталь. Рылеев повторил свой ответ. Блюменталь потребовал передать послание ему. Но Рылеев не согласился. С трудом удалось дойти до лестницы, что вела на второй этаж.

На нижней ступени лестницы стояли четыре вооруженных богатыря-гренадера. Адъютант поднялся наверх к графу и застрял там. Долго Рылеев и Бедряга стояли под лестницей в ожидании приглашения. За их спиной, с ястребиной зоркостью следя за каждым их движением, теснилась целая куча вооруженных стражников, готовых броситься на них по первому же знаку.

Наконец наверху раздались шаги, к лестнице подошел сам Аракчеев, в армейском мундире и форменных сапогах. Из-за его плеча выглядывал лысый Клейнмихель.

— Господин Рылеев и господин Бедряга, — повторил адъютант, — желают передать послание в ваши собственные руки.

Аракчеев остановился на верхней ступени лестницы, с презрением посмотрел на стоявших внизу посетителей, буркнул что-то невнятное, повернулся и скрылся в покоях. Клейнмихель сверху махнул рукой, дав знак страже, чтобы она освободила от посетителей нижнюю приемную.

Аракчеев наградил адъютантов разносной бранью, обещая их разжаловать в солдаты, а рядовых караульных велел тут же сменить и всыпать каждому горячих за то, что они прикладами в шею не прогнали от дворца каких-то слишком смелых гог-магог.

Крайне удручен был Рылеев неудачей своего предприятия. Будто из почерневшего дуба вытесанный всевластный распорядитель судьбами отечества врезался ему в память так, что образ этот ничем не смыть, не изгладить.

Весь день они с Бедрягой провели в Чугуеве, сходили на кладбище, бросили по горсти земли на свежие могилы, заводили разговоры со старыми и малыми, чтобы побольше узнать правды о трагедии, постигшей Чугуев. И люди открывали перед ними сердца свои и души.

На склоне дня они пришли на полковой плац, запруженный народом. Посередине ровного, как пол, поля мрачно возвышались столбы с перекладинами. Рылеев не переставал мысленно повторять неожиданно родившиеся в душе строки: «Ты на меня с презрением взираешь... Вниманием твоим не дорожу, подлец! Вострепещи, тиран... Тебе свой приговор произнесет потомство!»

Он понял, что рождается новое стихотворение, кристаллизуются слова и образы, которые еще вчера не были известны ему. Еще неясным оставалось, в основу какого будущего здания лягут эти первые добротные словесные кирпичи, но что такое здание будет возведено — не подлежало сомнению.

Повторение сразу полюбившихся строк доставляло отраду.

— Вниманием твоим не дорожу, подлец! Вниманием твоим не дорожу, подлец! Вострепещи, тиран! За зло и вероломство тебе свой приговор произнесет потомство!

Страшный черный час в своей жизни молодой поэт считал благословенным! Благословение было рождено сознанием того, что он, Рылеев, без всякого трепета помогает современникам и потомкам отточить первую строку вечного приговора злодею. Его поэтический приговор сливался со всеобщим приговором, творимым неподкупной историей. Поэт как бы воочию увидел идущие за ним бесчисленные поколения, с радостью и упоением повторяющие вместе с ним:

— Вниманием твоим не дорожу, подлец!

Стихотворные строчки одна за другой рождались в его душе, складывались в строфы, звучали набатом. Но как донести их до людей, до современников и до тех, кто будет жить после него? Есть журналы в Петербурге, но нет надежды, что даже самый просвещенный издатель, вроде Греча, осмелится напечатать строки, выражающие жгучую ненависть к другу царя...

«Нет,— озаренно размышлял Рылеев, шагая рядом с Бедрягой к плацу,— деревенская глушь хороша для поэта, воспевающего радости любви под зелеными кущами, поэту же гражданину не пристало деревенское уеди-

нение. Надо пребывать постоянно в центре событий, там, где рождается просвещенная мысль о новой России, где я найду единомышленников. Хорошо бы вкупе с ними издавать журнал... Свой журнал — вот оно, великое дело. В Петербург, в Петербург — только там я найду приложение своим силам... Нынче же надобно написать об этом Наталье...»

На плацу толпился народ, стояли войска. Чуть в стороне выстроилось большое каре мальчиков, одетых в солдатскую форму.

Помилованный Аракчеевым комендант Салов опять гарцевал на лошади, отдавал какие-то распоряжения.

Рылеев не мог догадаться, какой еще кровавый балаган замышляет устроить каратель. Неужели станут вешать главных зачинщиков?

На плац на белом коне, покрытом красным ковром с кистями, прибыл Аракчеев со свитой. Едва он показался, как мальчишки-солдаты встали на колени и начали читать молитву во здравие сиятельнейшего вельможи и друга царя... Слова молитвы повторяли вслед за офицерами. Стоявшие поодаль взрослые также опустились на колени и встретили появление Аракчеева жалобными воплями — вымаливали у него милости.

У Рылеева мороз пробежал по спине. Аракчеев, поморив с полчаса малых и старых на коленях, подъехал ближе и объявил:

— Всем вам и вашим детям дарует государь всемилостивейшее прощение! Детей мужеского пола оставляю на месте, отправку в сибирские отдаленные полки отменяю! Но чтобы впредь каждый из вас служил и жил тише воды, ниже травы... Чтобы никаких неурядиц не затевать, когда будет объявлено об отправке ненадежных в Оренбург и Елисаветград под начальство к графу Витту. Оренбург ближе Сибири. Молите бога за здравие государево и за мое!

Стоявшие на коленях продолжали выть и вопить.

— Всем, кто по суду определен к повешению, дарую живот, с тем чтобы помилованных, заковав в железа, завтра же отправить в отдаленные гарнизоны, — оглашал милость за милостью Аракчеев, а сам между тем раздраженно думал о том, почему до сих пор молчит граф Витт, к которому было отправлено уже несколько нарочных.

Стоявшим на коленях было разрешено выпрямиться в полный рост. В это время на дороге появились три казака. На каждом из них был кафтан, шапка с кистью, сабля на боку и пика в руке. Один скакал впереди, двое других несколькими шагами сзади. Передний в левой поднятой руке держал пакет и громко кричал:

— От главноначальствующего южных поселенных войск генерал-лейтенанта графа Витта в собственные руки сиятельному графу Аракчееву!

Казаки влетели на плац. Свита, окружавшая Аракчеева, расступилась, чтобы дать возможность гонцу передать пакет по назначению. Клейнмихель и Лисаневич в растерянности смотрели на скачущих казаков и недоумевали, почему те не замедляют бег лошадей.

— Сомкнуться и принять пакет! — крикнул Лисаневич страже, заподозрив гонцов в недобром замысле.

— Да, да, принять, — поспешно пролепетал и Аракчеев.

Перед скачущими прямо на Аракчеева казаками сомкнулась цепь конных стражников; передний казак, что держал в поднятой руке пакет, метнул пикой в Аракчеева. Удар оказался очень метким, хотя и нероковым для Аракчеева, — пика, чиркнув по черепу, унесла с головы генерала пышный кивер с огромным черным султаном. И еще две казацкие пики через головы стражи полетели в окостеневшего от ужаса графа. Одна распорола рукав его мундира, чуть пониже левого плеча, другая вонзилась в грудь лошади. Лошадь сделала бешеный рывок в сторону, стряхнула с себя седока и, сделав несколько скачков с пикой в груди, рухнула...

Залубеневшие от страха губы Аракчеева шевелились как у глухонемого, язык не подчинялся ему.

— Чугуевские! — возопил полковник Салов.

— Руби злодеев! Не дай скрыться! — распорядился Клейнмихель.

На смельчаков, уже повернувших с плаца, ринулась чуть ли не вся конная охрана.

Посторонним, наблюдавшим с горы, — среди них стояли Рылеев с Бедрягой — было хорошо видно, как на скаку отбивались саблями казаки от наседавших стражников, как лихо, с истинно запорожской удалью, рубились они. Дюжины две сабель сверкало в воздухе.

Рылеев, не раз бывавший в боевых переделках, не помнил такой рубки, такой отчаянной отваги. Один

за другим падали из седел зарубленные казаками телохранители. Но и казакам-удальцам приходилось нелегко. Стражникам удалось обойти их, и они очутились в тесном кольце. Недешево отдавали они свою жизнь. Семь-восемь стражников уже лежали распластанные на земле. «Узнаю родной народ... Родную Русь узнаю...» — мысленно повторял Рылеев, захваченный картиной отчаянной схватки. О, как он желал в эти минуты победы трем смельчакам, как хотелось ему быть с ними в одном ряду и отбиваться сталью от аракчеевских сабель!

Но вот один из троих упал... Рылеев не мог спокойно стоять на месте. Душа его кипела. Он сжимал кулаки, в душе посылая проклятия главному палачу.

И еще одна голова слетела с удалых казацких плеч. Единственный, пока оставшийся в живых, метался в сабельной западне, все еще не теряя надежды вырваться из нее и уйти в степь. Лошадь под ним и он сам будто слились в единое существо, которое крутилось и вертелось почти на одном месте, бешено отбиваясь на все стороны.

Выстрелом выбили из седла и третьего.

Народ с уступов горы стекал к плацу. Туда же направлялись и Рылеев с Бедрягой.

Вскоре по приказанию Клейнмихеля стражники принесли и бросили к ногам Аракчеева три удалые казацкие головы.

— Воткнуть на колья и не снимать трое суток, — распорядился Аракчеев. — Кто они, сии злодеи?

Полковник Салов, указывая на отрубленные головы, доложил:

— Все трое здешние: это вот Петр Гудз из отставных казаков, это рядовой из хозяев Прохор Лестушка, это Марко Кизим, не вошедший в состав из поселян...

Аракчеев долго глядел на мертвые головы. Хотя испуг его окончательно не прошел, он уже в душе благодарил творца за то, что ему было угодно устроить это нападение именно на него, на Аракчеева. Теперь будет о чем рассказать государю... Да так рассказать, чтобы предстать перед ним мучеником и героем.

— Звери... Какие же есть на свете звери... — пробормотал он и занес ногу в стремя, чтобы сесть на коня, услужливо уступленного ему Клейнмихелем.

Но испуг, оказалось, так расслабил мускулы во всем теле Аракчеева, что он трижды и безуспешно старался

вскочить в седло... Его, поддерживая под мягкое место, посадили Лисаневич с Клейнмихелем.

— Не забудьте снять с моего коня ковер красный,— наказал он челяди, покидая плац.— А шкуру, ежели сдохнет, принести Доллеру.

На плацу остались три казацкие головы, воткнутые на затесанные колья.

Через два дня аракчеевский поезд выехал в Харьков и, не задерживаясь там, устремился на север. Всеми своими помыслами Аракчеев был в Петербурге, при царском дворе. Он спешил. Его не могли обмануть велеречивые письма Николая Муравьева, уверявшего в неизменном расположении к нему императора, чему свидетельством молебствия во здравие его, Аракчеева, отслуженные во всех церквях. Он знал изменчивость, свойственную характеру Александра, знал, что есть могучие силы, которые способны оттереть его от трона, и никакие молебствия им в том не помешают. В голове его уже складывались схемы интриг, долженствующих нейтрализовать эти силы. Все зависело теперь только от резвости лошадей, несущих его к столице.

— Быстрее, быстрее! Засеку, мерзавцев! — доносилось из золоченой кареты на каждой станции, пока меняли лошадей.

Черная туча неумолимо приближалась к Петербургу.

Часть четвертая

Золотая танцовщица

1

На дворе было слякотно. И хотя ледяной ветер уже целую неделю осатанело дул с Ладожского озера, сырость и грязь противились морозу. Начало года сулило сиротскую зиму со слезливыми оттепелями и ненадежными морозами. Никита Муравьев, глядя из окна во двор, на котором синел лед, а в ледяных вмятинах ветер рябил лужи, смеясь, говорил сидевшему у него в кабинете за послеобеденным кофе Сергею Муравьеву-Апостолу:

— Видно, наконец-то и цыганская молитва дошла до всевышнего: в январе — лужи. Когда бывало?

— Молодой 1820 год от радости потеплел, — отозвался Сергей.

— От какой же? Увидел улыбающегося Аракчеева?

— Испанцы его своим республиканским огнем подогрели, вот с того и у нас в Петербурге закапало со всех крыш.

Разговор перекинулся на события в Испании, вооруженное восстание в Кадиксе. Эти вести были получены через братьев Тургеневых и Федора Глинку, которые первыми имели возможность знакомиться с иностранными новостями.

Порадовавшись успехам отважных испанцев и помянув добрым словом вождей испанского восстания полковников Риегу и Квиругу, они заговорили о своих, не менее важных, делах, родственных испанским. Муравьев-Апостол выразил резкое неудовольствие тем, что один из членов Коренной управы Союза благоденствия (как теперь называлось Тайное общество, возникшее на основе Союза спасения) князь Сергей Трубецкой в столь ответственный для Тайного общества период отбыл за границу на неопределенный срок.

— Предстоит окончательное определение наших целей и средств для их осуществления, а он катается там по заграницам, — сердился Сергей Иванович. Впрочем, сердиться, при всей его пылкости, он не умел, и его насупленное лицо вызывало улыбку.

— Не брани своего тезку, причина вполне достойная уважения: заболела сродственница — княгиня Куракина...

— У меня тоже очень больна мачеха. Отец приглашает навестить их, но вот приходится временно с хлопотанием отпустить, — упорствовал Сергей. — Илья Долгоруков в городе? Я его не видел уже больше двух недель...

— Вчера у меня был вместе с Александром Бриггеном... Читали и обсуждали в третий раз переименованный Пестелем четвертый раздел «Зеленой книги».

— Ну, как Пестель, изменился ли после всех конституционно-монархических атак на него? — спросил Сергей.

— Остался самым собой... Пестеля сбить со своих позиций не легче, чем семеновских солдат с флешей генерала Раевского... Но мастер он непревзойденный рядить в голубиные перья благотворительности свою любимую жар-птицу — революцию. Твой брат Матвей Иванович с каждым нашим собранием склоняется к полному принятию Пестелевой прямой линии. Лунин — это тот же Павел Пестель по решительности и радикальности. Граф Толстой и Колошин туда же гнут. Но полковник Глинка все склоняет нас поласковее улыбнуться дворцовой страдалнице императрице Елизавете Алексеевне и поманить ее конституционным пальчиком на освободившийся престол, — рассуждал Никита, любивший в серьезных разговорах прибегать к гиперболическим сравнениям и образам.

— А когда и кем для нее будет освобожден престол?

— Сие, признаюсь, и для меня остается неясным! Не знаю, как мыслит Глинка помочь просвещенной царице занять престол. По образцу братьев Орловых? Но пример восемнадцатого века для нашего времени устарел. Опыт доказал непреложную истину: дворцовые перевороты бесплодны. Они могут удовлетворить честолюбие, властолюбие немногих, но дать народу и стране они решительно ничего не могут.

— Наконец-то ты, любезнейший Никита Михайлович, согласился со мной и с Матвеем, с чем горячо и поздравляю тебя! — Муравьев-Апостол тряхнул нежную холечную руку Никиты.

Никита Муравьев поднялся и предложил Сергею набросать совместными усилиями проект будущей конституции.

— Оговорим сразу же: крепостное право — долой! Поселения, рекрутчину — долой! Старый суд — долой!

— Да, да,— горячо поддержал Сергей Муравьев-Апостол,— подземелья и казематы уничтожаются... Казематы — могилы для заживо погребенных. В этих могилах Россия, изобилующая талантами и героями духа, будто по сатанинскому наваждению из века в век хоронит свою честь и славу. Подземелья и казематы — гнойники деспотической власти! Тени замученных, растерзанных в казематах вопиют к живым и достойным имени человека раз и навсегда смыть этот позор с лица родины... Пусть она, свободная и разумно управляемая, покажет всему миру образец истинной гражданственности. Ни один волос не упадет с головы ее гражданина вопреки закону, навсегда не только вытравит из своей памяти, но и вымарает из словарей самое ненавистное слово — самовластие! — Сказав эти слова, он прочитал помету на журнальной обложке: — «Крепостное состояние и рабство отменяются немедленно. Раб, прикоснувшийся земли русской, становится свободным!»

— Великолепно сказано: раб, прикоснувшийся земли русской, становится свободным! — восторженно проговорил Никита.

— Ибо до сих пор все наоборот: свободный человек, ступив на землю русскую, становится рабом. Так было, но так не должно быть в будущем,— пояснил Муравьев-Апостол и опять обратился к журнальной обложке: — «Всякий имеет право излагать свои мысли и чувства невозбранно и сообщать оные посредством печати своим соотечественникам». Никита хотел что-то сказать, но Сергей продолжал: — Свободы слова и печати смертельно боятся только аракчеевы, бездарные самовластные правители, никчемные вельможи и государственные мореные дубы из Государственного совета! В свободном слове — отгадка на все трудные загадки политики и государственного управления! Свобода слова и печати — это те волшебные лучи, которые сразу и насквозь просвечивают всякую напыщенную бездарность, любого истукана, занявшего кресло не по назначению в Сенате или в Совете министров. Вот почему как черт лаdana боятся свободного слова аракчеевы всех разновидностей! Любая конституция на другой же день превратится в несносный и оскорбительный обман, в издевательство над народом, если будет растоптана свобода слова и печати!..

— Ты прав,— согласился Никита.— Одно удручает меня в этом вопросе — безграмотность народа. При таком положении вещей от свободы слова и печати, дарованной России, выиграет опять-таки верхушка общества, те же замаскированные аракчеевы всех мастей. Вот что мне не дает покоя...

— Что ж, верно, следует подумать о том, как ограничить конституционное влияние аракчеевых на печать до той поры, пока в народе достаточно не распространится грамотность,— высказал предположение Муравьев-Апостол.— Я думаю, со временем мы найдем формы такого ограничения.

— Да, пожалуй, сейчас мы к этому не готовы,— сказал Никита.

— Где соберемся нынче? — спросил Муравьев-Апостол, когда они закончили.— У меня в казармах неудобно: известный тебе полковой адъютант Бибилов стал проявлять чрезмерный интерес ко всему, что происходит у меня, и ко всем, кто бывает у меня. И еще есть такой же — Скобелев...

— Собираться в моем доме тоже становится небезопасным,— озабоченно сказал Никита, убирая свернутую в трубку тетрадь в стеклянный тайник.— Глинка предупредил, что Фок дал указание своим негласным доносчикам и наблюдателям не сводить глаз с наших окон и дверей. Подобное же указание дал квартальным и будочникам блистательный рыцарь Боярд...

— Кто? Кто? — не поверил Сергей.

— Начальник Глинка — генерал-губернатор граф Милорадович.

— Здорово... Неужели сей расточитель и поклонник Аполлона вместе с тем занимается и натаскиванием фискалов и шпионов? Не вяжется одно с другим... Надо пожаловаться танцовщице — Катеньке Телешовой... Впрочем, что ж Милорадович — его должность обязывает вожжаться с фискалами. Но где все же будем собираться?

— Есть предложение собраться под охраной недреманного ока полиции...

— Как это? — недоверчиво улыбнулся Сергей.

— Угадай,— посмеиваясь, сказал Никита.

— Трудно. Не канцелярию же петербургского полицеймейстера Горголи ты имеешь в виду?

— Нет, конечно... Собираться будем отныне в доме Главного гвардейского штаба! Известен тебе такой дом?

— Еще бы... Понял — у Федора Глинки!

— У него. Он сам предложил для сборов свою квартиру. Представляешь, каково! Все наши самые важные собрания будем проводить у человека, состоящего для особых поручений при генерал-губернаторе Милорадовиче, у лица, которое практически ведает всем политическим сыском в столице!

— Воистину здорово! Ход троянским конем! — воскликнул Муравьев-Апостол.

— Еще бы! Уж эта-то квартира и весь этот дом и у министра внутренних дел, и у генерал-губернатора находятся вне подозрений! Адрес Федора Глинки известен всем членам Коренной управы. Домашний человек Глинки — личность вполне надежная, посторонних в этой квартире почти не бывает. Разве что сослуживец по канцелярии Григорий Перетц. Я не знаю их отношений, но это дело хозяина квартиры. Лишь об одном предупредил Глинка: его иногда на службе долго задерживает генерал и потому он не всегда будет вовремя являться на наши сходки... Но это не страшно.

2

Неделю спустя на квартире у Федора Глинки собрались члены Коренной управы Союза благоденствия. Это был боевой политический центр, из которого исходили все указания для местных управ.

За окнами насвистывал ветер, по стеклам временами дробно била снежная крупа, и в трубе жалобно завывало. В просторной квартире дымились трубки и сигары. Председатель Союза благоденствия граф Федор Толстой — коренастый, широколицый и широкоплечий, с мускулистыми мужицкими руками, немного медлительный в движениях, сидел на диване между Сергеем и Матвеем Муравьевыми-Апостолами и рассказывал о похождениях Толстого-Американца, каждую неделю удивлявшего столицу какой-нибудь новой выходкой. Блюститель Союза благоденствия князь Илья Долгоруков, имевший среди друзей репутацию человека крайне осторожного, расхаживал по просторной квартире. Лицо его, обрамленное светло-золотистыми бакенбардами, было бледно, и на нем время от времени появлялось болезненное выражение, но Долгоруков старался скрыть его. Дело было в том, что

у него обострилась геморроидальная болезнь, врач предписал ему сидеть дома, а он приехал на собрание. Изредка он останавливался, чтобы обменяться словом с кем-нибудь, и опять продолжал хождение.

Чаще, чем к другим, подходил он к Павлу Пестелю и Михаилу Лунину; оба сидели за маленьким столом и оживленно вели беседу о формах будущего государственного устройства, наиболее приемлемого для России.

И тот и другой отличались обширными познаниями в области политических, философских и экономических наук, речь обоих изобиловала афоризмами, свидетельствующими о ясности и глубине мышления. В их характерах было много общего и много разного. И тому и другому было присуще бесстрашие и готовность, не задумываясь, принести в жертву свою жизнь для блага отечества. Но Павел Пестель движения души, движения чувства, как бы они ни были пламенны, умел всегда подчинить холодному рассудку. Его сильный и многогранный ум никогда не подчинялся движениям сердца. Он нередко удивлял товарищей по Союзу благоденствия. Случалось, на сходках все так горячились, опровергая или оспаривая то или иное положение, выдвинутое Пестелем, что хоть святых выноси, а он лишь улыбался, оставаясь невозмутимо спокойным. Невозмутимость, выдержка неизменно помогали ему одерживать верх в спорах. Уму и душе его были незнакомы противоречия, он их снимал постоянной работой мысли, беспощадным анализом, сопоставлением романтических несбыточных мечтаний с реальной действительностью. Ему, как и всем смертным, не удавалось избежать ошибок и заблуждений, но он никогда не пытался цепляться за них, тем более навязывать их товарищам, никогда не пытался завести других в лабиринты собственных заблуждений. Его жизнь уже теперь была цепью долгих исканий. Пестель не искал тревог, приключений, опасностей с целью побаловать себя остротой переживаний. Жизнью своей он дорожил, исходя прежде всего из сознания того, что она принадлежит не только ему, но еще и отечеству. Но при всем этом он носил при себе склянку с ядом, купленным за червонец в аптеке после кровавого Лейпцигского сражения. Яд всегда находился при нем, в его военной и штатской одежде, в которой он собственноручно оборудовал вполне надежные и незаметные для постороннего

глаза тайнички. На каждом шагу видя нечеловеческие мучения смертельно раненных, изуродованных солдат, он полагал в случае жестокого ранения сам прекратить свои мучения с помощью яда... Яд ему на поле боя не потребовался. Но теперь, когда он ступил на стезю политической борьбы, потребность в смертельной склянке вновь могла возникнуть.

Лунин не мог и дня прожить без тревог и опасностей! Они нужны были ему, как воздух, свет, сон и пища здоровому телу. В тревогах и опасностях мужала и направляла крылья его всегда предельно сжатая мысль. Без тревог и опасностей он скучал, оригинальное и яркое его воображение начинало увядать, остывать. Лунин убежденно считал тревоги и опасности высшим наслаждением для человека, понявшего свое назначение. Он презирал и с первой же встречи утрачивал всякий интерес к людям, слишком много и уныло думающим о своей безопасности, благополучии, озабоченным раздумьями о том, как им безмятежно и благополучно доковылять до могилы. Такие люди напоминали ему осенний лист, сорванный ветром и сброшенный в придорожную канаву, полную тлена и праха.

Но было бы ошибкой отнести Лунина к эпикурейцам. Он в жизни своей не сделал ничего, что было бы против его совести и убеждений. И не нашлось бы такой силы, которая заставила бы его от своих убеждений отказаться. Его свободный образ мыслей возгорелся ярко и негасимо не от чтения переводных книг, а от соприкосновения с русской жизнью.

Он всегда мыслил о героическом. Отсюда, верно, проистекало его преклонение перед волей. Самой страшной потерей для человека Лунин считал не потерю здоровья, а утрату воли! Не крепкое здоровье, а прежде всего наличие крепкой воли делает нас людьми! Крепкая воля — основа всего: здоровья, высокой нравственности, здравого рассудка, твердой памяти. Крушение личности всегда начинается с крушения воли. Безволие — причина почти всех человеческих пороков.

Лунин любил всякий труд и не чуждался никакой работы. Его девизом с молодости сделались слова: всякий труд почетен, если он приносит пользу обществу. Чувство кровного, неразрывного родства с обществом делало волю Лунина крепкой, а рассудок ясным. Во время походов и сражений, будучи за пределами отчизны, он скучал по

родной земле и с нетерпением рвался в милую Россию, которую любил, несмотря на царившее в ней рабство. Дружбу Лунин ставил превыше всего. Конец года 1816-го ему привелось провести во Франции. Оттуда он писал своему другу Ипполиту Оже: «Там, посреди полярных льдов, дружба согреет наши сердца, и мы будем наслаждаться счастьем, не известным во Франции, в этой негостеприимной стране, населенной вандалами и грубыми галлами».

Сегодня Лунин был в мундире, ладно и ловко на нем сидевшем. Он носил усы слегка вислые, с заостренными концами. Высокий и широкий лоб его еще не прорезала ни одна морщина.

Долгоруков остановился как бы по мановению поднятой и сжатой в кулак руки Лунина, который говорил Пестелю:

— Многие положения, изложенные вами в первых начертаниях будущего государственного закона, я нахожу превосходными. Но вместе с тем считаю необходимым ясно сказать о пользе рассудительной оппозиции в любом истинно республиканском обществе... Без рассудительной оппозиции все может погрузиться во мрак, который окажется губительнее самовластия...

— Не изложите ли ваше соображение подробнее? — попросил Пестель, привыкший в рассуждениях Лунина черпать много полезного для дела Общества.

— Мы все согласны с тем, что ошибки не проходят даром в политике, — охотно откликнулся Лунин, уминая ногтем душистый табак в трубке. — Будущая конституция первым же своим словом должна будет выжигать корни рабства решительно из всех сфер общественной жизни, а вместе с тем и корни рабства из человеческих душ, и последнее выжигание будет куда сложнее и труднее, чем изгнание рабства, скажем, из Государственного совета или Сената. Мы все закоснели в рабстве. Рабство выражается в наших нравах, обычаях, учреждениях, в миропонимании, в способе выражения своих мыслей, даже в чувствовании и выражении нашей радости и печали. Каменной глыбой лежащее на нас безмолвное повиновение надломило нашу нравственную силу, составляющую гражданина! Согласны со мной?

Пестель кивнул и просил Лунина продолжать.

— Откуда в нас взялось такое? Или не наши летописи украшают поле Куликово? Или не наши предки Минин

и Пожарский? Или мы опозорились под Полтавой? Или мы не прошли сквозь ад и пламень у села Бородина? Или не нас встречала воспрянувшая Европа и не нам рукоплескала, как освободителям народов? Освободив других, нам пора освободить и самих себя!

— Когда будет провозглашено равенство всех людей перед законом, то рабство и все его корни и корешки сразу лишатся питательной среды и начнут быстро отсыхать и отмирать,— заметил Илья Долгоруков.

— Князь, не обожествляйте закон, как таковой! — сразу загорелся полемическим огнем Лунин.— Рабство несовместимо с духом времени. Мы видим, что народы уже успевают на поприще гражданственности. И мы же видим новый позор человечества в Американских Штатах, где рабство утверждено законом! Кровь негритянских рабов бесстыдно перегоняется в золото алчными рабовладельцами. Америка торжественно признала равенство своих граждан перед законом и не стыдится оправдывать неслыханные злодеяния над неграми цветом кожи... Такие поборники равенства едва ли не самые злейшие враги всего современного человечества!

Познание подобного настоящего полезнее в некотором смысле опытов прошедшего! Россия не нуждается в равенстве американского покроя. Это равенство между рабовладельцами — и только.

— Мой взгляд на американскую конституцию целиком совпадает с вашим, Михайла Сергеевич,— отвечал Пестель,— хотя я и пытался извлечь кое-что из американской конституции, чтобы приложить к нашим начинаниям.

— И удалось извлечь?

— Увы, мало... Так мало, что я сам себе удивился, увидев бесплодность моих попыток...

— Где не посеяно, там не пожнешь,— добавил Илья Долгоруков и опять принялся ходить по залу.

Глинка запаздывал. Блюститель дел Долгоруков медлил с открытием собрания в неполном составе ввиду важности вопроса, который предстояло обсудить. После

обсуждения ему будет придана сила закона, выполнение которого станет обязательным для всех членов Союза благоденствия и его ячеек на местах.

Николай Тургенев и Никита Муравьев закончили около окна свою беседу, подошли к председателю графу Толстому, взяв его за руки, начали вытягивать из кресла.

— Давай, председатель, открывай! — потребовали они. — Глинку не дождемся, генерал Милорадович наверняка увлек его к красоткам!

— Или опять послал проверять тюрьмы, — узнать, не воруют ли стражники больше, чем допустимо, чтобы не уморить арестантов голодом, — сказал Матвей Муравьев-Апостол, подталкивая под локоть ленивого на подъем графа Толстого.

— Помедлим, помедлим, господа, — отвечал поднявшийся было Толстой, но снова плюхнулся в кресло.

Хромой на левую ногу Николай Тургенев, постукивая о паркет точеной тростью с белым костяным набалдашником, подошел к большому круглому столу, за которым обычно проходили все собрания и заседания, стукнул тростью и объявил:

— Виной не танцовщицы и не Милорадович, виной — сознание Глинкой слабости отстаиваемых им позиций... Начнем без Глинки, а к его приходу преподнесем уже готовое постановление, обязательное к неукоснительному исполнению.

Но объявление было сделано в явно развлекательном плане, к тому же Николай Тургенев, как и все здесь собравшиеся, был ревностным сторонником соблюдения дисциплины и всех уставных правил Союза. А по уставу, право открытия всякого собрания принадлежало лишь двум лицам: председателю Союза или же его заместителю и ближайшему помощнику, который назывался блюстителем Союза.

Подождали еще с полчаса, и граф Толстой, глянув на часы с брелоками, сказал князю Долгорукову:

— Открывай собрание, Илья!

— Да, пора! — поддержал его Шипов.

И все согласились на том.

Князь Долгоруков занял председательское место за столом. Открыв собрание, он обратился к Пестелю:

— Итак, Павел Иванович, собрание просит вас изложить все выгоды и все невыгоды как монархического, так и республиканского правлений с тем, чтобы потом каждый из нас объявил свои суждения и свои мнения. Прошу вас...

Пестель, встав, пригладил волосы ладонями — он любил говорить стоя — и положил перед собой маленького формата тетрадку, но не открыл ее. Начал он ровно, спокойно, даже поначалу несколько вяловато, что никак не вязалось с его темпераментной натурой:

— Господа коренные члены, я с большим удовольствием исполняю постановление нашего предыдущего собрания — выношу на ваш суд суммированные мною мысли о двух возможных видах правлений для будущей России — монархическом и республиканском. Наше Общество, пройдя через Союз спасения, поднялось на новую ступень, но эта ступень являет собой часть той общей лестницы, по которой восходит борьба в России. Мы с вами не вновь начинаем, а продолжаем начатое до нас. Опустошительная свирепая война прервала эти добрые начинания, но не убила животворной силы к возрождению и расцвету отечества нашего. Я не фразер, все, что мне хочется сказать вам, будет голосом холодного рассудка и вместе с тем выражением моих чувств. Я хотел бы сегодня быть математически верным в доказательстве некоторых истин. Каждая минута моего существования посвящена только ей одной — любимой отчизне. Как и все вы, я хочу видеть ее благоденствующей и процветающей, а процветание немыслимо без полной политической свободы.

Я хочу остановить ваше внимание на всепреобразующем духе времени. Дух времени, по словам одного ученого, является сфинксом, пожирающим тех, кто его не понимает! Мы самим историческим провидением призваны понять веление духа времени! И мы стремимся быть достойными этого призвания! Но одно дело стремиться, другое — практически действовать. Все 1817, 1818, 1819 годы мы отдали суждениям и разговорам, каким быть будущему правлению: республиканским или монархическим? Но это были не только рассуждения и споры, это было время нашего роста, укрепления, возмужания. Мы хорошо помним, что вместе с учреждением Общества истинных и верных сынов отечества, или же Союза спасения, под сладостный звон подвешенного

к потолку братьями Муравьевыми «вечевого колокола», как это ни странно, восторжествовали идеи конституционной монархии... Но квартирный «вечевой колокол» умолк, среди нас уже нет Александра Николаевича Муравьева. Он отпал. Это и другие подобные отпадения признак того, что наше Общество уже в состоянии само очищаться, своевременно освобождаться от слабосердных, безвольных, смешивающих труднейшее поприще революционера с полудетской игрой в конспираторов, забавляющихся звоном подвесного колокольчика! На такие явления надо смотреть глазами холодного рассудка и быть готовыми и в дальнейшем к подобным отпадениям и отступлениям отдельных личностей.

Полусказочные мечтания о давно минувших временах Новгородской республики с ее вечевым колоколом мы заменили ясно очерченными целями и стремлениями привести их в полное соответствие с духом времени.

Вскоре нам стало ясно, в результате размышлений и рассуждений, что монархическое правление, прикрытое фиговым листом приспособленной к его потребностям конституции, это тот же самодержавный кафтан, который будет удобен для будущих аракчеевых, но совершенно непригоден для всякого разумного, живого, деятельного, честного в России.

Проект конституции Новикова бросил в наши души первые республиканские искры! Эти искры уже разгораются в пламень, освещающий весь наш дальнейший путь! Коренной управе ныне предстоит решить, какой дорогой мы пойдем сами и поведем за собой других.— Сделав обширнейший и детальный экскурс в историю монархических правлений и перечислив все выгоды и невыгоды конституционной монархии, Пестель сделал довольно пессимистический вывод: — Всякая монархия, хотя и с урезанными куцыми конституциями правами, приводит с математической точностью к образованию каст, что возникает от неправильного распределения общественных богатств. Такие касты суть самые нелепые и опасные из всех, так как они отличаются наибольшей бесчеловечностью, содействуют бесконечному увеличению армии бедняков, тем самым ускоряют обнищание народных масс. Обнищание в свою очередь ведет к неизбежной революции. Доказательством тому являются все английские беспорядки 1817 года. Они порождены всепожираю-

щими английскими кастами. Титулованная аристократия и народные массы никогда не имели и не могут иметь общего политического языка! Современная денежная аристократия, самая эгоистичная и хищная из всех известных истории аристократий,— достаточно бросить взгляд на Англию, чтобы убедиться в этом,— как гидра поднимает над миром свои хищные головы и, опираясь на груды окровавленного золота, повергает неимущие классы в бездонный океан ужасающей нищеты, готовит миру все новые и новые катастрофические бедствия. При полнейшем господстве денежной аристократии не может быть и речи о какой-либо гуманности и свободе личности, свободе слова и печати. Денежные кощеи бессмертные смотрят на все, в том числе на политику и словесность, на мораль и нравственность, как на своих раболепных слуганок. Для денежной аристократии, как и для абсолютного самовластия, не существует прав политических, прав гражданских, прав частных для тех, кто неимущ. И это страшнейшее зло! Оно порождается ежедневно и ежечасно тем, что бедный живет лишь от своего труда, а богатый от своего имущества, от своих капиталов! Народ при таком образе правления приходит в отчаяние! Отверженные эгоисты, поставившие себе на службу все законы и все положения куцей конституции, в бешеной злобе набрасываются на каждого, дерзнувшего поднять свой голос в защиту народа! Я хорошо знаю и предвижу, господа, что всевозможные наши аристократии, все титулованные и богатеи восстанут и против нас, как только мы объявим войну их эгоизму и классовым привилегиям! Но разве дух зла когда-либо позволял добру поднять голос, и не объявлял ли он беспощадной войны, тем более жестокой и упорной, чем значительнее были затрагиваемые интересы! В чем я вижу основные движущие пружины современной истории? Я вижу их в резком разграничении кучки богатеев, с одной стороны, и массами совершенно нищих — с другой. Мы не можем при выборе наших целей не считаться с этим злом века. Бедный не может и на один день прекратить свою деятельность по добыванию средств, так как, не имея иного капитала, кроме своего труда, он, с прекращением последнего, умирает с голода. Богатый же может жить на свой капитал и тем принудить бедняка принять любые условия, которые ему вздумается поставить, с тем чтобы последний отдал ему свой труд. Опыт показывает, что ни одна конститу-

ционная монархия не в состоянии не только разрешить этого величайшего вопроса, но даже не в силах сколько-нибудь заметно облегчить участь миллионов рабов, стонущих ныне в цепях у новой денежной аристократии.— Перейдя к атакам на все формы конституционной монархии, Пестель заговорил горячо, темпераментно. Временами он открывал тетрадь и снова закрывал. На его обычно бледных щеках играл румянец, и взгляд сделался озаренным. Все, что он сейчас говорил, было для слушающих не отвлеченным академическим рассуждением, а делом живым, к которому все они причастны и мыслью и душой.— Грозные события последних десяти лет столько низвергли престолов, столько уничтожили царств, столько царей обратили в изгнание, мы являемся свидетелями стольких переворотов, что не можем не проникнуться революционными мыслями и не клокотать духом преобразования. Наш век призывает нас глядеть не вспять, а вперед! И только вперед! — воскликнул Пестель и сжатым кулаком стукнул по столу.— А впереди ясно вижу я в подробностях живую картину счастья России, победоносно свершившей революцию! Революция не так дурна, как говорят о ней эгоисты аристократы! Государства, где нет революции, лишены многих благ и преимуществ. Думая о революции в России, я всегда прихожу в такое восхищение, в такой восторг, что готов идти на все, чтобы ускорить полное введение и совершенное укрепление республики! Я в душе окончательно и бесповоротно республиканец, и ни в чем ином не вижу большего благоденствия и высшего блаженства для России, как в республиканском правлении, которое принесет нам революция! А всякая революция успешна бывает лишь тогда, когда тщательнейшим образом подготовлена и свершается решительными революционными средствами! Я вспоминаю блаженные времена Греции, те золотые ее времена, когда она состояла из процветающих республик, и жалостное ее положение потом. Я сравниваю величественную славу Рима во дни республики с плачевным ее уделом под правлением императоров. История великого Новгорода меня также утвердила в республиканском образе мыслей. Я нахожу, что во Франции и Англии конституции суть одне только удобные для аристократии и богатеев, для титулованных стяжателей народного добра, покрывала, никак не мешающие министерству в Англии и королю во Франции самовластно

делать все, что они пожелают! Только республика и революция могут избавить массы от этого зла! Самодержавие, если хотите, имеет свои преимущества перед такой жульнической конституцией, отвечающей морали и нравственности тамошних торгашей. Ведь во всяком самодержавном правительстве неограниченность власти одного лица открыта, всем видна и никем подло не прикрывается. Между тем как в конституционно-монархических правительствах фактически ничем не ограниченная власть лживо прикрывается словесными хитросплетениями, которым ни один разумный человек не верит и не может верить. Современные аристократии, сосредоточившие в своих руках колоссальные богатства, наконец и неизбежно сделаются сильнее самого монарха, и это мы уже видим в Англии. Каков же вывод? Вывод может быть лишь один: массы народные и аристократия всякого рода непримиримы! Аристократия суть главная препона государственному благоденствию и может полностью быть устранена лишь республикой. Революция — иного пути для России нет! Путь Англии для нас неприемлем! Я за революции и республику без каких-либо оговорок!

Появился полковник Федор Глинка и пошел по кругу, пожимая каждому руку.

— Извините, господа, за невольное нарушение дисциплины и установленного порядка,— говорил он на ходу,— задержал Милорадович...

— В театре? — улыбнулся Матвей Муравьев-Апостол.

— В своей канцелярии. Прибыли заморские ревизоры, чтобы ознакомиться с состоянием наших тюрем, рабочих домов, богаделен. Вот мы с генералом и строчили предписания всем тюремным начальникам и рассылали с нарочными, чтобы были готовы к приему наезжих сеятелей гуманности,— объяснил Глинка.— Высочайше повелено всех арестантов и арестанток вымыть, выскоблить, вычесать, одеть во все новое, напоить, накормить, развесить иконки во всех темницах и казематах, разложить на столах в камерах Библии и Евангелие, раздать свечи из белого воску. А в главных петербургских и московских тюрьмах велено наскоро сколотить по певческому хору, а буйных арестантов, от которых могут случиться разоблачения, рассовать по захолустным острогам!

— Истинно соломонову мудрость показывает наше

правительство перед гостями! — зло засмеялся Сергей Муравьев-Апостол.

— Аракчеевская выдумка, — заметил Тургенев.

— Не думаю, — возразил Пестель. — В сим распоряжении почерк государя! Он вот уже два десятилетия пыжится пустить пыль в глаза всей Европе и предстать перед ней просвещеннейшим и гуманнейшим самодержцем.

— А не Милорадович ли, щеголь, подтолкнул царя? — спросил Толстой.

— Возможно, что и он внес свою лепту в сие богоугодное предприятие, — потирая заходящие на сильном сыром ветру руки, сказал Глинка. — Но моего участия в данной просветительской акции не было.

— Ты, Федор, за что голосуешь: за республику или конституционную монархию? — с ходу спросил Сергей Муравьев-Апостол.

— Предпочитаю видеть на престоле Елизавету Алексеевну! — отвечал без колебаний Глинка. — И разумеется, конституцию! В крайнем случае, если почему-либо Елизавета откажется от престола или не может быть возведена на престол, то объявить государем малолетнего наследника цесаревича Александра Николаевича при соответствующем регентстве! Гвардия всегда поддержит Елизавету!

Пестель резко мотнул головой, но не стал возражать Глинке, поскольку председательствующий Илья Долгоруков уже встал, чтобы объявить начало прений.

Глинка велел подать к столу чай с медовыми пряниками, которые он любил и всегда держал про запас.

Пили чай, обмениваясь мнениями, шутили. Лунин рассказывал разные истории. Никита Муравьев возражал Пестелю, оспаривая его резкую оценку, данную отпавшему от содружества Александру Муравьеву. О своем родственнике он говорил довольно мягко.

— Счастлив Александр Николаевич Муравьев, став обладателем ангельского создания, — с иронией заметил Пестель. — Но в глазах его всякий раз, когда мне доводится встречаться с ним, я читаю все смятенное и неловкое состояние его души... Плох тот мужчина, который не умеет или не хочет любовь к свободе слить воедино с любовью к женщине. И я не знаю худшего вида эго-

изма, чем эгоизм влюбленного до умопомрачения, до потери священного чувства — чувства гражданского долга. Сердце, в котором любовь выжгла гражданский долг, перестает быть не только сердцем мужчины, но и вообще сердцем человеческим, оно превращается в сердце самца, подчиненного лишь чувственным порывам. Чувственность — свойство наших доисторических предков!

Сторонниками взглядов Пестеля единой дружиной выступили Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Михаил Лунин, Николай Тургенев, Глинка. Граф Толстой, Никита Муравьев и Семенов с Колошиным оспаривали такую категоричность суждений, находя в них односторонность и упрощение таких сложнейших душевных коллизий, которые никак нельзя упрощать ни республиканцу-революционеру, ни до умопомрачения влюбленному романтику. Лишь Александр Бригген остался непричастным к этой дискуссии, временно уведшей в сторону внимание всех от основного и главного, ради чего собрались они сюда.

Сергей Муравьев-Апостол и Павел Пестель, возглавляя революционное республиканское начало, вовсе не хотели распри, губительной для всякого дела междоусобицы, которая так легко возникает, когда рассудок и здравый смысл отступают перед раздраженным самолюбием, ущемленным тщеславием. Они добивались единства во всем, начиная с общей платформы и кончая согласованными действиями на местах.

Пестель не раз во время разговоров поднимался, чтобы напомнить об опасности возникновения двух непримиримых враждебных лагерей, что нанесло бы большой вред той и другой стороне.

Бесконечные несогласия — верная гибель для всякого общества.

Пестелю с первых дней существования Союза была предельно ясна азбучная истина: члены, составляющие то или иное общество, должны сознательно делиться на повелевающих и повинующихся. Но эта истина на первых же порах неизбежно порождала много трудностей, преодолеть которые могли лишь люди сильные духом и высокие помыслами.

Время шло, а к общему решению собрание не приближалось. Нрав и личные качества каждого в отдельности стали брать верх, и казалось, уже никто не хочет

считаться с мнением других. Этот разнбой мнений грозил бедой.

Пестель постучал костяшками пальцев по столу, встал и озабоченно обратился к собравшимся со словами, какие он уже не раз повторял на подобных встречах:

— Всякое общество предполагает единодушное согласие в достижении цели. Мы собрались сюда не только как добрые знакомые, а как члены-учредители нашего Союза! В этом разных суждений быть не может! Теперь мы обратились к средствам, которыми цель нашего Общества может быть достигнута, и вот между нами начинают возрождаться сильные споры и бесконечные несогласия. Явление не случайное, и ему есть свое объяснение. Избрание средств зависит не столько от общих свойств природы человеческой, сколько от особенного нрава и личных качеств каждого человека в особенности. Сколько голов, столько и умов. А всякое тайное общество может быть жизнедеятельным и боеспособным только в том случае, ежели множество голов, в него входящих, и множество умов, его составляющих, будут действовать как одна голова, как один дальновидный ум! Мы все люди, каждый из нас имеет свой нрав, свой характер. Люди не птицы, в одно перо уродиться не могут. Нрав и личные качества каждого из нас столь различны, что ежели каждый останется непреклонен в своем мнении, не примет мнения других, то у нас никогда не будет никакой возможности избрать средства для верного достижения избранной цели, не будет возможности приступить к действию. В чем же выход? При непреклонности и непримиримости несходственных мнений нам ничего не останется, как разрушить наше Общество прежде начала всякого действия... Хочет ли кто из собравшихся здесь видеть наше Общество разрушенным под тяжестью пагубных споров и бесконечных разногласий?

Он сделал остановку, чтобы дать подумать каждому. Стало тихо. Лишь размеренно-четко отсчитывал свои шаги большой медный маятник настенных часов над диваном, на котором сидели рядом Толстой, два брата Муравьевых-Апостола и Никита Муравьев. Пестель не торопился с ответом, он глядел на Никиту, от первого от него ожидая ответа. Но Никита молчал. Молчали и все остальные.

— Ваше молчание, господа,— красноречивый ответ на

мой вопрос,— продолжал Пестель.— А ежели мы не хотим видеть наше Общество уничтоженным, то каждый из нас должен добровольно уступить часть своего мнения и собственных мыслей, дабы составить только одно мнение, по которому могли бы мы избрать средства для своего действия! Единое мнение — краеугольный камень всякой революции! Не ищите в таком умозаключении роковых противоречий! Единое мнение для революционера не есть утрата собственного мнения! В этом единстве заключено множество, как в едином русле Волги слились тысячи ее притоков! Малые притоки без слияния с Волгой — ничто, но, став ее частицей, они сделались великой рекой!

Убедительность сказанного Пестелем не прекратила споров и разногласий, хотя заметно притупила их остроту. И опять долго говорили, то сближая, то отдаляя свои точки зрения и суждения.

— Кто же будет представлять в Обществе окончательное мнение? — спросил Никита.— Кто будет избирать необходимые средства, определять способы действий?

— Вопросы неспростные, Никита Михайлович,— ответил Пестель.— И нелегкие для разрешения. Но не следует страшиться их трудности. Сии затруднения можно разрешить двумя путями. Первый путь: нравственное превосходство одного или нескольких членов Общества соглашает различные несогласия и затруднения и увлекает за собою прочих силою своего превосходства, которому иногда содействуют и другие обстоятельства.

— Но где и в чем гарантия, что нравственно превосходящее лицо или группа лиц не употребит во зло своего превосходства и власти? — задал вопрос Никита.

— Вторым путем: члены Общества возлагают на одного или на нескольких обязанность избирать необходимые средства для действия и делать распоряжения общим действием. И в том и в другом случае члены Общества разделяются на повелевающих и повинующихся. И сего разделения не избежать... Оно неизбежно потому, что проистекает от природы человеческой, оно везде существует и существовать должно, оно являет собой естественное разделение в правах и обязанностях тех и других.

По ходу дальнейших прений мысль присутствующих не раз обращалась за примерами и сравнениями к Древ-

ней Греции и Древнему Риму, к Англии и Франции, воскрешались тени великих мужей от Спартака до Емельяна Пугачева, от Сократа и до Александра Радищева. Наконец, князь Илья Долгоруков объявил:

— Итак, господа, прения прекращены, приступаем к вынесению крайне важного основополагающего решения Коренной управы Союза благоденствия. Голоса собираться будут таким образом: пускай каждый из нас скажет, чего он желает: монарха с властью, ограниченной конституцией, или президента и республику, а подробности со временем будут определены. Желательно, чтобы каждый, подавая голос, кратко объявлял и причины своего выбора. Приступаю к голосованию... Сергей Иванович Муравьев-Апостол, вам слово!

Сергей легко поднялся с дивана.

— Без республики нет свободы, а без свободы нет счастья! А без счастья жизнь не имеет никакой цены! Я за республику! За президента! За революцию!

В духе Сергея Муравьева-Апостола выступили Матвей Муравьев-Апостол, Никита Муравьев, Михаил Лунин, Павел Пестель, Александр Бригген, граф Федор Толстой, князь Яков Долгоруков, Шипов, Колошин. И после каждого короткого слова Павел Пестель с удовольствием вписывал по-французски в свою тетрадь новый голос в поддержку республиканской платформы. Республиканские мысли одерживали полную победу над монархическими, в чем была немалая заслуга прежде всего самого Павла Пестеля и его друга Сергея Муравьева-Апостола.

Очередь дошла до Тургенева, и председательствующий обратился к нему:

— Ваше мнение, Николай Иванович!

Тургенев, не вставая с места, в ударе чувств коротко ответил:

— Республика!

— Глинка! Где Федор Николаевич? — озираясь удивленный Долгоруков. — Уклоняется от голосования! Сейчас был и исчез...

Глинка отлучился на несколько минут, чтобы отдать какое-то приказание слуге, и вскоре возвратился.

— Федор Николаевич, наш Союз благоденствия решительно берет республиканский курс! Слово за вами! — объявил Долгоруков.

— А какое мнение моего союзника по этой сходке

Никиты Михайловича? — не торопясь с ответом, спросил Глинка.

— Тоже за республику и президента! — ответил за Никиту Сергей Муравьев-Апостол.

Глинка снова заговорил в пользу монархического правления, опять предлагал Елизавету как возможную кандидатуру для возведения на престол, но его голос сейчас звучал одиноко, и он, израсходовав все доводы в защиту Елизаветы, заключил свое выступление такими словами:

— Куда мир — туда и вдовый сын. Не хочу оставаться белой конституционно-монархической вороной среди соколиной стаи республиканцев.

— Единогласно принимается за коренную цель Общества — установление республики! — провозгласил итоги голосования радостный Долгоруков. — С чем и поздравляю всех нас! А средства достижения коренной цели выработает Дума нашего Союза благоденствия!

Все окружили председателя, пожимали друг другу руки, обнимались, поздравляли.

— Решение Коренной управы в наивозможно короткий срок будет сообщено всем частным управам, в том числе и Тульчинской, как закон, обязательный для неукоснительного исполнения на местах, — сообщил граф Толстой и на этом закрыл заседание.

На дворе была полночь. Глинка в честь такого важного события приказал слуге открыть несколько бутылок шампанского. Пили без всяких тостов, потому что и без слов каждому было ясно, за что поднимаются бокалы.

— Вот мы принимаем наши решения, а ведь царь нас может оставить в проигрыше, — интригуяще проговорил Глинка. — Но если, паче чаяния, государь дарует отечеству давно ожидаемую конституцию, гарантирует свободу личности, слова, печати, призовет к деятельности на пользу общества все здоровые силы страны, то мы будем ему первыми и усердными помощниками, — уже около самого порога сказал Никита Муравьев, накидывая на плечи серую шубу с бобровым воротником.

— Никита, хорошо слушать сказки, но только не из царских уст, — потрепал его по плечу Сергей Иванович Муравьев-Апостол.

Расходились по двое, поодиночке.

На улице свистел ветер, бил в лица мелкой гололедей, под фонарем в луже рябилась водяная чешуя.

Пестель, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы последними вышли от Глинки. Сергей, пожимая горячую руку Пестеля, тихонько сказал:

— Великое дело сделали нынче! Заставили замолчать монархические языки! Как-то встретят наше постановление на местах?

— За Тульчин я ручаюсь! Там у меня есть хорошая опора: Юшневский, Бурцов, Волконский, Комаров... Больше тревог у меня вызывает Москва, есть плохие вести из Москвы...

— Какие же?

— В Союз благоденствия стали принимать без разбору, без тщательной предварительной проверки, и в результате появились в Обществе пустопорожние болтуны, ни к чему не пригодные... Я думаю, Сергей Иванович, о том, как нам избавиться от столь опасных грозными последствиями мертвых душ...

— Что ж, подумаем вместе.

Они распрощались.

2

Пестель, Лунин, Долгоруков, довольные результатами совещания на квартире у Глинки, разъехались по местам своей службы. Сергей Муравьев-Апостол приступил к сбору материалов о финансах и народном хозяйстве России.

Служба в полку мешала работе, Сергею помогал его брат Матвей — делал выписки из сочинений знаменитых экономистов, собирал из разных источников статистические данные о финансах и промышленности в России, делал черновые наброски. Помогал Сергею и друг его — инвалид войны полковник Ермолаев. Член Коренной управы Союза благоденствия Грибовский, устроенный Глинкой в императорскую Публичную библиотеку, доставлял необходимые книги на нескольких европейских языках.

На первый взгляд скучнейшая тема о финансах и народном хозяйстве по мере углубления в необъятный материал взволновала, увлекла, захватила Сергея,

зажгла его воображение, окрылила мысль, указала верный и, может быть, единственно правильный путь к серьезным размышлениям и выводам. Только теперь он понял, почему Пестель так любит цифры, так часто ссылается на математическую точность в своих письменных и устных докладах Обществу, почему Николай Тургенев и генерал Михаил Орлов с головой ринулись в область экономики, финансов, промышленности. Без правильного понимания первоосновы всякого общества — его экономики — не может быть и правильной политической мысли. Сергей изобрел способ ближе познакомиться с крупнейшим российским экономистом адмиралом Мордвиновым, многие мысли которого не могли не подкупить своей новизной и оригинальностью. Мордвинов не искал революционного выхода из хозяйственного тупика, в который завели страну ее правители. Меры исцеления, предлагаемые им, были скорее либеральными, но все экономические недуги и застарелые хозяйственные язвы России он знал наперечет. В собственной его величества дворцовой канцелярии, в столах, как в усыпальницах, покоилось немало мордвиновских проектов, направленных к оживлению и оздоровлению отечественной торговли и промышленности. Его проекты и предложения разных лет пылились в министерских и ведомственных шкафах. Но он до старости не терял надежды своим упорством проломить непробиваемые стены всеобщего чиновничьего равнодушия, какое может быть только в стране, задавленной единовластием.

Убеленному сединами Мордвинову Муравьев-Апостол полюбился прежде всего скромностью, сосредоточенностью мысли, отсутствием раздражающей самонадеянности, что бывает присуща не только глупой молодости, зрелостью суждений, трудолюбием и необыкновенными умственными способностями. Адмирал сразу увидел, что его молодой друг много читал, много воспринял из прочитанного, он уже сейчас много знает, но жаждет знать больше и ничего из услышанного и прочитанного не принимает слепо на веру, все пропускает через очистительный пламень размышлений, сравнений, сопоставлений. При этом не пытается легкодумно осмеять ошибки отцов и восхвалять пока что бесплодные порывы идущего на смену отцам поколения. Нет в нем и показного, но на поверку всегда хрупкого и непоследовательного карбонаризма, что становится повсеместной модой. Нет и за-

носчивости, и той жалкой гордости, за которой обычно ничего не скрывается, кроме пустоты и болезненного тщеславия.

Адмирал Мордвинов нелегко одаривал своей дружбой и доверием даже умных и во всех отношениях безупречных людей. Долгая жизнь и постоянное вращение в свете, в придворных кругах научили его не торопиться с изъяснением дружбы. К этому еще примешивалась и фамильная гордость, обостренное чутье всякой фальши и неискренности. И все же перед Муравьевым-Апостолом он сразу распахнул свою душу. Тому немало способствовало и доброе, во всех образованных дворянских семействах с уважением произносимое имя отца Сергея — Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола.

Как-то раз после беседы в своем домашнем кабинете Мордвинов, прощаясь с Сергеем, сказал ему:

— Ваш отец может гордиться такими сыновьями, как ты и твой брат. А вот ваш родственник Николай Николаевич Муравьев мне не понравился... И не тем, что у него всего-навсего на пятерых братьев сто сорок ревизских душ... Ревизские души не могут заменить одной нашей собственной души, что вложена в нас творцом...

Сергею Ивановичу было неприятно услышать о своем родственнике неодобрительный отзыв, и он попытался сказать несколько слов в защиту Николая Муравьева, но сам почувствовал, что защиты у него не получилось.

— По городу кто-то из глупцов распустил слух, боюсь, что это сделал сам Николай Муравьев с братцем своим Александром, будто я изгнал обиженного отказом жениха из Петербурга... Жалкая выдумка... Он сам бежал от стыда... Я не прорицатель, но Николай Муравьев, при ближайшем рассмотрении, показался мне тем, одаренным даром перевоплощения, артистом, что с одинаковым и неперменным успехом может выступать в плащах разного цвета. А вы таким дарованием не обладаете и никогда обладать не сможете.

Муравьеву-Апостолу запомнились эти слова, но он так и не мог понять, что же в поведении Николая Муравьева дало адмиралу повод к такому суровому заключению. Уж не проведал ли адмирал о «вечевом колоколе» под потолком? Если это так, то все равно нет для серьезного человека причины для столь строгого и категорического осуждения, уже хотя бы потому, что масонские обряды еще более смешны, а к масонским ложам ныне принад-

лежит едва ли не вся знать. Значит, дело заключается не в «вечевом колоколе».

Трещал мороз. Сады погрузились в дымку серебристого инея. Сухой полярный воздух обжигал щеки. Вдоль Невы, закованной в прочный лед, мчались борзые тройки, разметав по ветру летучие гривы. В такую погоду у Муравьева-Апостола загоралось сердце желанием промчаться вдоль Невы в ямщицких санках, да так, чтобы ветер гудел в ушах. Они с братом Матвеем, надев шубы с бобровыми воротниками, наняли у Синего моста извозчика с вместительными санками и заехали за Глинкой к нему на квартиру. Он тоже любил зимнюю гоньбу. Был воскресный день, улицы, несмотря на мороз, полнились праздничным народом, ярко расцветали шали, платки, шляпки.

Тройка чалых, взбодренная могучим ямщиком в зеленом кафтане поверх овчинника, подпоясанного алым кушаком, бешено неслась по ледяной дороге. Из-под копыт и полозьев дымился сухой искристый снег. Ямщик, с одного взгляда разгадавший в седоках добрых людей, желающих потешиться дарами зимы, старался изо всех сил. Время от времени он лихо подсвистывал, чтобы придать гонке всю прелесть состязания, встряхивал вожжами, гикал, молодецки заламывал набекрень лохматую баранью шапку, из-под которой огненными всполохами выметывались рыжие пряди, развеваясь на ветру. Глядя на его лихо заломлённую шапку, можно было только удивиться тому, какая сила заставляет ее держаться на голове при такой бешеной езде, при ревущем ветре, что норовит выбросить из санок седоков.

О маловажном говорили на русском, обо всем, что относилось к делам Тайного общества,— только на французском.

Сергей, сидевший между братом и Глинкой, говорил последнему:

— Коренная управа нашего Союза поручает тебе заняться приготовлением Милорадовича... Я берусь такую же работу вести с командиром Потемкиным и адмиралом Мордвиновым... Пестель обязуется заняться агитацией генерал-адъютанта Павла Киселева, начальника штаба 2-й армии. Сенявину поручено воздействовать на своего отца — адмирала Сенявина. Ищем лицо, которое заня-

лось бы в этом направлении дежурным генералом Закревским... Пока что ни на ком не остановились... Наиболее всего для этого подходит ротмистр Чаадаев, но с его приемом еще окончательно не решено. Мы гонимся за генералами не ради широких генеральских эполет... У нас уже есть генералы: Орлов, Волконский, Фонвизин, Юшневский... Возможными нашими союзниками и единомышленниками нам представляются генералы Алексей Ермолов и Лисаневич... Мое мнение разошлось с мнением Пестеля относительно генерал-адъютанта Витта...

— Витт — ломтище, да еще какой, — заметил Матвей. — У него в руках весь поселенный южный корпус. А поселенные войска после Мамаева побоища, что устроил казакам Аракчеев, бочка с порохом. При умелом ведении дела они первыми возмутятся. Две дивизии не шутка...

— Уж очень много разных опасений относительно этого Витта, — продолжал Муравьев-Апостол. — По одним сведениям, Витт — самый ярый враг монарха, который якобы оскорбил его подозрением в шпионстве в пользу Наполеона. По другим, Витт — опасное лицо, которому никак нельзя доверяться... Поручено вести нечувствительное наблюдение за Виттом прежде, чем окончательно решить о нем... Ну как, Федор, ты уже не первый год находишься к Милорадовичу ближе всех. Как он? Можно на него всерьез рассчитывать? Один драгунский горячий штабс-капитан недавно так о нем отозвался: «Милорадович — великий мастер пускать ракеты, но дальше ракетопускания он никогда не пойдет, и ждать от него нечего... Боярдом родился — Боярдом и помрет...» Но ведь и другое о нем говорят: он ненавидит великого князя Николая Павловича, считает за молокососа с претензиями и другого великого князя — Михаила Павловича, очень высоко ставит императрицу Елизавету и всегда пользуется ее благосклонностью, не сторонится благотворительных начинаний... Нельзя начать перетягивать его шаг за шагом к нам сначала хотя бы через участие на ниве человеколюбия?

Тройка еще далеко не израсходовала всей своей резвости! Лошади, взметая снег копытами, казалось, рвутся вытянуться в струну и лететь по воздуху! Уже сколько саней и санок обогнали они... Обжигающий воздух румянил лица, порой кинжальными струями врываясь под поднятые бровные воротники. Глинка слушал Сергея

Ивановича и теплил лукавую улыбку в круглых темных глазах, таких всегда живых и проникновенных.

— Ну как, Федор? Что молчишь? Вероятно, новая песнь уж рождается в твоём сердце? — щекой касаясь глинкинского воротника, говорил Сергей, склонив голову к плечу соседа. — За тобой долг — песня о русской тройке... Вот об этой... Об этом валдайском колокольчике...

— Ты сам превосходный поэт, — отвечал Глинка.

— Мои опыты не заслуживают того, чтобы говорить о них, тем более такому поэту, как ты... — ответил без кокетства Муравьев-Апостол. — Да и влечет перо мое всегда к темам суровым, возможно, некоторые сочтут такое влечение лежащим за пределами искусства... Но я придерживаюсь иного убеждения... Ну так, дорогой друг, что же скажете нам о Милорадовиче?

Глинка, будто вдруг на него пахнуло зноем, резко откинул на плечи воротник в блестках инея и сказал:

— Штабс-капитан в своем отзыве о Милорадовиче прав и не прав. Я никогда бы не отказал графу Милорадовичу, человеку неисправимо расточительному, не знающему цены деньгам и меры удовольствиям, в умении, я добавил бы от себя, в артистическом умении красиво пускать разноцветные ракеты. Но вместе с тем я никогда не сказал бы о нем, что он только рыцарь Боярд и ни на что другое не способен. Милорадович, несомненно, человек чувствительного сердца, открытого для всего возвышенного и благородного; он яростный и убежденный поборник законности, враг мздоимства, взяточничества, пьянства в судах, враг насилий и жестокостей, что повсюду творят помещики, убежденный противник нашего азиатского крепостного права, враг рабства во всех его проявлениях. Он никогда не приходил в восторг и от самовластия, которому вынужден служить и не видеть плодов своего честного служения. Милорадович готов вытряхнуть из своего личного кошелька последний большой империал на выкупку из крепостничества какого-нибудь талантливое самородка. Но при всем при этом я никак не скажу о нем, что он уже созрел для нас для откровенных бесед с ним...

— Почему? — не понял такого вывода Матвей Муравьев-Апостол.

— Милорадович легко поддается влиянию людей, пользующихся у него доверием, — объяснил Глинка. — Это порождает в нем двойственность. Я сам давно думаю

над приобщением Милорадовича к нашему делу и пришел к такому убеждению: до тех пор пока под ногами у Милорадовича вертится втершийся к нему в безграничное доверие правитель делами генерал-губернаторской канцелярии Геттун, мы не можем делать ставку на Милорадовича. Геттун — мой самый ярый, самый злобный и самый опасный враг. Я чувствую, что он смутно догадывается о моей принадлежности к какому-то тайному обществу, но еще не располагает достаточными обличительными фактами, чтобы уничтожить меня во мнении Милорадовича. Цель его жизни — занять кресло министра внутренних дел. Один из его канцелярских холуев, чиновник Наумов, как-то спьяну проболтался о том, кем он, Наумов, станет, когда Геттун возьмет в свое полное подчинение министерство внутренних дел...

— Неужели нам придется отказаться от своих видов на Милорадовича? — сожалеюще спросил Сергей Иванович.

— Битва за Милорадовича должна быть разграничена на несколько этапов, — после паузы продолжал Глинка. — Надо продвигаться шаг за шагом, не спеша и не отставая от событий и потребностей нашего дела. Пе вый натиск должен быть направлен на разоблачение и полное сокрушение Геттуна, чтобы изгнать его из канцелярии генерал-губернатора и освободившееся место занять нужным для нас человеком. Изгнав Геттуна, мы освободим душу и ум Милорадовича от тлетворного влияния. Но следует ясно отдавать себе отчет об угрозе, какой мы подвергаем себя, пускаясь в такую смертельную схватку. Несомненно, личные шпионы Геттуна за спиной генерал-губернатора уже вынюхивают наши следы. Я вижу пока только один путь к изничтожению этого господина. Везде, где только можно, ополчайте против него всех влиятельных и близких к государю особ, склонных к благотворительности и убежденных противников жестокости, — Глинка перечислил по именам некоторых сенаторов, генералов, адмиралов, ученых и художников, чье мнение имело общественное значение.

— У меня, кажется, есть одна зацепка, — после паузы сказал Сергей. — Геттун вкупе с юрисконсультom Анненским, как мне недавно стало известно, главные виновники несчастья, постигшего лучшего нашего унтер-офицера Мягкова. Его жена, мать троих малолетних детей, по ложному обвинению в воровстве брошена в тюрьму. Ее

запугали, запугали, пьяные письмоводители требовали с нее взятку, но на взятку у унтер-офицера не нашлось, и теперь ей грозят жесточайшим телесным наказанием и ссылкой в Сибирь. Мягков крайне удручен горем, а дети кормятся подаванием...

— Найдите способ хотя бы через генерал-адъютанта Потемкина без промедления довести все это до сведения Милорадовича, а там дело Мягковой не минует меня,— посоветовал Глинка.

— И еще у меня припасено каленое ядро против Геттуна,— оживился Муравьев-Апостол, жмурясь от бьющего в лицо морозного ветра.— У меня на примете есть три человека, которые могут под присягой дать против Геттуна такие показания, что ему несдобровать, если тем показаниям будет дан ход... Тут уж ничье заступничество не поможет... Хочешь поехать завтра вечером к этим людям?

— Далеко?

— Один живет на Гороховой, другой — на Стрельне, третий — на Миллионной! Или пригласить их к тебе на квартиру? Можно и у нас в офицерском флигеле при казармах встретиться.

— А стоящие люди?

— Староверческого склада кряжи. В чем другом, а в честности им не откажешь.

— Согласен, заедем к одному из них, а там, смотря по делу, решим, в какой форме продолжить наше знакомство,— сказал Глинка без особенного, впрочем, энтузиазма.

Навстречу вихрем промчалась белая тройка. В белых гривах развевались разноцветные ленты. В санках сидели двое в зеленых генеральских шубах. Трое друзей узнали Милорадовича и Геттуна.

— Видите? — с грустью обронил Глинка.— Милорадович с Геттуном торят дорогу масленице-голопятнице...

Тих и недвижим был морозный воздух. К вечеру начал падать ленивый снежок, хлопьями повисая на деревьях. С наступлением темноты снегопад усилился, снег посыпался непроглядной стеной, как пух из распоротой перины. Все вокруг скоро побелело. Свежие следы от недавно проехавших по целине санок исчезали через несколько минут.

В двухэтажном каменном доме с многочисленными хозяйственными строениями во дворе, обнесенном высокой деревянной оградой, в одной из нижних комнат, предупрежденные накануне через доверенное от Сергея Муравьева-Апостола лицо, собрались купцы Холщевников, Колокольцев и Ярославцев. Они были от того перемчивого русского корня, что питает своими соками всех изобретательных и неистощимых на добрую выдумку людей. Их познания в торгово-промышленном трудном деле были добыты не в школах, не в академиях, а за прилавком. Базары на Сенной площади заменяли им лекции ученых-экономов, а искус, что чуть ли не каждый день каждого из них заставляла проходить неумолимая капризная биржа, вооружил острый ум даром предвидения и чувством надвигающихся опасностей.

Хозяин дома Холщевников, бросая по крошке хлеба цепному черно-белому брыластому кобелю, чтобы смирить его ярость, напряженно прислушивался к звукам, доносившимся с улицы. Он стоял у калитки в ожидании важного лица из канцелярии самого генерал-губернатора.

Не успел Сергей Муравьев-Апостол взяться за калиточное кольцо и дернуть веревку, протянутую через весь двор к крылечной двери, как калитка будто сама собой отворилась, и Холщевников, сдернув с головы пушистую меховую шапку, предупредительно поклонился.

— Милости просим, господа, к нашему очагу, к хлебу с солью и к пирогу. Пожалуйте прямо в парадное.

Холщевников запер калитку на две щеколды с хитроумным секретом собственного изобретения и опередил гостей, показывая дорогу. Снег во дворе был чист и не взрыт ничьими ногами. Обласканный хозяином здоровенный кобель не лаял, лишь порой раскрывал широкую пасть и негромко, как бы нехотя, подскуливал. Крыльцо с железным козырьком на двух литых чугунных столбах с фигурными украшениями было глухим, в трех шагах от порога поднималась на второй этаж пологая лестница. Над лестницей на втором этаже мигал огонек в подвешенном на медных цепках жирнике, который не столько светил, сколько чадил. Таким чадом в зимние вечера пахло не только в купеческих домах, а и в самых богатых дворянских особняках.

Под ногами поскрипывали крашенные земляной охрой лестничные ступени. Пахло душистыми сушеными травами. Здесь все несло на себе печать хозяйственности

обитателей этого жилища. Все было срублено, сложено, подогнано надежно, прочно, точно.

В тихой просторной комнате на втором этаже, куда ввел Холщевников двух офицеров, было много икон, и перед каждой висела посеребренная лампада, но это не была молельня. Колокольцев и Ярославцев у порога встретили вошедших почтительным поясным поклоном. Оба они были на вид мужики ладные, широкоплечие, мускулистые, с первого взгляда внушали к себе доверие.

На столе полоскал раскаленное горло медный самовар с боками, украшенными растительными узорами.

Над самоваром в конфорке, как гусь в гнезде, сидел с вытянутой шеей белый чайник и грел свое чрево. Стол, накрытый расписной льняной скатертью, — изделие знаменитой Ярославской Большой мануфактуры — был заставлен блюдами и блюдами с разными закусками. Ломтями нарезанная ветчина была розовой цветущего клевера, в золоченой чаше янтарно искрился липовый мед в ломких сотах, в кувшинчиках и бутылках нагуливали лишний градус наливки и настойки домашнего изобретения, кувшинчики и бутылки теснились вокруг могущественного самовара, как купцы вокруг таможенного комиссара. Белая муравленая печь дышала в помещение березовым теплом.

Домовитость хозяина понравилась Муравьеву-Апостолу и Глинке. Прислуга-чухонка, застенчивая женщина лет тридцати, с лицом, усыпанным золотистыми веснушками, голубоглазая, статная, в платке, повязанном с напуском на лоб, время от времени смущенно заглядывала в комнату. Она ожидала распоряжений хозяина по уходу за гостями. Но распоряжений пока что не делалось, и прислуга, не входя в комнату и как бы боясь встретиться взглядом с господами офицерами, поскорее и бесшумно закрывала дверь.

Холщевников помог офицерам снять шубы, повесил их на самое почетное место под шитый серебром полог, куда был доступ для одежды самых знатных и самых желательных особ. Сухой, теплый воздух, напоенный запахом липового меда, казался целебным. Здесь в теплоте и обжитом уюте не хотелось верить, что за окнами трещит тридцатиградусный мороз и лед на Неве, трескаясь, гудит, будто кто его с плеча осаживает исполинским молотом.

По неколебимым правилам русского гостеприимства

Муравьеву-Апостолу и Глинке отвели самое почетное место — в красном углу под божницей, а сами купцы рядом сели напротив них, с другой стороны добротного сложенного дубового стола на фигурных ножках. Сергей Муравьев-Апостол, слушая не очень обструганные, но полные глубокого, практического смысла купеческие здравицы, с любопытством вглядываясь в эти лица, самобытные, не похожие друг на друга и в то же время имеющие в себе что-то общее, думал: «Три лица — три характера, с любого из троих можно писать лик апостола или какого-нибудь другого святого, но сильны они своей земной красотой». Ярославцев, ладно скроенный и прочно сбитый, лицо имел круглое, будто по циркулю вырезанное. Оно обросло густою и удивительно черной, словно в саже вывалянной, бородою.

Колокольцев выглядел типичным северянином и по богатырской стати, и по лицу — широкому, опущенному окладистой русой бородой, разделенной надвое. В его глазах во время разговора с гостями не угасало песенно-возвышенное парение духа, свойственное сказителям русского Севера. И голос его был благозвучней, чем у тех двоих.

Холщевников, одетый на манер европейского купца, — малиновый камзол и лимонного цвета панталоны, скорее смахивал на дворянина, чем на потомственного купца. Еще в молодости он, по примеру своего отца, расстался с бородой и носил усы. Некий француз, когда-то торговавший лимбургским сыром, но разорившийся и ставший учителем в Петербурге, давал ему уроки французского языка. Холщевников до того был понятлив и памятен на иностранные слова, что учитель как-то сказал ему:

— Одежка на тебе почти крестьянская, а голова у тебя, Яков, лучше, нежели дворянская.

И с той поры Холщевников свою одежду привел в соответствие с понятливой головой, стал подражать дворянству. Но рядился он в дворянские перья только дома, а в лавке и по одежде, и по языку оставался русским купцом.

Муравьев-Апостол и Глинка, не кривя душой, воздали должное каждому кувшину и каждой бутылке, восхваляя мудрость составителей рецептов настоек и наливок, а затем речь пошла о деле, ради которого они собрались.

— Так вот, уважаемые соотечественники и граждане купцы, — начал Муравьев-Апостол без всякого высокоме-

рия.— Вы имеете честь сидеть за одним столом и чисто-сердечно беседовать с одним из главных помощников генерал-губернатора — гвардейским полковником Федором Николаевичем Глинкой... Вы, я помню, жаловались на городскую голову Жукова и искали на него верной и неподкупной управы! Так вот эта верная и неподкупная управа сидит с вами за одним столом и хочет выслушать все ваши беды, притеснения, рассказы о причиненных вам убытках. Говорите все, что наболело у вас, и только сущую правду...

— Как перед богом... Как на исповеди... — клятвенно перекрестился на иконы Холщевников.

То же сделали и Ярославцев с Колокольцевым.

— Рассказывайте! — поощрил со своей стороны Глинка.— Я всегда с радостью слушаю наших торговых и промышленных людей, потому что нахожу среди них, как правило, граждан рассудительных, деловых, много на своем веку повидавших, а потому и много знающих. Торговля, коммерция любят простор и широкие дороги.

— Как раз, Федор Николаевич, этого-то самого главного: простора и свободных дорог — мы в последние годы почесть начисто лишены, — начал Ярославцев.— Простор торговле важен, как доступ свежего воздуха дыханию... Вон, ежели уголь в самоварной трубе плотно нахлобучить, хоть тем же чайником, он и гаснет. А все, что гаснет, то уж, угаснувши, не греет. Торговля, слышал я от одного умного человека, это та печь, около которой согревается все отечество и жители, оное населяющие. А чтобы печь хорошо грела, ты уж не мешай ей топиться и дров сухих не жалей. Да не гнилых осиновых, а звонких березовых поленьев подкидывай... Вот тогда и дым повалит к небу, и пламя загуляет в печи, да в трубе загудит от радости...

— А здешний городской голова Жуков срубил с плеч голову мясницким топором у нашей купеческой радости, — подхватил Холщевников, мастер говорить складно и плотно.— Бог дал Жукову, по ошибке зная, вместо доброго человеческого злое собачье сердце, приставил на плечи горшок большой, а ума забыл положить, так и пустил дураком на белый свет. Снюхался Жуков, спелся с иностранцами и ныне продает им, не боясь закона и стыда людского, своих сограждан. Всему здешнему купечеству своей медвежьей лапой на горло наступил, всех подмял, особенно страждут беднейшие. Только о

своих корыстях помышляет и ничего другого знать не хочет. Своей пенькой готов заткнуть горло всем остальным торговцам и промышленникам, мнит себя первеющим королем на всех базарах и ярманках...

— Свою пеньку старается сбыть всех पहले и выгодней и ради такой ненасытной собственной выгоды хитроумными проделками останавливает все нормальные течения торговли и промышленности,— жаловался барионом Колокольцев.— А в торговле как? Наступила тебе власть на горло — и пошел по миру. Жуков, понятно, небольшая власть, да роет купечеству могилу в две лопаты с Геттуном, который служит в той же генерал-губернаторской канцелярии, что и вы, Федор Николаевич...

— Каким же образом они это проделывают? — поинтересовался Глинка.

— А вот каким,— разгладив усы, начал Холщевников.— Пеньку нашу добрую и другие товары, кои англичанам да голландцам сбываем, торговая биржа, по велению Геттуна, бракует, а хочешь продать — плати неустойку, сиречь ту же мзду, да такую, что товар себе дороже выходит. А Жуков на бирже кум королю, всю торговлю в свои руки взял, свои и чужие товары, что за бесценок купит, беспрепятственно иностранцам сбывает по хорошей цене. И с каждой сделки Геттуну на серебряном блюде куртаж подносит ни больше ни меньше — двадцать пять тысяч. Диво бы свои подносил, а то ведь деньги-то думские. Так вот уж который год и казну и город вдвоем обворовывают. Да ведь что, подлецы, удумали? Все делают именем генерал-губернатора... А он, Милорадович-то, поди, ни сном, ни духом об их воровстве не ведает...

Муравьев-Апостол и Глинка слушали, возгораясь искренним негодованием.

— Чего же вы до сих пор терпите? Вас грабят, разоряют, притесняют, бесчестят, а вы молчите? — с укоризной сказал Сергей.

— Как молчим? — вразнобой, на разные голоса заговорили купцы.— Не молчим. Да ходу нам нет. Жаловались министру финансов Гурьеву, только беды себе нажили. Жуков с Геттуном прихлопнули нашу жалобу великой дачей министру. Торкнулись было через одного адъютанта к самому графу Аракчееву, но и тут остались виноватыми мы же — привинил нас граф в заносчивости против законных властей и неподкупного правительства. А Гет-

туна назвал безупречным слугой государя. Ну, как тут добиваться справедливости? А ведь Жуков-то и Аракчееву угождает ежегодными приношениями. Злодей юрис-консульт Анненский состоит в полном услужении у Жукова и заблаговременно предупреждает его о всяком нашем против притеснителя нелицемерном слове. Квартальные офицеры и судебные приставы на побегушках у Жукова и Геттуна. А судебный пристав Мылов, так тот не только сам сделался для них тряпицей, о которую они вытирают сапоги, но и в цветущих летах дочерей своих предоставляет для увеселения этих господ на тайной квартире у двух сестер, что выдают себя за благородных дворянок, а на самом деле живут грязным женским промыслом... Вот ведь какие слуги под рукой у генерал-губернатора! — Купцы рассказывали сущую правду и сейчас были готовы продолжать сражение с Жуковым, только бы кто-нибудь помог им в этом. — А еще есть друг у Жукова и Геттуна похлеще Мылова — следственный пристав Широков, что ныне зверствует у нас в Петербурге. Так этот пристав есть тот самый Широков, помещик Курской губернии, что убил девицу Алтухову... Убийство состоялось еще в 1813 году, — рассказывал Холщевников, — на расследование дела был послан тот же Геттун... Здорово он потрудился... Положил себе в карман три тысячи, следствие и суд велел прекратить над помещиком, вместо того чтобы упечь убийцу в Сибирь, привез его в столицу и поставил судебным приставом... С такими приставами они скоро и самого генерал-губернатора подведут под дурную славу.

Глинка посоветовал купцам не валом, не скопом, а вот так, как нынче, сбившись по трое, по пятеро, написать жалобы и постараться вручить их в собственные руки губернатору. Со своей стороны Глинка обещал им полную безопасность от какого-либо полицейского притеснения и незаметную, но полную поддержку перед генерал-губернатором. А коли до того дойдет, то и перед самим государем. По расчетам Глинки, купцы могли развенчать Геттуна и лишить его безграничного доверия Милорадовича.

К полуночи снегопад прекратился. Взошла луна. Над тихим городом, уже отходящим к мирному сну, было торжественно и тихо, опущенные инеем, деревья сверкали хрустальными и янтарными искрами, рожденными в причудливых гранильнях зимы.

Муравьев-Апостол и Глинка вышли из ворот купече-

ского особнячка на Гороховой. Перед тем как распрощаться, решили пройтись вдоль Фонтанки. Воздух был так свеж и приятен, что не хотелось уходить с улицы.

— Купцы народ деловой, умный народ,— заметил Сергей Иванович.

— Завтра поедете к князю Андрею Борисовичу Голицыну и включим его в нашу антигеттуновскую дружину,— пригласил Глинка.— Расскажем ему обо всем и напустим на Милорадовича... Я же на первых порах буду оставаться в тени, чем лишу Геттуна всяких против меня козырей...

— Ход правильный,— одобрил Муравьев-Апостол.

— Голицын — ревностный труженик на поприще справедливости и человеколюбия. Пусть он сам обо всем расскажет Милорадовичу или же составит обстоятельную докладную записку. А я не успокоюсь до тех пор, пока не изгоню Геттуна, Жукова, пока не добьюсь наказания убийцы Широкова, пока не вырву из заточения унтер-офицерскую жену Мягкову...

— Есть одно большое препятствие на нашем пути: на деле о зверском убийстве девицы Алтуховой, как мне известно от родственника Бибикова, рукой Александра написано: «Быть по сему»,— сказал Муравьев-Апостол, с наслаждением вдыхая чистый, морозный воздух.— А царь по присущему ему упрямству еще не переименовал ни одно свое: «Быть по сему»...

— Что же крылось за тем «Быть по сему»?

— Правительствующий Сенат в угоду подкупленному Аракчееву рассмотрел приговор Курской уголовной палаты, вынес такое определение о Широкове, насильнике и убийце: «...очищение падающего на него подозрения предоставить собственной его совести, которая может быть для него самым строгим судьей в преступлении прелюбодеяния, если подлинно он причастен к оному...» Аракчеев это определенье подсунул, а царь подмахнул...

— Обстоятельство немаловажное, но все равно завтра встречаемся с князем Голицыным! — остался при своем решении Глинка.

Исполинские невидимые молоты продолжали осаживать лед на Неве.

3

Военный губернатор Милорадович вчера весь вечер вместе с артистами Брянским и Каратыгиным провел

в обществе танцовщиц и нынче, приехав в канцелярию, все еще пребывал во власти приятных настроений. Дела не лезли в голову, мысли губернатора витали где-то за пределами канцелярии. Он поочередно вызывал к себе с докладами Геттуна, Глинку, послушал, но не сделал никаких распоряжений. Послал дежурного офицера с запиской на квартиру к Брянскому с просьбой, чтобы тот приехал к Милорадовичу на службу по делу весьма важному и не терпящему отлагательств.

Дежурный отправился на квартиру к артисту, а Милорадович завалился на свой любимый диван в кабинете, лежал, глядел в потолок, мечтал, и его мечтания, должно быть, были так приятны, что на лицо его часто набегала блаженная улыбка.

Брянский не заставил долго ждать себя. Он всегда с охотой и проворно отзывался на приглашение генерал-губернатора. Отзывался без раболепия, не как холуй и угодник, а как друг, потому что уважал Милорадовича и питал к нему самые нежные чувства. Они были за просто друг с другом и никогда не чинились один перед другим.

— Чем могу служить, Миша? — спросил шумно вошедший Брянский. — Душой? Талантом? Честью? Деньгами, которых у меня никогда не водится?..

— У меня, Яша, думаешь, они водятся? Весь пребываю в долгах. Не умею водить дружбу с деньгами... Сколько государь ни жалует, все сквозь мои дырявые карманы проваливается... Такой уж мундир сшил мне Яуцхи... Сядь рядом да обними меня своей могучей ручищей...

Брянский сел на диван и обнял Милорадовича.

— А теперь я тебя обниму! И поцелую в обе щеки!

Милорадович расцеловал артиста и признался:

— Ничего в башку не лезет... Ах, и хороша же была вчера несравненная Катенька! Я вот тебя зачем позвал... Душа тоскует... хочется чего-нибудь прекрасного, совершенного! Побалуй меня державинскими чудо-одами, которые вчера так прекрасно ты читал! Сначала оду собачью хочу послушать! Затем — предупреждение обер-попу Державину, а потом предупреждение всем монархам и рабовладельцам! Напитав душу, поедem утолять чрево — пить «Клико» к Колосовой! Согласен?

Брянский был превосходный чтец, державинские стихи

он читал с большим подъемом и проникновением в их философскую сущность. Он начал с шуточной оды:

«Милорду, моему пуделю».
— Тебя, Милорд! воспеть хочу;
Ты графской славной сын породы...

Каждая строфа оды сверкала могучим державинским гением и самобытным остроумием. Милорадович при каждой встрече с истинной поэзией становился непосредственным, как ребенок. Он от всей души хохотал после каждого громкозвучного четверостишия, на все лады превознося их неповторимого творца.

О славный, редкий пудель мой,
Кобель великий, хан собачий...

Ода звучала стройно, свежо, забавно, воображение в ней окрылено было точностью наблюдений, а наблюдение написано рукой великого мастера. Милорадович умел понимать искусство. Театр и поэзия доставляли ему истинное наслаждение.

— Кабы мне бог даровал такой талантище, то все бы ленты и ордена, не задумываясь, с радостью отдал вот за одну такую штуку! — восторгался Милорадович. — Ну и Державин! Ну и человечище! Рвани, Яша, еще раз «Привратнику». Я ее давно наизусть знаю, но хочу услышать в твоём бесподобном исполнении! Нет ничего целебнее для души моей, как честные стихи...

Но тот Державин — поп, не я:
На мне парик — на нем скуфья.
Он обер-поп; я ктитор муз,
Иль днесь пресвитер их зовусь...

После чтения, продолжавшегося часа два, Милорадович просветлел душой, которая и без того редко бывала мрачной.

— Сейчас, Яша, поедem, но сначала отдам несколько распоряжений.

Он велел дежурному офицеру пригласить Глинку и в присутствии Брянского, которого считал своим человеком, стал давать распоряжения чиновнику для особых поручений:

— Унтер-офицерскую жену Мягкову, как воровку, суд приговорил к наказанию плетьюми и ссылке в Сибирь. Геттун говорит, что суд проведен с соблюдением всех формальностей, воровка полностью призналась, но я хо-

чу, чтобы вы побывали в тюрьме и посмотрели, как она содержится перед отправкой в Сибирь. И еще вам поручение: отставной солдат Крюков, обвиненный в хищении, приговорен к наказанию плетьюми и ссылке в Сибирь, но обстоятельства дела таковы, что заставляют меня назначить новое следствие, провести которое я поручаю вам. Судьба солдата стоит того, чтобы о ней позаботиться. И третье дело: о проделках сутяги некоего Михайлова, который с помощью третьего департамента регистрата посадил в тюрьму мещанина Юшкова, жену его и семидесятилетнего родителя. Проверьте, душа моя, и доложите мне.

— Михайла Андреевич, о деле несчастного мещанина Юшкова я могу доложить вам сейчас, поскольку это дело мною уже исследовано,— отвечал Глинка.— Известный всей столице проходимец и сутяга Михайлов, человек без чести и совести, нравственно павший, вопреки всем законам презрев сострадание к ближнему, подкупил третий департамент регистрата и с его помощью заточил в темницу неповинного мещанина Юшкова, жену его и преклонных лет старца — отца несчастного узника.

— Если это так, то я приказываю немедленно освободить старика и жену Юшковых, а дело самого Юшкова исследовать со всей тщательностью. Сейчас же отправляйтесь, душа моя! Сейчас же! Но почему у нас так часто свершается вопиющее правосудие?! Куда и за чем смотрит наш магистрат? Не понимаю...

— Магистрату и в его лице вопиющему правосудию покровительствует Геттун...

— Как Геттун? Какой Геттун? Наш?

— Да, управляющий делами вашей канцелярии,— твердо сказал Глинка.

— Не может того быть, душа моя! — возразил Милорадович.— Геттун мне дан самим богом! И я уверен, что Геттун сам является ярым противником всякого незаслуженного бесчестия граждан!

— Если бы это было так, Михайла Андреевич... А я убежден, что в незаслуженном бесчестии Юшковых Геттун повинен не менее сутяги Михайлова,— не уступал Глинка.

— Какой ему интерес выгораживать правосудие? Не понимаю! Вы, душа моя, что-то примешиваете личное! А дела службы выше всего личного! — и Милорадович позвонил в колокольчик.— Геттуна ко мне!

Вошел долговязый с впалыми щеками Геттун, высокий, узкоплечий, с длинной бугристой шеей. Взгляд его скользнул по Глинке, который демонстративно не хотел смотреть на своего ярого противника.

— С историей Юшковых знаком? — спросил Милорадович управляющего делами.

— Знаком... Мещанин Юшков осужден правильно. Вся семья Юшковых — закоренелые злодеи. Такого мнения о них третий департамент регистрата, — ответил Геттун. — Такими же находит Юшковых и магистрат.

— А я вот слышал, что правитель дел моей канцелярии покровительствует магистрату и тем, кто причиняет людям незаслуженное бесчестие, — бросил суровый упрек Милорадович.

— Такое мог обо мне сказать лишь мой враг. И я просил бы назвать его по имени, — обескровленными губами пролепетал Геттун.

— Еще не хватало очных ставок в моем кабинете, — отмел просьбу Милорадович, не пожелавший выдавать Глинку.

— Это сказал я! — вдруг признался Глинка. — И готов еще раз повторить...

— Ныне все, кто помешан на филантропии и альтруизме, только тем и занимаются, что на каждом углу порочат законы, правосудие, неподкупных слуг его императорского величества, — с напускной важностью и деланным высокомерием отвечал Геттун. — Оклеветать меня можно, но подкупить нельзя, равно как нельзя увлечь разными сомнительными и туманными поползновениями некоторых загадочных человеколюбцев, которые умеют втираться в доверие к людям безупречным и пользующимся благосклонностью государя...

У Глинки, умевшего владеть своими чувствами и порывами, кровь закипела в сердце. Намеки Геттуна были прозрачны, за ними крылась готовность нанести сокрушительный удар противнику. Становилось ясным, что Геттун знает о Глинке больше, чем сейчас сказал, — он назвал его загадочным человеколюбцем неспроста.

Милорадович, чтобы не допустить пререканий, отпустил Геттуна, а Глинке велел задержаться.

— Видишь, душа моя, как Геттун защищает свою честь! — Милорадович большим пальцем указал на только что закрывшуюся дверь. — Ты зря на него не нападай... Министр юстиции Лобанов-Ростовский нередко прибегает

к услугам Геттуна, а министр, разумеется, не станет прибегать к помощи человека, не пользующегося полным доверием.

Но Глинка и после этого увещевания остался при своем мнении.

— Князь Лобанов-Ростовский слишком неразборчив в людях, к услугам которых он часто прибегает,— сказал он.— У него пользуется полной доверенностью не только Геттун, но и матерый взяточник, юрисконсульт Анненский, друг известного мздоимца, городского головы Жукова. Этого Анненского давно пора заковать в кандалы и сослать на каторгу!

И Глинка начал рассказывать о многочисленных злодеяниях Анненского и Жукова, перечислял имена тех, с кого они брали крупные взятки, кого разорили, кого неправильно засудили. Милорадович слушал и временами встряхивал головой. Наконец спросил:

— Неужели в самом деле такие мерзавцы? Дай мне в руки факты, и я первый ополчусь против них! Буду беспощаден и неумолим! Факты на стол! Только чтобы без личностей!

— Фактов хоть отбавляй, Михайла Андреевич!

— Вот, Яша, какие у нас бывают юрисконсульты и судьи! — Милорадович дружески бросил руку на плечо Брянскому и отпустил Глинку.

Заперев и опечатав свой кабинет, Глинка поехал в тюрьму, где сидела в заточении унтер-офицерская жена Мягкова. Тюрьма при губернском правлении была такая же зловонная и нечистая, как и при управе.

В сопровождении старшего тюремного надзирателя, обрюзгшего, с заспанными мутными глазами, Глинка вошел в полуподвальное, сырое, холодное помещение, в котором было темно, как ночью. Такая стояла духота и зловоние, что у него закружилась голова. В маленькое косое окно свет с улицы почти не проникал, а под потолком он не увидел лампы. Какие-то тени смутно проступали во мгле. Глинка велел вздуть свечу. При ее свете он увидел десятка два предельно истомленных узниц разных возрастов и состояний.

На всех имелось несколько топчанов.

— Сколько вас здесь? — спросил Глинка.

— Много... Али сам не видишь? — грубо прохрипела стоявшая у стены баба.— Обреченные... На каторгу погоню...

Хриплая женщина начала отвратительно ругаться, не щадя никого. Она знала, что теперь уж все кончено, бояться нечего, дальше Сибири не угонят, страшнее каторги наказания не придумают, а язык вырезать царем запрещено.

— Которая из вас унтер-офицерская жена Мягкова? — спросил Глинка, окидывая взглядом жмущихся по стенам женщин. — Унтер-офицерская жена Мягкова? — повторил Глинка.

В ответ слышались вздохи и всхлипывания.

— Чего в угол забила? Иди, тебя кличет! — толкнула локтем хриплая свою соседку, в спадающем с плеч сером рубище и в развалившихся башмаках, из которых выглядывали синие пальцы ног с черными от грязи ногтями. — Мягкова... Ундер-офицерская... Вот она... Вчера только плетью секли, вся кожа лоскутками сползла... Сарафан прилипает...

Мягкова рухнула в ноги Глинке и заголосила:

— Не виновата! Как перед богом, не виновата! И не брала, и не прикасалась ни к браслетине, ни к кулону... И знать не знаю, что за кулоны на свете... Не угоняйте в Сибирь... Детей малых пожалейте... Дайте царю в ноги упасть и горе мое выплакать! В Семеновском полку в семейных казармах воров не важивалось! Роденькие мои, ненаглядные...

С трудом Глинка образумил голосившую: сначала окриком заставил ее замолчать, а потом и подняться с пола.

Мягкова еле-еле поднялась. Она с трудом держалась на ослабевших ногах. Она уже не голосила, но плечи ее все еще вздрагивали и руки тряслись.

— Унтер-офицерская жена Мягкова, успокойся, я приехал не за тем, чтобы отсылать тебя в Сибирь, а узнать от тебя всю правду... Говори мне все, как было дело: в чем тебя винули, как допрашивали, как судили?.. Ежели за тобой нет никакой вины, то будут наказаны те, кто поступил с тобою так бесчеловечно!

Мягкова и верила и не верила своим ушам и глазам — такой поворот в ее несчастье ей показался неправдоподобным. Она было рванулась, чтобы опять упасть в ноги, но Глинка предупредил ее сурово:

— Ежели не образумишься и не станешь говорить дело, то ступай в Сибирь...

И Мягкова как-то сразу очнулась, протрезвела от

несчастья, собралась с силами и мыслями, начала рассказывать:

— При Семеновском полку живу я со своим мужем ундер-офицером Мягковым в семейных казармах... Муж мой артикулу солдат обучает. Георгиевский кавалер... За отличие в Бородинском деле получил... А я хожу поденничать по разным домам... Детей-то трое — кормить, обучать, одевать надеть... И все мал мала меньше. Бог миловал, все к хорошим людям попадала, и никто меня ни словом, ни делом не огорчал, не обижал... И платили за работу по-божецки... без обману... Но тут одна наша, тоже из ундер-офицерских жен, присоветовала мне наняться в услуженье к двум сестрицам-девицам. И та и другая с наружности на высоких знатных господ смахивают... Я так и приняла их обеих за знатных... С радостью нанялась к ним в услуги, думаю, уж знатные-то зря не обидят... Стала я жить, стала я им всей правдой служить... И вижу я, что обе эти девицы-сестры снимают две квартиры в разных околотках, поочередно меняются местожительством и каждый вечер меняют господ, кои приходят к ним для увеселения... Старшая с квартальным офицером крутит, младшая подметки рвет с судебным приставом Мыловым, а когда Мылову некогда или с другой бывает занят по другому адресу, его подменяет господин Валяев... Кто только не перебывал у этих девиц-сестриц: и квартальные, и семеновские, у которых своей семьи нету, и преображенские... И такие стали захаживать, что и меня норовят к греху склонить... Тут старшая-то мне и приказывает: «Ужо мой квартальный приведет с собой товарища, так что уж уважь все его желанья...» У меня инда в глазах помутилось: как это я уважу, уж лучше я по миру пойду, а на такое не согласна! А она и не принялась к моим словам: «Женщины все так говорят, пока усы не увидят...» Вечером и приводит квартальный своего приятеля... Угощаться за стол приглашают... А я ни в какую... На том и постановила... А как стали приставать, я шубу за рукав — да и дай бог ноги.

Ну, поутру иду опять убираться в квартире после вчерашнего представления... Только я ногу через порог, а мне первое слово от старшой-то крали: «Воровка!» Будто я у них какие-то драгоценности унесла... У меня и тряпка из рук выпала... А старшая уж побежала в съезжий дом на меня с заявлением! А мне по моей

темноте помочь некому. Без вины меня привиновали, от мужа, от малых детей оторвали, начали морочить, волочить, а потом в тюрьму при управе бросили. А в той тюрьме гнилой смрад хуже, чем в здешней... И ни слезам моим, ни молитвам никакой веры нет...

— Приговор тебе объявили?

— Объявили: приговорили к наказанию плетьюми и к ссылке в Сибирь.

— Где тебя судили?

— Не знаю, милый барин...

— Кто судил?

— В глазыньки ни одного судью не видела...

— В каких тюрьмах тебя держали?

— Спервоначалу при управе сидела... А уж оттоль через надворный суд в уголовную палату поволокли...

— Допрос тебе читали?

— Никто не читал.

— Где приговор объявляли?

— В тюрьме же.

— Кто объявлял?

— Какой-то письмоводитель. Он же и допрос брал...

— Расскажи, как он снимал с тебя допрос?

— Три раза принимался снимать. Сымет — даст свиданье с мужем. А на третий раз глаза все мне в карман глядят. После первого допроса разрешили моему мужу свидеться со мной. Второй раз допрашивал: один глаз письмоводительский за пером следит, а другой — мне в карман глядит, сколько я выну оттуда, а у меня в кармане пусто. Опять дали свидеться с мужем. В третий раз допрашивал, спяна мне и сказывает: «Лезай по клетям да делись по третям и никогда вор не будешь... Понимать надо, ворона! Уж так и быть, наваляю я тебе за твою скупость...» Чего-то написал и в суд отослал.

Унтер-офицерская жена опять было всхлипнула, но Глинка остановил повелительным жестом ее готовые вот-вот прорваться рыдания.

— Успокойся. О твоём деле я завтра же доложу генерал-губернатору.

Он круто повернулся и вышел из темницы.

Прежде чем покинуть здание тюрьмы, строго сказал сопровождавшему его старшему надзирателю:

— С Мягковой обращаться человечно, притеснений не чинить.

Как беззаботный резвый ребенок радуется новой интересной игрушке, так и Милорадович радовался подарку, преподнесенному ему Геттуном в связи с днем рождения. Это были массивные настольные часы из белого мрамора, на подставке и в фигурной золоченой оправе! Часы с полным основанием можно было назвать чудом изобретательства и человеческого мастерства: они были украшены тремя циферблатами с множеством золоченых стрелок, которые показывали: время, число, месяц, год... Но главное их чудо, которым так был восхищен Милорадович, заключалось в другом — у часов была своя маленькая золотая хозяйка, и обитала она вместе с двумя неотступными вооруженными телохранителями в верхней башенке над часами, за дверцей, украшенной множеством драгоценных камней.

Как только часы начинали бить, сверкающая украшениями башенка будто оживала, дверь открывалась, стоящие за дверью крохотные пажы, отлитые из золота, медленно поднимали золоченые мечи, чтобы дать дорогу золотой хозяйке — крошечной балерине, которая с грациозно подогнутой ножкой и по-лебединому плавно поднятой рукой делала полный поворот. Жилище ее сверкало алмазами и жемчугом. Затем пажы медленно опускали золотые мечи и теремок закрывался до очередного выхода забавной игрушечной артистки. Милорадович каждый раз приходил в восторг и не мог нарадоваться этой диковинке, изобретенной, очевидно, где-то в Швейцарии.

Подарок этот, прежде чем попасть на стол к генерал-губернатору, проделал длинный путь. Какой-то английский негодант приобрел эти часы в Париже, оттуда он привез их в Петербург и с выгодой продал банкиру Перетцу-старшему, а тот за какую-то важную услугу недорого уступил их Геттуну. Геттун же, преследуя личные виды, сделал приятный сюрприз своему непосредственному начальнику, который взятка не брал ни в какой форме, но подарки не отвергал.

Как раз во время очередного выступления крошечной башенной танцовщицы вошел в кабинет Глинка, чтобы сделать очередной отчет о поездке по городским тюрьмам и другим местам заключения. Он имел при себе изрядно потертый кожаный портфель с хитроумно устроенным

замочком — изобретение знаменитых павловских рукодельцев, — который, не зная секрета, никто не мог открыть и в сутки.

— Душа моя, душа моя! Сюда, сюда смотри! Самый продолжительный сеанс — двенадцать часов бьет! — обняв через плечо Глинку, Милорадович подвел его к часам. — Диво! У моей балерины-златоножки бенефис! — И, словно малолетний шалун, избалованный вниманием старших, он начал смешно и мило похвалиться забавной дорогой игрушкой. — Ни у кого нет такой штуки! Единственная в своем роде, не подчиненная дирекции императорских театров! Скромница, как Семенова наша... На люди показывается только в сопровождении вот этих двух грозных кавалеров, не то что ученицы наши, за которыми от дверей театра и до общежития толпами валят кадеты...

Когда танцовщица удалилась в свою башенку, занялись делом.

— Докладывай, душа моя! Но покороче и о самом главном — мы хотим с Брянским нынче пораньше отправиться на охоту. Как там у нас в темницах?

— В темницах, Михайла Андреевич, темно и душно, — начал доклад Глинка. — Старик Юшков отдал богу душу в заключении... Его сноха еле жива... Старика фактически убили — он не вынес бесчестия, позора, унижения... Для всякого честного человека в таком состоянии единственной спасительницей является смерть...

Милорадович сделал странное движение губами и начал дергать усики. Лицо его утратило недавнюю детскую беззаботность.

— Жену Юшкова приказал освободить?

— Приказал... Но она просит не выбрасывать ее из тюрьмы в таком беспомощном виде, ссылаясь на то, что семья теперь разрушена, родных у нее в городе нет, ухаживать за ней некому, и, придя домой, она может умереть с голоду.

— Не позволю нашим туполобым судьям издеваться над неповинным человеком, — вдруг загорелся решимостью Милорадович. — Не позволю! Завтра же взять Юшкова из тюрьмы и, пока не освобожден ее муж, пока идет над ним следствие, поместить, хворую, в богадельню, и приставить к ней бабу, чтобы ухаживала... Вот сто рублей моих личных на прокормление и оплату ухода за Юшковой, отдашь, кому нужно, только не отдавай

в руки жуликов и мерзавцев тюремных...— И Милорадович вынул из кошелька несколько беленьких ассигнаций.— Я добьюсь освобождения мещанина Юшкова.

Глинка был вполне удовлетворен такой распорядительностью генерал-губернатора. Далее он повел речь о деле унтер-офицерской жены Мягковой.

— Дико было слышать, Михайла Андреевич, от несчастной женщины, супруги семеновца, как допрашивали, как судили ее в надворном суде... Наш надворный суд превзошел сам себя: нигде Мягковой не читали допроса, никуда ее налицо не приводили, вершили не суд, а дикую татарскую расправу за глаза...

— И к чему присудили?

— К наказанию плетьюми и ссылке в Сибирь.

— Не давать сечь плетьюми! — воскликнул Милорадович.

— Уже высекли... У нас знают, с чем спешить. Высекли и опять бросили в заточение. Письмоводители — позор всей России, они почти всегда пьяны, помышляют только о наживе, о грабеже. Снимали допросы с неграмотной женщины наедине и писали, что хотели. А так как Мягкова ничем не одарила их, то ее решили погубить без всякой к тому вины.

— Ужасно... Ужасно... Скоро ли будет положен предел таким безобразиям? — не на шутку возмутился Милорадович.— Ты воспламенил мое чувствительное сердце, я верю твоему каждому слову, потому что хорошо знаю тебя, я целиком принимаю сторону Мягковой... Я не посчитаюсь ни с каким оскорбленным честолюбием и злобой обиженных нашим вмешательством судей. Пускай они истощат против меня все свои бесплодные усилия, но я не отступлюсь от своего слова! Ни за что! Я, если надо будет, сделаю представление государю о Мягковой, но добьюсь ее прощения!..

— Михайла Андреевич, она не совершила никакого преступления и нуждается не в прощении, а в восстановлении ее доброго имени,— уточнил Глинка.— Ее надо скорее вернуть к семье, к малолетним детям, что вынуждены побираться...

— Тем паче приложу все усилия! — воскликнул Милорадович.— Семеновский полк — родное детище государя. Он свои личные денежки не жалел на строительство казарм для солдат и флигелей для господ офицеров, и он никому не позволит чернить его любимый полк.

Еще раз отворилась сверкающая самоцветами дверца над часами, еще раз показалась золотая затворница, хранимая молчаливыми пажами. Милорадович снова сделался на минуту мальчишески беззаботным.

— Кстати, душа моя, в последнее время ко мне повадились купцы, будто кто их приворожил к моей канцелярии. Ходят партиями, вчера подкараулили у подъезда, когда садился в карету, всунули жалобу мне «в собственные руки». — Милорадович вынул из стола бумагу. — Вот тут упоминается наш правитель дел яко сообщник городского головы Жукова... Ради установления истины я решил поручить тебе не спеша заняться этим расследованием. Наперед лишь могу одно сказать: зря купцы возводят поклеп на Геттуна, не может Геттун того сделать, что они о нем пишут... Кто-то им шибко наврал, а они и поверили или же сами выдумали... Ежели будешь к себе вызывать, то не кричи на них: купцы народ робкий по полной бесправности своей, а обойтись без них нельзя... Ты уж сделай так, чтобы они не навели тень на мою канцелярию и на приближенных ко мне лиц...

Глинка почувствовал, как у него вдруг зажгло губы, словно после крапивного ожога. Генерал-губернатор поступил именно так, как и было замышлено.

— Я никогда бы не взял на себя труд по разбору жалобы, связанной с одним из моих сослуживцев, — ответил он равнодушно. — Однако честь учреждения, в котором я служу, для меня всегда дорога, как личная моя честь, поэтому я принимаю ваше поручение и приложу все усилия к тому, чтобы ни в чем не отступить от истины и вместе с тем оборонить от несправедливых нареканий или обвинений наше учреждение и его сотрудников...

— В чем угодно можно упрекнуть Геттуна, только не в том, что приписывают ему купцы, — заверил Милорадович. — А теперь, Федор Николаевич, отвези-ка в министерство внутренних дел фон Фоку вот этот пакет. В нем сводка о волнениях фабрично-заводских людей за последние шесть-семь лет. — Генерал-губернатор подал Глинке запечатанный пакет. — Сравнение по годам показывает, что волнения на заводах и фабриках особенно угрожающе возросли за последнее пятилетие... Не знаю, как по другим губерниям, но наша, Петербургская, и в этом прискорбном начинании не отстает...

— Кто составлял сводку?

— Самый точный человек — Геттун с помощью титулярного советника Перетца... Я им верю...

Глинка взял пакет и отправился в министерство внутренних дел.

Отдохнув часок-другой на диване, Милорадович собственноручно написал письмо одной дворянской вдове — жене ротмистра, служившего под его началом и умершего от ран в сражении под Кульмом, о том, что девочка — дочка ротмистра — будет принята в школу танцовщиц на полное казенное обеспечение. Затем послал дежурного за Геттуном.

— Глинка объехал тюрьмы и представил отменный доклад, — сказал Милорадович вошедшему Геттуну. — Унтер-офицерскую жену Мягкову надо немедленно выпустить, пока об этом безобразии не доложили государю... Он будет возмущен, если узнает, что унтер-офицерских жен из его любимого полка таскают по судам и морят в тюрьмах, как уличных последних девок... Тут и слепому видно, что Мягкова оклеветана развратными сестрицами, которые обслуживали некоторых полицейских и судебных чинов... Прояви свойственное тебе рвение и покажи, что мы человеколюбцы не на словах, а на деле! Пускай знают, что наше чувствительное сердце отзывчиво на каждую человеческую боль...

Генерал-губернатор не собирался «пускать ракеты» перед стоящим навьтяжку подчиненным. Он говорил в свойственной ему манере: витиевато, громко, местами с гражданским пафосом той допустимой степени, которая не может быть поставлена в вину ни сенатору, ни губернатору. Геттун слушал генерал-губернатора, боясь шевельнуть пальцем. Он всегда принимал эту полюбившуюся ему позу намертво застывшего, чтобы тем самым показать свое благоговение перед начальником, умеющим ценить и замечать почтительное к себе отношение. При таком окостенении у Геттуна сузились и без того узкие плечи, а длинная шея вытянулась еще больше. Лицо подалось вперед, будто кто, ухватив его за нижнюю челюсть, тянул на себя.

Безмолвно выслушав Милорадовича, не меняя застывшей позы, Геттун проговорил:

— Я полностью присоединяюсь к вашим прекрасным словам... Кто же не знает вашего чувствительного сердца, законами которого живем и мы все, ваши подчиненные... Я считаю для себя счастливейшим тот день, когда, ис-

полняя свой служебный долг, имею возможность сотворить кому-либо благо!

— Мне только такие люди и нужны! — воскликнул Милорадович. — Значит, освобождаем Мягкову, а там займемся расследованием: по чьей вине умер в темнице невинный старец Юшков...

Но Геттун продолжал:

— То благо отрадно душе сотворившего его, которое не преступает указания благословенного нашего монарха-ангела о согласовании человеколюбия с законностью... А есть люди, в том числе и в нашей канцелярии, желающие творить благо, забыв о согласовании человеколюбия с законностью. Это только может принести лишнее огорчение высокочувствительному сердцу обожаемого нами монарха... Глинка, как я понял, подошел односторонне к расследованию обстоятельств осуждения унтер-офицерской жены Мягковой... Я тоже всей душой за то, чтобы вернуть бедным малюткам их осужденную мать, но закон грозно предостерегает слепое человеколюбие: «Не преступи грани, обозначенной мановением высочайшим!» И тут сердце свое я подчиняю голосу неподкупного русского закона...

— Все-таки надо выручить Мягкову... Муж-то ее — унтер-офицер Мягков — Георгиевский кавалер... Недавно просил за Мягкову и генерал-адъютант Потемкин, — не отступал Милорадович.

— Давайте, давайте попробуем с божьей помощью, — умело вел свою линию Геттун. — Только я хочу вас предупредить вот о чем: о приговоре Мягковой было доложено государю, и он, выслушав, в великой печали сказал: «Быть по сему. Пускай это наказание пойдет в пример всем другим... Я не потерплю, если солдат, солдатская жена или солдатский ребенок из семеновских казарм хоть чем-нибудь опозорит честь Семеновского полка... Унтер-офицерским женам-воровкам, таким, как Мягкова, место лишь в Сибири...» Государево заключение может поставить нас в очень затруднительное положение — получится, против нашей воли, что мы как бы протестуем против монаршего волеизлияния... Но я согласен выполнить ваше желание, ибо оно является и моим желанием...

— Постой, постой, душа моя, я этого не знал, — уже по-другому заговорил Милорадович. — Кто докладывал государю о деле Мягковой? Почему в обход меня сделан доклад?

— Точно не знаю, кто докладывал. Возможно, министр внутренних дел Кочубей, возможно, министр юстиции... Не исключено, что и Аракчеев...— Геттун по лицу генерал-губернатора безошибочно определил похолодание легко воспламенимого и легко остывающего сердца и продолжал уже смелее: — Глинка всегда односторонен, он гонится за человеколюбием даже там, где оно явно во вред закону и общественному спокойствию...

Геттун и на этот раз достиг своего: поколебал недлительную решимость Милорадовича и, насколько нужно, опорочил Глинку.

— Пока подождем с освобождением Мягковой... Я поговорю сам с кем надо. В Семеновском полку есть отличный ротный Сергей Муравьев-Апостол, надо посоветоваться с ним о семье унтер-офицера Мягкова. Глинка, ты прав, человек увлекающийся, но в честности и добропорядочности его я никогда не сомневался.

С этим Милорадович хотел отпустить Геттуна, но тот задержался, чтобы излить свое огорчение генерал-губернатору по поводу недавно обнаруженной клеветы. Геттун рассказал Милорадовичу о сговоре купцов, замысливших погубить городского голову Жукова и его, Геттуна.

— Оградите и защитите! — призывал Геттун. — Купцы исполняют чью-то злую волю, у них есть тайный предводитель, который им и приставил голову к плечам... Я знаю некоторых злокозников по именам: Ярославцев, Холщевников, Колокольцев... Они пытались проникнуть в канцелярию к графу Кочубею со своей злостейной кляузой против меня. Благороднейший помощник министра фон Фок выгнал вон кляузников и пригрозил всех сослать на каторгу, ежели они не уймутся и станут впредь чернить меня и Жукова. Но они не унимаются... Не исключено, что возмутители попытаются проскочить и сюда.

Милорадович воспринял эту жалобу спокойно, с улыбкой проговорив:

— Я — воробей, стрелянный всеми стрелами, какие только есть на свете, и меня ни чиновничья мякина, ни купеческое просо не проведут. Иди, душа моя, и занимайся своим делом. На меня, думаешь, не жалуются? Плох тот генерал-губернатор, у которого нет врагов откровенных и прикровенных, а раз так, то и вы, мои помощники, должны знать: ваши враги — мои враги, мои враги — ваши враги... Я не из тех шерстяных бабьих чулок с эполетами генеральскими на плечах, что легко

дают в обиду своих подчиненных! Я скорее удар приму на свою грудь, чем подставляю грудь помощника. Честь каждого из нас — это не только ваша личная честь, но и честь всей моей канцелярии, а она, слава богу, до сих пор ничем не запятнана перед государем и общественным мнением! Я не собираюсь купцов обижать, но и в рот им заглядывать не буду.

Напутствие генерал-губернатора взбодрило Геттуна. Он вышел из кабинета повеселевший.

Милорадович дождался очередного выхода золотой танцовщицы и, когда теремок над часами закрылся, поехал к артисту Брянскому.

5

Год без малого прошел с той поры, как переехал Рылеев с семьею в Петербург. На Васильевском острове во втором этаже приличного дома снял он маленькую квартирку и стал искать места. Но службы подходящей, такой, чтобы можно было жить, не трогая невеликих доходов с Батовского имения, не находилось. Зато быстро вошел он в столичные литературные круги — помогли рекомендательные письма Бедряги. В журналах стали появляться его стихотворения. Познакомился он с председателем Вольного общества любителей российской словесности полковником Федором Глинкой, а через него с блистающими умом и образованностью гвардейскими офицерами братьями Муравьевыми-Апостолами и драгунским штабс-капитаном Александром Бестужевым.

Бестужев — воплощение сердечности, доброты и жизнерадостности — вскоре стал другом Рылеева и его семейства. Молодые люди сошлись накоротке, и не прошло недели, на которой веселый драгун два-три раза не бывал бы в уютной квартирке на Васильевском острове.

Зима нынче с самого начала ожгла Петербург морозами, разрисовала узорами окна рылеевского кабинета.

С утра Рылеев был весел и радостен. Полковник Глинка на днях прислал ему два пригласительных билета на празднество Российской академии. Рылеев хотел ехать вместе с Натальей, но ей что-то нездоровилось, и она предложила вторым билетом осчастливить Бестужева. Тот пришел в восторг от приглашения — на празднестве будут все ученые знаменитости, а программа торжества обещает быть захватывающе интересной.

На другой день Бестужев на извозчике пораньше

заехал за Рылеевым на Васильевский остров. Народу на празднестве обещало быть немалое число, и обоим хотелось занять приличное место в зале заседаний. Рылеев надел зеленую суконную шубу на сурковом меху, шапку, варежки и, поглядевшись в зеркало, удовлетворенно похвалил себя:

— Молодец Рылеев! Чем не воронежский ямщик?! Холодно на улице?

— Морозище вовсю дерет! Но перед твоей шубой любая Арктика отступится,— весело уверил Бестужев, на плечах которого была мохнатая бурка.

Они покатили в академию. Шустрая чалая лошадка, подернутая седым инеем от копыт и до гривы, бежала весело. Над ее головой вилось дымчатое облачко от выдыхаемого ею воздуха. Кругом все было бело и позимнему чисто, опрятно, даже на самых грязных и пыльных в летнюю пору улицах.

Они вошли в огромный зал, пока еще пустовавший. Их появление было встречено звучным медноголосым боем часов. Пробило одиннадцать. Перед ними возвышался бюст императора Александра Первого работы Демута-Малиновского. Одаренный ваятель к природному обаянию императора придал немало вымышленного, представив самодержца прекраснейшим из людей.

— Хорош семеновец? — дерзко кивнул Бестужев на бюст.

— Да, на лучший белый мрамор не поскупились...

Из боковых дверей, ведущих в комнату заседаний академии, выглянул секретарь, чтобы осведомиться, кто прибыл,— знатная персона должна быть принята с соответственными почестями. Двери опять закрылись.

Вокруг стола заседаний в несколько рядов были расставлены стулья. Зал украшали огромные, помпезно исполненные, пылающие красками портреты основательницы академии и ее нынешнего высокого покровителя.

Публика съезжалась дружно, как по команде, и к половине двенадцатого зал наполнило блистательное столичное общество.

Рылеев с Бестужевым были вознаграждены за свой ранний приезд — они сидели во втором ряду на удобных местах. Впереди них оказался Глинка со своим помощником по Вольному обществу любителей российской словесности седовласым Каразиным. Наплыв гостей говорил о том, что для жителей Петербурга Российская акаде-

мия — родная дочь. Глаз уставал от разноцветья мундиров, лент, аксельбантов, орденов. Среди современных щегольских фраков можно было увидеть и старомодные — екатерининских времен — зеленые, с разрезом на груди.

Рылеев окинул взглядом зал и увидел себя окруженным знатными особами духовного звания, членами Государственного совета, первыми чиновниками двора, генерал-адъютантами, сенаторами, министрами. Нашел несколько знакомых лиц — то были столичные литераторы.

Часы пробили двенадцать раз. К столу, стоявшему посредине зала, важной поступью подошел сановитый вице-адмирал Шишков, президент академии. Гордо и прямо держал он сереброволосую голову свою. Голос его прозвучал торжественно и даже высокопарно. Он открыл собрание и пригласил занять почетные места за большим столом видных ученых и знатных особ. Торжественно молчавший зал на минуту оживился, пока приглашенные неторопливо, чинно, с достоинством проходили к столу и занимали подходящие им места.

Нарядные дамы, как по приказу, все враз навели лорнеты на средину зала, когда за столом появился сияющий довольством и радостью генерал-губернатор Милорадович в парадном мундире. Рылеев от души посмеялся застольному соседству генерал-губернатора: справа от него сидел знаменитый актер Каратыгин, а слева — митрополит Серафим, в черном клобуке старик с налитыми щеками, в которых затонул маленький нос.

Шишков обратился к собравшимся с речью. Он долго говорил о пользе академии, о важности сохранения чистоты нашего языка, о роли науки в укреплении устоев нравственности, о преумножении с помощью науки всяческих благ на пользу отечества. Речь звучала помпезно, благолепно и напоминала богослужение в соборе.

Бестужев вынул записную карманную книжку и черкнул на листке, чтобы показать Рылееву: «Несет чуху... Староверщина... Он хочет из академии сделать утюг для выжигания всего нового в нашем языке... Как все измелъчало! А ведь за этим столом, в этом самом зале когда-то, как метеор, как молния, сверкал своими мыслями диковинный помор Ломоносов и освещал России дорогу на сто лет вперед! Заупокойная панихида на уровне окружающих нас блистательных мундиров и очаровательных головок милых дам».

— Потерпим. Зато будем знать, что такое храм науки,— прошептал Рылеев Бестужеву.

— А теперь, милостивые государи и государыни, секретарь академии отдаст отчет в ее упражнениях за прошедший год и затем прочитает свой перевод из Тита Ливия,— заканчивая речь, объявил президент.

Пока секретарь читал отчет об упражнениях прошедшего года, затем свой перевод из Тита Ливия, Рылеев наблюдал за Милорадовичем. Генерал-губернатор скучал до позевоты и временами не в силах был справиться с ней. А когда секретарь время от времени вставлял в русскую речь длинные латинские периоды, на лице Милорадовича появлялась гримаса, будто он хлебнул изрядную дозу уксуса.

После того как секретарь наконец сел на место, Шишков объявил:

— Милостивые государи и государыни, известный переводчик Гомера, непревзойденный чтец гекзаметров, высокочтимый Николай Иванович Гнедич сейчас всем нам доставит прекраснейшее удовольствие бесподобным чтением восхитительного перевода Василия Андреевича Жуковского из Овидиевых превращений Кнейкса и Алционы. Вы сейчас сами увидите, что сей перевод исполнен поэтических прелестей, близких к оригиналу. А сие лишний раз доказывает сродство древних языков с нашим.

Бестужев пожал плечами, будучи удивлен таким неожиданным выводом.

Гнедич читал мастерски и проникновенно. Все в зале замерло. Даже Каратыгин, сам великолепный чтец, застыл в изумлении. Казалось, в зал вместе с гекзаметрами вошел сам легендарный Овидий. Рылеев в упоении невольно закрыл глаза, как будто слушал симфонию в исполнении великого музыканта.

Прогремели последние гекзаметры, и чтец умолк.

— Чудесно... Чудесно... Бесподобно...— тихо сказал Рылеев.— Настоящее диво...

— Да, уже ради одного этого стоило вытерпеть и речь президента, и секретарский отчет,— отозвался Бестужев.

Поднялся Шишков и объявил, что слово имеет знаменитый историограф Николай Михайлович Карамзин. В зале вновь воцарилась тишина. Карамзин, сидевший рядом с Шишковым, встал и поклонился.

— Я буду читать продолжение жизни и царствования Иоанна Васильевича,— места, которые войдут в

девятый том «Истории государства Российского».

Рылеев впервые видел маститого ученого мужа.

С каждым словом читающего возрастал интерес слушающих. Глубокомысленное суждение ученого сливалось с истинным вдохновением красноречивого художника, и одно усиливало другое. Создавалась величественная историческая панорама, вобравшая в себя столько суровой, неприкрашенной правды, столько человеческой, невинно пролитой крови, столько загубленных мстительным деспотизмом ярких человеческих жизней, изобразившая столько сильных, могущественных умом и духом характеров, исторических фигур, что у Рылеева дух заняло. Автор показывал начало и причины разрушительной перемены в нраве и основах правления самодержца, для которого вдруг стало болезненной страстью и неутолимой потребностью купание в горячей человеческой крови своих соотечественников. Автор рисовал потрясающую картину создания ненавистной народу опричнины, ставшей палаческим топором в руках болезненно-подозрительного царя. Бесконечная череда казней... Казни... Казни... И опять казни... Реки слез, моря крови... Озверение людей... Крушение нравственности и национального характера, равное катастрофе... Крушение, какое не могли причинить и два столетия татарского ига. Человек для человека стал зверь... Доверие стало презираемо и наказуемо... Донос и фискальство возведены в высшую добродетель... Народные гуляния и зрелища заменились массовыми публичными казнями... Холопы не успевали подвозить в Москву лес на виселичные столбы... Воронье со всей России черными тучами слеталось к Москве, чтобы назобаться гниющей во рвах вокруг Кремля и по улицам неубранной человечины... Благие дела утонули в лужах дворцовой грязи, смешанной с кровью вчерашних верных слуг тирана, с кровью людей, чье полководческое искусство сокрушило многие вражеские твердыни.

И все-таки ничто окончательно не сломило великого характера русского народа!

Пробило два часа пополудни. Рылеев за все время чтения впервые окинул взглядом зал. Он увидел на лицах у многих слезы и сам готов был заплатить слезой восторга славному историку за его труд...

Усталый, но счастливый жадным вниманием слушателей, Карамзин остановился...

— Николай Михайлович, мы видим, что вы очень

устали, идите и отдохните в соседнем с залом покое,— попросил Шишков.

Карамзин, поклонившись публике, удалился из зала.

— Ну и Грозный! Ну и Карамзин! Не знаю, которому из них больше удивляться! — сказал Рылеев.— Вот так копнул нашу историческую целину!

Услышав слова Рылеева, к нему оборотился седовласый Каразин. Он плакал и, утирая глаза, сказал:

— И мы имели своих Регулов и Аэциев... Да, сударь мой, да — имели...

— Господа члены академии, есть предложение наградить историографа Большою золотою медалью,— обратился Шишков с предложением.

Заготовленный заранее протокол пустили по рукам, чтобы скрепить решение о награждении подписью каждого члена. Никто не возражал. Протокол вскоре всеми был подписан. Шишков на минуту отлучился и возвратился вместе с Карамзиным. Лицо Шишкова светилось радостью. Он зачитал коротенький протокол о награждении.

— Вручаю вам, Николай Михайлович, за прекрасный труд ваш, не имеющий себе равных, сию золотую медаль от лица академии...

Рукоплесканиями наполнился огромный зал. И, когда все смолкло, Рылеев услышал, как впереди сидящий Каразин сказал Глинке:

— Достоин! Вполне! Чаю, такие громкие рукоплескания раздались впервые со дня основания академии... Мне нынче мнилось, Федор Николаевич, что я присутствую на играх Олимпийских при чтении Геродотом бессмертных книг его!

Рылеев, подавшись к креслу Каразина, спросил:

— Разве на Олимпийских играх состязались и ученые?

— А вы, молодой человек, читали Роллена? — обернулся Каразин.

— К стыду моему, не успел,— покраснев, признался Рылеев.

— Вот то-то и оно! Все вы, нынешние молодые люди, при всех ваших несомненных достоинствах, страдаете одним: не успеваете читать полезные книги. Так вот, друг мой, Геродот, говорит добрый Роллен, верный описатель древних повествователей, читал свою «Историю» в продолжение Олимпийских игр, читал целой Греции, ликующей, восторженной, собравшейся на оных играх, и его

«Историю» слушали соотечественники просвещенные с таким завидным одобрением, что дали девяти книгам, ее составляющим, имена девяти муз! Да, то были золотые вольные времена... Времена уже неповторимые... рукоплескания повсюду раздавались... Повсюду, где ни проходил Геродот, восклицали благодарные своему великому мужу греки: «Вот тот, кто столь достойно написал нашу «Историю»!»

А Рылеев уж думал о том, почему бы вместо балаганов с пошлыми итальянскими и французскими комедиантами не устраивать ежегодно весной и зимой празднество отечественной истории. Устраивать не для горсточки избранных, а для всего народа. И чтобы на этих празднествах выступали ученые, подобные Карамзину, чтобы заслуги их были отмечаемы венками почести всенародной. Чтобы каждый ямщик и посадский человек, каждый дворовый и черносोшный крестьянин знали по имени своих летописцев и при встрече узнавали их в лицо.

Рылееву хотелось подойти к Карамзину — поблагодарить его и познакомиться с ним, но его обуяла непреодолимая застенчивость.

Заседание закрылось. Публика, готовясь к выходу, смешалась, пестрели мундиры, ленты, ордена, чепчики и шляпки, но взоры всех в этой сутолоке все еще искали Карамзина, чтобы еще раз благодарственно взглянуть на него и улыбнуться. Милорадович, подхватив одной рукой под локоть Карамзина, а другой — генерал-адъютанта Потемкина, прогуливался по свободной части зала. Рылеев потерял Бестужева в сутолоке, но не торопился покидать здание академии. На лестнице он встретился с Глинкой и Каразиным, который возбужденно говорил:

— Сей необыкновенный день утверждает меня в том, что общественное мнение создается и у нас в России! И мраки веков прошедших не могут уже быть возвращены!

— Прекрасно сказано, господин Каразин! Прекрасно! — воскликнул воспламененный Рылеев. — Веков прошедших мраки не могут уже быть возвращены... Да и как же им возвратиться после такого приговора над ними, утвержденного справедливостью и совестью великого историка! Хвала и честь нашему Геродоту!

— Отвечаю вам вашим же комплиментом, молодой человек, прекрасно сказано! — любезно отозвался Каразин.

Подошел Бестужев, уже одетый в бурку.

— А я ищу тебя, Кондратий! Одевайся, пойдем гулять по Невскому!

В тот день до самого вечера, наслаждаясь чудесной морозной погодой, гуляли они по городу, говорили о только что состоявшемся празднестве, о веках ушедших и веках грядущих, о вреде бездумного искоренения многих древних народных обычаев, унаследованных от времен языческих, о пренебрежении правительства нуждами науки и ученых, о забвении многих ломоносовских заветов, о научной и общественной бесплодности академического начальства.

— Как хорошо нынче сказал Каразин, — мечтательно проговорил Рылеев. — Мраки веков минувших не могут быть возвращены! Справедливо, но при одном обязательном условии: они не могут быть возвращены, если о них непрестанно предупреждать и напоминать современникам грозным поэтическим словом...

Бестужев подхватил друга под руку, сказал горячо:

— Так начнем же, Рылеев, бить в вечевой колокол!

Взволнованные, они долго шагали молча. Холодным заревом пылало небо с западной стороны. Когда подошли к дому Рылеева, Бестужев сказал как-то уж очень серьезно, не похоже на него:

— Вот что, Коня... Я всю неделю буду занят службой. В субботу буду у тебя. Надо поговорить.

— Хорошо, Саша, буду ждать.

Тревожно и радостно билось сердце Рылеева, когда он поднимался по лестнице к себе. О чем так серьезно хочет с ним поговорить Бестужев? Еще ранее туманные намеки Александра породили у него предположение, что в столице существует какое-то тайное общество... Мысль о принадлежности к нему Александра Бестужева Рылеев отбрасывал — слишком легкомыслен, несдержан в словах был Александр, не в пример своим старшим братьям. Принадлежность к тайному обществу обязывает к иному поведению...

И все же... Он был так серьезен, когда обещал прийти поговорить в субботу.

В дверях его встретила Наталья, пополневшая и похорошевшая после недавних родов.

— Наконец-то! — сказала она. — Я почему-то так тревожилась за тебя...

Он улыбнулся и поцеловал жену.

В квартире было тихо. Работалось хорошо. В окно заглядывало яркое солнце, решившее своим сиянием проводить вьюжливый холодный февраль с его косыми дорогами. Рылеев вот уже раз десятый переписывал думу «Артамон Матвеев», на которую он возлагал большие надежды. Думе предстояло быть обсужденной на одном из заседаний Вольного общества любителей российской словесности. Это обсуждение имело решающее значение для молодого поэта — будет или не будет он удостоен чести быть избранным членом-сотрудником Общества. Хотя дума «Артамон Матвеев» в начале месяца и была опубликована в «Русском инвалиде», однако поэт после разговора с Александром Бестужевым решил еще раз переиначить уже опубликованный текст. Фактически председатель Вольного общества любителей российской словесности Федор Глинка предупредил Рылеева о той строгости, с которой «староверы» встречают некоторых молодых писателей, не скупясь на самую суровую и не всегда оправданную критику. Булгарин, тертый калач, предсказывал Рылееву полный триумф, но сдержанней был Александр Бестужев.

За письменным столом застал друга штабс-капитан Бестужев. Он, как и подобает молодому щеголеватому драгуну, вошел в комнату к поэту твердым гвардейским шагом, сияющий, румяный с мороза, неистощимый на остроты и каламбуры, полный дерзких и чаще всего неисполнимых замыслов.

— Здравия желаю «Артамону Матвееву» и его другу Кондратию Рылеусу, — потирая заглодавшие на морозе руки, проговорил Бестужев, подсев к Рылееву. — Ну, а как, Коня, решил распорядиться судьбой Ермака Тимофеевича? Спас? Бросил еще раз на «презренного царя Сибири Кучума»?

— Похоронил в Иртыше. Жалко, но что же делать. Даже слезы брызнули из глаз, когда перечитал перебеленное...

— Прочитай еще раз! Хочу послушать! Дорогу — Ермаку! Артамона Матвеева — временно в темницу, но не забивая в железа...

Рылеев на память прочитал «Смерть Ермака».

Бестужев какое-то время не открывал смеженных век уже после того, как умолк голос поэта. Он чувствовал,

что не диво и ему, драгуну, прослезиться от охвативших душу радости и волнения.

— Вот это Ермак! Вот это да! Ни одного слова ни убавить ни прибавить! Ты первый воздвиг нерушимый памятник от имени всего русского народа покорителю Сибири! Доныне о Ермаке знали немногие, отныне и на века его будет знать весь народ! А Сибирь, а могучий бурный Иртыш как верно тобою схвачены! Только в обстановке такой суровой природы и мог развернуться богатырский характер Ермака! И за это я тебя, милый мой друг, обнимаю! Целую! И готов короновать той же короной, которой Державин короновал дерзновенного Пушкина!

Рылеев пришел в смущение от такой неожиданной похвалы.

— Что ты, что ты, я не могу соперничать с Пушкиным... Я его безгранично люблю... И учусь у него... Я в лучшем случае — только его сносный ученик.

— Я на твоём месте дал бы полную отставку с приличным пансионом мятежному боярину Артамону Матвееву, а на его место назначил вольного казака Ермака. Казаку можно верить. Казака можно выпустить с казацкой светлой саблей против нынешних петербургских скотов, что душат в зародыше всякое честное слово! — мятежно советовал штабс-капитан.

— Уже невозможно произвести такую замену: чтение «Артамона Матвеева» объявлено в календаре всем господам почетным, действительным и членам-сотрудникам Вольного общества, — отвечал Рылеев. — Да было бы и трусостью с моей стороны убояться суровой критики старших и более опытных друзей российской словесности...

— И в их числе почетных членов: фон Фока Максима Яковлевича, Милорадовича Михаила Андреевича, Евгения митрополита Киевского и Галицкого, Булгакова Константина Яковлевича? — иронизировал Бестужев. И вдруг хлопнул себя по лбу: — Ба, совсем забыл! Слышно, будто собираются на ближайшем заседании Вольного общества представить на рассмотрение и одобрение действительных членов труды по словесности графа Аракчеева!

Трудно было понять, смеется он или говорит всерьез.

— Какие же сочинения графу Аракчееву выдвигать? Он же не граф Хвостов, — в тон другу, без улыбки сказал Рылеев.

— Как какие? А приказы и инструкции по военным поселениям! — воскликнул Бестужев. — Только бы представили, а в одобрении и общем избрании я не сомневаюсь... Да и как сомневаться, если Вольное общество превращают в свою вотчину староверы Шишковы, Гречи, Измайловы...

— Приказы и инструкции принадлежат не Аракчееву, а перу его секретарей, — дополнил Рылеев. — А впрочем, чему удивляться? Если митрополит Евгений и фон Фок своими именами украшают список почетных членов Вольного общества, то почему бы не засверкать в этом созвездии и звезде Аракчеева? Недавно рассказывали, будто граф Аракчеев пригласил к себе в петербургский деревянный дом вместе графа Хвостова и Греча. В присутствии всех своих адъютантов он взял графа Хвостова за ухо и стал таскать, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе, сенатор, за твои безделки, чтобы ты впредь был умней!» А Гречу вручил записку и сказал: «А ты, гога-магога, с этой запиской поезжай прямо к полицмейстеру Горголи, там тебя выпорют, а об исполнении пускай Горголи донесет мне рапортом!» — «Покорнейше благодарю, ваше превосходительство!» — был ответ Греча. Взял записку и поехал...

Анекдот этот, что в разных вариациях ходил по городу, совсем развеселил Бестужева.

— Правильно, бей староверов! Вольное общество должно стать нашей крепостью!

— Согласен! Но как их оттеснить?

— Прежде всего чаще ставить на обсуждение наши работы и задавать тон собраниям! А мы мало выдвигаем своих работ. Ленимся или робеем?

— Лени ни грана! Да и робким я, например, себя назвать не могу. Семья, заботы очень мешают... Батова наше — а в нем и всего-то сорок худых и добрых дворов — совсем захирело... Нищета. Поглядишь на крестьян — сердце кровью обливается... И помочь нечем, сам концы с концами не свожу. Дом наш пришел в полную ветхость, нужно запастись лесу, возиться с починкой. Доходов никаких. Службы подходящей не нахожу. Иной раз гляжу в глаза Наталии, которой я поклялся всю жизнь посвятить ее счастью, гляжу, улыбаюсь, а у самого мрачные мысли кровь леденят... Впрочем, что это я разнылся? Нос вешать, впадать в уныние и отчаяние не собираюсь, дружище! Пока жив, буду бороться за счастье.

— Твоя Наталья стоит того, чтобы посвятить ей всего себя. Ты счастливец! Ты имеешь самое высокое человеческое право, выше и приятнее которого ничего нет и не может быть — право гордиться своей женой! И я рад за тебя! За вас обоих! И за малютку вашу! Только такая, как твоя семья, и может быть у настоящего поэта! Прочное супружеское счастье — неиссякаемый источник вдохновения и оплот высокой нравственности! — Бестужев встал за спиной Рылеева, положил руки ему на плечи и стал по-мальчишески тормошить друга. — А я ветреник! Балы, обеды, танцы, театры, улыбки, томные вздохи... А любви настоящей, большой, подобной твоей, у меня нет. Бог не дает, чем-то я согрешил перед ним... О Софье я тебе рассказывал... Моя первая любовь сверкнула метеором и сгорела в падении. И вот сердце ветреника, рано во всем разочаровавшегося, ныне похоже на заброшенный дом!

— И совершенно несправедливо, Саша! — обернулся к нему Рылеев. — Какой же ты ветреник? Не то слово! Ты вовсе не ветреник, ты не находишь ничего близкого к своему идеалу и потому порой то грустишь, то дерзишь... Ветреник не может быть ни хорошим другом, ни хорошим сыном, тем более не может быть отличным офицером. А тебя твои начальники считают образцом чести!

— Начальники меня балуют... Я не заслуживаю таких побряжек. Я ветреник на самом деле. Меня и брат Николаша жучит этим неприятным словом при каждой встрече... Только все сестры мои, вот как ты, почему-то не хотят видеть во мне никаких пороков. Ну, девушкам это простительно... Брат Мишель тоже немножко балует меня и готов мне простить многое. Зато старший наш Николаша ко мне беспощаден, как и к самому себе. Он ведь у нас трудолюб, добролюб, умница, человек с настоящим характером, какого бог почему-то не дал мне... Возможно, к этому обязывает его трудная морская служба...

Бестужев помолчал. Лицо его приняло задумчивое и даже строгое выражение. Он присел к столу, посмотрел на Рылеева, взгляды их скрестились.

«Вот сейчас он скажет мне то, за чем пришел», — подумал Рылеев, застыв в нетерпеливом ожидании.

— Наш Николай замок с секретом, Коня, — тихо начал Бестужев. — Около трех лет я подозреваю его в принадлежности к тайному обществу. Все это время пытаюсь

проникнуть в его священную тайну с тем, чтобы присоединиться к ним. Но все мои попытки безуспешны. Значит, он видит во мне только ветреника. А я, ей-богу, уже не такой. Вернее, был когда-то ветреником, но это кануло в Лету. А брат еще во мне сомневается. Я уверен, Коня, и брат мой Мишель такого же мнения,— у нас в Петербурге, а возможно и в других городах и весях России, существует Тайное общество, цель которого — коренное преобразование всех отраслей государственного управления. У них, принадлежащих к Тайному обществу, имеется какая-то «Зеленая книга», в ней изложены цели Общества и пути их достижения. Но я никак не нападу на верный след... А хочется напасть и быть с ними.

— И у меня такое же предчувствие, Александр,— от волнения Рылеев сглотнул слюну.— Где-то вблизи нас, но недоступное нашему взору, творится очень большое и благородное дело. Я целиком с тобою — мы не должны оставаться в стороне... Досадно, обидно, что такое дело предпринимается без нашего участия... По-моему, среди зачинателей этого дела есть и члены нашего Вольного общества. А ключ от этой тайны в руках у военных. Давай договоримся палить в два штуцера, авось один из нас и попадет в цель. Ты наседай на брата, а я буду подбираться тайно через Глинку.

— Согласен! По рукам! — Бестужев встал, и они обменялись крепким рукопожатием.

— Ну, а теперь,— Бестужев крепко потер ладонь о ладонь,— бесподобная капуста листовая на мою долю найдется?

— А как же...

— Угости. Соскучился по кочанной. В три часа приехал с бала от Чернышевых, отдохнуть привелось мало: в шесть посыльный... И весь день какой-то переполох в голове и в животе.

Слуга принес на подносе блюдо листовой капусты, по ломтю черного хлеба и по рюмке водки.

— А давай, Кондратий, образуем наше Тайное общество?! — вдруг предложил Бестужев.— Время такое, сам воздух, кажется, налит порывами молодежи к самосознанию, к объединению в Общества! Согласен?

— Давай! Но ведь нужны исходные рубежи. А их у нас пока что нет.

— Сегодня нет, а завтра будут. Начнем с воплощения давнишней твоей мечты — издания литературного альма-

наха или журнала. Пушкин, не сомневаюсь, будет наш! Наш — Баратынский! И Петра Вяземского перетянем к себе! Братья Тургеневы — наши! Сомов, Корнилович, Дельвиг... Есть порядочный народ! А шишковистов будем давить.

— Сплю и вижу — иметь собственный журнал! — воскликнул Рылеев. — Пускай для начала это будет ежегодный альманах. Но лишь бы сделать его таким, чтобы для умных читателей он стал подарком. Давай, давай, Саша. Я готов!

И новое рукопожатие скрепило их союз.

7

Опять крестьянам сердцевинных губерний грозил голод. Зима была лютая и малоснежная, холодная весна круто сменилась знойным летом; выгорела трава на лугах, преждевременно желтели не успевшие налиться чахлые нивы. Вся Смоленская губерния звонила в колокола в надежде разжалобить жестокое небо молебствиями и крестными ходами. На мирском сходе постановили помолобствовать с поднятием икон и хоругвей и крестьяне села Жукова, принадлежавшего Ивану Якушкину. Староста уведомил барина о приговоре схода. Якушкин не возражал, лишь наказал старосте поспешать с полевыми работами, которые уже приспели. Сам он стал собираться в дорогу верст за двести к Левашевым. Там была намечена встреча с генералом Михаилом Фонвизиным, возвращавшимся из Одессы в Москву. В тайном кармане у Якушкина лежало одесское письмо Фонвизина и письма, полученные по рукам от Никиты Муравьева из Петербурга и от Павла Пестеля из Тульчина.

Рано поутру Якушкин, заложив дрожки, выехал из села.

После молебствия и водосвятия крестьяне без всякого понуждения со стороны старосты, мужика рассудительного и доброго, дружно вышли на работу. Эта общность и слаженность жуковцев была платой их владельцу Якушкину за его человеческое к ним отношение. В Жукове крестьяне давно забыли о наказании плетками, палками, об истязании на псарне или на конюшне.

В селе остались только старые да малые, да еще хворые и инвалиды, которым в поле при всем их желании нечего делать. Старики и старухи грелись на солнышке под окнами на завалинках, подростки нянчили детей.

Староста Артем, сделав распоряжение в поле, вернулся в село. По пыльной дороге то стихающий, то вдруг набегающий ветер взметал пыльные вихри и закручивал в воронки, неся их по воздуху. А солнце не переставало припекать. На голове у старосты была широкополая выгоревшая шляпа.

Едва староста успел подъехать к крыльцу своего дома, как в село вкатил земский заседатель Первухин, славившийся пристрастием к водке и самодурством.

Он остановил двуколку под окнами старостина дома. Староста, привязав свою лошадь к пряслу, подошел к заседательской двуколке.

— Где помещик ваш? — спросил заседатель, сверкая по-разбойничьи налитыми с утра белыми глазами.

— Ивана Дмитриевича нет дома, — отвечал староста.

— Куда уехал?

— Не знаю.

— Когда он возвратится?

— Не скоро.

— Ты, остопоп, забыл, с кем разговариваешь? Почему не снял шляпу? — Разъярившийся вдруг заседатель соскочил с двуколки, сорвал со старосты шляпу и начал бить его с руки на руку, с уха на ухо... Окровавленный староста свалился с ног. Заседатель продолжал избивать его ногами, норовя попасть по лицу. Увидев, что староста не двигается, Первухин оставил его лежать у крыльца, вскочил в двуколку и погнал в поле к работавшим там мужикам.

Облюбовав самого рослого и статного парня, заседатель спрыгнул с двуколки и объявил:

— За вами числится недоимочный рекрут! А ваш барин не чешется. Я сам отвезу рекрута в присутствие. Вот этого!

Мать парня заревела на все поле, а сам парень, бросив косу, побежал прочь, стараясь скрыться во ржи. Заседатель увязался за ним, схватил на глазах у всех, скрутил парню руки, пихнул в двуколку и погнал лошадей по дороге на Вязьму.

Это произошло так быстро, что жуковцы и опомниться не успели.

Двуколка пылила уже далеко на высоком холме, когда к голосившей на все поле матери сошелся народ. Заговорили наперебой:

— Разбой среди белого дня..

— За Иваном Дмитриевичем нет никакой рекрутской недоимки!

— Знамо!

— В последний набор, помните, на сходе сказывал барин — он представил рекрутскую квитанцию...

— Подлец заседатель вздумал сорвать с нас выкуп!

— Ишь, налетел! Видать, знал, что барин в отъезде!

— Настоящий ястреб — налетел, закогтил и утащил.

— Надо просить старосту, чтобы скорее оповестил Ивана Дмитриевича.

Крестьяне толпой возвратились в село и нашли старосту, избитого до полусмерти, лежащим пластом около своих ворот.

Его внесли в дом, позвали лекаря, которого недавно специально для крестьян своих Якушкин привез из Москвы на постоянное жительство. Лекарь привел старосту в сознание.

— Надо гонца посылать за барином! — потребовали мужики.

Староста велел взять с конюшни лучшего иноходца и подозвал к себе смышленного и крепкого молодого мужика, на ухо шепотом назвал ему село, в котором должен находиться барин, растолковал, как туда ехать, и строго наказал держать все в тайне.

Гонец, вооружившись кистенем, поскакал в отдаленное незнакомое село.

В это время в богатом именье Левашевых, уединившись в садовой беседке, Якушкин и генерал Фонвизин обсуждали положение дел в Коренной управе Союза благоденствия и в его отделениях на местах. И тот и другой были озабочены затишьем в деятельности управы и думали над тем, как преодолеть его. Фонвизин, грузноватый, широколицый человек средних лет, в генеральском мундире нараспашку, говорил, вытирая временами платком потевший лоб:

— Союз благоденствия, таково общее мнение, как у нас в Москве, так и в Петербурге приходит в упадок. Устав и личный состав Общества нуждаются в безотлагательном обновлении, иначе нам грозит полный провал.

— Что для этого нужно? — спросил Якушкин, сощипнув цветок душистого горошка, что обвивал балюстраду беседки.

— Нужен чрезвычайный съезд. В Петербурге такого мнения придерживаются Никита Муравьев, Николай Тур-

генев, Федор Глинка, Яков Долгоруков, Толстой, да и многие другие тоже. Из последнего письма Никиты я понял, что они начинают готовиться к созыву такого съезда.

— В Тульчин заезжал?

— Да.

— С кем виделся?

— Со всеми. О тульчинцах нельзя сказать, что они почивают на лаврах. У них есть что позаимствовать всем нам. Там нет и признаков затишья. Там они все кипят и, не боясь преследований полиции, собираются почти открыто на собрания.

— Напрасно они так развольничались,— улыбнулся Якушкин.— Не надо забывать басенку о птичке... Та рано песенку запела, да певунью беспечную кошка съела.

— Тульчинцы тоже голосуют за созыв съезда. И — безотлагательный. Но обстановка там непростая.— Фонвизин сунул платок за обшлаг мундира, взял со стола сигару, закурил.— Правда, работе тульчинцев благоприятствует то счастливое обстоятельство, что генерал Киселев не мешает Бурцову, Пестелю и другим заниматься делами Тайного общества. Он делает вид, что ничего не замечает и ни о чем не подозревает.

— Это прекрасно! Это отлично! — с жаром подхватил Якушкин.— А есть ли надежда увидеть со временем генерала Киселева в наших рядах? Неужели Павел Пестель с его необыкновенными способностями увлечь за собою людей не склонит на нашу сторону Киселева? Он очень бы полезен был для нашего дела!

— Намерение заманчивое, Иван Дмитриевич, но очень рискованное, а Пестель, как я смог убедиться, при всей его решительности и дальновидности не склонен к риску. И за это Пестеля не нужно осуждать.

— Ни боже мой, Михайла Александрович! Я Павла Пестеля знаю и высоко ценю. Надеюсь, между вами — полное единодушие?

Фонвизин уклонился от определенного ответа, шутливо пожурил Пестеля за излишнюю горячность, которую не сумел бы смирить даже ангел. Такое объяснение не удовлетворило Якушкина, и он снова повторил свой вопрос. Фонвизин отбросил сигару, с минуту помолчал, рассматривая свои ногти, сказал:

— Пестель излишне радикальствует... А это при нынешнем положении дел может быть опаснее, вреднее

умеренных тенденций, которые отстаивают и усиленно проповедуют Бурцов и Комаров.

— В чем же ты находишь опасность?

— Радикализм Пестеля может напугать многих и отдалить от нашего Общества, а тем самым отдалить и Общество от достижения своих целей.

Склонный к размышлениям и философским обобщениям, Якушкин глубоко задумался. Критика Фонвизиным взглядов Пестеля не была, конечно, результатом несходства двух характеров. Она отражала нечто большее. В ней начинали проступать те противоречия, которые до поры до времени покоились где-то в глубинах Общества. С мнением генерала Фонвизина, своего начальника по службе в 37-м егерском полку и истинного друга, Якушкин всегда считался, как и с мнением Пестеля. Михаил Фонвизин, племянник знаменитого драматурга Дениса Ивановича Фонвизина, отличался ясным умом и обширными познаниями. Он слыл знатоком отечественной истории, суждения его были глубоки и самобытны. В беседах с ним Якушкин всегда вдохновлялся и загорался новыми идеями. Генерал по праву всеми был причислен к блестящей плеяде героев Отечественной войны. В 1812 году он служил адъютантом у начальника штаба прославленного Ермолова, а на другой год уже командовал егерским полком. В кровопролитном сражении под Кульмом под ним убило пять лошадей, но смерть пощадила его. Раненым он был взят в плен, но и в плену он остался русским героем-воином — поднял восстание в Бретани и одержал победу. В 1815 году он снова получил полк в корпусе Воронцова. На другой год, назначенный командиром 37-го егерского полка, он вскоре стал любимцем подчиненных ему офицеров, младших чинов и рядовых. Это был истинно просвещенный военачальник. Якушкин сразу подружился с ним и полюбил его, как брата. Лишенный мелкого тщеславия и честолюбия, Фонвизин, как и многие его современники из мыслящих дворян, нисколько не умаляя всего величия одержанной победы, ставил подвиг гражданский выше любого ратного подвига. Он хотел служить добродетели и человеколюбию. Это стремление привело его в масонскую ложу. Но здесь Фонвизин не нашел, да и не мог найти того, что искал с пылкостью самоотверженного юноши. Перед ним вскоре открылись двери Союза спасения, куда он был принят в 1817 году в Москве. В его квартире собирались

важнейшие совещания. Он весь отдался делу, стал членом Коренной управы Союза благоденствия. И на этой новой ступени показал себя человеком, достойным доверия. Его сразу оценили и полюбили. В 1819 году он был произведен в генералы и переведен во 2-ю армию.

И во 2-й армии он остался таким же деятельным членом Общества. С его приходом позиции южан значительно укрепились.

— И все-таки левизны Пестеля не надо опасаться,— по длительном размышлении заключил Якушкин.— Многие события из политической жизни нашего государства последних лет подтвердили необходимость решительных мер, необходимость уничтожения монархии, как главного врага народа. И не только русского народа, но и народов Европы. Я вновь голосую за линию Пестеля!

— В целом и я за линию Пестеля,— сказал Фонвизин.— Я расхожусь с ним не как его враг, а как единомышленник. Но я предвижу для Тульчина немалые трудности, когда дело дойдет до выбора депутатов на Чрезвычайный съезд. Если будет дана полная воля страстям и чувствам, может произойти раскол Тульчинской управы...

— А ты не преувеличиваешь трудности?

— Нисколько!

— Несомненно, на съезде среди депутатов прежде всего должны присутствовать Пестель, полковник Аврамов или же генерал Алексей Юшневский! — решительно заявил Якушкин.— Мы все знаем, сколь велик вклад Пестеля во все наши начинания. И в Петербурге, и в Тульчине. Пестель, безусловно, самый полезный человек для дела.

Да и вообще я не мыслю себе сколько-нибудь серьезного съезда без участия в нем Павла Пестеля, Никиты Муравьева, Федора Глинки, Сергея Муравьева-Апостола и его брата Матвея — ведь их усилиями возведено все наше здание. Да вы и сами это знаете, не мне вас убеждать.

— Все это так, Иван Дмитриевич, но боюсь, что Бурцов с Комаровым ототрут Пестеля от представительства на съезде,— сказал Фонвизин, доставая опять платок,— жара давала себя чувствовать.— У Бурцова и Комарова есть немало сторонников. К тому же Бурцов — блюститель дел тамошней управы Союза. И наконец, личные отношения... Наружно Бурцов остается в самых

наилучших отношениях с Пестелем. Но только наружно... Бурцов, как я убедился в беседах с ним и с теми, кто находится под его влиянием, не сомневается в превосходстве своих личных достоинств перед Пестелем. И в то же время на каждом шагу вынужден чувствовать превосходство Пестеля над собой. И беда в том, что Бурцов не в силах преодолеть чисто личное... В угоду тщеславию и честолюбию он старается сколотить оппозицию против Пестеля. Старания его, к несчастью, не безуспешны.

— Хорошо бы в Тульчин съездить Никите Муравьеву, чтобы помешать укреплению сей пагубной оппозиции,— озабоченно проговорил Якушкин.— Или Сергею Ивановичу Муравьеву-Апостолу... Оба они миротворцы, оба умеют примирять тех, кто достоин примирения.

— Коренная управа сочла за лучшее в скором времени послать в Тульчин своего члена — Ивана Дмитриевича Якушкина,— с улыбкой сказал генерал.— Поможешь тульчинцам охладить излишне накаленные страсти и выбрать депутатов на Чрезвычайный съезд. Твою кандидатуру единодушно поддерживают те члены Коренной управы, с которыми я успел снестись.

— Ну что ж... я готов. Помогу выбрать депутатом Пестеля! На том стою и стоять буду! — твердо сказал Якушкин.

— Что ж, тогда пойдем в дом, нас, верно, заждались к обеду.

Они вышли из-под сени сада за железные ворота. Южная сторона неба хмурилась, но солнце припекало вовсю. Было душно. Пыль на дороге нагрелась, как зола в горнушке. На горе, в полверсте от сада, раскинулось большое село, наполовину опустошенное голодом. Крестьяне с весны питались древесной корой и крапивой и ежедневно умирали десятками. Помощи голодающим не было ниоткуда. Якушкин в этом году отдал все, что мог отдать из своих продовольственных запасов голодающим Рославльского уезда, но эта помощь оказалась каплей в море. Правительство раскачивалось медленно, хотя своевременно было оповещено о страшном бедствии.

На дороге Якушкин заметил приближавшегося к воротам знакомого жуковского мужика на измученной лошади. Узнав барина, гонец прибавил ходу и уже через четверть часа Якушкин знал, что случилось в Жукове.

— Отдохни сам, дай отдохнуть лошади и отправляйся

обратно,— сказал Якушкин запыленному гонцу.— Передай всем жителям моим, чтобы шли работать в поле. Заседатель-подлец не уйдет от наказания, а уворованного парня я верну.

Гонца накормили обедом на господской кухне, а лошадь, напоив, поставили на конюшню к кормушке с травой.

— Я знаком со смоленским губернатором бароном Ашем,— сказал возмущенный не меньше Якушкина Фонвизин.— Сейчас же поедem в Смоленск, я помогу тебе освободить твоего крестьянина.

Тотчас на двух дрожках отправились в Смоленск. Губернатор, выслушав Фонвизина, приказал крестьянина якушкинского освободить и отпустить домой, а буйного заседателя отдать под суд.

Удовлетворенные таким решением, Якушкин и Фонвизин покинули канцелярию губернатора. Решили пообедать на постоялом дворе, славившемся среди дворян отличной кухней. По улицам бродили толпы нищих и до крайности изможденных голодающих. Они пришли в город из дальних сел и деревень в надежде выпросить у горожан кусок хлеба. Особенно мучительно было видеть изветшавших малолетних голодушников на тоненьких ножках с отвислыми, налитыми водой животами. Много было опухших от голода. Те, у кого уже не хватало силы держаться на ногах, сидели на улицах у ворот, на обочинах при дороге, а некоторые так, сидя, и умирали.

У Якушкина и Фонвизина эта картина народного бедствия вызвала боль и возмущение. Разменяв крупные деньги, они раздавали мелочь встречающимся нищим и голодающим.

— А ведь эти умирающие, дорогой друг,— русские люди, наши с тобой соотечественники! — с горечью восклицал Якушкин.

Фонвизин проводил Якушкина до Жукова. Они въехали в село за час до полудня. Около избы старосты толпился возбужденный народ, забывший о полевых работах.

Якушкин подъехал к крестьянам, поздоровался со всеми и спросил:

— Почему вы не в поле?

— Боимся из села выходить, всех по одному переловят и увезут,— отвечали крестьяне.

— Где староста?

— На ладан дышит, в сенях лежит,— всхлипывая, ответила жена.

Якушкин слез с дрожек, чтобы зайти в избу и проведать избитого. Но в это время навстречу, опираясь на сучковатую муравленую палку, вытащился на крыльцо сам староста. Лицо его было в черных синяках и кровоподтеках, одна рука висела на полотенце, повязанном через шею, бровь содрана, глаз заплыл. Староста хотел что-то сказать пораженному Якушкину, и тут стало ясно, что у избитого мужика нет половины зубов. Якушкин никому бы не поверил, что до такой степени озверения мог дойти государственный чиновник, человек, надо полагать, цивилизованный. Он готов был в эту минуту собственной рукой убить зверя заседателя, если бы тот встретился ему.

— Почему безмолвствовали? Почему дали увезти парня? — не в силах сдержать гнев, обратился к крестьянам Якушкин. — Вас же много было в поле... — Он тотчас овладел собой, подумав, что его слова могут дойти до местного начальства, с которым он пребывал в постоянной скрытной вражде, и будут причислены к подстрекательским, сказал спокойнее: — Не унывайте и не волнуйтесь, похищенный парень уже освобожден и скоро будет дома, а злодей заседатель предстанет перед судом... А ежели он еще раз покажется в нашем селе, то я его сам проучу, как мне будет желательно. Отправляйтесь в поле. Хоть рожь и плохая, все-таки надо сжать вовремя.

Старосте он велел лежать до полного выздоровления, обещал прислать лекаря и лекарства из личной домашней аптечки.

В расположенном среди сада одноэтажном каменном доме чувствовались благоустроенность и уют. Обо всем этом позаботилась молодая жена Якушкина, умевшая без больших затрат сделать жилище приятным и для души, и для глаза.

После обеда отдохнуть не удалось — Фонвизин вызвался доброхотом съездить в поля вместе с Якушкиным. Из полей вернулись под вечер. Поужинали пораньше, чтобы дать возможность гостю лучше выспаться.

Фонвизин давно уж крепко спал в комнате при открытых окнах в сад, а Якушкин все никак не мог успокоиться и придумывал всяческие чудодейственные средства, с помощью которых можно было разом прекратить

все мучения крепостных крестьян. Но действенные средства тогда легко находятся, когда поиски их ничем не стеснены. Как раз этого-то, главнейшего, условия для успеха дела и не имелось у вяземского смелого реформатора. Все его разумные начинания в крестьянском вопросе или подвергались дружному осмеянию со стороны местного начальства, или причислялись к разряду вольнодумных и потрясающих основы.

И все же сейчас Якушкин не мог смирить себя. Он обязан был что-то сделать... Как честный человек, как гражданин, наконец... Он поднялся с постели, достал бумагу, перо и писал всю ночь...

Утром, как только проснулся Фонвизин, Якушкин вошел к нему с листами исписанной бумаги в руках. Он был возбужден, глаза воспалены.

— Ежели согласен со мною, то подписывай,— обратился он к гостю.

— Что это такое?

— Средство, найденное мною для искоренения всех беспорядков в России...

Фонвизин с недоверием посмотрел на Якушкина.

— Я написал пространный адрес к императору, указал все страшные язвы и раны, требующие безотлагательного врачевания,— пояснял Якушкин.— Все главные члены Союза благоденствия должны подписаться под адресом. Обнажив бедствия истерзанного отечества перед царем, адрес предлагает государю вспомнить пример его предков и созвать Земскую думу. С ее помощью можно будет избавить страну от хаоса.

— Читай,— сказал Фонвизин, усевшись на неубранной постели.

С чувством и жаром душевным прочитал Якушкин свое ночное сочинение, составленное с истинно героической откровенностью. Каждая строка была написана голосом неподкупной совести и любящего Россию сердца.

С первых же слов текст адреса захватил внимание Фонвизина, как поэма о народной жизни.

— Прекрасно! Подписываюсь вместе с тобой! И с большим удовольствием! — дослушав до конца, воскликнул Фонвизин.— Не следует изменять ни одного слова. Уверен — все члены Союза благоденствия подпишут столь благородное обращение к царю! Это не адрес, а раздирающий душу крик о спасении погибающей России. Надо нынче же ехать к Граббе.

Настроение у обоих поднялось. Они завтракали в веселом расположении духа и выпили за успех начатого дела.

В тот же день они поехали в Дорогобуж к отставному статскому советнику, бывшему полковнику артиллерии Граббе, давнему члену Союза благоденствия. На место они прибыли под вечер. Отказавшись от угощения, с первых же слов посвятили Граббе в существо дела, ради которого приехали.

Капитан Якушкин с еще большим подъемом и вдохновением прочитал адрес императору. Граббе после первых услышанных слов, закрыв все окна и дверь своего кабинета, не прерывал чтения, но на продолговатом лице его угадывалось разочарование.

— Ставь свою подпись, — призвал Фонвизин после завершения чтения.

— Ни под каким видом не подпишусь! И вам не советую тратить время и силы по-пустому! — охладил энтузиастов Граббе. — Два таких серьезных и умных человека вдруг сотворили такую непростительную глупость! Как это вас угораздило? Где ваше благоразумие? Иван Дмитриевич, Михайло Александрович, я вас нынче не узнаю... — Этот выговор болезненно уязвил самолюбие Якушкина, и он резко сказал Граббе:

— Зачем такие филиппики? Мы отдаем себе отчет в том, что делаем. При всей вашей храбрости на этот раз вы опасаетесь...

— Не за себя опасаясь, а за всех нас. За наше общее дело, — ответил Граббе не менее резко — всякое сомнение в его отваге и мужестве было для него, что называется, нож острый.

— Ну что ж, не хотите подписывать — воля ваша, — с оттенком грустного упрека заметил Фонвизин.

— Если вы так обо мне думаете, то давайте я подпишу адрес, — помрачнев, сквозь зубы процедил Граббе. — Подпишу вместе с другими. Но не скрою от вас, что подписывать я буду смертный приговор нашему Тайному обществу.

— Почему?

— Получив наш адрес, да еще скрепленный множеством подписей известных в империи людей, царь сразу поймет, что имеет дело с тайным союзом, а подписавшиеся — главные этого союза руководители. А там порядок известный: крепость, Сибирь, каторга...

Весь вечер провели они втроем за обсуждением адреса. Критические нападки Граббе на адрес Фонвизину начинали казаться во многом весьма благоразумными, особенного внимания заслуживала опасность внезапного разгрома Общества. Якушкин же не мог сразу отказаться от своего замысла, в благие последствия которого он так уверовал.

— Неужели все, что я сгоряча за одну ночь написал,— чистейший сумбур? — заметно упав духом, спросил он.

— То, что написано в адресе, отнюдь не сумбур,— отвечал Граббе.— Адрес написан кровью честнейшего сердца. Сумбурно намерение ваше обратиться с адресом к главному виновнику всех народных и государственных бедствий. Что бы ты, Иван Дмитриевич, сказал, ежели бы овцы вздумали обратиться с жалобой на волка, который ест их поедом... к тому же самому волку?

— Ну, положим, не такие уж мы овцы,— проворчал Якушкин без прежней, впрочем, убежденности. Он устал от всего пережитого за последние двое суток, у него начали слипаться глаза. Ему накрыли постель прямо в кабинете на диване. Он спал крепко и долго, к завтраку его не будили.

Часов около десяти утра к нему вошел Фонвизин и, присев у его ног на диван, сказал голосом покаянного:

— А Граббе, пожалуй, прав. Отдадим должное его благоразумию и уничтожим наш адрес.

— Уничтожить не трудно, но все-таки я еще не разоружился,— медленно, с оговорками отступал Якушкин от своего плана.

В тот же день Якушкин и Фонвизин покинули Дорогобуж.

Нынче особенно унылыми и как бы навечно осиротелыми казались поля. Большая часть их была не засеяна по причине голода. В Дорогобужском, как и в других уездах, на дорогах беспрестанно встречались изможденные длительным голоданием взрослые и дети, нищие, инвалиды, солдаты-калеки — люди, всеми брошенные на произвол судьбы. В придорожных канавах кое-где неподвижно лежали люди и порой трудно было понять: отдыхающие это или умершие.

На перекрестке около дорожного креста распрощались. Якушкин поехал в свое сельцо Жуково, Фонвизин — в Москву.

Кое-как добыв себе в Дорогобуже подорожную и заручившись от Фонвизина рекомендательными письмами к влиятельным тульчинцам, Якушкин на дрожках пустился в долгий путь. Его поездка означала начало деятельной подготовки к Московскому съезду. Недавнее сообщение Фонвизина о тульчинских делах дало Якушкину возможность заранее подготовиться к выполнению возложенного на него поручения. У него было ясное и твердое решение по приезде в Тульчин после ознакомления с обстановкой и тамошними людьми встать на защиту позиции крайних. Он желал видеть в числе депутатов на съезде Павла Пестеля, речь которого в защиту республики, произнесенная в начале этого года в Петербурге, врезалась ему в память.

На рассвете Якушкин въехал в опрятный зеленый городок Тульчин. Он остановился на постоялом дворе у богатого еврея. Позавтракав, направился к Бурцову.

Желтоватым цветом лица и широкими скулами полковник Бурцов напоминал калмыка. Якушкина он встретил приветливо.

— Как доехали? У кого остановились?

— Доехал без особых приключений, если не считать встречи с беглыми чугуевскими казаками, которых в кандалах гнали куда-то в Оренбургскую губернию. Остановился у знаменитого здешнего корчемника, — отвечал Якушкин.

— Зачем вам жить у него, когда вы можете расположиться у меня со всеми доступными в нашем городе удобствами? — подивился Бурцов. — Ко мне, ко мне! И никаких отговорок.

Через полчаса Якушкин перебрался на новую квартиру. Бурцов успел побывать в штабе, чтобы отпроситься на весь день у генерала Киселева.

— Все идет прекрасно, Иван Дмитриевич, я в полном вашем распоряжении на весь день, — удовлетворенно сообщил он, воротившись из штаба. — Генерал у нас твердый, но человек порядочный.

— Довольны Киселевым?

— Вполне! Во-первых, сам человек умный, во-

вторых, умеет ценить и оборонять от несправедливых нападков умных людей,— с охотой принялся рассказывать Бурцов.— Любит молодежь, но не за ветреность и легкомыслие. Строг по службе, зато со всеми ласков вне службы. Любит за обеденным столом потолковать о политике и других важных материях.

— И разумеется, как начальник старается задавать тон?

— Нет, Киселев вовсе не такой! С теми, кого приблизил к себе, он никогда не бывает начальником в том смысле, как это обыкновенно понимают те, в ком на месте души и ума — одно начальническое рвение. Бывает так, что наш генерал начинает судить криво по вопросам политическим и слышит со всех сторон хор дельных возражений...

— И что же? Ершится? Отбивается? Оглобли гнет?

— Бывает, яростно отбивается, но никогда не переходит на личности. И вот что важно: если не прав, то всякий раз принужден бывает согласиться со своим оппонентом, хотя тот его подчиненный.

— С кем он чаще всего дискутирует? Поди, с Пестелем?

При этом вопросе, заметил Якушкин, острые, вразлет, темные брови собеседника задвигались.

— Не только с Пестелем... Не на Пестеле белый свет клином сошелся, хотя некоторые, особенно из северян, излишне превозносят его,— будто через силу проговорил Бурцов.

— А вы какого мнения о Пестеле?

— Самого доброго, но без всякого боготворения и культа,— громко ответил Бурцов. В голосе его — скрытый надрыв, будто этот вопрос причинил ему боль.

Якушкин сделал простецкий вид.

— А как, по-вашему, генерал Киселев знает или не знает о существовании Тайного общества? — спросил он.

— Думаю, что знает, но смотрит на это сквозь пальцы,— после некоторого раздумья заключил Бурцов.— Поэтому влияние наших членов во всей 2-й армии увеличивается с каждым днем. А как там у вас в Москве и в Петербурге?

— Нам, Иван Григорьевич, похвалиться нечем,— с грустью проговорил Якушкин.— Мне кажется, что Союз благоденствия в последнее время дремлет и настала не-

отложная необходимость его пробудить и найти средство, чтобы он вновь еще раз не задремал. Необходимо созвать Чрезвычайный съезд — в этом многие единомышленники и в Петербурге, и в Москве, и здесь, и в Кишиневе... Что вы могли бы сказать о возможных делегатах от Тульчинской управы?

Бурцов охотно выполнил просьбу, охарактеризовав тех членов управы, из которых можно было бы выдвинуть делегатов. Особенно похвально он отозвался о полковнике Комарове. По его словам, это был человек предусмотрительный и в высшей степени осторожный, умел находить такие пути к исполнению цели, которые сводили риск к минимуму. Полковника Пестеля и генерал-интенданта Юшневского он назвал людьми крайних взглядов. А крайности, по словам Бурцова, не пользовались поддержкой среди большинства тульчинцев.

— А что южане думают о майоре Владимире Раевском? — поинтересовался Якушкин. — У нас в Москве и в Петербурге многие восхищаются им, говорят, что это любимец генерала Михайлы Орлова и чуть ли не герой всей дивизии.

— Владимир Федосеевич Раевский мой друг! — с гордостью сказал Бурцов. — Но он порой совершенно пренебрегает осторожностью. Ему уже не раз об этом, как мне известно, намекнул генерал Киселев. Говорят, что в ланкастерской школе, в которой майор Раевский дает уроки, на занятиях совершенно открыто рассуждают о конституции, о революции, о рабстве, деспотизме у нас и у других народов... Так нельзя, это к добру не приведет.

Не согласиться со справедливостью такого упрека Якушкин не мог. Он любил людей решительных и бесстрашных, но небрежение к строгой тайне Общества безоговорочно осуждал.

В тот же день Якушкин посетил Пестеля на его квартире. Они встретились как соратники еще по Союзу спасения. Пестель был огорчен тем, что гость остановился не у него, а у Бурцова. Но теперь переходить от Бурцова было бы неудобно и стеснительно для всех троих. Разместились в заставленном книжными шкафами рабочем кабинете Пестеля и сразу перешли к делу: Пестель прежде всего коротко обрисовал положение дел во 2-й армии, полностью подтвердил добрый отзыв Бурцова о генерале Киселеве.

— Как вы находите блюстителя дел Тульчинской управы? — задал Якушкин весьма интересовавший его вопрос.

— Полковник Бурцов из умеренных. А умеренность, если с ней не бороться, может свести на нет все наши программы. Более того — разрушить сам Союз, — четко ответил Пестель.

— Каковы отношения у вас с ним?

— Внешне все прилично. Но только внешне... Бурцов, как это теперь стало видно всем, непременно хочет ходить в вождях, председателях, наставниках и нередко мешает мне.

— Не грозит управе опасность раскола на две партии?

— Думаю, что не грозит. Но нельзя сказать и о полном единодушии. Все это естественно. — Щурясь от дыма трубки, Пестель как бы нацелил взгляд свой на собеседника. — Ведь наши тульчинские разногласия не с потолка свалились. Они суть отражение разногласий в Коренной управе Союза благоденствия. Назрело время для приискания средств к устранению этих трудностей. Вот почему я так горячо приветствую идею созыва в Москве Чрезвычайного съезда. События развиваются так быстро, что остаться к ним глухими — значит предать дело.

— Хотели бы вы принять участие в работах Чрезвычайного съезда?

— С великой радостью. Я даже мог бы взять на себя подготовку основного доклада с обстоятельнейшим анализом наших достижений, трудностей и ошибок в стратегии и в тактике. Готов также хоть сегодня приняться за выработку проекта нового устава Союза благоденствия. Я руководствуюсь не тщеславием, не властолюбием — ни то ни другое мне не свойственно. Мне лишь дороги интересы нашего общего дела.

— Кого еще рекомендовали бы в качестве делегата?

— Генерал-интенданта Юшневского, братьев Крюковых — любой из названных дееспособен, энергичен и придерживается правильных убеждений.

— Бурцова не рекомендуете?

— Дело общего собрания Тульчинской управы окончательно решить этот вопрос. Но я заранее уверен, что позиция Бурцова, которую он займет на съезде по коренным принципиальным вопросам, если, конечно, будет послан на съезд, представит ту политическую линию,

против которой, как помните, я выступал еще в Коренной управе.

Якушкин подумал, что объяснения Пестеля достаточно аргументированны и к ним не примешивается ничего личного.

— Бурцов весьма положительно отзывается о полковнике Комарове и рекомендует его избрать делегатом на съезд. А вы как находите?

— Я не в восторге от полковника Комарова, — без осудительных жестов, с легкой улыбкой на бледноватом лице проговорил Пестель. — Меня не удивляют расточаемые Бурцовым похвалы Комарову. Ведь здесь он давно стал рупором умеренных идей Бурцова. Но, бог мой, я дорого бы дал, чтобы узнать, что, собственно, скрывается за этой умеренностью! То ли общая политическая ограниченность, то ли просто трусость, припорошенная пылью разговоров об умеренности. Бурцовско-комаровская уверенность, думается мне, разновидность неомасонства, то есть игра в тайны. Хватит с нас масонских детских бирюлек, политического, умственного и нравственного прозябания. Это математически точно — то, что умеренность иная равноценна предательству интересов революции!

— Вы, как я понял, решительно против Комарова?

— Можете считать так. Комаров личность для меня до конца не проясненная. Он, при случае, может дать велеречивый словесный залп, но делать ничего не делает. К тому же он весьма ограниченный и невежественный человек..

— Это полковник-то?

— Не удивляйтесь! Здесь, в армии, есть такие же чурбаки неотесанные, и не только в полковничьих, но и в генеральских портках... Ох, Иван Дмитриевич, послушали бы высказывания нашего великолепного Киселева на этот счет!

Рассказ Пестеля совершенно озаботил Якушкина — на легкие выборы делегатов рассчитывать не приходилось. Он встал.

Мне пора, Павел Иванович. Хорошо, если бы выборы делегатов состоялись в ближайшие дни. Подорожная и множество дел заставляют меня торопиться. Путь мой дальнейший лежит до Кишинева. Скажите еще вот что: как найти мне Юшневского?

В это время он должен быть у себя на квартире.. Найти его легко. — Пестель подвел Якушкина к окну. —

Прямо по этой улице до конца, перейдете мосток, взойдете в гору, на горе белый дом в вишневом саду, над калиткой два резных петуха на спице.

Через полчаса Якушкин беседовал с генерал-интендантом Юшневским в маленькой, но опрятно и со вкусом убранной гостиной. Прежде всего передал хозяину письмо от генерала Фонвизина. Суждения Юшневского не были так блестящи и убедительны, как суждения неистового Павла Пестеля. Юшневский полностью придерживался его взглядов, осуждал умеренных, Комарова называл мертвой душой для Союза благоденствия, упрекнул Бурцова в властолюбии и непомерном тщеславии, зато похвалил полковника Аврамова, доктора Вольфа, Басаргина, князя Сергея Волконского и отставного полковника Василия Давыдова. Самые добрые слова нашел он для тульчинской молодежи и очень советовал Якушкину лично побеседовать с молодыми офицерами. К удовольствию своему Якушкин убедился, что Юшневский — человек твердых республиканских убеждений и никогда не изменит им.

— На Московский съезд надо обязательно послать Пестеля, — сказал Юшневский. — У нас нет другого человека, равного ему по уму, по знаниям, по энергии и неутомимости. Пестель приступил к работе, которую мыслит назвать «Русской правдой». Отдельные выдержки я читал, труд обещает быть грандиозным. Он ляжет в основу преобразования России после победы республики.

Генеральша Мария Казимировна, преданно любившая своего генерал-интенданта, угостила Якушкина чаем с земляничным вареньем собственного изготовления и просила каждый день приходить к ним на чашку чая.

Поздно вечером вернулся Якушкин на квартиру к Бурцову. Здесь его дожидался полковник Комаров.

Вид его не располагал к чистосердечной беседе с ним. Круглое лицо и плоский нос делали его непривлекательным. Зато полковничий мундир на Комарове сидел безупречно.

Когда речь снова зашла о возможных делегатах на съезд и Якушкин в числе других назвал Пестеля, Комаров с ожесточением запротестовал:

— Пестеля ни в коем случае нельзя посылать в Москву! Таково мнение большинства! Если Пестель появится в Москве как полномочный тульчинский депутат, то он натворит много непоправимых бед...

— Каких же?

— Пестель резок, упрям! Он всюду ратует за революционные крайности якобинства. И я, и Бурцов убедительно просим вас ни под каким видом не приглашать его в Москву, если не хотите большого несчастья. Приехав в Москву, Пестель своими необузданными крайними мнениями, своим республиканским упорством испортит все дело.

— Так испортит, что уж потом всей Коренной управой не поправить,— добавил Бурцов.— Пестель настаивает на полной республике, на революции, на насильственном истреблении всей царской фамилии.

— Только он один настаивает?

— К сожалению, не один. За ним идут Юшневский, Аврамов, Волконский, Давыдов... Но все они беспочвенные фантазеры и мечтатели,— это ясно даже ребенку.

С каждым новым словом собеседников Якушкин еще и еще раз убеждался, какая острая борьба кипит здесь между двумя резко отличными направлениями, и ясно, что борьба усилилась, как только в Тульчине узнали о цели его приезда.

— Мы знаем, что Пестель будет рваться в Москву, но ему надо воспрепятствовать,— решительно заявил Комаров.

— А как вы мыслите воспрепятствовать?

— Надо убедить членов управы в том, что его внезапная просьба о представлении ему отпуска для поездки в Москву покажется подозрительной для начальства и для полиции. Ведь у него в Москве нет ни родных, ни особенного дела. У нас и без Пестеля есть кого послать.

Выслушав Комарова, Якушкин понял, что план наступления против Пестеля до тонкостей продуман его противниками.

Третий день Якушкин не покидал квартиру полковника Бурцова, чтобы не привлечь к себе внимания тульчинской полиции. Но все эти дни он вел деятельную подготовку к ответственному собранию по назначению делегатов на съезд. Вся тульчинская офицерская молодежь перебивалась у него. Молодые офицеры, за исключением двух или трех человек, держались крайнего, республиканского направления. От них Якушкин узнал, что укреплению Тайного общества во 2-й армии содействова-

ла прошлогодняя расправа Аракчеева, учиненная над взбунтовавшимися чугуевцами. В армии ходят тревожные слухи, будто со временем все войска будут переведены на положение поселенных; офицеры же службу в поселенных войсках приравнивают к каторге. Кровавый чугуевский дождь давал по всей России добрые всходы.

В один из вечеров, когда Бурцов с Комаровым куда-то уехали, Якушкин под покровом темноты пошел на квартиру к Пестелю, чтобы договориться о дне, часе и месте собрания Тульчинской управы. Он застал Пестеля работающим над «Русской правдой».

Полковник прочитал гостю отрывок о будущем устройстве волостей и селений. Каждая строка говорила Якушкину о необыкновенном уме и пламенной душе автора.

— Не есть ли это будущая конституция России? — спросил Якушкин после чтения.

— О нет, конституции не придумываются в одиночку, они вырабатываются представителями всего народа. В России это будет, возможно, Всероссийская земская дума. Моим сочинением я только приуготовляюсь действовать во Всероссийской земской думе и знать, когда настанет срок, о чем говорить.

— А генерал Киселев знаком хотя бы в отрывках с вашим трудом?

— Знаком.

— И каково его мнение?

— Как-то раз после чтения он мне сказал с улыбкой: «А не слишком ли много вы предоставляете власти вашему царю?» Под «царем» он подразумевает исполнительную власть. Потолковать с ним всегда интересно.

— Но ведь чтением «Русской правды» вы фактически открыли генералу свою принадлежность к Тайному обществу, — заметил Якушкин. — Дело за немногим — потребовать от Киселева формального согласия о присоединении к нам...

— Ошибаетесь, Иван Дмитриевич, я ничего не открыл. Мое сочинение я представил как чисто теоретическое умственное упражнение, имеющее единственной целью дальнейшее совершенствование моих знаний, — улыбаясь, пояснил Пестель.

— Но ведь генерал Киселев, как я понял из здешних рассказов о нем, не тот воробей, которого можно про- вести на мякине...

— Что правда, то правда, Иван Дмитриевич..
И оба засмеялись.

9

Совещание, к которому весьма оживленно готовились крайние и умеренные, состоялось в квартире у Пестеля.

Бурцов сделал краткое пояснение об исключительной важности нынешней встречи членов Тульчинской управы и дал слово полномочному представителю и члену Коренной управы Союза благоденствия Якушкину. Говорил Якушкин без размашистых ораторских жестов и риторических взлетов, речь его лилась ровно, спокойно. Однако слушали его с большим вниманием. Докладчик не приукрашивал положения дел как в самой Коренной управе Союза благоденствия, так и на местах. Опираясь на факты, он убедительно доказал необходимость созыва Чрезвычайного московского съезда.

— Новое время выдвинуло новые задачи, а новые задачи требуют от нас новых действий,— говорил он.— Тульчинской управе предоставляется право послать своих доверенных на съезд в Москву. Съезд общими усилиями, учитывая мнение и советы местных управ, выработает и утвердит все необходимые изменения в Уставе Союза благоденствия, а возможно, решительно изменит и всю программу самого Тайного общества. Наверное, такая необходимость назрела, ибо повсюду между нашими членами слышатся разговоры о том, что «Зеленая книга» во многом устарела и требует пересмотра.

Первым в прениях выступил Пестель. Он полностью и горячо одобрил инициативу Коренной управы о безотлагательном созыве столь нужного съезда, признавшись, что сам лично деятельностью ее был неудовлетворен. За ним говорили Бурцов, Комаров, Юшневский, словом, не оказалось ни одного, кто бы не принял участия в прениях. Басаргин, Юшневский, Аврамов, братья Крюковы, князь Сергей Волконский в один голос настаивали на том, чтобы на съезд поехал Пестель и еще один человек по усмотрению собрания.

— Согласен ли, Павел Иванович, поехать депутатом на съезд? — обратился к Пестелю генерал-интендант Юшневский.

— Я привык говорить языком сердца,— ответил, поднимаясь, Пестель.— Было бы ложной скромностью с моей стороны ответить отрицательно на сей вопрос. Я не только

согласен, но сочту для себя большой честью выполнить столь важное, столь знаменательное поручение Тульчинской управы! С великой радостью поеду! Со своей стороны я рекомендовал бы выдвинуть вторым депутатом Алексея Петровича Юшневского...

Крайние одобрительно встретили это предложение, но умеренные отнеслись к нему холодно. Якушкин наблюдал за поведением Бурцова и Комарова.

Бурцов вторично попросил слова. Вначале он сказал много лестных слов о деловых качествах Пестеля, о его умении убеждать людей, об отличных трудах, принадлежащих его перу. Однако затем речь его приняла совершенно иное направление.

— Съезд имеет своей целью еще более тесное сплочение нашего Союза, а не раздробление его на несогласные течения. Якобинство Пестеля может увести съезд в область бесконечных дискуссий. Всем нам, конечно, приятно было бы представить Тульчинскую управу на съезде таким всеми уважаемым нашим другом, как Павел Иванович Пестель. Но к его командированию на съезд, кроме названных мною причин принципиального значения, есть и другие немаловажные препятствия. Тульчинскому начальству хорошо известно, а возможно, это известно и московской полиции, что у Пестеля в Москве нет ни родственников и никакого дела, и, как только он станет просить отпуск для поездки в Москву, этим непременно заинтересуются здешние видоки. А зачем без нужды рисковать? Я и полковник Комаров уже испросили себе отпуск и получили согласие начальства, поскольку по собственным своим делам нам некоторое время необходимо быть в Москве. Таким образом наша поездка и наше появление в Москве не могут вызвать подозрение у здешней и московской полиции.

Пестель в продолжение длительных и горячих споров о его кандидатуре не проронил ни слова. Соображения, высказанные Бурцовым, слово в слово повторил полковник Комаров. Но генерал-интендант Юшневский и полковник Аврамов непримиримо продолжали ратовать за посылку Пестеля. Оба при этом проявили тактическую гибкость, предложив оставить в списке кандидатов Бурцова с Комаровым, а число делегатов от Тульчина увеличить еще на одного человека. Якушкин такое решение нашел противоречащим правилу выбора делегатов на съезд, выработанному Коренной управой. Но умеренные

не хотели идти и на такой компромисс и не соглашались увеличить список депутатов.

Слушая обе воспламененные спором стороны, Якушкин думал: «Как должны быть живучи умеренные идеи в Тульчине, если даже такой умный и неотразимый в доказательствах пестун Союза благоденствия, как Павел Пестель, до сих пор не мог их окончательно сокрушить. И у нас в Москве найдутся такие умеренные. И не по вине ли господ умеренных дремлет Союз благоденствия? Да, идет размежевание... Оно, несомненно, продолжится и на съезде, и неведомо, чем завершится съезд, если среди депутатов будут преобладать люди с убеждениями Бурцова и Комарова...»

Якушкин, чтобы его не обвинили обидчивые умеренные в диктаторстве Коренной управы, в навязывании своей воли, высказывался осторожно и вместе с тем ясно давал понять, что присутствие Пестеля на съезде было бы весьма благотворно. Юшневский, Аврамов, Басаргин и все остальные, кто решительно стоял за Пестеля и гордился своей принадлежностью к отчетливо республиканскому революционному крылу, единым фронтом давали отпор конституционным монархистам.

Один из Крюковых, разгорячившись и не спросив слова, вскочил и сказал, как отрубил:

— Предлагаю на съезд послать две самостоятельные делегации, поскольку между умеренными и крайними не предвидится согласия. Мы, республиканцы, уполномочиваем быть на съезде Пестеля и Юшневского...

Внезапное предложение на минуту прервало споры. Раскол управы на две враждующие партии был неминуем. И первым почувствовал это Павел Пестель. Он поднялся с кресла, подошел к столу и сказал хладнокровно:

— Я категорически против посылки двух делегаций. Я соглашаюсь не ехать в Москву в надежде на то, что состояние дел в Тульчинской управе нашими депутатами будет на съезде представлено со всей объективностью! Раскол на два крыла — самое худшее. Тульчинская управа должна остаться и впредь единой.

— Предложение разумное, и я призываю одобрить его! — обратился Якушкин к собравшимся.

Делегатами на Московский съезд оказались избранными Бурцов и Комаров. Результаты выборов были огорчительны не только для Пестеля, но и для Якушкина.

Разошлись с собрания на рассвете. Якушкин остался

у Пестеля, чтоб переговорить с ним о том, что неуместно было говорить при всех.

Пестель уступил Якушкину свой диван в кабинете, а сам лег на кровать, которой обыкновенно пренебрегал, если у него не было гостей.

— Павел Иванович, подготовьте в письменном виде свое мнение по всем делам, что нуждаются в обсуждении на съезде, и вооружайте им ваших депутатов Бурцова и Комарова, чтобы они ваше мнение довели до сведения участников съезда,— посоветовал Якушкин.

— Не доведут... Мое мнение не может быть согласно с мнением Бурцова.

— А мы их перехитрим. Один экземпляр постарайтесь переправить мне. Я по праву члена Коренной управы буду на съезде и поставлю Бурцова и Комарова в такое положение, при котором они окажутся вынужденными довести до съезда ваше мнение. Вы же знаете, что у вас немало друзей...

— Друзей много, но и врагов довольно.

— А полковник Комаров мне совершенно не нравится,— признался Якушкин.— Я удивлен, почему Бурцов, человек неглупый, во всем с ним заодно. Комаров же ограничен, я не услышал от него ни одной живой мысли, ни одного дельного слова...

— Я склонен думать, что, посвятив Комарова в наши тайны, принявшие его допустили большую ошибку,— со вздохом сказал Пестель. После непродолжительного молчания он продолжал: — Полномочий депутатских его лишить нельзя, но дружески вам советую: приглядывайтесь к его поведению на съезде.— И после новой паузы: — А если представится возможным нечувствительно под благовидным предлогом оттеснить его от участия в обсуждении особо важных предметов на съезде, то не премините воспользоваться такой возможностью — это может пойти только на пользу делу.

Очевидно, оттого, что переволновались на собрании, обоим не спалось, хотя каждый чувствовал сильную усталость.

— Сила действительности моей подорожной исчерпана Тульчином,— заговорил о неотложном Якушкин.— Помогите обзавестись новой подорожной, чтобы я мог доехать до Кишинева. Надо повидаться с генералом Михайлой Орловым. Кто мне может посодействовать в этом?

— Каждый из нас посодействует. Я думаю, что это

лучше всего устроить через полковника Аврамова, он может дать подорожную по казенной надобности. А вы с генералом Орловым давно знакомы?

— Совершенно незнаком, я даже никогда его не видел.

— Судя по тому, как он начал действовать во временной под его началом 16-й дивизии,— личность весьма примечательная в своем роде,— осторожно отозвался Пестель.

— Многие из моих знакомых превозносят его как человека высокого ума и отменных душевных свойств.

— Ваши знакомые не ошиблись.— Якушкин не видел лица Пестеля, но по тону его понял, что тот улыбается.— Орлов во всем удалец, но не на чужой, а на свой, орловский, образец! Таким он показал себя и при подписании акта о капитуляции Парижа, и при отчуждении Норвегии от Дании, и при подписании представления от имени недовольных генералов на имя государя, и в своих выступлениях в Киеве на собраниях Библейского общества... Став командиром 16-й дивизии, удалец Орлов не изменил своей орловской привычке и уже, говорят, первыми же своими приказами по дивизии успел вызвать недовольство командира корпуса, бурбона из бурбонов Рудзевича... Какова цель вашей поездки к Орлову?

— Вручить ему письмо от генерала Фонвизина и приглашение на съезд в Москву.

— Участие Орлова в работах съезда было бы большим приобретением для Союза благоденствия,— сказал Пестель и тут же предупредил Якушкина: — Но имейте в виду: генерал Орлов человек со странностями. В этом я имел возможность убедиться во время его недавнего пребывания в Тульчине. Он заехал сюда по пути в Кишинев, тогда-то формально мы и приняли его в Союз благоденствия.

— Что вы имеете в виду под формальностью?

— Точное исполнение уставных требований: принесение присяги, составление подписки... Впрочем, Орлов до формального акта принятия давно был наш.

— Чем же особенно орловские приказы по дивизии возмутили Рудзевича? — заинтересовался Якушкин.

— Прежде всего явно выраженным либеральным духом. И начальник штаба армии генерал Киселев заинтересовался приказами Орлова, но только не с той стороны, с какой Рудзевич. А писал Орлов вот что.— Пестель по памяти процитировал: — «Я сам почитаю себе

честного солдата и другом и братом. Я почитаю великим злодеем того офицера, который, следуя внушению слепой ярости, часто без нужды и даже без причины употребляет вверенную ему власть на истязание солдат... Строгость и жестокость суть две вещи совсем разные, одна прилична тем людям, кои сотворены для начальства, другая свойственна тем только, коим никакого начальства поручать не должно...» Не правда ли, великолепно? — засмеялся Пестель. — Этот приказ Орлов велел прочитать войскам в каждой роте самому ротному командиру, а ежели будет рота рассеяна по разным квартирам, то сделать общий объезд оным. И предупредил всех командиров о том, что ежели при объезде полков солдаты поспросе их генералом скажут, что им сей приказ неизвестен, то за сие укрывательство будет строго взыскано с ротных командиров.

— Молодец Орлов! — воскликнул Якушкин.

— Все порядочные командиры обрадовались такому приказу, но зато вся офицерская гнусь, вся сволочь, какой немало в дивизии, пришла в крайнее смятение и возненавидела Орлова. До его прихода в дивизию среди солдат было много побегов, многие солдаты службу считали тяжелей каторги и потому охотнее шли на каторгу, чем в казармы. «Человеколюбцы» в генеральских мундирах ввели смертную казнь за побег из армии. Число казней росло с каждым месяцем, а число побегов не уменьшалось. Орлов без казней и палок уже почти прекратил побег... Но злопыхатели из начальников и подчиненных не перестают измышлять против него все новые и новые козни. Кстати, — Пестель приподнялся на постели, — хочу попросить вас, Иван Дмитриевич, выполнить одно приятное поручение к Орлову. Недавно, пользуясь служебной поездкой в Тульчин, майор Вержейский, капитан Гимбут, прапорщик Понаревский, все трое подлецы один другого грязней, а с ними еще штабс-капитаны Станкевич и Гнилосиров, предприняли попытку восстановить против генерала Орлова, как против самого опасного карбонария, начальника штаба 2-й армии. Но Киселева в этот раз не оказалось на месте. Он находился в инспекционной поездке. Эти подлецы оставили пакет с доносом старшему адъютанту Бурцову для передачи генералу в собственные руки. Бурцов изыскал способ проникнуть в содержание письма и передал его не Киселеву, а мне. А я, пользуясь вашей поездкой в Кишинев в дивизионную квартиру, вру-

чаю его вам, чтобы вы передали сей грязный донос Орлову.— Пестель соскочил с постели, достал из ящика письменного стола засургученный пакет и подал Якушкину. Тот немедленно положил пакет в свой портфель. Улегшись снова под одеяло, Пестель сказал: — Пускай Орлов обратит самое серьезное внимание на поименованных мерзавцев и при первом подходящем случае выгонит их из дивизии или отдаст под военный суд. Полковник Охотников мне как-то говорил, что вся эта пятерка изветчиков показала себя мастерами палочных дел, ненавидима солдатами и презираема остальными офицерами.

— Все сделаю, Павел Иванович,— заверил Якушкин.— А кроме генерала Орлова, есть наши люди в 16-й дивизии? — поинтересовался он, прикидывая план работы по приезду в дивизионную квартиру.

— Об этом вам лучше, чем я, расскажет сам генерал Орлов.

За окном вставал радужный тульчинский рассвет. Поспать пришлось немного.

Перед обедом полковник Аврамов забежал на несколько минут на квартиру к Бурцову, чтобы передать Якушкину только что оформленную в дежурстве подорожную. В ней было указано, что ее обладатель едет по казенной надобности в Кишинев.

Пообедав у Бурцова вдвоем с хозяином, Якушкин сел в крытые дрожки и выехал на колесный тракт, ведущий к Кишиневу...

Содержание

Часть первая

Триумфальные ворота 3

Часть вторая

Дар Белогорья 81

Часть третья

Друг царя 222

Часть четвертая

Золотая танцовщица 325

